Иностранная литература

3

1962

3 1962 Иностранная литература

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

3

МАРТ
1962

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИЛЯНА СТЕФАНОВА — Мой день (Стихи) 4
ДЖОН СТЕЙНБЕК — Зима тревоги нашей (Роман. Окончание) 8
ЖАК СТЕФЕН АЛЕКСИС — Деревья музыканты (Роман. Окончание) . . . 87
ФАНТАСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ
АЛЕКСАНДР КАЗАНЦЕВ — Населенный космос? (Вместо предисловия) 142
РАДУ НОР — Трое с Сириуса 144
КШИШТОФ БОРУНЬ — Антимир . . . 155

КРИТИКА

Д. МИКУ — Победы и поиски нового румынского романа 179
Е. КНИПОВИЧ — Чувство истории (Томас Манн в советской критике) 189
Р. ОРЛОВА — Деньги против человечности (Заметки о творчестве Джона Стейнбека) 197
ЮЛИУС ДОЛАНСКИЙ — Чехи слышали «Колокол» (К 150 летию со дня рождения А. И. Герцена) 209

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»
Москва

ДОКУМЕНТЫ

БЕРНАРД ШОУ — Стопроцентная Америка . 213

ПУБЛИЦИСТИКА

ВОЛЬФГАНГ ЙОХО — К новым вершинам (Заметки писателя) 227
ДЖОН ПИТТМАН — Логика одной жизни 232
А. БЕЛЬСКАЯ — Против безумия ядерной войны (О книге Нормана Казенса) 238

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

ОБОЗРЕНИЕ ЗАРУБЕЖНОЙ ПРЕССЫ . . . 241

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

Сергей Северцев — Поэзия горечи и надежды ◇ Валерия Герасимова — Нельзя уничтожить.. ◇ А. Тишков — Новые переводы Пу Сун лина. ◇ В. Диковская — Сокровищница сказок 248

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

В. Неделин — Исповедь Уильяма Ллойда. ◇ И. Кулаковская — Гороскоп Дж Б. Пристли. ◇ В. Балашов — Парадоксы эпигонства . 254

ИЗ ПУТЕВОГО АЛЬБОМА

А КОКОРИН — По Англии и Шотландии 259

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ

. . . . 268

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

(ХРОНИКА) 270

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

. 287

На обложке литография художника ГЕРБЕРТА ПОЛЕРТА (ГДР) «Дочь народа».

ВАСИЛЕ КАЗАР (*Румыния*) «На дороге»

ЛИЛЯНА СТЕФАНОВА

Перевод с болгарского
ПАВЛА АНТОКОЛЬСКОГО

БОЛГАРСКИЙ ЯЗЫК

Революционная стихия
Шла над весеннею Невой.
Освобожденная Россия
Вставала с гордой головой.
Пел самовар в жилище скромном.
Стояла стужа на дворе.
Болгарин
С воодушевленьем
Вождю рассказывал о том, как
Проснувшийся рабочий класс,
Блуждавший сотни лет в потемках,
Растет и борется у нас.
И увлеченно слушал Ленин,
И, гостя чаем угощая,
Он засмеялся, отвечая:
— Товарищ!
Я нуждаюсь срочно
В русско-болгарском словаре.

В тот год, когда во тьме полночной
Шли интервенты, угрожая
России петлей и штыком,
Дождался Ленин светлых дней.
Ему открылась не чужая
Болгария.
И руку ей
Он крепко сжал — уже знаком
С болгарским языком!

ЖАТВА

Памяти семерых коммунистов, расстрелянных и брошенных в море близ Галаты в 1943 году

Встают со дна, бредут по стежке лунной,
Приблизились к песчаным берегам.
И страшно мне,
Что в полумраке там
Их призраки колеблются пред взглядом.
Мне хочется бежать.
Но самый юный
Из семерых уже со мною рядом.

У ног моих
Чуть зыблемый в молчанье,
Настороженно вслушался прибой.
Луна зажгла
Нимб своего венчанья
Над каждой юной мертвой головой.

Их семеро. Семь весен человечьих,
Отважных, сильных и широкоплечих,
Глядят они
Туда, где разблисталась
Серебрянная зыбь.
Я догадалась:
Они глядят и вширь и в высоту

И различают раннюю мечту —
Там, в золотистом солнечном загаре,
Пред ними возрожденная страна,
Их родина,
Их новая Болгария.

— Вот, вот она!
И в странной гишине
Простерли руки словно бы для
клятвы
И властно обращаются ко мне:
— Друг девушка!
Ведь это время жатвы!

Мы двинулись. Как боевой отряд.
Глядим вперед — о, только не назад.
Венец луны над нами погасает.
Луна за дальней кручей исчезает.

И ранняя забрезжила заря,
Над нивами осенними горя.
И теплый запах жита к нам донесся.
И мы остановились у откоса.
И вижу я — спешат жнецы и жницы,
Спускаются с холмов жнецы и
жницы,
Теснятся вслед за мной жнецы, и
жницы.

Но где же те? Где семеро? Куда
Исчез их лунный отблеск без следа?

Со всех сторон спешат жнецы и
жницы,
Спускаются с холмов жнецы и
жницы,
Теснятся вкруг меня жнецы и
жницы...

И вдруг
Среди тесняшихся жнецов
Я различаю семерых бойцов.
И ширится в неслыханных пределах
Их песня, все заливщая кругом.
Так могут петь
Смелейшие из смелых,
Так празднуют
Победу над врагом.

ДВИЖЕНИЕ

Шумели гости,
Ели-пили
И все хвалили очень метко,
Острейшим взглядом
Оценили
Ковров нарядную расцветку,
Рисунки графика того,
Чье имя слышали нередко:
— Вот это дом! Вот торжество!

Безбурен мир.
Все тихо в доме.

Последний гость бредет в истоме
По лестнице.
И вновь — покой.

Но кто из них,
Мудрец какой
Сказал бы, что в моем углу,
Где занавески чуть трепещут,
Зовут меня, влекут во мглу,
Скрипят колеса и скрежещут,
Что снится мне
Ночной вагон,
Что ритм его
Меня качает,
За перегоном перегон,
Что дальний поезд мчит меня,
Что в полуночи без огня
Один фонарик освещает
Ночной блокпост,
Пустой перрон...

Поклон движению!
Поклон
Неодолимый мощи той,
Что устремляется с разбега
Из града в град,
От брега к брегу.
Что за всечасной быстротой
Я только в ней приют найду,
Мой дом, мой путь, мою звезду.

КОСЫ

Как! Ты себе остригла косы?
Да как ты смела? Что за гонка?
Не стыдно ли тебе самой?
Иль так же ветрена сейчас
Любая шалая девчонка?

Упреки, возгласы, вопросы...
А я молчала, ополчась,
Я мчалась весело домой.
И эта стрижка, эта шалость
Счастливым смехом завершалась,
Сознаньем полной правоты.

Я, может быть, сама не знала,
Что дождалась тогда сигнала —
Заката детской красоты,
Что дело не в моей прическе,
Что не о косах речь хваленых,
А только о самом подростке,
О силах неосуществленных,
О доцветающем цветенье,
О догорающем свеченье,
О первой песне недопетой
Горюют люди вкруг меня.

Где вы, мои косички? Где ты
Заря девического дня?

МОЙ ДЕНЬ

Вам незнакома
Женщина одна:
Идет меж вами. Смотрит в ваши
лица.
И вслушивается. И вдаль стремится.
И, если вас обуревает грусть,
Ее лицо покрыто грустной тенью,
А ваша радость — для нее весна.

Одна из незнакомых женщин —
пусть!—
По лицам, по походке, по смущенью
Улавливает все, что вы таите.
И если глаз прищурившийся глянет,
Угадывает много по наитью
И вдруг, свое сочувствие тая,
Невидимую руку вам протянет,
Следит за вами — друг, а не судья,—
Позвать на «ты» готова,—
Это я!

Сограждане,
Спешите вы, но смею
Я вникнуть в ваши мысли и желанья
Фантазией и дерзостью моею.
Меж нас не существует расстоянья.

Я улицу люблю.
Обязана я ей
И встречей каждой и любым
приветом —
Да будет песней каждый гул и гуд,
Да будет пляской каждый легкий
шаг,
Моим да будут университетом
Стихи, что у меня звенят в ушах
И в строках беспорядочных бегут
Навстречу
Мертвым и живым поэтам,
Что наш язык болгарский берегут.

Я улицу люблю.
Здесь каждый угол
Чем освещенней, тем он многолюдней,
Как все южанки — ярок он и смугл.

Сограждане!
При наших встречах разных
Мне по сердцу любой из бедных
будней,
Он новый День Поэзии. Он
праздник.

ПОЗЫВНЫЕ СЕРДЦА

Живое сердце —
Передатчик тайный:
В ночи, когда все затихает в мире,
Оно одолевает шум случайный,
Шлет позывные, странствует в эфире.

А ты, радист дежурный, где ты, что ты?
Сам онемел в наушниках безмолвных?
Ведь это позывных моих частоты
Напрасно бьются на коротких волнах.

Всех шифров уловитель и отгадчик,
Царь и слуга эфира, где ты, где ты?

Есть в скромном городке мой передатчик.
Он ищет связи, шлет тебе приветы.
Он жадно облетает континенты.
В морских просторах и на взгорьях суши
Сердцебиенье выстрочило ленты...
А ты не слышал сердца. Ты прослушал.

Тире и точка. Вновь тире и точка.
Напрасно бьются в воздух эти звуки.
Взамен ответа — в жести водосточной
Звенит капель печали и разлуки.

Спит городок или сквозь сон смеется.
Бредет луна дозором вкруг планеты.
Шлет сердце позывные, гулко бьется:
— Откликнись! Я — Любовь.
Откликнись! Где ты?

НОЧЬ В ПИРЕЕ

Нас было четверо в пустой таверне:
Те, двое юных греков из Пирея,
И двое нас, болгар.
Туман вечерний
Сгущался, неприветливо серея.

За шатким столиком с клеенкой грязной
Мы пили молча. Но молчанье наше,
Улыбки наши говорили ясно,
Любого красноречья были краше.

Как и зачем в чужой таверне этой
Мы встретились со смуглыми парнями?
Не паспорта служили здесь приметой —
Лежали руки жесткие пред нами.

Засвиристел сверчок. Седое море
Тысячилетней влажностью дышало.
Прадедовская ненависть не споря
Исчезла из-под кровли обветшалой.

Четыре сердца сблизила таверна.
И, выпив все до дна и слов на тратя,
Друг другу поклялись мы в дружбе верной
И на прощанье обнялись, как братья.

Прощались мы, казалось нам, на время.
Вдоль набережной бриз повеял южный.
Унылый полицейский в белом шлеме
Торчал у пирса — истукан ненужный

ДЖОН СТЕЙНБЕК

Зима тревоги нашей

РОМАН

■

Перевод с английского
Н. ВОЛЖИНОЙ
и Е. КАЛАШНИКОВОЙ

ГЛАВА XI

Нью-Бэйтаун — живописное местечко. Его обширная когда-то гавань защищена от резких северо-восточных ветров островом, который тянется параллельно суше. Сам городок раскинулся по берегам сети узких заливов, куда течение гонит из гавани морскую волну. Здесь не знают скученности и суеты больших городов. За исключением особняков, принадлежавших некогда богатым китоловам, дома здесь невысокие, хотя и ладные, а вокруг них пышно разрослись вековые деревья, дубы разных пород, клены, вязы, орешник, изредка попадаются кипарисы, но если не считать вязов, посаженных в свое время вдоль первых городских улиц, преобладает все-таки дуб. В былые времена огромные дубы росли тут так вольно и в таком изобилии, что у местных судостроителей всегда был под рукой отличный материал для планширов, килей, кильсонов и книц.

Людские сообщества, как и отдельные люди, знают пе́риоды здоровья и периоды болезни — знают даже молодость и старость, время надежд и время уныния. Была пора, когда несколько таких городков, как Нью-Бэйтаун, доставляли китовый жир для освещения всему западному миру. Студенты Оксфорда и Кембриджа учились при свете ламп, заправленных горючим, полученным из далеких заокеанских поселений. Потом в Пенсильвании забили нефтяные фонтаны, и дешевый керосин,— жидкий уголь, как его называли,— вытеснил из обихода китовый жир, и большинству китоловов пришлось удалиться от дел. Нью-Бэйтаун зачах, пал духом — да так и не оправился до сих пор. Соседние города нашли себе новые дела и занятия, но Нью-Бэйтаун, не знавший других источни

Окончание Начало в №№ 1, 2

ков жизни, кроме китобойного промысла, словно погрузился в оцепенение. Людской поток, змеившийся из Нью-Йорка, обходил Нью-Бэйтаун стороной, предоставляя ему жить воспоминаниями о прошлом. И, как водится в таких случаях, обитатели Нью-Бэйтауна внушили себе, что они этим очень довольны. Летом город не наводняли приезжие, от которых только шум и разор, глаза не слепили неоновые вывески, не сыпались всюду туристские денежки, не вертелась пестрая туристская карусель. Лишь немного новых домов прибавилось на живописных берегах заливов. Но людской поток змеился неуемно, каждому было ясно, что рано или поздно он захлестнет Нью-Бэйтаун. Местные жители и мечтали об этом и в то же время боялись этого. Соседние города богатели, без счета и меры наживались на туристах, чуть только не лопались от своей добычи, их украшали роскошные резиденции новоявленных богачей. В Олд-Бэйтауне процветали художества, керамика и однополая любовь, плоскостопые отродья Лесбоса плели кустарные коврики и мелкие домашние интриги. В Нью-Бэйтауне говорили о былых временах, о камбале и о том, когда пойдет кумжа.

В зарослях тростника гнездились утки, выводя там целые флотилии утят, рыли свои норы ондатры, проворно шнырявшие в воде ранним утром. Скопа неподвижно парила в воздухе, высматривая добычу, а высмотрев, камнем бросалась на нее; чайки взмывали вверх, держа в когтях раковину венерки или гребешка, и швыряли ее с высоты, чтобы разбить створки и съесть содержимое. Иногда пушистой тенью ныряла в воду выдра; кролики браконьерствовали на ближних грядках, и серые белки мелкой зыбью пробегали по улицам городка. Фазаны хлопали крыльями, подавая свой хриплый голос. Голубые цапли замирали у отмелей, похожие на двуногие рапиры, а по ночам слышался тоскливый крик выпи, точно стон нераскаянной души

Весна в Нью-Бэйтауне поздняя, и лето наступает тоже поздно, принося с собой совсем особенные звуки, запахи и веяния, диковатые и нежные. В начале июня, когда распахнется зеленый мир листьев, трав и цветов, сегодняшний закат не похож на вчерашний. По вечерам перепелки выкликают свое «пить-пора, пить-пора», а ночная темнота вся наполнена жалобами козодоя. Дубы разбухают от листвы и роняют в траву длинные кисточки соцветий. Городские собаки стаями совершают экскурсии в лес и по несколько дней пропадают там, одурев от восторга.

В июне человек, повинуясь инстинкту, косит траву, бросает семена в землю и ведет нескончаемую войну с кротами и кроликами, с муравьями, жучками и птицами, со всеми, кто посягает на плоды его трудов. А женщина смотрит на кудрявые лепестки розы и вздыхает, оттаивая душой, и кожа у нее становится, как лепесток, а глаза — как тычинки.

Июнь — веселый месяц, прохладный и теплый, влажный и звонкий, месяц, когда все идет в рост и все старое повторяется в новом, сладость и отрава, созидание и пагуба. По Главной улице бродят, взявшись за руки, девчушки в узких брючках, и крохотный радиоприемник, прижатый к плечу, напевает им на ухо любовные песни. В аптекарском магазине Тэнджера сидят на высоких табуретках юноши полные сил, потягивая через соломинки залог будущих прыщей. Они смотрят на девушек козлиным взглядом и отпускают пренебрежительные шуточки на их счет, а у самих все нутро скулит от любовного томления.

В июне почтенный делец завернет в «Фок-мачту» выпить кружку холодного пива, заодно соблазнится стаканчиком виски, а там, глядишь, и напился средь бела дня. И так же средь бела дня то одна, то другая запыленная машина воровато пробирается к неказистому дому с наглухо закрытыми ставнями, что стоит на отшибе в конце Мельничной улицы: там Элис, городская шлюха, разрешает послеполуденные сомнения ужаленных июнем мужчин. А за волнорезом весь день покачиваются

стоящие на якоре лодки, и повеселевшие люди выпрашивают себе у моря пропитание.

Июнь — месяц ремонта и стройки, планов и замыслов. Редко кто не тащит к себе на двор цементные блоки и всякую строительную мелочь и не рисует на старых конвертах нечто, напоминающее Тадж-Махал. Десятки лодок лежат на берегу кверху килем, блестя свежей краской, а хозяева их, распрямив спину, любуются своей работой. Правда, школа еще крепко держит в узде непокорных ребятишек, но бунт накипает, и, когда подходит время экзаменов, вспыхивает эпидемия простуды, свирепствующая вплоть до первого дня каникул.

В июне прорастает сладостное семя лета. «Куда мы поедем на Четвертое июля?.. Пора уж нам подумать, как мы проведем каникулы». Июнь — мать сокрытых возможностей и опасностей: храбро плывут утята, не видя под водой разинувшей пасть черепахи, салат зеленеет, подстерегаемый засухой, помидоры тянутся вверх, пока не добралась до них гусеница совки, отцы и матери семейств, размечтавшись о горячем песке и загаре, забывают бессонные ночи, звенящие музыкой комаров. «Уж в этом-то году я отдохну. Не измотаюсь, как в прошлом. Не дам ребятишкам устроить из моего отпуска двухнедельный ад на колесах. Я весь год работаю. Эти две недели мои. Я весь год работаю». Перед радужными перспективами отдыха бледнеют воспоминания и кажется, что все к лучшему в этом лучшем из миров.

Нью-Бэйтаун долгое время пребывал в спячке. Те, кто правили им — его политикой, моралью, экономикой, правили так давно, что заведенный ими порядок успел окостенеть. Мэр, муниципалитет, судьи, полицейские — все были бессменны. Мэр продавал городу ненужное оборудование, судьи отменяли штрафы за нарушение уличного движения и за столько лет успели даже забыть, что это противоречит закону — его букве, во всяком случае. Будучи нормальными людьми, они не видели в своих действиях ничего безнравственного. Люди все нравственные. Безнравственны только их ближние.

Яркие дни веяли уже теплым дыханием лета. На улицах появились приезжие — из тех, у кого нет детей и кто может рано начать свой летний отдых, не дожидаясь школьных каникул. Они ехали на машинах с прицепами, погрузив туда лодки и навесные моторы. Они заходили в лавку, и Итен не глядя мог определить в них отпускников по их покупкам — антрекоты, плавленый сыр, крэкеры и сардины в банках.

Джой Морфи зашел выпить холодной кока-колы, он теперь делал это каждый день, с тех пор как установилась теплая погода.

— Вам бы надо завести сатуратор,— сказал он, махнув бутылкой в сторону холодильника.

— А заодно отрастить еще две пары рук или раздвоиться, как гороховый стручок. Вы забываете, кум Джой, что не я тут хозяин.

— И очень плохо, что не вы.

— Желаете выслушать печальную повесть об упадке королевского рода?

— Знаю я вашу повесть. Не умели отличить дебет от кредита в счетной книге. Пришлось в поте лица постигать премудрости двойной бухгалтерии. Но ведь постигли же в конце концов.

— Много мне от этого пользы.

— Будь лавка ваша, вы наживали бы большие деньги.

— Но она не моя.

— Если б вы открыли свою по соседству, все покупатели перешли бы к вам.

— Почему вы так думаете?

— Люди охотнее покупают у того, кого знают. Это называется репутация фирмы, и она всегда помогает делу.

— Как видно, не всегда. Меня и раньше знал весь город, что не помешало мне обанкротиться.

— Это совсем другое дело. Вы не умели обращаться с поставщиками.

— Может, я и сейчас не умею.

— Нет, умеете. Вы даже сами не заметили, как научились. Но беда в том, что вы и сейчас смотрите на жизнь глазами банкрота. Нельзя так, мистер Хоули. Нельзя так, Итен.

— Спасибо.

— Я вам желаю добра. Когда Марулло уезжает в Италию?

— Еще не знаю. Скажите мне, Джой, он очень богат? Впрочем, нет, не говорите. Вам не полагается рассказывать о делах клиентов.

— Для друга можно сделать исключение из правила. Я не все его дела знаю, но, судя по его банковскому счету, он безусловно человек богатый. А кроме того — во что только у него не вложены деньги! И недвижимость в разных местах, и свободные земельные участки, и дачи на взморье, и солидная пачка закладных, такая, что одной рукой не удержишь.

— Это-то вам откуда известно?

— Он у нас абонирует сейф — из тех, что побольше. Один ключ у него, а другой у меня. Каюсь, я нет-нет да и загляну одним глазком Природное любопытство, что поделаешь.

— Но он не замешан в каких-нибудь темных делах? Ну там торговля наркотиками или вымогательство — знаете, о чем постоянно пишут в газетах.

— Не могу сказать наверняка. Он ведь нам не докладывает. Какие-то суммы берет, какие-то вносит время от времени. И потом, я же не знаю, где он еще держит деньги. Заметьте, я вам не называл никаких цифр.

— А я вас и не просил об этом.

— Хочется пива. У вас пива нет, Итен?

— Только в консервах — на вынос. Но я могу открыть и дать вам бумажный стакан.

— Я не хочу, чтобы вы из-за меня нарушали закон.

— Ерунда.— Итен проткнул крышку консервной банки.— Если кто войдет, спрячьте за спину, вот и все.

— Спасибо. Я о вас часто думаю, Итен.

— Почему?

— Может быть, потому, что вообще люблю совать нос в чужие дела. Неудача действует на психику. Это как те ямки-ловушки, что выкапывает в песке муравьиный лев. Скользишь и скользишь вниз, и нужно большое усилие, чтобы выбраться. Но вы должны сделать это усилие. Ит. Раз выбравшись, вы почувствуете, что успех тоже действует на психику.

— И тоже ловушка?

— Может быть, но приятная.

— А что, если человек выберется из ямки, а другой в нее угодит?

— Без божьей воли и малая пташка не упадет на землю.

— Никак не пойму, что вы мне, собственно говоря, советуете.

— Я и сам не пойму. Понимал бы, так, может, самому бы пригодилось. Банковские кассиры не выходят в президенты. А вот тот, у кого хоть грош капиталу, может выйти. В общем, вот мой совет: есть случай — не упускайте его. Другой может не подвернуться.

— Вы философ, Джой. Философ-финансист.

— А вы не смейтесь. Чего не имеешь, о том и думаешь. Одиночество располагает к раздумьям. Говорят, большинство людей на девяносто процентов живет в прошлом, на семь в настоящем, и, значит, для будущего остается только три процента. Умней всех об этом сказал Сэтчел Пейдж

Иллюстрации Макса Швиммера к стихам Владимира Маяковского

В Лейпциге издан сборник стихов Владимира Маяковского с иллюстрациями известного немецкого (ГДР) художника профессора Макса Швиммера (1895—1960). Книга названа «Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо».

Мы воспроизводим несколько рисунков Макса Швиммера к отдельным стихотворениям Владимира Маяковского.

«Призыв»

«Левый марш»

«Уже!»

«Германия»

«Жорес»

Вот его слова: «Не оглядывайтесь назад. Может быть, за вами погоня». Ну, мне пора. Мистер Бейкер завтра едет в Нью-Йорк на несколько дней. У него хлопот полон рот.

— Каких таких хлопот?

— Не могу знать. Но я разбираю почту. Последнее время он получает много писем из Олбэни.

— Политика?

— Я только разбираю почту. Я ее не читаю. Что, у вас всегда так тихо?

— В это время дня всегда. Минут через десять покупателей будет уже много.

— Ага, видите! Вот что значит опыт. Пари держу, до своего банкротства вы этого не знали. Ну, до скорого. Помните же: на бога надейся, а сам не плошай.

От пяти до шести торговля, по обыкновению, шла бойко. Город жил уже по летнему времени, переведя стрелки на час вперед, и, когда Итен, внеся с улицы лотки с фруктами, запер дверь и спустил зеленые шторы, солнце еще стояло высоко над горизонтом и было совсем светло. Он собрал по списку продукты для дома и уложил их в большую бумажную сумку. Потом снял фартук, надел пальто и шляпу и, взгромоздясь на прилавок, оглядел свою паству, безмолвствовавшую на полках.

— Никаких проповедей! — сказал он — Просто запомните слова Сэтчела Пейджа. Надо, видно, и мне взять себе за правило не оглядываться назад.

Он достал из бумажника линованые странички и вложил их в пакетик из вощеной бумаги. Потом, открыв белую эмалированную дверцу холодильника, засунул пакетик в глубину, за компрессор, и снова захлопнул дверцу.

В ящике под кассой он разыскал пыльную, захватанную телефонную книгу Манхэттена, хранившуюся там на случай каких-нибудь срочных заказов поставщикам. Буква «С», Соединенные Штаты, департамент юстиции... Он вел пальцем вниз вдоль длинного столбца названий, пока не дошел до Службы иммиграции и натурализации — БА 7-0300, веч. суб. вскр. праздн. ОЛ 6-5888.

Он сказал вслух:

— ОЛ 6-5888 — ОЛ 6-5888, потому что уже вечер.— И добавил, обращаясь к консервным банкам, но не глядя на них: — Если все честно и в открытую, никому вреда не будет.

Итен вышел из лавки через боковую дверь и запер ее за собой. Держа в руке сумку с продуктами, он направился через улицу к подъезду, над которым красовалась вывеска «Отель и ресторан «Фок-мачта». В ресторане толпились любители коктейлей, но в маленьком вестибюле, где стояла телефонная будка, не было никого, даже портье. Он затворил за собой стеклянную дверь, поставил сумку на пол, высыпал на полочку всю свою мелочь, нашел десятицентовую монетку и, опустив ее в щель, набрал 0.

— Вас слушают.

— Коммутатор? Я хочу говорить с Нью-Йорком.

— Пожалуйста. Набирайте номер.

И он набрал номер.

Итен пришел домой с полной сумкой продуктов. Хорошо, когда вечер такой длинный! Он шел, приминая подошвами пышную траву газона. Войдя, он смачно поцеловал Мэри.

— Лапка,— сказал он,— газон в невозможном виде. Что, если послать Аллена подстричь его?

— Право, не знаю. Уж очень сейчас горячее время — конец года, экзамены.

— А что это за отвратительное карканье несется из гостиной?

— Аллен упражняется в чревовещании. Он будет выступать на заключительном вечере в школе.

— Да, придется, видно, мне самому подстригать газон.

— Не сердись, милый. Ты же знаешь детей.

— Начинаю узнавать понемножку.

— Ты не в духе? Был трудный день?

— Как тебе сказать. Пожалуй, нет. Но я с утра на ногах, и перспектива топтаться по газону с косилкой не приводит меня в восторг.

— Хорошо бы нам иметь мотокосилку. Вот как у Джонсонов — садишься и едешь.

— Хорошо бы нам иметь садовника, или еще лучше двух. Как у моего деда. Садишься и едешь? Да, с такой косилкой Аллен, может, и согласился бы подстригать газон.

— Не придирайся к мальчику. Ему всего четырнадцать лет. Они все такие.

— Кто это придумал, что дети — радость родителей?

— Конечно же, ты не в духе.

— Как тебе сказать. Пожалуй, да. А это карканье меня приводит в бешенство.

— Аллен упражняется.

— Это я уже слышал.

— Пожалуйста, не вымещай на нем свое настроение.

— Постараюсь. Хотя это, в общем, было бы невредно.

Итен толкнул дверь в гостиную, где Аллен выкрикивал какие-то искаженные до неузнаваемости слова, держа во рту маленькую трубочку вроде свистульки.

— Что это такое?

Аллен выплюнул трубочку на ладонь.

— Это чревовещание. Помнишь, ты мне принес коробку «Пикса»?

— А ты его уже съел?

— Нет. Я не люблю корнфлекс. Ну, папа, мне надо упражняться

— Успеешь.— Итен сел в кресло.— Что ты думаешь о своем будущем?

— О чем?

— О будущем. Разве вам в школе не говорят о таких вещах? Что будущее в ваших руках?

Эллен успела проскользнуть в комнату и клубочком, по-кошачьи свернуться на диване. Она тотчас же отозвалась журчащим смешком, в котором было спрятано стальное лезвие.

— Он хочет попасть на телевидение.— сказала она.

— А что, один мальчишка, ему всего тринадцать лет, выиграл в телевикторину сто тридцать тысяч долларов.

— А потом оказалось, что это было жульничество.

— А все равно сто тридцать тысяч у него остались.

Итен спросил негромко

— Моральная сторона дела тебя не беспокоит?

— Чего там, когда столько денег.

— Ты, значит, не считаешь это нечестным?

— Подумаешь, все так делают.

— А ты слыхал о тех, кто предлагал себя на серебряном блюде и не нашел охотников? Это значит — ни чести, ни денег.

— Что ж, риск всегда есть. Это вроде как с печеньем, которое крошится.

— Ах вот как,— сказал Итен.— Чем философствовать, ты бы лучше последил за своими манерами. Как ты сидишь? Сядь прямо!

Мальчик вздрогнул, посмотрел на отца, как бы желая удостовериться, что он не шутит, потом выпрямился с обиженным видом.

— Как у тебя дела в школе?

— Нормально.

— Я не понимаю, что это значит. Хорошо или плохо?

— Ну, хорошо.

— А нельзя ли без «ну»?

— Хорошо.

— Ты собирался писать сочинение на тему о своей любви к Америке. Судя по твоей готовности погубить Америку, ты, видно, передумал.

— Как это — погубить?

— Разве можно по-честному любить то, что нечестно?

— Да ну, папа, все так делают.

— По-твоему, это меняет суть дела?

— Ничего тут такого нет. А сочинение я уже написал.

— Отлично, дашь мне прочесть.

— Я его уже отправил.

— Но копия у тебя, вероятно, осталась?

— Нет.

— А если оно пропадет?

— Я как-то не подумал. Папа, все мальчики летом едут в лагерь, я тоже хочу.

— Это нам не по карману. И далеко не все мальчики едут.

— Эх, были бы у нас деньги.— Он посмотрел на свои руки, лежавшие на коленях, и облизнул губы.

У Эллен, не отводившей от него взгляда, сузились зрачки.

Итен внимательно наблюдал за сыном.

— Это можно устроить,— сказал он.

— Что?

— Можешь летом поработать в лавке.

— Как так — поработать?

— То есть ты хочешь знать, что тебе придется делать? Носить товар, расставлять его на полках, подметать пол, а может быть, если я увижу, что ты справляешься,— и с покупателями заниматься.

— Но я хочу ехать в лагерь.

— Ты и сто тысяч выиграть хочешь.

— Может, я получу премию за сочинение. Хоть в Вашингтон тогда поеду. Все-таки разнообразие после целого года учебы.

— Аллен! Существуют неизменные правила поведения, чести, вежливости, морали — вообще всякого проявления себя вовне. Пора научить тебя считаться с ними хотя бы на словах. Возьму тебя в лавку, и будешь работать.

Мальчик поднял голову.

— Не имеешь права.

— Что, что такое?

— Закон о детском труде. До шестнадцати лет даже специального разрешения нельзя получить. Что ж, ты хочешь, чтобы я нарушал закон?

— По-твоему, значит, все дети, которые помогают родителям, наполовину рабы, наполовину преступники? — Гнев Итена был неприкрытым и беспощадным, как любовь. Аллен отвел глаза.

— Я этого не хотел сказать.

— Надеюсь, что не хотел. И другой раз не скажешь. Тебе должно быть стыдно перед двадцатью поколениями Хоули и Алленов. Они все были достойными людьми. А тебе еще нужно заслужить такое название.

— Да, папа. Можно, я пойду к себе, папа?

— Ступай.

Аллен медленно побрел к лестнице.

Как только за ним закрылась дверь, Эллен замахала ногами в воздухе. Потом села и чинно, благонравно одернула юбку.

— Я читала речи Генри Клея. Вот умел говорить.

— Еще бы.

— Ты помнишь эти речи?

— Не так уж хорошо, пожалуй. Я ведь их читал давно.

— Мне очень понравилось.

— Я бы сказал, это все же чтение не для школьниц.

— А мне очень понравилось.

Итен поднялся с кресла, преодолевая тяжесть долгого, утомительного дня.

В кухне он застал Мэри, сердитую и заплаканную.

— Я все слышала,— сказала она.— Ты просто сам не знаешь, что говоришь. Ведь он еще ребенок.

— Вот и хорошо, а то потом поздно будет, голубка моя.

— Пожалуйста, без голубок. Я не позволю тебе тиранить детей.

— Тиранить? О господи!

— Он еще ребенок. Что ты вдруг напал на него?

— Ничего, ему это на пользу.

— Не знаю, о какой пользе ты говоришь. Раздавил мальчика, как козявку.

— Ты не права, родная. Я просто хочу, чтобы он увидел жизнь, как она есть. А то у него складывается ложное представление о ней.

— А кто ты такой, чтобы судить о жизни?

Итен молча пошел в выходу.

— Куда ты?

— Подстригать газон.

— Но ведь ты же устал.

— Устал — отдохну.— Он через плечо оглянулся на Мэри, стоявшую у двери в гостиную.— Трудно людям понять друг друга,— сказал он и на мгновение улыбнулся ей уже с порога.

Через минуту со двора донесся стрекот косилки, врезающейся в мягкую, густую траву.

Звук приблизился к двери и затих.

— Мэри,— позвал Итен.— Мэри, голубка, я люблю тебя.— И косилка снова застрекотала, энергично выравнивая разросшийся газон.

ГЛАВА XII

Марджи Янг-Хант была привлекательная женщина, начитанная, умная, настолько умная, что знала, когда и как маскировать свой ум. С мужьями ей не повезло: один оказался слаб, второй еще слабее — умер. Романы давались ей не легко. Она их создавала сама, укрепляла шаткие позиции частыми телефонными звонками, письмами, поздравительными открытками, тщательно подстроенными случайными встречами. Она варила бульон больным и помнила все дни рождения. Этим она не давала людям забыть о себе.

Ни одна женщина в городе не заботилась так об отсутствии живота, о чистоте и гладкости кожи, белизне зубов, округлой линии подбородка. Львиную долю ее средств поглощал уход за ногтями и волосами, массаж, кремы и притирания. Другие женщины говорили: «Она гораздо старше, чем кажется».

Когда, несмотря на кремы, массаж и гимнастику, ее груди потеряли упругость, она заковала их в гибкую броню, и они торчали высоко и за-

дорно, как прежде. Ее грим отнимал много времени и труда. Ее волосы обладали тем блеском, отливом и волнистой пышностью, которую обещает телевизионная реклама косметических фирм. Гуляя, обедая, танцуя с очередным кавалером, она была весела, остроумна, опутывала кавалера сетью мелких магнитов — и кто бы мог догадаться, как скучно ей в который уж раз пускать в ход испытанные приемы. После приличествующих промедлений и денежных затрат дело обычно кончалось постелью — если обстоятельства позволяли. А потом снова следовало закрепление позиций. Рано или поздно постель должна была послужить капканом, который, захлопнувшись, гарантировал бы ей покой и благополучие в будущем. Но намеченная добыча всякий раз ускользала из стеганой шелковой ловушки. Кавалеры все больше попадались женатые, хворые или чересчур осмотрительные. И никто лучше самой Марджи не знал, что время ее уже на исходе. Ей самой ее старинные карты не могли посулить ничего утешительного.

Марджи знала многих мужчин, и среди них были люди, угнетенные чувством вины, уязвленные в своем честолюбии или просто отчаявшиеся, оттого у нее постепенно выработалось чувство презрения к объекту, как у профессиональных истребителей паразитов. Таких людей нетрудно было пронять, действуя на их трусость или честолюбие. Они сами напрашивались на обман, и потому с ними она не испытывала торжества, а лишь нечто вроде брезгливой жалости. Это были ее друзья, ее сообщники. Из сострадания она даже не позволяла им обнаружить, что они для нее друзья. Она давала им лучшее, что в ней было, потому что они не требовали от нее ничего. И она держала в тайне свои отношения с ними, в глубине души сама себя не одобряя. Так было у нее с Дэнни Тэйлором, так было с Альфио Марулло, с главным констеблем Стоуоллом Джексоном Смитом и с некоторыми другими. Они доверяли ей, а она — им, и тайный факт их существования был тем уголком, где она могла иногда отогреться и отдохнуть от притворства. Эти друзья разговаривали с нею откровенно и без страха, для них она была чем-то вроде андерсеновского колодца — слушателем внимательным, неосуждающим и безмолвным. У большинства людей есть скрытые пороки, у Марджи Янг-Хант была тщательно скрываемая добродетель. Может быть, именно в силу этого скромного обстоятельства ей было известно больше, чем кому-либо о делах Нью-Бэйтауна и даже Уэссекского округа, и то, что она знала, так при ней и оставалось — должно было оставаться, ибо никакой выгоды для себя она из этого извлечь не могла. В других случаях у Марджи ничего даром не пропадало.

Замысел относительно Итена Аллена Хоули возник у нее случайно, от нечего делать. Отчасти Итен был прав, подозревая ее в коварном желании испытать на нем свою женскую силу. Из тех унылых мужчин, что искали у нее поддержки и утешения, многие были стреножены чувством неполноценности, не могли освободиться от сексуальных травм, омрачавших и прочие стороны их жизни. С ними ей было легко: немножко лести, вовремя сказанное ободряющее слово, и они уже готовы были к новому бунту против супружеского бича. Дружба с Мэри Хоули, кстати вполне чистосердечная, постепенно привлекла ее внимание к Итену, человеку, страдавшему от травмы иного рода, жертве социально-экономической неудачи, подорвавшей его силы и уверенность в себе. В ее пустой жизни, без дела, без любви, без детей, явился вдруг интерес: вылечить душевное увечье этого человека, поставить перед ним новую цель. Это была игра, нечто вроде головоломки, задача, которую ей захотелось решить не столько из добрых чувств, сколько из любопытства и от скуки. Итен был головой выше всех ее мужчин. Взяв его под свое начало, она возвысилась бы в собственных глазах, а это ей было очень и очень нужно.

Вероятно, только она одна видела всю глубину совершившейся в Итене перемены, и ей было страшно, потому что виновницей этой перемены она считала себя. У мыши отрастала львиная грива. Марджи видела, как твердеют мускулы под тканью рукавов, как в глазах откладывается беспощадность. Так, должно быть, чувствовал себя кроткий Эйнштейн, когда выношенная им мысль о природе материи огненной шапкой накрыла Хиросиму.

При всем своем расположении к Мэри Хоули Марджи не испытывала к ней ни сочувствия, ни жалости. Женщины легко мирятся с невзгодами, особенно если они выпадают на долю других женщин.

Крохотный чистенький домик близ Старой Гавани белел в оправе большого запущенного сада. Там Марджи Янг-Хант, склонившись к туалетному зеркалу, проверяла свое оружие и сквозь крем, пудру, цветные тени на веках и тушь ресниц видела спрятанные морщинки, одряблевшую кожу. Годы подступали, как волны прилива, даже в тихую погоду захлестывающие прибрежные скалы. У зрелости есть свой арсенал, свои средства обороны, но их применение требует особых знаний и навыков, которыми она еще не успела овладеть. Надо поторопиться с этим, пока не обрушилась декорация жизнерадостной молодости, выставив ее всем напоказ, голую, жалкую и смешную. Секрет ее успеха был в том, что она никогда не позволяла себе распускаться, даже наедине с собой. Сейчас, сидя перед зеркалом, она в виде опыта дала на миг обвиснуть углам рта, приспустила веки. Слегка пригнула голову, и под обычно вздернутым подбородком обозначилась морщина, похожая на след от веревки. Сразу изображение в зеркале постарело на двадцать лет, и она содрогнулась от леденящего предчувствия. Слишком долго она оттягивала срок. Женщине требуется специально оформленная витрина, где бы она могла стариться,— свет, бутафория, черный бархат, на фоне которого можно спокойно седеть и толстеть, хихикать и жадничать,— ей нужны дети, любовь, забота, солидный, нетребовательный муж или еще более нетребовательная и солидная вдовья часть в банке. Женщина, старящаяся в одиночестве,— никому не нужная ветошь, жалкая развалина, если нет хотя бы дряхлых домочадцев, которые бы клохтали и охали над ней, растирая больные места.

К горлу вдруг подкатил горячий комок страха. С первым мужем ей посчастливилось в одном. Он был слаб, и она научилась играть на его слабости. Его безответное обожание было так велико, что, когда она захотела с ним развестись, он не оговорил себе права прекратить выплату алиментов в случае ее вторичного замужества.

Второй муж думал, что у нее есть свой капитал, да так оно, в сущности, и было. Умирая, он не оставил ей почти ничего, но благодаря алиментам от первого мужа она жила без нужды, хорошо одевалась и делала что хотела. Но если первый муж умрет! Вот откуда был этот комок страха. Вот откуда брался кошмар, преследовавший ее днем и ночью: ведь каждый месячный чек мог оказаться последним.

В январе она повстречала его на просторном перекрестке Мэдисон-авеню и Пятьдесят седьмой улицы. Он постарел и похудел. Мысль о бренности его существования не давала ей покоя. Если старый хрыч умрет, перестанут поступать деньги. Пожалуй, она была единственным человеком на свете, который от всей души молился об его здравии.

И вот сейчас это изможденное, немое лицо с потухшими глазами всплыло на экране ее памяти и подтолкнуло горячий комок к горлу. Если эта скотина умрет...

Марджи на мгновение замерла у зеркала и, собрав всю волю, метнула ее, как дротик. Подбородок вздернулся, морщины как не бывало, глаза заблестели, кожа плотно прилегла к черепу, плечи распрямились. Она вскочила и стремительным вальсом прошлась по ворсистому крас-

ному ковру. На босых ногах ногти алели лаком. Спешить, спешить, торопиться, пока не поздно.

Она распахнула дверцы стенного шкафа, схватила платье из мягкой, соблазнительной ткани, припасенное для праздника Четвертого июля, туфли на каблуках-гвоздиках, незаметные глазу чулки. От вялости не осталось и следа. Она одевалась с деловитой быстротой мясника, оттачивающего нож перед началом работы, для проверки порой оглядывая себя в зеркале, как мясник пробует пальцем остроту лезвия. Поскорей, но не наспех, поскорей — ведь мужчины не любят ждать,— а потом перейти на размеренную небрежность элегантной, шикарной, уверенной в себе светской дамы со стройными ножками, в безукоризненно белых перчатках. Ни один мужчина не проходил мимо, ни оглянувшись на нее. Шофер фирмы «Миллер и братья, строительные материалы» даже присвистнул, проезжая на трехтонке, груженной досками, а два юнца-старшеклассника сощурили узкие, как у Рудольфо Валентино, глаза и, разинув рот, судорожно глотнули слюну.

— Ничего, а? — спросил один.

А другой только выдохнул:

— Йэхх!

— Хотел бы ты...

— Йэхх!

Даме просто так по улице расхаживать не положено — в Нью-Бэйтауне, по крайней мере. Дама должна куда-то направляться, иметь перед собой цель, пусть хоть самую пустяковую. Отмечая пунктиром шагов тротуар Главной улицы и раскланиваясь со знакомыми, Марджи почти машинально давала каждому оценку в уме.

Мистер Холл — живет в кредит, и уже не первый год.

Стони — крепкий мужчина, без оговорок, но какая женщина может прожить на оклад или пенсию полисмена? К тому же он из числа друзей.

Гаральд Бек — у этого собственный дом и даже еще кое-какая недвижимость, но он не в себе, это все знают, кроме разве его самого.

Макдоуэлл — «Давно вас не видела, сэр. Как Милли?» Нет, невозможно — шотландец, скуп, ни на шаг от больной жены, а она из тех больных, что живут вечно. Притом скрытен. Его финансовые дела — тайна для всех.

Дональд Рэндолф со своим томным взором — незаменимый партнер для коктейля, джентльмен до мозга костей, даже в пьяном виде, но в мужья не годится, разве если мечтаешь о семейном уюте за стойкой бара.

Гарольд Люс — говорят, он в родстве с издателем журнала «Тайм», но ведь кто говорит — он сам. Угрюмый человечек с репутацией умницы, основанной на его неуменье связать два слова.

Эд Уонтонер — враль, плут и на руку нечист. По слухам, ухитрился сколотить капиталец, и жена у него одной ногой в могиле, но Эд никому не доверяет. Даже пса своего держит на цепи, чтобы не убежал.

Пол Стрэйт — главарь местных республиканцев. Жену его зовут Беттерфляй, и это не прозвище. Беттерфляй, так она и наречена при крещении. Пол Стрэйт тогда в силе, когда в штате Нью-Йорк губернатор — республиканец. Он владелец городской свалки и берет за вывозку мусора по двадцать пять центов с бака. Говорят, когда на свалке развелось столько крыс, что это грозило бедствием городу, Пол выдавал желающим платные разрешения на отстрел, а также предоставлял напрокат карманные фонари и винтовки с патронами. Он до того схож с президентом, что многие называли его Айком. Но Дэнни Тэйлор как-то под пьяную руку окрестил его Непрекрасным Полом, так оно и пошло. Теперь за глаза его и не зовут иначе.

Марулло — что-то он совсем плох последнее время. В лице ни кровинки. А глаза — как у человека, получившего крупнокалиберную пулю в

живот. Прошел мимо собственной лавки и не оглянулся. Марджи круто свернула и вошла в лавку, пружиня подбористым задом.

Итен разговаривал с каким-то моложавым брюнетом в модных брюках и шляпе с узкими полями. Лет под сорок, подтянутый, крепкий, деловито-сосредоточенный. Он стоял, далеко перегнувшись через прилавок, словно хотел посмотреть, нет ли у Итена налетов в горле.

Марджи сказала:

— Привет! Я вижу, вы заняты. Зайду попозже.

Если женщине некуда девать время, проще всего зайти в банк, там всегда найдутся дела, пустые, но вполне оправданные. Марджи перешла на другую сторону и вступила под своды из мрамора и нержавеющей стали.

Джой Морфи, увидя ее, засиял во всю решетку кассового окошка. Сплошная улыбка, сплошное добродушие, сплошные радости и никаких матримониальных перспектив. Марджи правильно считала его прирожденным холостяком, который умрет, но своей природе не изменит. Двуспальная могила не для Джоя.

— Скажите, сэр, есть у вас парные, свежие деньги?

— Прошу прощенья, мэм, сейчас взглянем. Вроде бы где-то были. Сколько прикажете отпустить?

— Шесть унций, если можно.— Она достала чековую книжку из белой лайковой сумочки и выписала чек на двадцать долларов.

Джой рассмеялся. Марджи ему нравилась. Время от времени, не слишком часто, он приглашал ее пообедать, а потом спал с ней. Но он ценил в ней и собеседницу, понимающую шутку.

Он сказал:

— Миссис Янг-Хант, вы мне напомнили одного знакомого, который в Мексике был сподвижником Панчо Вильи. Знаете такого?

— Понятия не имею.

— Ну, все равно. Он мне рассказывал такой анекдот. Когда Панчо попал на север, он завел станок и печатал сам деньги, бумажки по двадцать песо. Напечатал такую тьму, что его люди их считать перестали. Тем более что в счете они были не слишком сильны. Брали их на вес.

Марджи сказала:

— Джой, вы никак не можете без личных воспоминаний.

— Что вы, миссис Янг-Хант, побойтесь бога. Я тогда еще под стол пешком ходил. Это просто анекдот. Так вот, является раз к нему аппетитная такая дамочка, хоть из краснокожих, но аппетитная, является и говорит: «Мой генерал, вы казнили моего мужа и оставили меня вдовой с пятью детьми, разве ж так делают народную революцию?» Панчо ей подвел баланс, вот как я сейчас.

— У вас нет закладных, Джой.

— Знаю. Но ведь это анекдот. Панчо, значит, говорит адъютанту: «Отвесить ей пять кило денег!» Вышла целая кипа бумаги. Перевязали ей эту кипу проволокой, и дамочка потащила ее домой. Вдруг подходит к Панчо лейтенант, руку под козырек и докладывает: «Мой генерал («ми грал», по-ихнему), а ведь мы ее мужа не расстреляли. Он был пьян. Мы его пока посадили в каталажку». А Панчо все глядел дамочке вслед. Услышал он это и говорит: «Сейчас же ставьте его к стенке. Нельзя обманывать бедную вдову».

— Джой, вы невозможный человек.

— А, между прочим, анекдот основан на истинном происшествии — я в это верю.— Он повертел в руках ее чек.— Вам какими давать — по двадцать, по пятьдесят, по сто?

— Четвертаками, если можно.

Им было весело друг с другом.

Из-за перегородки матового стекла выглянул мистер Бейкер.

Тут тоже таилась возможность. В свое время мистер Бейкер делал ей хоть и туманные, но довольно недвусмысленные авансы. А мистер Бейкер — это мистер Доллар. Он, правда, был женат, но Марджи хорошо знала Бейкеров этого грешного мира. Если им чего-нибудь хочется, за моральным оправданием дело не станет. Очень хорошо, что она его тогда отшила. Таким образом, он еще не скинут со счетов.

Она спрятала в сумочку четыре пятидолларовые бумажки, полученные от Джоя, и уже двинулась было навстречу седовласому банкиру, но в это время давешний собеседник Итена вошел в банк, не спеша прошел мимо нее, предъявил карточку и был приглашен в кабинет мистера Бейкера. Дверь за ним затворилась.

— Ну, прощайте,— сказала Марджи.

— Грустно слышать такие слова, тем более из самых прелестных уст Уэссекского округа,— ответил Джой.— А может быть, встретимся сегодня вечером? Пообедаем, потанцуем и так далее?

— Сегодня я занята,— возразила она.— Что это за тип?

— Первый раз его вижу. Похож на банковского ревизора. Когда я смотрю на такую физиономию, я всегда думаю: хорошо, что я честный человек, и еще лучше — что я усвоил четыре правила арифметики.

— Знаете, Джой, от такого мужа, как вы, даже ангел сбежал бы.

— На том стоим, сударыня.

— Ну, пока.

Она вышла, вернулась на другой угол и вошла в лавку Марулло.

— Привет, Итен.

— Здравствуйте, Марджи.

— Кто был этот прекрасный незнакомец?

— А где же ваш магический кристалл?

— Тайный агент?

— Хуже. Интересно, почему все так боятся полиции? Даже если за тобой никакой вины нет, все равно, увидишь полицейского, и сразу тебе делается неуютно.

— А что, разве этот кучерявый херувимчик — шпик?

— Не совсем, но около того. Из Федерального бюро, говорит.

— Что вы натворили, Итен?

— Натворил? Я? Почему «натворил»?

— А что ему нужно?

— Я знаю только, о чем он меня спрашивал, а что ему нужно было, я не знаю.

— А о чем он спрашивал?

— Давно ли я знаю Марулло. Кто здесь еще его знает. С какого времени он живет в Нью-Бэйтауне?

— Что же вы отвечали?

— Когда я ушел на фронт, его здесь не было. Когда я вернулся, я его застал здесь. Когда я обанкротился, он стал хозяином лавки и взял меня к себе на службу.

— Как вы думаете, что бы это значило?

— Бог его знает.

Марджи старалась не смотреть ему в глаза. Она думала: прикидывается простачком. Любопытно, зачем, в самом деле, приходил этот тип.

Он вдруг сказал, так просто, что она даже испугалась:

— Вы мне не верите, Марджи. Странное дело, когда говоришь правду, тебе никто не верит.

— Правда бывает разная, Ит. Если у вас курица на обед, все едят курятину, но одним достается белое мясо, а другим темное.

— Пожалуй, верно. Честно говоря, Марджи, меня это встревожило. Я дорожу своим местом. Если что-нибудь стрясется с Альфио, я лишусь работы.

— У вас ведь скоро будет много денег, забыли?

— Как-то трудно держать это в уме, пока их нет.

— Итен, я вам хочу кое-что напомнить. Дело было весной, перед самой пасхой. Я заходила в лавку, и вы меня назвали дщерью иерусалимской.

— Да, это было в страстную пятницу.

— Значит, не забыли. Так вот, я теперь знаю. Это от Матфея. Красиво — и жутковато.

— Да.

— А с чего это вы вдруг?

— Тетушка Дебора виновата. Она меня регулярно раз в год распинала. Так оно и продолжается до сих пор.

— Вы шутите. А тогда вы не шутили.

— Не шутил. И сейчас не шучу.

Она сказала весело:

— А знаете, мои предсказания, кажется, начинают сбываться.

— Да, кажется.

— Выходит, вы передо мной в долгу.

— Согласен.

— Когда же думаете расплачиваться?

— Не угодно ли пройти со мной в кладовую?

— Не думаю, чтобы из этого что-нибудь вышло.

— Вот как?

— Да, Итен, и вы сами этого не думаете. Вы ни разу в жизни не сходили с прямой дорожки.

— Можно попробовать.

— Вы блудить не умеете, даже если бы захотели.

— Можно научиться.

— Научить вас могла бы или любовь или ненависть. И в том и в другом случае это долго и сложно.

— Может быть, вы и правы. Но откуда вы знаете?

— Так просто знаю — и все.

Он отворил дверцу холодильника, достал бутылочку кока-колы, открыл ее, протянул Марджи мгновенно запотевшую бутылку, а сам стал открывать еще одну, для себя.

— Что же вам от меня нужно?

— У меня еще не было таких мужчин, как вы. Может быть, я хочу испытать, как это, когда тебя так любят или так ненавидят.

— Вы же колдунья. Свистните, и поднимется буря.

— Свистеть я не умею. С другими мужчинами мне довольно поднять брови, чтобы вызвать бурю — маленькую, в стакане воды. А вот как вас зажечь, не знаю.

— Может быть, вы уже зажгли.

Он бесцеремонно разглядывал ее со всех сторон.

— Постройка на совесть,— сказал он.— Гладко, мягко, крепко и приятно.

— Откуда вам это известно? Вы меня никогда руками не трогали.

— А если трону — спасайтесь, пока целы.

— Любовь моя!

— Ладно, бросьте. Что-то тут не то. Я достаточно тщеславен, чтобы знать цену своим чарам. Что вам нужно? Вы славная женщина, но вы себе на уме. Что вам нужно?

— Я предсказала вам удачу, и мое предсказание сбывается.

— И вы желаете получить свою долю?

— Хотя бы.

— Вот это уже похоже на правду.— Он возвел глаза к потолку.— Мэри, владычица души моей,— сказал он.— Взгляни на меня, твоего

мужа, твоего возлюбленного, верного твоего друга. Сохрани меня от зла, что во мне самом, и от напасти извне. Я взываю к твоей помощи, Мэри, ибо сильны и непостижимы алкания мужчины и ему от века предначертано всюду сеять свое семя. Ога pro me.

— Ох и плут же вы, Итен.

— Допустим. Но бывают и смиренные плуты.

— Я вас стала бояться. Раньше этого не было.

— А почему, собственно?

У нее вдруг появилось в глазах то, карточное выражение, и он это заметил.

— Марулло.

— Что Марулло?

— Я *вас* спрашиваю.

— Одну минуточку. Полдюжины яиц и пачку масла, так? А кофе не нужно?

— Пожалуй, дайте банку. Пусть будет в запасе. А что, хорошие это мясные консервы — «Амдам»?

— Не пробовал. Но многие хвалят. Одну минуточку, мистер Бейкер. Кажется, миссис Бейкер брала эти консервы, как они?

— Не знаю, Итен. Я ем то, что мне подают. Миссис Янг-Хант, вы хорошеете с каждым днем.

— Благодарю за комплимент.

— Это не комплимент, это чистая правда. И потом — вы всегда так элегантны.

— Я как раз то же самое подумала о вас. Вы не какой-нибудь там красавчик, но портной у вас первоклассный.

— Вероятно, судя по его ценам.

— Кто это сказал: «Манеры создают человека»? Теперь надо говорить иначе: «Портной создает человека, и по любому образу и подобию».

— У хорошо сшитых костюмов есть один недостаток: их невозможно сносить. Этот я ношу уже десять лет.

— Да не может быть, мистер Бейкер. А как здоровье миссис Бейкер?

— Достаточно хорошо, чтобы она могла жаловаться. Что вы никогда не навестите ее, миссис Янг-Хант? Она скучает без общества. В нашем поколении мало людей, способных вести культурный разговор. А насчет манер, это слова Уикхэма. Они служат девизом Уинчестерского колледжа.

Она повернулась к Итену:

— Найдите мне в Америке еще одного банкира, который бы знал такие вещи.

Мистер Бейкер покраснел.

— Жена выписывает «Великие творения». Она большая любительница книг. Так вы ее непременно навестите.

— С удовольствием. Сложите, пожалуйста, мои покупки в сумку, мистер Хоули. Я за ними зайду на обратном пути.

— Хорошо, мэм.

— В высшей степени привлекательная женщина,— сказал мистер Бейкер.

— Они с моей Мэри приятельницы.

— Итен, был у вас этот приезжий чиновник?

— Да.

— Что ему нужно?

— Не знаю. Задавал мне вопросы относительно Марулло. Я не знал, как на них отвечать.

Мистер Бейкер наконец отпустил от себя видение Марджи — так морской анемон выпускает из щупалец скорлупу высосанного им краба.

— Итен, вы не видели Дэнни Тэйлора?
— Нет, не видел.
— И вы не знаете, где он?
— Нет, не знаю.
— Надо найти его. Вы не догадываетесь, где он может быть?
— Я его последний раз видел — позвольте, когда это? — еще в мае. Он собирался ехать лечиться.
— А куда, не знаете?
— Он не говорил — куда. Сказал только, что хочет еще раз попробовать.
— В каком-нибудь государственном заведении?
— Нет, не думаю, сэр. Он занял у меня деньги.
— Что-о?
— Я ему дал взаймы немного денег.
— Сколько?
— Я не понимаю вас, сэр...
— Да, простите, Итен. Вы ведь с ним старые друзья. Простите. А кроме тех, что вы ему дали, у него еще были деньги?
— По-видимому, да.
— Сколько, вы не знаете?
— Нет, сэр. Но у меня создалось впечатление, что у него деньги есть.
— Если вы случайно узнаете, где он, пожалуйста, скажите мне.
— Да я бы с удовольствием, мистер Бейкер. Может быть, узнать телефоны всех таких лечебниц и навести справки?
— Он у вас взял наличными?
— Да.
— Тогда всякие справки бесполезны. Он наверняка изменил имя.
— Почему?
— Люди из хороших семейств всегда так поступают. Итен, вы забрали у Мэри те деньги?
— Да.
— Она не сердится?
— Она не знает.
— А вы, я вижу, поумнели.
— Учусь у вас, сэр.
— Учитесь, учитесь.
— Я таким образом многое выясняю для себя. Главным образом — как мало я знаю.
— Что ж, и это полезно. Мэри здорова?
— Она у меня всегда молодцом. Как бы мне хотелось прокатиться с ней куда-нибудь. Мы ведь уже много лет за городом не были.
— У вас еще все впереди, Итен. А я вот думаю на Четвертое июля уехать в Мэйн. Праздничный шум мне уже не по силам.
— Вам, банкирам, в этом смысле вольготно. Ведь вы, кажется, недавно ездили в Олбэни?
— Откуда вы взяли?
— Сам не знаю — слыхал от кого-то. Может быть, миссис Бейкер говорила Мэри.
— Не могла она сказать. Она не знает. Постарайтесь вспомнить, от кого вы слышали.
— А может, мне просто показалось.
— Итен, меня это очень беспокоит. Напрягите свою память и постарайтесь вспомнить.
— Право, не могу, сэр. Да не все ли равно, раз это неправда?
— Я вам скажу по секрету, почему я так встревожился. Дело в том, что это правда. Губернатор вызывал меня. Вопрос очень серьезный. Не представляю себе, как это стало известно.

— Никто вас там не видел?

— Как будто нет. Я летел туда и обратно. Очень серьезный вопрос. Я вам сейчас кое-что расскажу. Если и об этом станет известно, я хоть буду знать, от кого.

— Тогда лучше не говорите.

— Нет уж, раз вы знаете насчет Олбэни, я должен вам сказать. Власти штата заинтересовались делами нашего округа и, в частности, нашего города.

— А почему?

— Думаю, в Олбэни кое-что учуяли.

— Политика?

— То, что делает губернатор,— всегда политика.

— Мистер Бейкер, а почему об этом нельзя говорить открыто?

— А вот почему. Где-то что-то просочилось, и, когда началась ревизия, ревизоры уже почти ничего не могли обнаружить.

— Понятно. Очень жаль, что вы мне сказали. Я не из болтливых, но все-таки предпочел бы ничего не знать.

— Если на то пошло, я и сам бы предпочел не знать, Итен.

— Выборы седьмого июля. Вы думаете, все может раскрыться раньше?

— Не знаю. Будет зависеть от Олбэни.

— А не может быть, что и Марулло тут замешан? Я боюсь за свою работу.

— Да нет, едва ли. Тот чиновник был из Нью-Йорка. Из министерства юстиции. А вы не проверяли его полномочий?

— Признаться, не подумал. Он мне показывал какую-то бумажку, но я не стал смотреть.

— Напрасно. Всегда нужно проверять.

— А ничего, что вы теперь хотите уехать?

— Ну, это пустяки. В такой день, как Четвертое июля, ничего случиться не может. Недаром японцы выбрали праздничный день для нападения на Пирл-Харбор. Они знали, что в городе никого не будет.

— Как бы мне хотелось тоже поехать куда-нибудь с Мэри.

— Придет время — поедете. А сейчас я вас очень прошу, пошевелите мозгами и найдите мне Тэйлора.

— А зачем? Разве это так важно?

— Очень важно. Я вам пока не могу сказать — почему.

— В таком случае мне очень жаль, что я не знаю, где он.

— Может быть, если вы его разыщете, вам не нужно будет так цепляться за эту вашу работу.

— Ну, раз так, уж я приложу все старания, сэр.

— Вот и хорошо, Итен. Я на вас надеюсь. И как только он найдется, сейчас же дайте мне знать — будь то днем или ночью.

ГЛАВА XIII

Удивляюсь я людям, которые говорят, что им некогда думать. Я, например, могу думать сколько угодно. Взвешиваешь товар, здороваешься с покупателями, споришь или спишь с Мэри, стараешься обуздать детей — это совершенно не мешает в то же время думать, рассуждать, соображать. И, наверно, у всех так. Если человеку некогда думать, значит, он не хочет думать, вот и все.

Вступив в чуждый для меня, неизведанный мир, я просто не мог не думать. Вопросы накипали беспрестанно, настойчиво и требовательно. Новичок в этом мире, я становился в тупик даже перед тем, что для старожилов было решено раз навсегда еще в детском возрасте.

Я воображал, что могу завертеть колесо и контролировать каждый

его оборот — могу даже остановить его, когда заблагорассудится. Но все больше росла во мне пугающая уверенность, что оно может стать обособленным, почти живым существом со своими целями и планами, и вполне независимым от того, кто дал ему первый толчок. Смущало меня еще и другое. Я ли, в самом деле, завертел колесо, или это оно вовлекло меня в свое движение? Пусть я сам сделал первый шаг, но по своей ли воле я шагаю дальше? Казалось, на длинной дороге, куда я вышел теперь, нет ни перекрестков, ни развилок, путь только один — вперед.

Рассуждать можно было раньше, при выборе пути. Что есть нравственность, честность? Пустые слова, или за словами что-то стоит? Честно ли было воспользоваться слабостью моего отца — природным его великодушием, его наивной иллюзией, будто все другие так же великодушны? Нет, просто в интересах бизнеса выгодно было вырыть ему яму. Ведь он сам в нее свалился. Никто его не толкал. А раздеть его донага, когда он уже лежал на дне,— это что, безнравственно? По-видимому, нет.

И вот сейчас на Нью-Бэйтаун накинута петля, и те, кто затягивает ее медленно и осторожно,— честные люди. Если им удастся затянуть петлю до конца, их назовут не жуликами, а умными дельцами. И если возникнет новое обстоятельство, которого они не предусмотрели, будет ли это безнравственным или нечестным? Зависит, я думаю, от результатов. Для большинства людей, кто преуспел, тот всегда и прав. Я помню, когда Гитлер без помех и препятствий победно шествовал по Европе, немало честных людей искали и находили в нем всяческие достоинства. А у Муссолини поезда стали ходить по расписанию, а коллаборационизм Виши служил на благо Франции, а Сталин, что бы о нем ни говорили, был сильной личностью. Сила и успех выше критики и выше морали. Выходит, важно не то, что делаешь, а то, как делаешь и как это называешь. Есть ли в человеке такие внутренние силы, которые могут чему-то помешать, что-то осудить? Непохоже. Судят только за неудачу. Преступление, в сущности, лишь тогда становится преступлением, когда преступник попался. В этом нью-бэйтаунском деле кто-то пострадает, кто-то даже погибнет, но дело все равно будет сделано.

Не могу сказать, что мне пришлось выдержать борьбу со своей совестью. С той минуты как я осознал положение вещей и принял его, мне был ясен путь и хорошо видны все опасности. Самым удивительным тут было то, что все как бы складывалось само собой, одно вырастало из другого и сразу приходилось к месту. А я только наблюдал за ходом событий и легким прикосновением направлял его.

Задумав то, что я задумал и частью уже осуществил, я вполне понимал, что все это чуждо мне, но необходимо, как необходимо стремя, чтобы вскочить на высокого коня. А когда уже я буду в седле, стремя мне больше не понадобится. Может быть, мне не остановить вертящееся колесо, но другого я не заверчу. Я не хочу и мне незачем оставаться в этом сумрачном и полном опасностей мире. К трагедии, намеченной на седьмое июля, я непричастен. Это колесо вертится помимо меня, но ничто не мешает мне воспользоваться его вращением.

Есть такой старый, много раз опровергнутый предрассудок, будто мысли человека отражаются на его лице, или, как говорят, глаза — зеркало души. Неправда это. На лице отражается только болезнь, или неудача, или отчаяние, тоже своего рода болезни. Но бывают люди, одаренные особым чутьем, они видят насквозь, замечают скрытые перемены, ловят знаки, непонятные для других. Моя Мэри уловила перемену во мне, но неверно ее истолковала, а Марджи Янг-Хант, мне кажется, поняла все, но Марджи — колдунья, что осложняет дело. Впрочем, она, кроме того, умная женщина, а это еще сложнее.

Я предвидел, что мистер Бейкер позаботится уехать из города загодя, не позднее пятницы, с тем, чтобы вернуться уже после Четвертого

июля, то есть во вторник. Гром должен грянуть в пятницу или в субботу, чтобы последствия успели сказаться до выборов, и, разумеется, мистер Бейкер предпочтет в критический момент оказаться подальше. Для меня это мало что меняло. Лишнее упражнение на выдержку, только и всего. Но кое-что нужно было предпринять в четверг, на случай, если он вздумает уехать с вечера. Субботняя операция была у меня так детально продумана, что я мог бы проделать все даже во сне. Может быть, я и волновался немного, но только так, как волнуется актер перед выходом на сцену.

В понедельник, двадцать седьмого июня, не успел я открыть лавку, явился Марулло. Он долго ходил из угла в угол, смотрел как-то странно на полки, на кассу, на холодильник, зашел и в кладовую, там тоже все оглядел. Можно было подумать, что он все это видит в первый раз.

Я сказал:

— Едете куда-нибудь на Четвертое июля?

— С чего ты взял?

— Да все едут, у кого только есть деньги.

— Гм! Куда ж бы это я поехал?

— Мало ли куда. В Кэтскил, например, или даже в Монток, половить рыбку. Сейчас тунец идет.

От одной мысли об единоборстве с верткой рыбиной весом фунтов в тридцать у него заломило руки до самого плеча, так что он даже сморщился от боли.

Я чуть было не спросил, когда он собирается в Италию, но решил, что это будет уж слишком. Вместо того я подошел к нему и тихонько взял его за правый локоть.

— Альфио,— сказал я,— вы все-таки чудак. Надо поехать в Нью-Йорк, посоветоваться с хорошим специалистом. Наверно, есть какое-нибудь лекарство от этой боли.

— Не верю я в лекарства.

— Да ведь терять вам нечего. Попробуйте. А вдруг.

— Тебе-то какая печаль?

— Никакой. Но я уже много лет работаю здесь у глупого, упрямого итальяшки. Если б даже распоследний подлец мучился так на твоих глазах, и то бы жалко стало. Вы как придете, да как начнете тут руками крутить, у меня у самого потом полчаса все болит.

— Ты меня жалеешь?

— Очень нужно. Просто подлизываюсь в расчете на прибавку.

Он посмотрел на меня из-под покрасневших век собачьими глазами, такими темными, что в них не видно было зрачка. Он как будто хотел о чем-то заговорить, но передумал.

— Ты славный мальчуган,— сказал он только.

— Напрасно вы так думаете.

— Славный мальчуган! — повторил он запальчиво и, точно устыдившись своего порыва, поспешно вышел из лавки.

Я отвешивал миссис Дэвидсон два фунта стручковой фасоли, вдруг вижу — Марулло бежит обратно. Остановился в дверях и крикнул мне:

— Возьми мою машину!

— Что такое?

— Возьми и поезжай куда-нибудь на воскресенье и понедельник.

— Это мне не по карману.

— И ребятишек захвати. Я сказал в гараже, что ты придешь за моим «понтиаком». Бензину полный бак.

— Погодите минутку.

— Нечего мне годить. Захвати ребятишек.— Что-то похожее на комок табачной жвачки полетело в меня и шлепнулось прямо в фасоль. Миссис Дэвидсон удивленно посмотрела вслед Марулло, уже бежавшему

по улице. Я подобрал зеленый квадратик, валявшийся среди стручков фасоли,— три двадцатидолларовые бумажки, сложенные в несколько раз.

— Что это с ним?

— Итальянец, знаете, все они неуравновешенные.

— Оно и видно. Швыряться деньгами!

Больше он в эту неделю не показывался, и это было к лучшему. До сих пор он никогда не уезжал, не предупредив меня. Все было так, как бывает, когда в праздник смотришь на уличную процессию, стоишь, и смотришь, и знаешь наперед, что будет дальше, а все-таки не уходишь.

Вот только «понтиака» я не ожидал. Марулло никогда никому не одалживает свою машину. Происходило что-то странное. Словно какая-то посторонняя сила или воля взялась управлять событиями и так их нагнетала, что они теснились, как скот на погрузочных мостках. Я знаю, бывает и наоборот. Иногда вмешательство этой посторонней силы или воли портит и разрушает даже самые тщательно продуманные планы. Вероятно, именно это мы называем «везет» или «не везет».

В четверг тридцатого июня я, как всегда, проснулся с первым, жемчужно-серым светом зари. Сейчас, в летнее время, светает рано. Стол и стулья казались темными кляксами, картины были пятнами чуть посветлее. Белые занавески на окнах колыхались, как будто дышали,— ведь на заре с моря почти всегда тянет ветерком.

Просыпаясь, я несколько секунд пребывал в двух мирах: слоистый туман сновидений не сразу развеяла четкость бодрствующего разума. Я сладостно потянулся — ни с чем не сравнимое ощущение. Как будто вся кожа съежилась за ночь, и нужно вновь расправить ее, натягивая на выпяченные округлости мускулов, от чего так приятно пощипывает тело.

Сперва я бегло припомнил виденное во сне — так мельком просматриваешь газету, чтобы установить, есть ли в ней что-нибудь, достойное внимания. Потом перебрал мысленно то, что еще не случилось, но может случиться сегодня. И наконец предался занятию, перенятому мною от лучшего моего боевого командира. Его звали Чарли Эдварс. Это был пожилой майор, пожалуй, даже слишком пожилой для строевой службы, однако офицер очень хороший. У него была большая семья, жена и четверо ребятишек-погодков, и, когда он позволял себе о них думать, сердце у него исходило любовью и тоской. Но занятый страшным делом войны, он не мог допустить, чтобы мысли о семье отвлекали и рассеивали его внимание. И вот он придумал выход, о котором рассказывал мне. Утром — если, конечно, в его сон не врывался до времени сигнал тревоги,— он все свои помыслы и чувства сосредоточивал на своих близких. Он думал с любовью о каждом по очереди, какой он, как выглядит, что говорит, он ласкал их и обращался к ним со словами нежности. Он как будто стоял у раскрытого ларца с драгоценностями и перебирал его содержимое: возьмет одну вещицу, осмотрит внимательно со всех сторон, погладит, поцелует, положит на место и возьмет другую, а под конец оглянет их все на прощание и замкнет ларец. Все это занимало у него с полчаса — когда удавалось выкроить эти полчаса,— и потом уже весь день можно было не думать о близких. Можно было всем существом сосредоточиться на работе, которой он был занят и которая состояла в том, чтобы убивать людей. Он был превосходный офицер, я не встречал лучшего. Я просил разрешения воспользоваться его методом, и он разрешил. Потом, когда он погиб в бою, я всегда вспоминал о нем с уважением, как о человеке разумной и справедливой жизни. Он умел наслаждаться, умел любить и платил долги — многие ли могут похвастать тем же?

Я не часто прибегал к методу майора Чарли, но в этот четверг, зная, что мне понадобится вся моя способность сосредоточиться, я проснулся, как только ночная тьма дала первую трещину, и по примеру майора стал думать о своей семье.

Я шел по порядку и начал с тетушки Деборы. Она была наречена так в честь Деборы, судии народа израильского, а я читал, что в те времена судьи были также и полководцами. Пожалуй, имя было выбрано удачно. Тетушка Дебора вполне могла командовать армиями. Воинством разума она повелевала весьма успешно. Именно ей я обязан своей бескорыстной любовью к знанию. При всем своем суровом нраве она была полна любознательности и не жаловала тех, кто не отличался этой чертой. Первую дань почтения я отдал в своих мыслях ей. Потом я почтил память Старого Шкипера и мысленно склонил голову перед своим отцом. Я даже не забыл того пустого места в прошлом, которое по праву должно принадлежать матери. Свою мать я не помнил. Она умерла, когда я еще не мог ничего запомнить, и ее место навсегда осталось в моей памяти пустым.

Одно смущало меня. Образы тетушки Деборы, Старого Шкипера и отца вырисовывались передо мной недостаточно четко. Вместо контрастных фигур я видел зыбкие, расплывающиеся силуэты. Быть может, воспоминания выцветают от времени, как старые дагерротипы, и фигуры мало-помалу сливаются с фоном. Нельзя сохранить их навсегда.

Следующей по порядку шла Мэри, но я намеренно отложил ее на конец.

Я вызвал образ Аллена. Но я не мог вспомнить его маленьким мальчиком, полным непосредственной радости, внушавшей мне веру в способность человека совершенствоваться. Я увидел его таким, каков он теперь,— хмурый, тщеславный, обидчивый, замкнутый в тайнах трудной поры полового созревания, когда хочется, оскалив зубы, бросаться на всех, даже на самого себя, как собака, попавшая в ловушку. Даже в мыслях я не мог увидеть его свободным от владевшего им смятения, и я не стал больше думать о нем, сказав только: я тебя понимаю. Я сам прошел через это, и я не могу тебе помочь. Помочь и нельзя. Я бы мог только сказать тебе, что это пройдет. Но ты бы мне все равно не поверил. Ступай же с миром — и пусть моя любовь будет с тобой и теперь, в эту пору, когда мы едва выносим друг друга.

Мысль об Эллен обдала меня радостью. Она будет хорошенькой, даже лучше матери, потому что когда ее личико совсем сформируется, в нем будет что-то от властной значительности облика тетушки Деборы. Ее капризы, ее злые выходки, ее нервозность — все это обещает сложиться в прекрасное и обаятельное существо. Я в этом уверен, потому что я видел, как она во сне прижимала талисман к своей детской груди, а на лице у нее был покой женщины, познавшей удовлетворение. И этот талисман так же полон значения для нее, как и для меня. Быть может, именно Эллен сохранит и понесет дальше то, что во мне есть бессмертного. И, прощаясь с мыслью о ней, я ее обнял, а она, как живая, пощекотала меня за ухом и тихонько засмеялась. Моя Эллен. Дочь моя.

Я повернул голову к Мэри, спавшей с улыбкой на губах справа от меня. Она всегда ложится справа, и, когда все хорошо и все так, как надо, она кладет мне голову на правое плечо, оставляя мою левую руку свободной для ласк.

Несколько дней назад я порезал указательный палец кривым ножом для бананов, и на кончике пальца был теперь жесткий рубец. Поэтому я вытянул средний палец и стал обводить им милый изгиб шеи от уха к плечу, тихо-тихо, чтобы не испугать, но достаточно твердо, чтобы ей не было щекотно. Она, как всегда, вздохнула сладко и глубоко, точно

медля расставаться с приятной истомой. Некоторые люди просыпаются неохотно, про Мэри этого сказать нельзя. Она встречает день в надежде, что он будет хорошим. Зная это, я стараюсь приготовить ей какой-нибудь маленький сюрприз, чтобы она не обманулась в своих ожиданиях. И я всегда держу что-нибудь про запас на этот случай, какую-нибудь приятную новость, вроде той, которую я и сейчас собирался ей преподнести.

Она открыла глаза, совсем еще сонные.

— Уже пора? — спросила она и повернулась к окну посмотреть, близок ли день. Над письменным столиком висит картина — деревья и озеро и в воде у берега стоит корова. Мне с кровати уже нетрудно было различить хвост коровы, и это был признак, что день наступил.

— У меня для тебя есть радостное известие, белочка.

— Сумасшедший.

— Я разве тебе когда-нибудь лгал?

— Кто тебя знает.

— Ты уже совсем проснулась? Можешь воспринять радостное известие?

— Нет.

— Тогда подожду говорить.

Она пригнула голову к левому плечу, так что нежную шею перерезала глубокая складка.

— Опять твои шуточки. Наверно, скажешь, что решил залить газон асфальтом...

— Ничего подобного.

— Или заняться разведением сверчков...

— Вовсе нет. Однако ты все помнишь.

— Значит, это все-таки шутка?

— Нет, но это так замечательно и невероятно, что тебе придется сделать усилие, чтобы поверить.

Ее глаза смотрели пытливо и ясно, а углы губ подрагивали — вот-вот рассмеется.

— Ну, говори.

— Известен тебе джентльмен итальянского происхождения по фамилии Марулло?

— Да ну тебя, опять дурачишься.

— Не торопись с выводами. Так вот, означенный Марулло на время выбыл из нашего города.

— Куда?

— Он не сказал.

— А когда вернется?

— Погоди, не сбивай. Этого он тоже не сказал. Но зато он сказал и даже настаивал, когда я попробовал спорить, чтобы мы взяли его машину и куда-нибудь поехали на праздники.

— Ты меня разыгрываешь!

— Ты считаешь меня способным на такую недобрую шутку?

— Но с чего это он?

— Не могу сказать. Но могу заверить тебя, начиная от честного бойскаутского и кончая священной папской присягой, что роскошный «понтиак» с полным баком чистейшего бензина готов к услугам вашей светлости.

— Но куда же мы поедем?

— Куда моя козявка пожелает. У тебя есть сегодняшний, завтрашний и послезавтрашний день на решение этого вопроса.

— Ведь понедельник — Четвертое июля. Значит, целых два дня праздника?

— Совершенно точно.

— А это не слишком дорого? Мотель и другие расходы.

— Дорого или нет, а мы можем себе это позволить. У меня есть секретные фонды.

— Знаю я твои фонды, дурачок. Но как же он решился дать нам машину? Я себе просто представить не могу.

— Я тоже представить не могу, но тем не менее он ее дал.

— А помнишь, он принес детям конфеты на пасху?

— Может быть, это старческое слабоумие.

— Интересно, что ему от нас нужно?

— Фи, что за недостойные предположения. Может быть, ему просто хочется, чтобы мы его любили.

— Мне нужно успеть сделать тысячу вещей.

— Я в этом не сомневаюсь.— Я уже видел, как ее мысль бульдозером взрезает пласты неожиданно открывшихся перспектив. Для меня ее внимание было явно и безвозвратно потеряно. Что ж, тем лучше.

За завтраком, пока я дошел до второй чашки кофе, она успела перебрать и отвергнуть половину увеселительных маршрутов восточной Америки. Бедная моя девочка, для нее последние годы были не слишком богаты развлечениями. Я сказал:

— Хлоя, прошу твоего внимания, хоть и знаю, что добиться его будет сейчас нелегко. Мне предлагают одно очень выгодное помещение капитала. Я хочу взять еще часть твоих денег. В тот раз вышло удачно.

— А мистер Бейкер знает про это?

— Он и предложил мне.

— Тогда бери. Подписывай чек на сколько нужно.

— Ты даже не хочешь знать, сколько нужно?

— А зачем?

— И тебя не интересуют подробности? Сроки, проценты, ориентировочный размер дивиденда и тому подобное?

— Я в этом все равно ничего не пойму.

— Поймешь, если захочешь.

— А я и не хочу понимать.

— Немудрено, что таких, как ты, называют демонами Уолл-стрита. Этот холодный, острый, беспощадный деловой ум просто внушает страх.

— Мы поедем путешествовать,— сказала она.— Мы поедем путешествовать на целых два дня.

Ну как, черт возьми, не любить ее, как ее не боготворить? «Кто она, моя Мэри, какая она?» — напевал я, собирая пустые молочные бутылки, чтобы захватить с собой в лавку.

Мне хотелось повидать Джоя, просто ощутить контакт с ним, но, должно быть, я на одну минуту опоздал, или он на одну минуту поторопился. Поворачивая на Главную улицу, я увидел, как он входит в кафе. Я тоже туда вошел и уселся на соседний с ним табурет у стойки.

— Вы меня приучили, Джой.

— Привет, мистер Хоули. Кофе очень вкусный.

Я поздоровался со своей бывшей одноклассницей:

— Доброе утро, Анни.

— Ты становишься нашим завсегдатаем, Ит.

— Вроде того. Одну чашку черного.

— Чернее быть не может.

— Черного, как отчаяние.

— Что, что?

— Я говорю — черного.

— Если ты углядишь в этой чашке хоть малейший просвет, я тебе налью другую.

— Как дела, Морф?

— Так же, если не хуже.

— Хотите поменяться местами?

— Охотно бы поменялся, особенно сейчас, накануне двухдневного праздника.

— Не думайте, что только вам трудно. Людям ведь и продукты приходится запасать.

— Да, пожалуй. Об этом я не подумал.

— Всякую снедь, которую можно взять в дорогу,— копчености, маринады и уж конечно пастилу. А у вас, значит, горячие денечки?

— И не говорите. Накануне Четвертого июля, да еще когда погода так хороша. А в довершение всего сам господь всемогущий тоже, изволите видеть, почувствовал потребность отдохнуть на свежем воздухе.

— Вы о мистере Бейкере?

— Не о Джеймсе же Блейне.

— Мне, кстати, нужно повидать его. Очень нужно.

— Что ж, попробуйте его поймать. Но, предупреждаю, это не так просто. Он скачет, как монета в бубне цыганки.

— Может, мне доставить вам сандвичи на ваш боевой пост, Джой?

— Ну что ж.

— За кофе сегодня плачу я,— сказал я.

— Ладно.

Мы вместе перешли улицу и свернули в переулок.

— Вы что-то вроде не в духе, Джой.

— Даже очень не в духе. Надоело мне считать чужие деньги. У меня на праздник назначено любовное свидание, а я буду так измочален, что хоть не являйся.— Он всунул в замок обертку от жевательной резинки, вошел, махнув мне рукой на прощание, и затворил за собой дверь. Но я тотчас же толкнул ее, и она снова отворилась.

— Джой! Сегодня-то вам нужны сандвичи?

— Нет, спасибо,— послышалось из пахнущей паркетным воском темноты.— Вот в пятницу, пожалуй. А в субботу наверняка.

— А разве у вас не будет обеденного перерыва?

— Я вам уже говорил. Перерыв бывает в банке, но не у Морфи.

— Ну, все равно, заходите, когда сможете.

— Спасибо, спасибо, мистер Хоули.

В это утро мне нечего было сказать моим войскам на полках. Я только поздоровался с ними и тут же скомандовал: «Вольно!» За несколько минут до девяти, при фартуке и метле, я уже подметал тротуар перед входом.

Мистер Бейкер до того пунктуален, что, кажется, слышно, как он тикает, а уж в том, что внутри у него часовой механизм, я не сомневаюсь. Восемь пятьдесят шесть, восемь пятьдесят семь — вот он появился со стороны Вязовой, восемь пятьдесят восемь — переходит улицу, восемь пятьдесят девять — подошел к стеклянной двери, но тут я, с метлой наперевес, загородил ему дорогу:

— Мистер Бейкер, мне надо поговорить с вами.

— Доброе утро, Итен. Минутку подождать можете? Идемте со мной.

Я вошел, и все было точно так, как рассказывал Джой,— настоящий церковный обряд. Когда стрелка часов коснулась цифры девять, весь персонал банка уже стоял навытяжку перед сейфом. В массивной стальной двери что-то щелкнуло и загудело. Потом Джой набрал на диске мистическую комбинацию цифр и повернул ручку. Святая святых с торжественной медлительностью раскрылась, и мистер Бейкер принял молчаливый салют денежных мешков. Я стоял за оградой, точно причастник, смиренно ожидающий таинства.

Мистер Бейкер повернулся ко мне:

— Ну-с, Итен, чем могу быть полезен?

Я ответил вполголоса:

— Я хотел бы поговорить с вами без свидетелей, а мне никак нельзя оставить лавку.

— А что, дело срочное?

— Боюсь, что да.

— Вам давно пора иметь в лавке помощника.

— Это я и сам знаю.

— Если мне удастся выбрать время, я к вам зайду. О Тэйлоре ничего не узнали?

— Пока нет. Но я кое-где забросил удочки.

— Постараюсь зайти к вам.

— Спасибо, сэр. — Я не сомневался, что он придет.

И действительно, не прошло и часа, как он явился и терпеливо стал ждать, когда я отпущу покупателей.

— Ну, Итен, в чем дело?

— Мистер Бейкер, для врача, адвоката, священника существует профессиональная тайна. А как для банкира?

Он улыбнулся.

— Слыхали вы когда-нибудь, чтобы банкир обсуждал с посторонними дела своих клиентов?

— Нет.

— Ну, спросите кого-нибудь, услышите, что вам скажут. А кроме всего прочего, я же ваш друг, Итен.

— Да, я знаю. Я, правда, что-то не в себе. Но мне так давно уже не представлялся верный шанс.

— Шанс?

— Я вам выложу все начистоту, мистер Бейкер. У Марулло неприятности.

Он придвинулся ко мне ближе.

— Неприятности? Какие неприятности?

— Я сам точно не знаю, сэр. Но мне кажется, речь идет о нелегальном въезде.

— Откуда вы знаете?

— Он мне сам сказал — во всяком случае, дал понять. Ну, вы же знаете Марулло.

Я почти видел, как заработал его мозг, лихорадочно подхватывая обрывки фактов и связывая их вместе.

— Дальше,— сказал он.— Если так, то это высылка.

— Боюсь, что да. Он ко мне очень хорошо относился, мистер Бейкер. Я не хочу ничего делать во вред ему.

— Нужно и о себе подумать, Итен. В чем его предложение?

— Да, собственно, это даже не предложение. Это то, что мне удалось вывести из кучи бессвязных взволнованных фраз. Но, по-видимому, если б я мог дать пять тысяч наличными, лавка была бы моя.

— Так он что, думает исчезнуть, или вы точно не знаете?

— Точно я ничего не знаю.

— Значит, не рискуете обвинением в пособничестве. Вы говорите, конкретно он вам ничего не предлагал?

— Нет, сэр.

— А откуда же вы взяли цифру пять тысяч?

— Это нетрудно, сэр. Такова стоимость всего имущества.

— Но, может быть, он пошел бы и на меньшую сумму?

— Может быть.

Он оглядел всю лавку быстрым, оценивающим взглядом.

— Если вы не ошиблись в своих догадках, ваше положение очень выгодно.

— Я как-то не умею делать такие дела.

— Вы же знаете, я не сторонник обходных маневров. Может быть, мне поговорить с ним?

— Его сейчас нет в городе.

— А когда он вернется?

— Не знаю, сэр. Но не забудьте, у меня ведь нет никакой уверенности. Просто показалось, что, если бы у меня были наличные деньги, он пошел бы на это. Он ко мне хорошо относится, вот почему.

— Это я знаю.

— Но мне бы не хотелось злоупотребить этим.

— Он, конечно, может сторговаться с кем-нибудь другим. Ему и десять тысяч могут дать.

— Тогда, может быть, я напрасно надеюсь?

— А вы не спешите отступать. Вам нужно в первую очередь думать о себе.

— Во вторую очередь. Ведь это деньги Мэри.

— Предположим. Так чего же вы хотите?

— У меня была такая мысль: может быть, вы подготовите документ, только не проставите число и сумму. А деньги я, пожалуй, возьму в пятницу.

— Почему в пятницу?

— Тоже только догадка с моей стороны, но он что-то такое говорил насчет того, что на праздник все разъезжаются из города. Вот я и думаю — может, он тогда зайдет? Он у вас денег не держит?

— Теперь нет. Недавно он оголил свой счет. Сказал, что хочет купить какие-то акции. Я этому не придал значения, потому что это бывало и раньше, и всякий раз он потом вкладывал больше, чем вынул.— Он посмотрел прямо в глаза ярко раскрашенной мисс Рейнгольд на холодильнике, но оставил ее зовущую улыбку без ответа.— Вы отдаете себе отчет, что можете крепко погореть на этом деле?

— Как это?

— Во-первых, у него может найтись еще десяток покупателей, а, во-вторых, лавка может быть заложена-перезаложена. Никаких гарантий на этот счет нет.

— А если попробовать узнать в окружном управлении? Вы меня простите, мистер Бейкер, что я отнимаю у вас время. Но я знаю ваше доброе отношение к моей семье и бессовестно пользуюсь им. И потом, в таких вещах мне ведь просто не с кем больше посоветоваться.

— Я постараюсь узнать насчет закладных через Тома Уотсона. Черт возьми, Итен, очень все это не ко времени. Я сам хочу завтра уехать отдохнуть до вторника. А если Марулло и в самом деле жулик, вы можете крепко влипнуть.

— Так, может, мне сразу отступиться и не путаться в это дело? Но если бы вы знали, мистер Бейкер, как мне надоело стоять за прилавком!

— Я вам не давал совет отступаться. Я только предупреждал вас о возможном риске.

— Мэри была бы так счастлива, если бы я стал владельцем лавки. Но вы, пожалуй, правы. Нельзя рисковать ее деньгами. Я думаю, самое правильное будет обратиться к федеральным властям.

— Тогда вы утеряете все выгоды своего положения.

— Почему?

— Если его приговорят к высылке, он получит право произвести ликвидацию через специального агента, и цена за лавку может быть назначена такая, которую вы не в состоянии уплатить. Ведь вы же не знаете наверняка, что он думает смыться. А раз не знаете, то о чем вы

будете говорить федеральным властям? Вы даже не знаете, попал ли он в списки.

— Это верно.

— Вы, в сущности, ничего решительно о нем не знаете. Все, что вы мне говорили, всего лишь смутные подозрения. Ведь так?

— Так.

— И лучше вы их оставьте в стороне.

— А не будет это выглядеть странно — крупная сумма наличными без указания назначения?

— А вы проставите на чеке что-нибудь вроде «Для финансирования бакалейной торговли мистера Марулло». Это, в случае чего, послужит оправдательным документом.

— А если вообще ничего не выйдет?

— Вы положите деньги обратно в банк, вот и все.

— Так вы думаете, не нужно бояться риска?

— Риск во всем, Итен. Носить при себе такую большую сумму наличными — уже риск.

— Я буду осторожен.

— В общем, жаль, что я должен уехать на эти дни.

Мои расчеты времени совершенно верны. Пока мы говорили, в лавку не заходил ни один покупатель, но под конец сразу явилось шестеро: три женщины, старик и двое мальчуганов. Мистер Бейкер наклонился ко мне и шепотом сказал:

— Я приготовлю всю сумму сотенными купюрами и замечу номера. Тогда, если его поймают, вы сможете получить их обратно.— Он солидно кивнул женщинам, сказал старику: «Добрый день, Джордж»,— и на ходу взъерошил чубы мальчуганам. Мистер Бейкер — очень умный человек.

ГЛАВА XIV

Первое июля. Этот день делит год пополам, как прямой пробор — волосы. Я знал, что для меня он станет пограничной вехой —вчера я был одним человеком, завтра буду совсем другим. Я сделал ряд ходов, которые уже нельзя взять обратно. Время и события играли мне в руку, словно захотели быть моими сообщниками. Я даже не пытался надевать перед самим собой добродетельную личину. Я сам выбрал свой образ действий, никто меня не заставлял. Я временно поступился привычными взглядами и нормами поведения, чтобы взамен обрести благополучие, чувство собственного достоинства и уверенность в будущем. Нетрудно было бы убедить себя, что я сделал это ради своих близких, ведь и в самом деле мое чувство собственного достоинства зависело от их благополучия и уверенности в будущем. Но передо мной была лишь одна, вполне определенная цель, и я знал, что, достигнув ее, я вновь вернусь к прежним нормам поведения. Я не сомневался, что смогу это сделать. Ведь не сделала же война из меня убийцу, хотя какое-то время я убивал людей. Отправляя солдат в разведку, зная, что не все они вернутся живыми, я не чувствовал жертвенного экстаза, как бывало с другими офицерами, я никогда не радовался своим делам на войне, не оправдывал их и не прощал. Главное было знать ту одну, определенную цель, ради которой они совершались, и по достижении этой цели кончить все раз и навсегда. Но для этого надо не обманывать себя, а точно знать, чего добиваешься: уверенность в будущем, чувство собственного достоинства — и кончено, раз и навсегда. Из опыта войны я знаю, что убитые на поле боя — жертвы стремления к определенной цели, а не чьей-то злобы, ненависти или жестокости. И я верю в любовь, которая в критический миг связывает победителя с побежденным, убийцу с убитым.

Но от листков, покрытых каракулями Дэнни, и от благодарного взгляда Марулло сердце щемило тоской.

Говорят, накануне решающей битвы люди не могут уснуть. Со мной этого не было. Сон сморил меня быстро, крепко и основательно и отпустил легко, как всегда, в предрассветный час. Но на этот раз я не лежал, размышляя, впотьмах. Прошлое властно призывало меня. Я тихонько выскользнул из постели, оделся в ванной и спустился с лестницы, стараясь держаться поближе к стене. Странное дело — ноги как бы сами привели меня к горке в гостиной, я отпер ее и ощупью нашел розоватый камешек. Я сунул его в карман, потом закрыл горку и запер ее на ключ. Ни разу в жизни я не уносил камешек из дому и еще вчера не знал, что возьму его с собой на этот раз. Я без труда пробрался знакомой дорогой через темную кухню и вышел во двор, где уже редела ночная тьма. Вязы сплетались толстыми от листвы ветвями, образуя сплошной черный свод. Если бы «понтиак» Марулло был уже у меня, я уехал бы из Нью-Бэйтауна в пробуждающийся мир моих первых воспоминаний. Держа руку в кармане, я вел пальцем по бесконечной извилине, прорезающей мой согретый теплом тела заветный камешек — мой талисман. Талисман?

Тетушка Дебора, посылавшая меня, ребенка, на Голгофу, была точна, как машина, во всем, что касалось слова. Она не терпела тут ни малейшей расплывчатости, неясности и требовала того же от меня. Сколько силы было в этой старой женщине! Если она жаждала бессмертия, она его обрела — в моей памяти. Когда она первый раз увидела у меня в руке камешек с причудливой извилиной, по которой я водил пальцем, она сказала:

— Итен, эта диковина может стать твоим талисманом.

— А что это такое — талисман?

— Если я тебе скажу, у тебя в одно ухо войдет, в другое выйдет. Посмотри в словаре.

Сколько слов укоренилось в моем обиходе благодаря тетушке Деборе, которая всегда сперва старалась заинтересовать меня непонятным словом, а потом заставляла самого доискиваться до его значения. Я, конечно, ответил:

— Очень нужно!

Но она хорошо знала, что я полезу в словарь, и еще раз произнесла, с расстановкой, чтобы мне легче было запомнить:

— Та-лис-ман.

Она с глубоким уважением относилась к словам, и небрежное обращение с ними раздражало ее так же, как небрежное обращение с любой хорошей вещью. И сейчас, столько лет спустя, я словно вижу перед собой страницу словаря со словом «талисман». Арабское написание было для меня просто извилистой линией с кружком на конце. Греческое я мог прочитать благодаря той же неутомимой тетушке Деборе. «Камень или другой предмет, с выгравированными на нем буквами или рисунками, которому приписывается оккультная сила, связываемая с влиянием планет или знаков зодиака, часто носится как амулет, могущий, по поверью, оградить от зла или принести удачу». После этого мне пришлось искать в словаре «оккультный», «планеты», «зодиак», «амулет». Так бывало всегда. Одно слово поджигало десяток других, как шутихи, нанизанные на нитку.

Когда я после спросил ее:— А вы верите в талисманы? — она возразила:

— А при чем это тут, верю я или не верю?

Я сунул ей в руки камешек.

— Что означает этот рисунок?

— Талисман твой, не мой. Он означает то, чего ты от него ждешь. Положи его на место. Придет время, он тебе пригодится.

Сейчас, шагая под вязовым сводом, я видел ее перед собой как живую, а это и есть истинное бессмертие. Вилась, кружилась по камню резная извилина, петляла и снова кружилась и вилась, точно змея без головы, без хвоста, без конца, без начала. Первый раз я взял талисман с собой, уходя из дому,— зачем? Чтобы он оградил меня от зла? Или принес мне удачу? Но я не верю в оккультную силу, а бессмертие всегда казалось мне жалким утешением, выдуманным для отчаявшихся.

Светлая полоса на востоке — это уже был июль, потому что июнь ночью кончился. Июньское золото в июле становится медью. Июньское серебро — свинцом. Листва в июле тяжелая, плотная, густая. Птицы поют в июле однообразно, крикливо, без страсти, потому что гнезда уже опустели и оперившиеся птенцы делают первые неуклюжие попытки летать. Да, июль — уже не пора надежд и еще не пора свершений. Плоды хоть и зреют, но пока безвкусны и бесцветны. Кукуруза похожа на бесформенный зеленый сверток с желтой кисточкой на конце. На тыкве, как неотпавшая пуповина, торчит засохший венчик цветка.

Я вышел на Порлок, сытый, упитанный Порлок. Медные отсветы зари уже окрасили розовые кусты, гнущиеся под тяжестью перезрелых цветов, точно женщины, у которых живот уже не стянуть корсетом, хотя ноги еще стройны и красивы.

Я медленно брел по тротуару и мысленно говорил «прощай» — не «до свидания», а «прощай». «До свидания» звучит нежной грустью и надеждой. «Прощай» — коротко и безвозвратно, в этом слове слышен лязг зубов, достаточно острых, чтобы перекусить тонкую связку между прошлым и будущим.

Вот и Старая Гавань. Чему же я говорил «прощай»? Не знаю. Не могу припомнить. Кажется, я хотел пойти в Убежище, но всякий, кто вырос на море, знает, что сейчас время прилива и Убежище залито водой. Прошлой ночью я видел луну, ей всего четыре дня от роду, и она похожа на выгнутую хирургическую иглу, но в ней уже достаточно силы, чтобы притянуть темные волны прилива к устью моей пещеры.

И в хижину Дэнни Тэйлора незачем идти. Уже рассвело настолько, что видно, как высоко поднялась трава в том месте, где раньше была тропка, протоптанная ногами Дэнни.

В водах Старой Гавани темнели пятнами летние суденышки, стройные корпуса, снасти, прикрытые брезентом. Кое-где любители раннего вставанья уже готовились к выходу в море, ставили кливера и гроты, крепили канаты.

В Новой Гавани было оживленней. У причалов наемные лодки ожидали пассажиров, оголтелых рыболовов — отпускников, которые не стоят за деньгами, а к концу дня растерянно озираются, не зная, что делать с массой рыбы, завалившей лодку. Полны все мешки, все корзины, громоздятся на дне кучи триглы, морского леща, и морского окуня, и даже мелкой акулы-колючки, и все это задыхается и гибнет и будет выброшено обратно в море, чайкам на съедение. А чайки уже слетелись и ждут, они знают эту породу рыболовов, жертв собственной жадности. Кому охота чистить и потрошить целый мешок рыбы? А отдать рыбу даром трудней, чем наловить ее.

По маслянистой глади залива уже разлилось медное сияние. У входа в канал словно замерли буйки разной формы, и под каждым стояло его отражение в зеркале воды.

Я дошел до флагштока и остановился у памятника в честь героев войны. Там среди выбитых серебром имен уцелевших я прочел и свое имя: *Капитан И. А. Хоули,* а ниже золотом были выбиты имена восемнадцати нью-бэйтаунцев, которые так и не вернулись домой. Большинство имен было мне знакомо — когда-то я знал и самих людей, и они тогда ничем не отличались от нас, а теперь отличаются тем, что их имена

написаны золотом, а не серебром. На мгновение я подумал, что хорошо бы и мне числиться среди них. *«Капитан И. А. Хоули»* золотом внизу списка, там, где трусы и симулянты, размазни и герои — все уравнены золотой вязью букв. Ведь не только храбрые погибают в бою, но храбрые погибают чаще.

Подъехал толстяк Вилли, остановил машину у памятника, вылез и достал с заднего сиденья свернутый флаг.

— Здорово, Ит.— Он вдел стержни в медные скобки и медленно поднял флаг на вершину флагштока, где он поник безжизненно и уныло, точно висельник в петле.— Доживает свой век,— сказал Вилли, слегка отдуваясь. — Уже и вида никакого нет. Ну, еще два дня, а там поднимем новый.

— С пятьюдесятью звездами?

— Именно. И хорош же — нейлоновый, здоровенный, в два раза больше этого, а весит вдвое меньше.

— Как дела, Вилли?

— Да жаловаться вроде не на что, но я все-таки пожалуюсь. С этим Четвертым июля всегда не оберешься хлопот. Да еще когда оно после воскресенья — это значит вдвое больше несчастных случаев, катастроф, пьяных драк, особенно за городом. Садитесь, подвезу до лавки.

— Нет, спасибо. Мне еще нужно на почту, да, кроме того, хочу зайти выпить чашку кофе.

— Ладно. Подвезу до почты. Я бы и покофейничал с вами, да Стони теперь злой, как собака, лучше с ним не связываться.

— С чего это он?

— Черт его знает. Куда-то уезжал на несколько дней и вернулся злее злющего.

— Где же это он был?

— Понятия не имею. Знаю только, что теперь к нему и не подступись. Ну идите, получайте свою почту. Я подожду.

— Не стоит, Вилли. Мне еще и отправлять письма надо.

— Ну, как хотите.— Он развернулся и поехал по Главной улице в обратную сторону.

На почте было еще полутемно, пол только что натерли, и при входе висел плакатик: «Осторожно, не поскользнитесь».

Наш абонементный ящик — № 7, мы им пользуемся с тех пор, как построено здание почты. Я набрал на диске Г 1/2 Р и вынул из ящика целую кучу проспектов и рекламных листовок, адресованных «Абоненту». Больше ничего не было — только этот материал для мусорной корзины. Я пошел вдоль Главной, по направлению к «Фок-мачте», но в последнюю минуту передумал — расхотелось пить кофе или не захотелось разговаривать, сам не знаю что. Просто у меня вдруг пропало желание идти в кафе. Что за клубок противоречивых побуждений человек — все равно мужчина или женщина.

Я подметал тротуар, когда из-за угла Вязовой показался мистер Бейкер и затикал в банк, готовый к священнодействию. А пока я почти машинально укладывал дыни на лоток у дверей, к банку подъехал старомодный зеленый бронированный автомобиль. Двое сопровождающих, вооруженные, как коммандосы, вышли из кузова и потащили в банк серые мешки с деньгами. Минут через десять они вышли, уселись в свою крепость на колесах и отбыли. Вероятно, им полагалось ждать, пока Морфи пересчитает деньги, а мистер Бейкер проверит подсчет и выдаст им расписку. Хлопотливое это дело — возиться с деньгами. Немудрено, если, как говорит Морфи, начинаешь чувствовать отвращение к чужим деньгам. Судя по величине мешков, банк готовился к крупным предпраздничным выдачам Будь я рядовым грабителем, я бы счел этот день самым подходящим. Но я не был рядовым грабителем. Я прошел высшую школу

у моего приятеля Джоя. Вот кто мог бы ставить рекорды, если бы захотел. Меня даже удивляло, что он не хочет, хотя бы ради проверки своей теории.

В лавке с утра толпился народ. Мне пришлось даже трудней, чем я думал. Солнце палило немилосердно, ни дуновения ветерка — словом, погода стояла такая, когда каждый не раздумывая рвется за город отдохнуть. У прилавка образовалась целая очередь. Будь что будет, а одно я решил твердо. Мне нужен помощник. Если из Аллена не получится толк, я его выставлю и возьму другого.

Около одиннадцати в лавку вошел мистер Бейкер. Он очень торопился, и мне пришлось извиниться перед покупателями и пройти с ним в помещение кладовой.

Он сунул мне в руки два конверта — один большой, другой маленький и от спешки заговорил со стенографической краткостью:

— Том Уотсон говорит, дело чистое. Насчет закладных не знает. Думает, что нет. Вот документы. Подпишите там, где я отметил. Номера купюр переписаны. Вот заполненный чек. Поставьте только подпись. Простите, что тороплюсь, Итен. Не в моем духе делать так дела.

— Так, значит, вы все-таки советуете мне попытаться?

— Черт возьми, Итен, после всего, что я...

— Простите, сэр. Простите. Вы совершенно правы.— Я положил чек на ящик сгущенного молока и расписался на нем своим химическим карандашом.

Как мистер Бейкер ни торопился, он не забыл проверить, правильно ли подписан чек.

— Попробуйте для начала предложить две тысячи. И повышайте постепенно, сотни по две за раз. Вам, конечно, известно, что у вас на счету осталось всего пятьсот долларов? Не дай бог, чтобы вам опять понадобились деньги.

— Если все будет в порядке, разве нельзя взять ссуду под лавку?

— Конечно, можно, только проценты вас съедят.

— Не знаю, как мне благодарить вас, сэр.

— Лишь бы вы не растаяли при разговоре, Итен. Не давайте ему разжалобить себя. Он будет петь сладко. Все итальянцы на это мастера. Помните: нужно думать о себе.

— Спасибо вам за все.

— Ну, мне пора,— сказал он.— Хочу выехать на шоссе раньше, чем хлынет весь поток машин.— И он выбежал вон, едва не сбив с ног миссис Уиллоу, которая уже по второму разу ощупывала каждую дыню на лотке.

Время шло, а толчея в лавке не прекращалась. Зной, паливший улицы, словно действовал на людей, делая их сварливыми и раздражительными. Можно было подумать, что они готовятся не к праздничному отдыху, а к какому-то стихийному бедствию. Я бы не мог улучить минутку, чтобы снести Морфи сандвичи, даже если бы захотел.

Приходилось не только отпускать товар и получать деньги, но при этом смотреть в оба. Среди покупателей было много случайных людей, приезжих, которые так и норовят стащить что-нибудь. Словно бы даже помимо собственной воли. Причем вовсе не то, что им в самом деле необходимо. Больше всего у них разгораются глаза на баночки деликатесов — паштет из гусиной печенки, икру, маринованные грибки. Оттого Марулло и наказывал мне держать этот товар позади прилавка, куда покупателям заходить не полагается. Поймать вора с поличным — плохо для торговли, учил он меня. Скандал, все волнуются, может быть, оттого, что никто не безгрешен, по крайней мере в мыслях. Уж лучше наверстать убыток на других покупателях. Но если я замечал, что кто-нибудь явно жмется поближе к известным полкам, я говорил вслух:

«Вот эти пикули — отличная недорогая закуска для коктейля». И не раз покупателя сразу передергивало, словно я угадал его мысли. Самое противное во всем этом деле — подозрительность. Ненавижу подозревать всех и каждого. Это все равно что одному человеку оскорблять многих.

День тянулся все нуднее и все медленнее. После пяти в лавку явился старший констебль Стони, тощий, мрачный и желтый, как язвенник. Он купил набор для обеда, из тех, что рекламируются телевидением: бифштекс по-деревенски, тушеная морковь, картофельное пюре — все готовое, замороженное и упакованное в алюминиевый ящичек.

Я сказал:

— Что с вами, начальник? У вас такой вид, словно вас хватил солнечный удар.

— Нет, почему. Я себя хорошо чувствую.— Вид у него был отвратительный.

— Вам два набора?

— Нет, один. Жена уехала в гости. А полицейскому праздников не положено.

— Обидно.

— А может, оно даже лучше. При такой кутерьме кругом все равно дома сидеть не придется.

— Я слышал, вы куда-то уезжали?

— Кто вам сказал?

— Вилли.

— Держал бы он лучше свой толстый язык за зубами.

— Он ничего дурного не думал.

— У него ума не хватит думать. Хватило бы хоть на то, чтобы не угодить за решетку.

— От этого никто не застрахован,— сказал я нарочно.

Эффект превзошел мои ожидания.

— Что вы хотите сказать, Итен?

— Просто у нас развелось столько законов, что, кажется, чихнуть нельзя, чтобы не оказаться правонарушителем.

— Да, это верно. Всего и не упомнишь.

— Я, кстати, хотел спросить вас, начальник, я тут наводил порядок на полках и нашел револьвер, старый, заржавленный револьвер. Марулло его своим не признает, а уж его-то я и подавно в первый раз вижу. Что мне с ним делать?

— Если не хотите выправлять разрешение, сдайте мне.

— Ладно, завтра захвачу его с собой. Он у меня дома, в жестянке с керосином. А как вы в таких случаях поступаете, Стони?

— Проверяем, не тянется ли за ним какой-нибудь след, а если нет, выбрасываем в океан, и все.— Он как будто немного повеселел, чего я никак не мог допустить,— слишком долгим и мучительным был этот жаркий день.

— А помните, года два назад был процесс где-то в нашем штате? Судили полицейских за торговлю конфискованным оружием.

Стони улыбнулся ласковой улыбкой крокодила и с крокодильей же непосредственностью.

— У меня была трудная неделя, Ит. Ужасная неделя. Вам, я вижу, хочется подразнить меня, так лучше не надо. Мне и без вас досталось за эту неделю.

— Ладно, начальник, не буду. А не может ли добропорядочный гражданин чем-нибудь помочь вам, например, выпить с вами вместе?

— Эх, если б можно было! Я бы сейчас ничего так не хотел, как напиться пьяным.

— За чем же дело стало?

— Вы ничего не знаете? Да нет, откуда вам знать. Если бы я хоть сам знал, откуда это все и для чего.

— О чем это вы?

— Ни о чем, и забудьте, что я говорил. Впрочем, нет — не забывайте. Вы ведь в дружбе с мистером Бейкером, Ит. Что он, не задумал чего-либо новенького?

— Не такой уж я ему близкий друг, чтобы это знать, начальник.

— А Марулло? Где он сейчас, Марулло?

— Поехал в Нью-Йорк. Хочет посоветоваться насчет свего артрита.

— Господи боже мой. Не понимаю. Ничего не понимаю. Если бы хоть какой-нибудь след, я бы знал, куда кидаться.

— Что-то вы городите несуразное, Стони.

— Да, вы правы. И вообще я тут слишком много наговорил.

— Не могу похвастать смекалкой, но если у вас есть потребность поделиться...

— Нет, нет. Ни за что. Им не удастся обвинить меня в том, что я разболтал, никому не удастся. Забудьте все, Ит. я просто очень устал и измучен.

— Меня вам нечего бояться, Стони. Что там было — суд присяжных?

— Так вы знаете?

— Немножко.

— Что же за этим кроется?

— Забота о прогрессе.

Стони подошел ко мне совсем близко и так схватил меня выше локтя своей железной рукой, что мне стало больно.

— Итен,— сказал он свирепо,— по-вашему, я хороший полицейский?

— Превосходный.

— Стараюсь, как могу. От всей души стараюсь. Ит, по-вашему, это хорошо — заставлять человека выдавать своих друзей, чтобы спасти себя?

— По-моему, нет.

— И по-моему, нет. Не могу я уважать власти, которые так поступают. И ведь вот что меня пугает, Ит, я уже не смогу быть хорошим полицейским, раз у меня не будет уважения к своему делу.

— Вас на чем-нибудь подловили, начальник?

— Помните ваши собственные слова? Так много законов, что стоит чихнуть, и ты уже нарушил один из них. Ах черт меня побери! Ведь это же все мои друзья. Но вы никому не расскажете, Итен?

— Нет, нет, не расскажу. Вы забыли свой обеденный набор, шеф.

— Да,— сказал он.— Приду домой, сниму ботинки и буду смотреть телевизор — учиться у полицейских из телефильма. Знаете, иногда лучше отдыхать, когда дома никого нет. Ну, всего, Итен.

Стони славный малый. И он хороший полицейский. Интересно, куда поведет след.

Я собирался запирать и только что внес лотки с улицы, как вдруг пожаловал Джой Морфи.

— Скорей!— сказал я, запер обе двери и спустил зеленые шторы.— Говорите шепотом.

— А что случилось?

— Вдруг кто-нибудь захочет еще что-то купить.

— А! Я вас понимаю. Господи, до чего я ненавижу праздники! В людях проявляется все самое скверное. С утра скачут, как бесноватые, а когда доберутся до дому, так и язык на сторону.

— Хотите выпить холодненького, пока я тут все уберу?

— Не возражаю. Пиво есть?

— Только на вынос.

— Не беспокойтесь, я его вынесу. Откройте баночку.

Я проткнул в крышке два треугольных отверстия, и он, запрокинув голову, вылил все до капли себе в рот.

— Уфф!— сказал он и поставил пустую банку на прилавок.

— Мы тоже уезжаем до вторника.

— Бедняга! А куда?

— Еще не знаю. Мы еще не успели поссориться из-за этого.

— Что-то происходит в городе. Не знаете, что?

— Подскажите.

— Я сам не знаю. Но чую, что-то происходит. У меня затылок чешется. Это верный признак. Все словно выбились из колеи.

— Может быть, вам только кажется.

— Может быть. Но мистер Бейкер никогда не уезжает на праздники. А тут у него прямо земля под ногами горела, так он спешил убраться из города.

Я засмеялся:

— А вы бы проверили свои книги.

— Знаете, что? Проверял.

— Шутите!

— Знал я одного почтмейстера в маленьком городишке. У него работал помощник, сопляк, мальчишка по имени Ральф — соломенные волосы, очки, крошечный подбородок, аденоиды величиною с зоб. Так вот этот Ральф попался на краже марок — и на большую сумму, что-то около двух тысяч долларов. И ничего он не мог поделать. Сопляк и сопляк.

— Вы хотите сказать, что он не крал этих марок?

— А какая разница? Крал, не крал, все равно попался. Я вот всегда начеку. И никогда не попадусь, будьте спокойны, разве что не по своей вине.

— Не потому ли вы и не женились?

— А что, черт возьми, может, отчасти и потому.

Я снял фартук, свернул его и убрал в ящик под кассой.

— Хлопотное дело подозревать всех и каждого, Джой. У меня на это и времени бы не нашлось.

— В банке нельзя иначе. Один раз оплошал — кончено. Довольно кому-нибудь шепнуть.

— Неужели вы ко всем относитесь с подозрением?

— Тут уж инстинкт действует. Если что хоть чуть-чуть не так — у меня сейчас тревожный звонок.

— Да как же так можно жить! Вы, верно, шутите.

— Шучу, шучу. Я только хотел вас просить: если услышите что-нибудь, скажите мне, то есть, конечно, если это меня касается.

— Да я вообще каждому готов рассказать все, что знаю. Оттого, должно быть, мне никто ничего и не рассказывает. Вы домой?

— Нет. Зайду, пожалуй, в «Фок-мачту» пообедать.

— Я выключил наружное освещение.

— Мы выйдем через переулок, не возражаете? Я вам завтра приготовлю сандвичи с утра, до того как начнется столпотворение. Один с сыром, один с ветчиной, черный хлеб, салат и майонез, верно? И кварту молока.

— Вам бы в банке работать,— сказал он.

Пожалуй, живя один, он был не более одинок, чем многие, у кого есть семья. Мы простились у входа в ресторан, и на мгновение я ему даже позавидовал. Я легко мог представить себе, что творится у меня дома.

И я не ошибся. Мэри уже обдумала всю программу. Неподалеку от мыса Монток есть такой приют для бездельников — небольшое ранчо, оборудованное во вкусе современного ковбойского фильма для взрослых. Пикантность в том, что когда-то это было настоящее ранчо, одна из

самых старейших скотоводческих ферм в Америке. Там разводили скот на продажу, когда еще Техаса и в помине не было. Грамота на землю была пожалована владельцам Карлом Вторым. На этой земле пасся скот, который шел на прокорм Нью-Йорку, и пастухов туда брали на срок, по жребию, совсем как присяжных. Теперь, конечно, все это чистая бутафория, но все-таки на пастбищах и сейчас пощипывают травку упитанные коровы. Мэри очень нравилась идея заночевать там, в одном из домиков для проезжающих.

Эллен хотела ехать прямо в Нью-Йорк, остановиться в отеле и провести два дня на Таймс-сквер. Аллен вообще не хотел ехать. Это один из его излюбленных способов заявить о себе и привлечь к своей персоне внимание.

Самый воздух в доме был наэлектризован волнением. Эллен проливала тяжелые, медленные горькие слезы. Мэри была вся красная от негодования и усталости. Аллен, надувшись, демонстративно сидел в стороне от всех со своим карманным приемничком и слушал голос певицы, заунывно, с надрывом повторявшей слова любовной жалобы: «Ты в любви мне поклялся, а потом надругался, мое бедное, верное сердце грубо ты растоптал».

— Я, кажется, сейчас брошу все,— сказала Мэри.

— Они думают, что помогают тебе.

— Они нарочно стараются быть как можно несноснее.

— Никогда мне ничего нельзя,— хныкала Эллен.

Аллен в гостиной запустил на полную мощность «...мое бедное, верное сердце грубо ты растоптал».

— Милая моя каротелька, а что, если нам запереть их в погреб и уехать отдыхать вдвоем?

— Я бы, кажется, ничего против не имела.— Ей пришлось прокричать эти слова, чтобы я их расслышал в грохоте бедного, верного сердца.

Во мне вдруг поднялось бешенство. Я решительным шагом пошел в гостиную с твердым намерением схватить своего сына за шиворот, швырнуть на пол и грубо растоптать вместе с его бедным верным сердцем. Но когда я уже был на пороге, музыка вдруг замолкла: «Прерываем нашу передачу, чтобы сделать специальное сообщение. Сегодня днем ряд крупных должностных лиц Нью-Бэйтауна и округа Уэссекс получили предписание явиться в суд присяжных по обвинению в разного рода злоупотреблениях, как-то: махинации со штрафами за нарушение уличного движения, взятки, спекуляция подрядами на строительство и благоустройство...»

Вот оно, обрушилось — мэр, муниципалитет, судьи, все тут. Я слушал с тяжелым чувством, слушал и не слышал. Может быть, они и делали все то, в чем их обвиняли, но они делали это так давно, что уже не видели в этом ничего дурного. А если они невиновны, им уже не успеть оправдаться до выборов, да и потом обвинение, даже недоказанное, всегда кладет тень на человека. Их песенка спета. Вероятно, они это сами понимали. Я прислушался, ожидая услышать имя Стони, но оно не было названо. Очевидно, он предал их, чтобы самому остаться в стороне. Немудрено, что у него было так скверно на душе.

Мэри слушала, стоя в дверях.

— Ну и ну! — сказала она.— Давно уже у нас не случалось ничего подобного. Ты думаешь, это все правда, Итен?

— Неважно,— сказал я.— Тут не в том дело, правда или неправда.

— Интересно, что об этом думает мистер Бейкер.

— Он уехал отдыхать. Да, хотел бы я знать, каково ему сейчас.

Аллен сердито ерзал на месте, недовольный, что его музыка прервалась.

Радио, обед, а потом мытье посуды отвлекли нас от разговоров о поездке, а потом оказалось, что уже слишком поздно, чтобы решать что-нибудь или продолжать ссоры и слезы.

Когда мы улеглись в постель, меня вдруг бросило в дрожь. От холодной, обдуманной беспощадности нанесенного удара мне стало зябко, несмотря на теплоту летней ночи.

Мэри сказала:

— У тебя гусиная кожа, милый. Уж не подхватил ли ты вирусный грипп?

— Нет, родная, просто я думаю, каково сейчас этим людям. Пожалуй, им не позавидуешь.

— Перестань, пожалуйста, Итен. Нельзя взваливать себе на плечи чужую беду.

— Как видишь, можно.

— Едва ли из тебя когда-нибудь получится бизнесмен. Ты слишком чувствителен, Итен. Ты-то не виноват в этих преступлениях.

— Как знать. Может быть, может быть, мы все виноваты.

— Не понимаю.

— Я и сам не очень понимаю, радость моя.

— Если бы было на кого их оставить.

— Повтори, Коломбина, что ты сказала.

— Как бы я хотела провести праздники вдвоем с тобой. Давно уже так не бывало.

— Да, плохо, когда нет какой-нибудь одинокой пожилой родственницы. Но, может быть, ты что-нибудь придумаешь? Жаль, что нельзя их засолить или замариновать на время. Мэри, мадонна моя, ну постарайся придумать что-нибудь. До смерти хочется побыть с тобой вдвоем в незнакомом месте. Мы гуляли бы в дюнах и купались ночью голые, и я бы тормошил тебя на ложе из папоротников.

— Милый мой, хороший, я все понимаю. Я знаю, как тебе трудно. Не думай, что я не знаю.

— Ладно, прижмись ко мне крепче. Давай думать вместе.

— Ты все еще дрожишь. Тебе холодно?

— Мне и жарко и холодно, я и полон и пуст — и я очень устал.

— Я придумаю что-нибудь. Непременно придумаю. Конечно, я их люблю, но все-таки...

— Да, а я бы спокойно надел галстук-бабочку...

— Если их посадят в тюрьму...

— Это, пожалуй, был бы выход.

— Нет, я о тех людях. Их посадят, как ты думаешь?

— Нет. В этом нет надобности. Суд присяжных будет не раньше того вторника, а в четверг выборы. На это и расчет.

— Итен, что за цинизм. Тебе это не свойственно. Мы обязательно должны уехать, раз уж ты становишься циником, а ты не шутил, я по твоему тону слышу. Я знаю, когда ты шутишь. Сейчас ты говорил всерьез.

Я испугался. Неужели по мне заметно что-то? Этого ни в коем случае нельзя допускать.

— Мышка, мышка, выходи за меня замуж!

И Мэри отвечала:

— Ау! Ау!

Меня мучил страх, вдруг по мне что-то заметно. Я давно уже не верил, будто глаза — зеркало души. Не раз мне встречались в жизни отъявленнейшие стервы с ангельским личиком и глазками. Есть, конечно, люди, наделенные способностью видеть человека насквозь, но таких очень мало. А вообще люди редко интересуются чем-нибудь, кроме самих себя. Мне врезалась в память история, которую я как-то слышал от одной канадки шотландского происхождения. Когда она была

девочкой-подростком, ей, как и всякому подростку, постоянно казалось, что все на нее смотрят, причем неодобрительно, и от смущения она то и дело краснела и ударялась в слезы. Однажды ее дед, старый шотландский горец, видя ее мучения, сказал сердито: «И чего ты расстраиваешься, что, мол, люди думают о тебе плохо? Да они о тебе вовсе не думают!» Это ее сразу излечило, а я после ее рассказа тоже стал как-то увереннее в себе, потому что старик был совершенно прав. Но вот Мэри, которая обычно живет за завесой из цветов, ею самой выращенных, услышала же что-то, чем-то на нее повеяло. Здесь крылась опасность — ведь нужно было еще прожить целый день.

Если бы мой план возник сразу и во всех подробностях, я счел бы его нелепицей и выбросил из головы. Взрослые люди так не поступают, но взрослые люди часто играют в тайные игры. Моя игра началась с того дня, когда Джой изложил мне правила ограбления банка. Она скрашивала скуку моей работы, а дальше все так удивительно хорошо в нее укладывалось — Аллен со своей маской, неисправный бачок в уборной, заржавленный револьвер, приближающийся праздник, бумага, которую Джой заталкивал в дверной замок. Играя, я рассчитывал время, репетировал, примерялся. Но ведь и бандит, отстреливающийся от полиции, был когда-то мальчишкой и стрелял из пугача да так набил себе руку, что обидно было бы не приложить потом это искусство к делу.

Мне трудно сказать, когда именно моя игра перестала быть игрой. Может быть, когда я понял, что могу стать владельцем лавки и что для ведения дела понадобятся деньги. И потом — соблазн испытать на практике так безупречно разработанный план. А что до преступности этого плана — так ведь это преступление против денег, не против людей. Никто не пострадает. Деньги застрахованы. Преступно было то, что касалось людей — Дэнни, Марулло. Если я *это* мог сделать, то кража — пустяки. К тому же все это на один раз. Больше это никогда не повторится. А вся подготовка, аксессуары, расчет времени — все было разработано до мельчайших деталей прежде, чем это перестало быть игрой. Мальчишка с пугачом вдруг ощутил в руке настоящее оружие.

Конечно, известный риск тут был, но ведь рискуешь и тогда, когда переходишь улицу или даже просто прогуливаешься под деревьями. Мне кажется, страха я не испытывал. Я его изжил в многочисленных репетициях, осталось только легкое волнение, похожее на то, что чувствует актер, стоя за кулисами в день премьеры. И как в настоящей, серьезной игре, все возможные осложнения были заранее учтены и предупреждены.

Против ожиданий, я спал очень крепко, без снов и даже проспал. Я рассчитывал провести предрассветный час в успокаивающем нервы раздумье. Однако, когда я раскрыл глаза, хвост коровы у озера был виден так ясно, что, должно быть, уже с полчаса как рассвело. Меня вдруг подбросило на кровати, словно взрывной волной. При таком пробуждении, бывает, судорога сводит все тело. Даже Мэри проснулась от толчка и спросила:

— Что случилось?

— Я проспал.

— Глупости. Еще рано.

— Нет, мой плюсквамперфектум. У меня сегодня гала-день. Страсть к бакалее овладела миром. А ты не вставай, пожалуйста.

— Тебе надо поплотнее позавтракать.

— А я, знаешь, что сделаю? Возьму в «Фок-мачте» кофе на вынос и, как голодный волк, наброшусь на запасы Марулло.

— Обещаешь?

— Обещаю, мышка-норушка, а ты лежи и думай, как бы все-таки избавиться на эти два дня от наших обожаемых деток. Нам это просто необходимо. Серьезно.

— Я и сама знаю. Попробую еще подумать.

Я быстро оделся и ушел, не дав ей времени наградить меня еще какими-нибудь полезными советами насчет моего здоровья и благополучия.

Джой сидел в кафе и, увидя меня, приглашающим жестом хлопнул по соседнему табурету.

— Не могу, Морфи. Поздно. Анни, можешь отпустить мне кварту кофе в картонной посуде?

— Кварту — нет. Две пинты, если хочешь.

— Ничего. Это даже лучше.

Она налила кофе в два картонных стаканчика, закрыла их крышками и поставила в бумажный мешочек.

Джой допил и вышел вместе со мной.

— Вам сегодня придется служить обедню без епископа?

— Да, видно, так. Что вы скажете о вчерашних новостях?

— Все никак не переварю их.

— Говорил я вам, что чую неладное.

— Да, я об этом вспомнил, когда слушал радио. У вас тонкий нюх.

— Это профессиональное. Теперь Бейкер мог бы спокойно вернуться. Не знаю только, вернется ли.

— Бейкер?

— А вам ничего не приходит в голову?

Я беспомощно поглядел на него.

— Чего-то я, видно, недодумываю, а чего, сам не знаю.

— Господи боже мой!

— Удивляетесь моей недогадливости?

— Вот именно. Закон клыков еще не отменен.

— Ах ты, господи! Видно, я очень многого не могу додумать. Между прочим, я забыл, вы, кажется, любите, чтоб был и салат и майонез?

— Да, и то и другое.— Он сорвал целлофановую обертку с пачки сигарет «Кэмел» и, скомкав ее, сунул в дверной замок.

— Ну, я пошел,— сказал я.— У нас сегодня объявлена распродажа чая. Предъявивший крышку от ящика получает в премию ребенка. Нет ли у вас знакомых дам?

— Есть, конечно, но едва ли они соблазнятся подобной премией. Не трудитесь приносить сандвичи, я сам зайду.— Он затворил дверь за собой, и я не услышал щелканья замка. Надеюсь, Джой никогда не узнает о том, что он был моим учителем, и превосходным учителем. Он не только изложил мне теорию, он подкрепил ее наглядным уроком и, сам того не ведая, расчистил мне путь.

Все специалисты, все, кто разбирается в таких вещах, утверждают, что только деньги делают деньги. Самый простой путь — всегда самый лучший. Вся сила моего плана заключалась в его необыкновенной простоте. Но, наверно, он так и остался бы навсегда в моем воображении, если бы случайно Марулло не шагнул сослепу на край пропасти. Когда мне сделалось ясно, что я, может быть, стану владельцем лавки,— вот тогда, и только тогда все мои фантазии обрели реальность. У непосвященного мог бы возникнуть вопрос: если лавка будет моя, зачем же мне тогда деньги? Мистер Бейкер бы такого вопроса не задал и Джой тоже, не говоря уже о Марулло. Иметь лавку, не имея капитала,— хуже, чем совсем не иметь лавки. Аппиева дорога банкротства окаймлена могилами необеспеченных предприятий. У меня там уже одна могилка есть. Самый глупый военачальник не бросит все свои силы на прорыв, зная, что у него нет ни резервов, ни минометов, ни подкреплений, а вот некоторые незадачливые дельцы именно так поступают. Правда, задний карман моих брюк оттопыривала объемистая

пачка денег Мэри, но большая часть из них должна перейти в карман Марулло. И вот подойдет первое число следующего месяца. Оптовые фирмы не так уж рвутся предоставлять кредит предпринимателям, еще не успевшим себя зарекомендовать. Вот почему мне нужны будут деньги, те самые деньги, что сейчас дожидаются меня за тикающей стальной дверью. Как их добыть, задача, которая до сих пор решалась в моих снах наяву, казалась теперь вполне разрешимой. Что грабеж — это преступление, смущало меня очень мало. Насчет Марулло моя совесть тоже была спокойна. Сейчас он жертва, но при других обстоятельствах он сам не задумался бы так поступить. Только мысль о Дэнни тревожила меня, хотя я и знал наверняка, что песенка Дэнни все равно спета. И разве не служила мне полным оправданием неудавшаяся попытка мистера Бейкера сделать с ним то, что сделал я? И все-таки мысль о Дэнни была, как открытая рана — открытая рана, боль которой превозмогаешь, когда победа близка. С этой раной мне теперь придется жить, но, может быть, со временем она зарубцуется или обрастет забвением, подобно тому как осколок снаряда обрастает хрящом.

Сейчас главное — деньги, а тут все подготовлено и выверено, как самый точный механизм.

Наука Морфи пошла мне впрок, я усвоил его правила и даже прибавил еще одно от себя. Первое: не иметь ничего порочащего в прошлом. За мной ничего и нет. Второе: никаких сообщников или доверенных. Об этом и речи быть не может. Третье: никаких дамочек. Из моих знакомых разве только Марджи Янг-Хант подходит под эту категорию, а я отнюдь не собираюсь пить шампанское из ее туфли. Четвертое: не козырять деньгами. Я и не намерен. Я буду тратить деньги понемногу, оплачивая ими счета поставщиков. Место для хранения я уже придумал. На дне коробки, где лежит моя шляпа храмовника, сделано возвышение из папье-маше, обтянутое бархатом, по размеру и форме моей головы. Я уже отделил его от дна и намазал края цементной пастой, чтобы потом мгновенно приклеить на прежнее место.

И еще — маска Мики Мауса. Она закроет все лицо, так меня не узнают. Старый прорезиненный плащ Марулло — все эти бежевые плащи выглядят одинаково — и пара целлофановых перчаток, которые одним движением снимаются с руки. Маска была вырезана еще несколько дней назад, а коробка вместе с корнфлексом спущена в канализацию, куда впоследствии отправится и маска с перчатками. Старый «айвер джонсон» с серебряной насечкой вычернен ламповой сажей, и в уборной стоит наготове банка со смазочным маслом, куда он будет засунут, а затем при первом удобном случае передан Стони.

Я прибавил еще одно заключительное правило: не жадничай. Не хватай слишком много и остерегайся крупных купюр. Шестьдесят тысяч, предпочтительно десятками и двадцатками,— вполне достаточно, и удобно хранить и тратить. Коробка от торта, что стоит на холодильнике, послужит подменной тарой; как только все будет закончено, она вернется на свое место, и в ней опять будет торт. Я пробовал изменять свой голос с помощью чревовещательной трубки Аллена, но потом решил, что лучше обойтись без слов, одними жестами. Все наготове, ничего не забыто.

Я даже пожалел, что мистера Бейкера нет в городе. Будут только Морфи, Гарри Роббит и Эдит Олден. Время было у меня рассчитано до долей секунды. Без пяти девять я поставлю метлу у входа. Дальше все репетировалось уже множество раз. Подвернуть полы фартука, подвесить гирю к цепочке в уборной, чтобы вода все время лилась. Всякий, кто войдет в лавку, услышит шум воды и сделает соответствующее заключение. Плащ, маска, коробка от торта, револьвер, перчатки. Как только начнет бить девять, перейти переулок, толкнуть дверь, надеть

маску и войти в ту самую секунду, как загудит часовой механизм и Джой распахнет дверцу сейфа. Наставить револьвер, жестом приказать всем троим лечь на пол. Сопротивления не будет. Джой ведь говорил: деньги застрахованы, а он нет. Взять деньги, положить в коробку от торта, вернуться к себе, спустить в унитаз маску и перчатки, бросить револьвер в банку со смазочным маслом, повесить плащ. Фартук вниз, деньги в шляпную коробку, торт на место, метлу в руки и, когда поднимется шум, как ни в чем не бывало подметать тротуар у всех на глазах. Все за одну минуту и сорок секунд — рассчитано, выверено и проверено. Но как ни тщательно я все обдумал и рассчитал, у меня немножко захватывало дух, когда я подметал лавку перед тем, как отпереть двойную уличную дверь. Фартук я надел вчерашний, мятый, чтобы не бросались в глаза новые сгибы.

И вот, поверите ли, время перестало двигаться, как будто новый Иисус Навин остановил-таки солнце. Минутная стрелка отцовского хронометра застряла на месте.

Давно уже я не обращался вслух к своей пастве, но в это утро обратился, должно быть, от волнения.

— Друзья мои,— сказал я,— то, чему вы сейчас станете свидетелями, должно остаться в тайне. Я знаю, что могу рассчитывать на ваше молчание. Если у кого-нибудь есть сомнения нравственного порядка, прошу сомневающегося покинуть собрание.— Я помолчал.— Нет таких? Тем лучше. Но если я вдруг узнаю, что какая-то банка устриц или кочан капусты позволили себе обсуждать это происшествие с посторонними, виновного ждет казнь посредством столовой вилки. Так и знайте. А теперь я желаю выразить вам свою признательность. Много лет мы с вами смиренно возделывали этот чужой виноградник, где я был таким же слугой, как и вы. Теперь положение изменится. Отныне я становлюсь здесь хозяином, но обещаю быть хозяином добрым, снисходительным и чутким. Срок подходит, друзья мои, занавес поднимается, прощайте.— И когда я с метлой в руках шел к дверям, я услышал свой собственный голос, взывавший: «Дэнни, Дэнни! Оставь меня, не терзай!» И такая сильная судорога передернула все мое тело, что мне пришлось постоять секунду, опершись на метлу, прежде чем отпереть дверь..

На отцовском хронометре короткая, толстая часовая стрелка указывала на девять, а длинная, тонкая минутная не дошла до двенадцати ровно на шесть минут. Я слышал, как сердце хронометра стучит у меня на ладони.

ГЛАВА XV

Этот день был не похож на другие дни, как собаки не похожи на кошек, а те и другие вместе — на хризантемы, или на морской прибой, или на скарлатину. Во многих штатах, в нашем-то во всяком случае, существует закон, по которому в праздничные дни должен лить дождь — специально, чтобы промочить людей до нитки и вконец испортить им настроение. Июльское солнце отбилось от орды маленьких перистых облачков и обратило их в бегство, но с запада из долины Гудзона надвигались воинственные полчища темных грозовых туч, вооруженных молниями и уже глухо бормочущих что-то на ходу. Если все пойдет строго по закону, то ливни не прольются до тех пор, пока на шоссе и на пляжах не скопится максимальное количество людишек-муравьишек, одетых по-летнему и по-летнему доверчивых.

Большинство магазинов у нас в городе открывалось в половине десятого. Но Марулло, стараясь урвать хоть на грош побольше, заставлял меня делать фальстарт получасом раньше. От этого, пожалуй, на-

до будет отказаться. Ничтожной выгодой не окупятся враждебные чувства, которые питают к нам другие торговцы. Марулло об этом не знает, а если и знает, так ему плевать на это. Он иностранец, итальяшка, тиран, бандит, кровосос, ублюдок и восемь разновидностей сукиного сына. После того как я загубил своего хозяина, его недостатки и грехи, естественно, так и бросились мне в глаза.

Длинная стрелка отцовского хронометра медленно ползла по кругу, и я поймал себя на том, что мету ожесточенно, напрягая мускулы, в ожидании той минуты, когда моя задача потребует от меня быстроты и слаженности всех движений. Я дышал ртом, желудок поджимало к самым легким, как бывало на фронте перед боем.

Для субботнего утра да еще перед Четвертым июля народу на улицах было маловато. Вот появился какой-то неизвестный мне старик с удочкой и зеленым пластмассовым ящичком для рыболовных принадлежностей. Идет к городской пристани и просидит там весь день, закинув в воду леску с несвежей наживкой на крючке. Он даже не взглянул на меня, но я заставил его обратить на себя внимание:

— Желаю удачи. Ловись рыбка большая.

— У меня никогда ничего не ловится.

— Иной раз окуня вытянешь.

— Не верю.

Ярый оптимист, но, по крайней мере, я запустил крючок в его память.

А вот и Дженни Сингл плывет по тротуару. Походка у Дженни такая, будто у нее ролики вместо ног. Во всем Нью-Бэйтауне не найти, пожалуй, менее надежного свидетеля. Как-то раз Дженни открыла кран духовки, а газ не зажгла. Не миновать бы ей взорваться и взлететь на воздух, да только она никак не могла вспомнить, где у нее спички.

— С добрым утром, мисс Дженни.

— С добрым утром, Дэнни.

— Я — Итен.

— Ну да, конечно. Хочу испечь пирог.

Я попытался оставить зарубку у нее в мозгу:

— Какой?

— Да сама не знаю, потому что ярлычок с пакета отклеился.

Если мне потребуется свидетель, лучше и не придумаешь! Но почему она сказала «Дэнни»?

Обрывок фольги никак не поддавался моей метле. Пришлось нагнуться и подцепить его ногтем. А банковские мышки осмелели, рады, что кота Бейкера нету. Вот их-то мне и нужно. Было без нескольких секунд девять, когда они выскочили из кафе и что есть духу побежали через дорогу.

— Ходу, ходу! — крикнул я, и они смущенно улыбнулись, атакуя двери банка.

Теперь пора. Не надо думать обо всем сразу — шаг за шагом, и каждый шаг — в отведенную ему секунду, как было рассчитано. Я заставил свой нервический желудок опуститься туда, где ему и надлежит быть. Теперь — поставить метлу у дверного косяка, на самом виду. Движения у меня были размеренно-быстрые, но не суетливые.

Уголком глаза я увидел на улице машину и остановился, пропуская ее мимо.

— Мистер Хоули!

Я повернулся назад всем телом, как это делают в кино загнанные в угол гангстеры. Запыленный темно-зеленый «шевроле» скользнул к тротуару, и из него — силы небесные! — вылез тот франтоватый чиновник из Нью-Йорка. Твердая земля дрогнула подо мной, точно отраже-

ние в воде. Остолбенев, я смотрел, как он идет прямо на меня. Мне казалось, что на это понадобилась вечность, а на самом деле — миг, и все было кончено. Возведенное мной совершенное здание рассыпалось прахом у меня на глазах, точно давно похороненный труп при соприкосновении с воздухом. Я хотел кинуться в уборную и проделать все остальное, как было задумано. Нет! Ничего не выйдет. Закон Морфи не подлежал отмене. В такую минуту думаешь, вероятно, со скоростью света. Трудно отказаться от плана, который долго вынашивал, проверял на себе раз за разом, так что выполнение его казалось только очередной проверкой, но я его отверг, отбросил, поставил на нем крест. Выбора у меня не было. И в голове со скоростью света пронеслась мысль: «Слава богу, что он не пришел минутой позже. Это была бы та самая роковая случайность, о которой пишут в детективных романах».

А тем временем молодой человек деревянной походкой вышагивал по тротуару — раз, два, три, четыре шага.

Что-то, наверно, было по мне заметно.

— Что с вами, мистер Хоули? Вы больны?

— Живот схватило,— сказал я.

— Это с каждым может случиться. Бегите, бегите. Я подожду.

Я кинулся в уборную, закрыл за собой дверь и дернул цепочку, чтобы зашумела вода. Света я не зажег. Я сидел в темноте. Мой судорожно трепыхающийся желудок не подвел меня. Не прошло и минуты, как мне действительно понадобилось, и я опростался, и мало-помалу тугая пульсация внутри утихла. К своду законов Морфи добавился еще один подпункт: в случае каких-либо непредвиденных обстоятельств менять план — немедленно.

Со мной и раньше так бывало, что в критических положениях или в минуты большой опасности я словно вылезал из собственной шкуры, становился поодаль и с интересом стороннего наблюдателя следил за самим собой, за каждым своим жестом, за ходом своих мыслей, оставаясь совершенно спокойным. Сидя в темноте, я видел, как тот — другой — сложил вчетверо свой идеальный план, сунул в ящик, захлопнул крышку и убрал его не только с глаз долой, но и из памяти вон. Другими словами, когда я встал в темноте, застегнулся, оправил фартук и взялся за ручку тонкой фанерной двери, я был просто продавец в бакалейной лавке, которому предстоял хлопотливый день. И это не для конспирации. Так было на самом деле. Я недоумевал, что ему от меня нужно, этому молодому человеку, но при этом испытывал легкое беспокойство — тень застарелого чувства страха перед полицией.

— Вам пришлось ждать, простите,— сказал я.— Сам не знаю, отчего это меня так скрутило.

— Сейчас поветрие, такой вирус ходит,— сказал он.— То же самое было с моей женой на прошлой неделе.

— Ну, этот вирус, наверно, с дубинкой. Я еле добежал. Чем могу служить?

Вид у него сразу стал смущенный, извиняющийся, чуть ли не пристыженный.

— Странное дело — на что иной раз способен человек,— начал он.

Я преодолел в себе желание сказать «Всякое бывает», и слава богу, что не сказал, потому что следующие его слова были:

— На нашей работе чего только не бывает.

Я зашел за прилавок и ногой закрыл крышку кожаной коробки от шляпы и облокотился на прилавок.

Как странно! Пять минут назад я смотрел на себя глазами других людей. Так было надо. Мне было важно знать, что они видят. И пока этот человек шел по тротуару, он казался мне огромной, мрачной, беспросветной судьбой, врагом, людоедом. Но сейчас, когда затея моя бы-

ла запрятана в дальний угол и уже не существовала как часть меня самого, я увидел в этом человеке нечто иное — уже не связанное со мной ни к добру, ни к худу. Он был, пожалуй, моих лет, но какого-то особого склада, особой выучки, может быть, даже особых убеждений. Впалые щеки, волосы подстрижены ежиком, сорочка из белой рогожки, уголки воротничка на пуговицах, галстук — по выбору жены, и она, конечно, поправила узел и подтянула концы, перед тем как супруг ее вышел из дому. Костюм у него был темно-серый, ударяющий в черноту, ногти без маникюра, но аккуратно подстриженные, на левой руке золотое обручальное кольцо, в петлице узенькая ленточка — намек на орден, который он не носит. Рот и темно-голубые глаза приучены выражать твердость, и тем более странно, что твердости в них сейчас ни на йоту. Будто в нем проткнули дыру. Это был совсем не тот человек, который несколько месяцев назад выкладывал передо мной свои вопросы, словно квадратные стальные брусья на равном расстоянии один под другим.

— Вы здесь уже были,— сказал я.— Вы откуда?

— Из министерства юстиции.

— Правосудие творите?

Он улыбнулся.

— Да, по крайней мере, льщу себя такой надеждой. Но сегодня я здесь неофициально... и даже не уверен, что в отделе одобрили бы эту мою поездку. Но у меня сегодня свободный день.

— Чем могу служить?

— Дело довольно сложное. Просто не придумаю, с чего начать. Уж очень непривычно. Знаете, Хоули! Я служу двенадцать лет и первый раз встречаюсь с чем-либо подобным.

— Если вы скажете, в чем все-таки дело, может, я помогу вам.

Он опять улыбнулся.

— И слов не подберу. Я три часа просидел за рулем, а мне ведь обратно ехать, да еще вечером, когда на шоссе бог знает что творится.

— Да, это не шутки.

— Вот именно.

— Ваша фамилия, если не ошибаюсь, Уолдер?

— Ричард Уолдер.

— Мистер Уолдер, меня, того и гляди, начнут осаждать покупатели. Не понимаю, почему до сих пор их нет. Огромный спрос на сосиски и горчицу. Так что давайте выкладывайте. Мне что-нибудь грозит, какие-нибудь неприятности?

— На моей работе с какими только типами не встречаешься. Бандиты, лгуны, жулики, хапуги, глупые, умные. Иной раз терпение вот-вот лопнет, пока найдешь верный тон. Понятно?

— Ничего не понятно. Слушайте, Уолдер, что вы мнетесь? Я не такой уж дурак. У меня был разговор с Бейкером в банке. Вы стараетесь изловить моего хозяина, Марулло?

— Уже изловили,— тихо сказал он.

— За что?

— Нелегальный въезд. Мое дело маленькое. Мне дают досье, и я выполняю все, что от меня требуется. А судят, решают его участь другие.

— Его вышлют?

— Да.

— А он собирается протестовать? Может, я могу помочь?

— Нет. Протестовать он не хочет. Признал себя виновным. Уедет, и дело с концом.

— Подумать только!

Вошли покупатели, сразу человек семь, восемь.

— Я вас предупреждал! — крикнул я и стал помогать им выбрать, что нужно или что им казалось нужным. К счастью, сосисок и булочек у меня были запасены горы.

Уолдер спросил через головы:

— Сколько стоят пикули?

— Цена на ярлыке.

— Тридцать девять центов, мэм,— сказал он. И пошел взвешивать, завертывать, упаковывать, подсчитывать. Его рука потянулась мимо меня к кассе, выбила чек. Когда он отошел, я взял кулек из стопки, выдвинул ящик прилавка, прихватил кульком старый револьвер, отнес его в уборную и опустил в банку со смазочным маслом, давно его дожидавшуюся.

— Вы молодцом, справляетесь,— сказал я, вернувшись.

— Работал в «Грэнд-юнион» сразу после школы.

— Оно и видно.

— А разве у вас нет подручного?

— Хочу сына взять, пусть помогает.

Покупатели всегда налетают стайками, а не поодиночке. В промежутках продавец переводит дух в ожидании следующего прилета. И еще одно: если люди работают вместе, острые углы между ними стираются. В армии выяснилось, что, когда белые и черные сражаются рядом против общего врага, они перестают враждовать друг с другом. Мой подсознательный страх перед полицией рассеялся окончательно, как только Уолдер взвесил фунт помидоров и, выписав на пакете столбик цифр, подсчитал сумму.

Наша первая стайка улетела.

— Ну, говорите скорей, что вам нужно,— сказал я.

— Я обещал Марулло съездить сюда. Он хочет передать вам лавку.

— Вы с ума сошли. Простите, мэм. Это я своему приятелю.

— Да? Ну понятно. Так вот нас пятеро. Трое ребят. Сколько мне взять сосисок?

— Ребятам по пять штук, вашему мужу — три, вам — две. Итого двадцать.

— Вам кажется, что они способны съесть по пять сосисок?

— Не мне, а им так кажется. Вы на пикник?

— Угу.

— Тогда возьмите пять лишних, потому что несколько штук обязательно упадут в костер.

— Где у вас затычки для раковин?

— Там сзади, где нашатырь и стиральные порошки.

Так у нас все и шло вперебивку, да иначе и быть не могло. Если отредактировать наш разговор, вычеркнув покупателей, то он был примерно такой:

— Я до сих пор не могу прийти в себя. Делаешь свое дело и большей частью с кем сталкиваешься? С разной сволочью. А если привык возиться с жульем, лгунами и разными прохвостами, то порядочный человек тебя просто наповал уложит.

— Вы говорите, порядочный? Ну, знаете, нашли благотворителя! Мой хозяин такой кремешок, только держись.

— Да, знаю. Мы сами в этом виноваты. Он мне много чего порассказал, и я ему верю. Он выучил, что написано на постаменте статуи Свободы, еще до приезда сюда. Вызубрил наизусть Декларацию Независимости. В билле о правах каждое слово горело для него огнем. А потом вдруг — не пускают. Но он все-таки пробрался. Помог ему один добрый человек. Ободрал его как липку и высадил, не доезжая до берега,— добирайся в прибой сам, как хочешь. Он не сразу уразу-

мел, что такое Америка, но потом разобрался, постиг, что к чему. «Сколачивай деньгу. О себе думай в первую очередь». Постиг, все постиг. Он малый неглупый. О себе в первую очередь и думал.

Все это было пересыпано репликами покупателей, так что связного рассказа не получалось, а так, одни обрывки.

— Вот потому он не очень и огорчился, когда на него донесли.

— Донесли?

— Ну конечно. Долго ли? Звонок по телефону, только и всего.

— А кто же это?

— Поди узнай. Наш отдел — это точный механизм. Нажали кнопку, а дальше уж само собой заработало, как стиральная машина.

— Почему же он не скрылся?

— Устал, так устал, что сил больше нет. И опротивело ему все. Деньги у него есть. Решил вернуться в Сицилию.

— И все-таки я не понимаю, что вы там сказали про лавку?

— Он вроде меня. Я умею обращаться с разным жульем. Такая у меня работа. А порядочный человек портит мне всю механику, и я заношусь невесть куда. Вот так и с ним. Один только человек не пробовал его обсчитывать, надувать, не воровал, не канючил. Марулло пытался научить его, дурня, как надо блюсти свои интересы в нашей свободной стране, но этому простофиле уроки впрок не пошли. Он долго вас побаивался. Все старался понять, в чем ваш рэкет, и наконец понял, в чем — в честности.

— А что, если это ошибка?

— Говорит, нет, все так и есть. Ему хочется превратить вас в своего рода памятник тому, во что он когда-то верил. Документ о передаче лавки у меня в машине. Вам остается только одно — зарегистрировать его.

— Ничего не понимаю.

— Да я не уверен, что сам понимаю. Вы же знаете, как он говорит, ничего не разберешь. Вот я пытаюсь перевести вам то, что он пытался мне втолковать. Человек вроде устроен так, чтобы действовать в одном определенном направлении. Если он вдруг меняет его, что-то там портится — и нарезка с винта долой. Словом, плохо дело. Или, говорит, это вроде расчетов за электричество, когда сам себе квитанцию выписываешь. Напутаешь что-нибудь, расплачивайся потом. А вы, так сказать, его взнос авансом, чтобы свет не выключили, чтобы огонь не погас.

— А вы-то зачем сюда приехали?

— Сам не знаю. Что-то меня погнало... может, тоже, чтобы огонь не погас.

— О господи!

Лавку забило крикливой детворой и потными женщинами. Теперь, пожалуй, до самого полдня не будет ни единой свободной минуты.

Уолдер сходил к машине, вернулся и, разделив надвое волну по-летнему суматошных женщин, добрался до прилавка. Он положил передо мной толстый пакет, перевязанный шнурком.

— Мне пора. Шоссе так будет запружено, что и за четыре часа не доберусь. Моя жена просто в ярости была. Говорила — подождут. А, по-моему, с таким делом ждать нельзя.

— Мистер, я уже десять минут жду, когда вы мной займетесь.

— Сию минуту, мэм.

— Я его спросил, что передать, и он сказал: «Пожелайте ему всего хорошего». А от вас что?

— Пожелайте ему всего хорошего.

Волна животов, обтянутых платьями, снова сомкнулась у прилавка. Что ж, тем лучше. Я бросил конверт в ящик под кассой и туда же спрятал свою тоску.

ГЛАВА XVI

Время шло быстро, и все-таки день казался бесконечным. Лавку надо закрывать, а когда я открывал ее, даже не помню — так давно это было. Только я собрался запереть дверь на улицу, как появился Джой, и, не спрашивая его, я открыл банку с пивом и подал ему, а вторую взял себе, чего раньше никогда не делал. Я хотел рассказать Джою о Марулло и о лавке, но не мог, даже тем не мог поделиться, что принял взамен истины.

— Какой у вас усталый вид,— сказал Джой.

— Еще бы! Взгляните на полки — хоть шаром покати. Надо не надо — все скупили.— Я высыпал выручку в серый холщовый мешок, добавил туда деньги, принесенные мистером Бейкером, сверху положил пухлый пакет и перевязал мешок бечевкой.

— Напрасно вы оставляете это здесь.

— Да, пожалуй. Но я его прячу. Хотите еще пива?

— Хочу.

— Я тоже выпью.

— Вы слишком уж благодарный слушатель,— сказал он.— Я начинаю сам верить в свои россказни.

— О чем это вы?

— Да о моем сверхъестественном чутье. Вот как раз сегодня оно и проявилось, с самого утра. Наверно, я просто видел сон, но уж очень все было явственно, даже волосы на загривке стали дыбом. Я не то чтобы думал, что на банк совершат налет. Я знал это наверняка. Лежу в постели и знаю — вот так все и будет. Мы затыкаем маленькие клинышки под сигнальные звонки в полу, чтобы не наступить на них нечаянно. И сегодня утром я прежде всего эти клинышки вынул. Такая во мне была уверенность, так я к этому был готов. Ну, как это объяснить?

— Может, кто-нибудь собирался вас ограбить, и вы успели прочитать его мысли, а он взял и раздумал.

— С вами не пропадешь! Человек ошибся, а вы даете ему с честью выйти из положения.

— Ну, а как вы сами все объясняете?

— Ничего не знаю. Наверно, слишком уж я выставлялся перед вами эдаким всезнайкой, пришлось самому в себя уверовать. Но, доложу я вам, здорово меня это взбаламутило.

— Знаете, Морфи, я так устал, что и подметать не могу.

— Не оставляйте здесь выручку. Возьмите ее домой.

— Ладно, будь по-вашему.

— Мне все еще кажется, что где-то что-то не ладно.

Я открыл кожаную коробку, в которой лежала моя шляпа с пером, сунул туда мешок с деньгами и затянул на ней ремень. Глядя, как я все это делаю, Джой сказал:

— Съезжу-ка я в Нью-Йорк, возьму номер в гостинице, разуюсь и два дня с утра до вечера буду любоваться из окна водоворотом на Таймс-сквер.

— С той самой?

— Нет, ту я оставил. Закажу в номер бутылку виски и девицу. И с девицей и с бутылкой можно не разговаривать.

— Я вам, кажется, рассказывал... мы с Мэри, может быть, уедем на эти дни.

— И правильно. Вам это необходимо. Все у вас готово?

— Нет, кое-что надо еще сделать. А вы поезжайте, Джой. Разуйтесь, побудьте там в одних носках.

Прежде всего надо было позвонить Мэри и сказать ей, что я немного задержусь.

— Хорошо, но все-таки скорее домой, домой, домой. Тебя ждет сюрприз, сюрприз, сюрприз!

— Скажи мне сейчас, прелесть моя.

— Нет. Хочу видеть, какое у тебя будет лицо.

Я повесил маску Мики Мауса на кассу, так что она закрыла собой маленькое окошечко, где выскакивают цифры. Потом надел пальто и шляпу, выключил везде свет и сел на прилавок, свесив ноги. Справа меня подталкивал в бок черный банановый стебель, а слева, вроде подпорки для книг, к моему плечу пристроился кассовый аппарат. Шторы на витринах были подняты, позднее летнее солнце силилось проникнуть внутрь сквозь переплет решетки, в лавке стояла тишина — тишина ровного гула, а мне ничего другого и не требовалось. Я пощупал в левом кармане, что там вдавилось мне в бок. Талисман. Я взял свой талисман обеими руками и всмотрелся в него. Он был нужен мне вчера. Значит, я забыл положить его на место. Может быть, то, что он все еще со мной, не случайно? Не знаю.

И как всегда, стоило мне только повести пальцем по извилине, и я почувствовал себя в его власти. В полдень он бывал розовый, а к вечеру темнел, наливался багряным румянцем, точно в него проникала струйка крови.

Не раздумывать мне было нужно сейчас, а перестроиться, изменить все свои планы, точно я пришел в сад, где за ночь снесли дом. Пока не отстроишься заново, надо найти какое-нибудь более или менее сносное пристанище. Я отвлекался работой, давая всему новому время войти не спеша, чтобы можно было взять это на учет и хорошенько усвоить. Полки, весь день подвергавшиеся нападению, зияли пустотами там, где их обороны взломала голодная орда,— точно у них были выбиты зубы, точно на меня смотрел обнесенный стеной город, выдержавший артиллерийский обстрел.

— Помолимся о тех, кто ушел от нас,— сказал я.— Помолимся о банках кэтчупа — боже, как поредели ряды мундиров красных! О храбрых пикулях и обо всех приправах вплоть до маленьких флакончиков с уксусом. Не в нашей власти воздать им почести... нет, не то. Это мы, живые...* тоже не то. Альфио! Желаю вам счастья и избавления от боли. Вы, конечно, ошиблись, но ошибка ваша да послужит вам согревающим компрессом. Вы пошли на жертву после того, как сами стали жертвой.

В лавке то и дело мелькали тени людей, проходивших по улице. Я копнул поглубже среди обломков этого дня, отыскивая там слова Уолдера и его лицо, когда он сказал: «Вроде расчетов за электричество. Напутаешь, расплачивайся потом. А вы, так сказать, его взнос авансом, чтобы свет не выключили, чтобы огонь не погас». Вот что он сказал, этот Уолдер, с его устоявшимся жульническим миром, растревоженный узким лучиком света, который проник туда.

Чтобы огонь не погас. Так ли сказал сам Альфио? Уолдер не запомнил, но он твердо знал, что Марулло хотел сказать именно это.

Я провел пальцем по змейке на моем талисмане и вернулся к ее началу, которое было и ее концом. Какой это древний свет — три тысячи лет назад предки Марулло поднялись на Палатинский холм в день Луперкуса, чтобы ублажить жертвой римского Пана, защитника стад от волков. И этот огонь не погас. Марулло, итальяшка, макаронщик, принес жертву тому же божеству, прося о том же. Я снова увидел его голову над жирными складками шеи, над плечами, сведенными болью, увидел эту благородную голову, горящие глаза — и не погасший огонь. И подумал, какой же взнос потребуется с меня и когда его потребуют? Если

---

* Из речи Линкольна.

отнести мой талисман в Старую Гавань и бросить в море — достаточно ли будет такого дара?

Я не опустил штор на витринах. В праздничные дни мы так и оставляли их, чтобы полицейский мог заглядывать в лавку. В кладовой было темно. Я запер дверь в переулок и уже вышел на мостовую, как вдруг вспомнил про шляпную коробку за прилавком. Вспомнил, но не вернулся за ней. Пусть остается, что будет, то будет. К концу этого дня, как и следовало ожидать, с юго-востока подул резкий ветер и нагнал тучи, чтобы до костей промочить всех, кто выехал за город. Я решил, что во вторник надо поставить тому серому коту молока и пригласить его к себе в лавку.

ГЛАВА XVII

Не знаю, что делается в душе у других людей: ведь мы все разные, хотя в то же время и одинаковые. Могу только догадываться. Но про себя знаю наверняка, что я извиваюсь и корчусь, пытаясь увильнуть от ранящей истины, а когда наконец деваться от нее некуда, откладываю попечение о ней на время, в надежде, что она сама от меня отстанет. А другие? Может быть, говорят сухим тоном: «Я подумаю об этом завтра, когда отдохну»,— а потом погружаются мыслью в вожделенное будущее или отредактированное прошлое, точно дети, уже через силу играющие в какую-то игру, лишь бы оттянуть неизбежное «спать пора».

Я тащился домой через минное поле истины. Будущее было засеяно всхожими зубами дракона. И удивительно ли, что мне захотелось стать на якорь в прошлом. Но на моем пути стала тетушка Дебора — бьющий влет стрелок по всякого рода лжи, и глаза у нее были как два горящих вопросительных знака.

Я простоял у ювелирного магазина, разглядывая в витрине оправы для очков и эластичные часовые браслеты до тех пор, пока это было в границах приличий. В недрах сырого ветреного вечера зарождались грозовые ливни.

В начале прошлого столетия было много островков любознательности и премудрости, как моя тетушка Дебора. Отчего они становились книгочиями? Оттого ли, что жили в стороне от сильных мира сего, или оттого, что им приходилось подолгу ждать, когда придут домой китобойные суда, ждать иной раз три года, иной раз до конца дней своих, и они обращались к тем книгам, которыми был теперь забит наш чердак. Но лучшей из лучших была моя тетушка Дебора — сибилла, пифия, учившая меня магическим, бессмысленным словам. И, вложив потом в эти слова какой-то смысл, я не перестал ощущать их власть над собой.

«Ма бесвак фор орм тра фэгир вур»,— говорила она, и что-то роковое слышалось в этом. И еще: «Сео лео гиф хо плай онбирит авит эрест айр лэдтоу». Слова эти были какие-то волшебные, иначе я не помнил бы их до сих пор.

Мимо меня бочком-бочком, опустив голову, быстро прошел мэр Нью-Бэйтауна, и, поздоровавшись с ним, я услышал короткое «добрый вечер» в ответ.

Я почувствовал свой дом, старинный дом Хоули, за полквартала. Вчера вечером он был окутан паутиной уныния, но в этот окаймленный грозой вечер все в нем излучало радостное волнение. Дома́, точно опалы, меняют окраску в течение дня. Старушка Мэри услышала мои шаги на дорожке и мелькнула в дверях, как язычок огня.

— А вот не догадаешься! — сказала она и вытянула руки ладонями внутрь, точно придерживая большой сверток.

Те слова все еще были со мной, и я сказал:

— Сео лео гиф хо плай онбирит авит эрест айр лэдтоу.

— Близко, но не совсем.

— Какой-то неизвестный поклонник преподнес нам динозавра.

— Нет, не отгадал, но моя новость ничуть не хуже. А скажу я тебе только тогда, когда ты умоешься, потому что такие вещи надо выслушивать чистеньким.

— Пока что я слушаю любовную песнь краснозадого павиана.— И это была чистая правда — песнь неслась из гостиной, где Аллен терзал свою душу бунтарством: «Мурашки, мурашки от взглядов милашки, а ты не веришь в мою любовь».— Знаешь что, ангел мой небесный, я сейчас его подожгу.

— Нет, не посмеешь. Особенно когда тебе все будет сказано.

— А нельзя сказать, пока я еще грязный?

— Нет.

Я вошел в гостиную. Мой сын ответил на мое приветствие с тем осмысленным выражением лица, какое бывает у человека, когда он жует резинку.

— Надеюсь, твое бедное верное сердце подобрали с полу?

— Чего?

— Не чего, а что. Последний раз я слышал, что его грубо растоптали.

— Боевик! — сказал он.— Первым номером по всей Америке. За две недели распродано два миллиона пластинок.

— Прекрасно! Значит, твое будущее обеспечено.— Поднимаясь по лестнице, я подхватил припев: — «Мурашки, мурашки от взглядов милашки, а ты не веришь в мою любовь».

Эллен подкралась ко мне с книжкой в руках, заложенной между страницами пальцем. Я знаю ее повадку. Она задаст мне какой-нибудь вопрос, по ее мнению интересный для меня, а потом как бы невзначай выпалит то, что хотела сказать Мэри. Эллен торжествует, когда ей удается забежать вперед. Не назову ее сплетницей, но есть за ней такой грех. Я показал ей скрещенные пальцы:

— Молчок.

— Но, папа...

— Молчок! Сказано молчок, значит, молчок, тепличная гвоздичка.— Я захлопнул за собой дверь и крикнул: — Моя ванная — моя крепость! — И услышал ее смех. Не верю детям, когда они хохочут над моими шутками. Я докрасна натер себе лицо и так яростно чистил зубы, что из десен проступила кровь. Потом побрился, надел чистую рубашку и ненавистный моей дочери галстук-бабочку, как бы подняв знамя восстания.

Моя Мэри все дрожала от нетерпения.

— Ты просто не поверишь.

— Сео лео гиф хо плай онбирит. Говори.

— Марджи самый верный друг на свете.

— Цитирую: «...Человек, который изобрел часы с кукушкой, умер. Это не ново, но слышать приятно».

— Ни за что не догадаешься... Она возьмет детей на свое попечение, чтобы мы с тобой могли уехать.

— Опять какой-нибудь трюк?

— Я ее не просила. Она сама.

— Да эти детки съедят ее заживо.

— Они ее обожают. В воскресенье она повезет их поездом в Нью-Йорк, переночует с ними у одной своей знакомой, а в понедельник поведет их в Рокфеллер-центр смотреть подъем нового флага с пятьюдесятью звездочками, потом будет парад и... и все прочее.

— Не верю своим ушам.

— Как это мило, правда?

— Очень мило. А мы с тобой убежим в Монток, мышка?

— Я уже звонила туда и просила оставить нам номер.

— Все как в бреду. Меня сейчас разорвет на части. Чувствую, как пухну, пухну.

Я хотел рассказать ей про лавку, но слишком большое количество новостей может вызвать несварение. Лучше подождать и выложить ей все это в Монтоке.

В кухню прошмыгнула Эллен.

— Папа, а розового камешка нет в горке.

— Он у меня. Вот здесь, в кармане. Возьми, положи его на место.

— А ты не велел выносить его из дому.

— И не велю, под страхом смертной казни.

Она чуть ли не с жадностью вырвала у меня талисман и, держа его обеими руками, понесла в гостиную.

Мэри устремила на меня какой-то странный хмурый взгляд.

— Зачем ты его брал, Итен?

— На счастье, родная. И подействовало.

ГЛАВА XVIII

Третьего июля, в субботу, дождь лил весь день, как и полагалось, и его жирные капли были какие-то особенно мокрые. Мы пробирались по шоссе, в извивающемся, точно червяк, потоке машин, немножко и важничая и в то же время чувствуя себя беспомощными и потерянными, словно птицы, выпущенные из клетки на волю и испугавшиеся, когда эта воля вдруг показала им свои зубы. Мэри сидела очень прямо, и от нее пахло только что выглаженным полотном.

— Ты довольна? Тебе весело?

— Я все время прислушиваюсь, как там дети?

— Знаю. Моя тетушка Дебора называла это тоской в веселье. Лети, птица моя! Вот эти оборочки у тебя на плечах — это твои крылья, дурочка.

Она улыбнулась и прижалась ко мне.

— Приятно, а все-таки я прислушиваюсь — как там дети? Интересно, что они сейчас делают?

— Все что угодно, только не думают о том, что делаем мы.

— Да, верно. Им это не интересно.

— Так давай перещеголяем их. Я увидел твою трирему, о нильская змейка, и понял: наш день настал. Сегодня вечером Октавиан будет просить хлеба у какого-нибудь греческого пастуха.

— Бог знает, что ты болтаешь. Аллен никогда не смотрит, куда идет. Может побежать прямо на красный свет.

— Да, да! А бедная наша хромоножка Эллен. Правда, сердце у нее золотое, и личиком она недурна. Может, кто-нибудь и полюбит ее, а ногу ей ампутируют.

— Ну, дай мне поволноваться немножко. Мне так лучше.

— Блестяще сформулировано. Ну что ж, давай вдвоем представим себе все ужасы, которые могут случиться.

— Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю.

— Понимаю. Но вы сами, ваше высочество, принесли в нашу семью гемофилию. Она передается по женской линии. В результате у нас с вами двое гемофиликов.

— Ты самый горячий отец на свете.

— Виновен я! Таких скотов не сыщешь днем с огнем.

— Я тебя люблю.

— Вот такие волнения я одобряю. Посмотри направо. Видишь, как песок маленькими твердыми волнами набегает на дорогу из-под вереска и дрока? Дождевые капли ударяются о землю и отскакивают от нее мельчайшими брызгами, как туман. Мне всегда казалось, что здесь по-

хоже на Дартмур или Эксмур, хотя и то и другое я видел только на картинках. Знаешь, первый девонский человек, вероятно, почувствовал бы себя в этих местах как дома. Как, по-твоему, призраки здесь бродят?

— Если не бродят, так ты их вполне заменишь.

— Комплименты хороши, когда они от всего сердца.

— Сейчас не до этого. Справа должен быть поворот. Смотри, когда будет указатель с надписью «Муркрофт».

И указатель появился. Эта длинная, узкая, точно веретено, оконечность Лонг-Айленда хороша тем, что почва здесь впитывает в себя дождь, и слякоти после него не бывает.

Нам отвели целый кукольный домик, чистенький, весь в ситчике, с прославленными рекламой супружескими кроватями, пухлыми, точно булочки.

— Это мне не нравится.

— Вот глупый! Они же рядом стоят — дотянуться можно.

— Еще дотягиваться? Это меня не устраивает, непотребная девица!

Обедали мы изысканно — ели мэйнские лангусты и пили белое вино — много белого вина, так что у моей Мэри заблестели глаза. А я еще коварно подливал ей коньяку, пока у меня у самого не зашумело в голове. Не я, а она вспомнила номер нашего кукольного домика, и не мне, а ей, удалось попасть ключом в замочную скважину. В дальнейшем выпитый коньяк не помешал мне — впрочем, если бы ей не хотелось, ничего бы и не было.

Потом, удовлетворенно потягиваясь, она положила голову мне на правую руку и улыбнулась и негромко протяжно зевнула.

— Тебя что-то тревожит?

— Глупости какие. Ты не успела заснуть, а уже видишь сны.

— Ты так стараешься, чтобы мне было хорошо. Я не пойму, что с тобой. Тебя что-то беспокоит.

Странные, прозорливые минуты — первые ступеньки сна.

— Да, беспокоит. Ну, теперь довольна? Ты никому не рассказывай, но небо обрушилось на землю и кусочек его попал мне на хвост.

Она сладко уснула со своей языческой улыбкой на губах. Я высвободил руку, встал и постоял в проходе между кроватями. Дождь кончился, только с крыш все еще капало, и четвертушка луны поблескивала в миллионах капелек. Beaux rêves, дорогая моя радость. Только смотри, чтобы небо не упало на нас.

Моя постель была прохладная, но чересчур мягкая, и мне было видно, как четкий месяц бежит сквозь тянущиеся к морю облака. Зловеще закричала где-то выпь. Я скрестил пальцы на обеих руках. Чур меня, хотя бы ненадолго. Двойное чур меня. Ведь на хвост мне упала всего лишь маленькая горошина.

Даже если рассвет пришел в раскатах грома, я ничего этого не слышал. Когда я проснулся, за окном уж золотилось утро, и в нем была бледная зелень папоротника, был темный вереск и красноватая желтизна мокрого песка дюн, а неподалеку, точно листовое серебро, поблескивал Атлантический. Покареженный ствол дуба возле нашего домика приютил у корней лишайник величиной с подушку, весь из ребристых наплывов серовато-жемчужного цвета. Извилистая, усыпанная гравием тропинка вела по кукольному городку к крытому черепицей бунгало, породившему все эти домики. Там была контора, киоски, где продавались почтовые открытки, сувениры, марки, а также ресторан со столиками, покрытыми скатертями в синюю клетку, за которыми нам, куклам, полагалось обедать.

Управляющий сидел у себя в конторе и проверял какие-то счета. Я приметил его, когда он записывал нас внизу,— лысоватый, не нуждающийся в ежедневном бритье. Взгляд у него был одновременно и бегаю-

щий и пристальный, и, глядя на наши веселые физиономии, он, видимо, надеялся, что мы приехали сюда наслаждаться любовью, и из желания угодить ему я чуть было не написал в регистрационной книге: «Мистер Смит с супругой». Его длинный мясистый нос словно вынюхивал грех, даже, кажется, высматривал, служа, как у крота, органом зрения.

— С добрым утром,— сказал я.

Он повел в мою сторону носом.

— Как спали?

— Прекрасно. Можно мне отнести жене завтрак в номер?

— Мы подаем только в ресторане. С половины восьмого до половины десятого.

— А если я сам понесу?

— Не полагается.

— Нарушим правила разок. Ведь вы сами понимаете...— Последнюю фразу я добавил только для того, чтобы не обмануть его надежд. Я был вознагражден за это. Глаза у него увлажнились, нос дрогнул.

— Смущается, что ли?

— Да ведь вы понимаете!

— Не знаю, как повар к этому отнесется.

— Поговорите с ним и намекните, что родился доллар и тянется на цыпочках к вершинам.

Повар оказался греком и счел доллар вещью весьма соблазнительной. Через несколько минут я вышел на дорожку с огромным подносом, покрытым салфеткой, опустил его на деревянную скамью, а сам стал собирать в букетик микроскопические полевые цветочки, чтобы украсить ими королевскую трапезу моей любимой.

Она, может быть, уже не спала, во всяком случае, веки ее приоткрылись, и она сказала:

— Пахнет кофе! О-о! Какой у меня заботливый муж!.. Да еще цветы! — милые пустячки, которые никогда не теряют своей прелести.

Мы ели и пили кофе и снова пили кофе. Моя Мэри сидела в постели, подложив подушку за спину, и вид у нее был куда более юный и невинный, чем у ее дочери. И мы оба в почтительных тонах говорили о том, как нам хорошо спалось здесь.

Час мой пробил.

— Устройся поудобнее. У меня есть новости, они и грустные и радостные.

— Прекрасно! Ты купил океан?

— У Марулло беда.

— Что случилось?

— Много лет назад он приехал в Америку, не имея на то разрешения.

— Ну и что?

— Теперь ему велено уехать.

— Высылают?

— Да.

— Но это ужасно.

— Да, хорошего мало.

— Что же мы будем делать? Что ты будешь делать?

— Кончились наши забавы. Он продал мне лавку — вернее, не мне, а тебе. Деньги ведь твои. Ему надо реализовать свое имущество, а я всегда пользовался его благоволением. В сущности говоря, он мне ее почти подарил — всего три тысячи долларов.

— Боже мой! Значит... значит, ты теперь хозяин лавки?

— Да.

— Не продавец? Ты больше не продавец?

Она уткнулась лицом в подушки и зарыдала. Навзрыд, громко, точно рабыня, с которой сбили ярмо.

Я вышел и сел на кукольное крылечко, дожидаясь, когда она будет готова, и, умывшись, причесав волосы, надев халат, она отворила дверь и позвала меня. Она стала совсем другая и прежней больше никогда не будет. Это и без слов было ясно. Об этом говорила посадка ее головы. Теперь она могла высоко держать голову. Мы снова стали «приличными людьми».

— А мистеру Марулло ничем нельзя помочь?

— Вряд ли.

— Как же это случилось? Кто это обнаружил?

— Не знаю.

— Он хороший человек. Это несправедливо. Как он держится?

— С достоинством. С честью.

Мы гуляли по берегу, как нам мечталось, сидели на песке, подбирали маленькие пестрые раковинки и, конечно, показывали их друг другу, дивились чудесам природы — морю, воздуху, свету, охлажденному ветерком солнцу, точно творец всего этого ожидал наших комплиментов.

Мэри была рассеянна. По-моему, ей хотелось домой, насладиться своим новым положением, увидеть, как женщины будут совсем по-другому смотреть на нее, услышать иные нотки в приветствиях знакомых на Главной улице. В ней, кажется, уже ничего не осталось от «бедной Мэри Хоули, которой так трудно живется». Она стала миссис Итен Аллен Хоули — навсегда. И я должен сохранить ее такой. Она отбывала этот день, потому что мы решили провести его здесь, потому что за него было заплачено, но, перебирая пальцами ракушки, она уже видела перед собой не их, а те яркие дни, что ожидали нас впереди.

Обедали мы в клетчатой столовой, где манеры моей Мэри, ее уверенность в себе разочаровали господина Крота. Его мясистый нос, который так радостно вздрагивал, учуяв греховную связь, теперь свернулся на сторону. И он совсем в нас разочаровался, когда ему пришлось подойти к нашему столику и сказать, что миссис Хоули требуют к телефону.

— Кто может знать, куда мы уехали?

— Как кто? Марджи, конечно! Мне пришлось ей сказать, ведь с ней дети. Ой! Надеюсь, ничего не... Он же не смотрит, куда идет!

Назад она вернулась, вся дрожа, как звездочка.

— Ты никогда не догадаешься. Никогда!

— Уже догадался, что случилось что-то хорошее.

— Она сказала: «Вы слышали новости? Радио слышали?» И я по ее голосу поняла, что новости приятные.

— Да ты скажи, в чем дело, а потом уж будешь об ее голосе.

— Нет, я просто поверить не могу.

— Может, я поверю? Давай попробуем.

— Аллен получил похвальный отзыв.

— Кто? Аллен? Ну, знаешь!

— За конкурсное сочинение... там со всей Америки... похвальный отзыв!

— Не может быть!

— Да, да! Всего пять похвальных отзывов... приз — часы и выступление по телевидению. Представляешь себе? У нас в семье знаменитость!

— Нет, не представляю. Значит, его хандра — это одно притворство? Какой актер! Выходит, никто не топтал его бедное нежное сердце?

— Перестань насмешничать. Подумай только! Наш сын — один из пяти мальчиков на все Соединенные Штаты — получил похвальный отзыв... и по телевидению!

— И часы! А он время умеет узнавать?

— Итен, если ты не перестанешь насмешничать, люди подумают, что ты завидуешь собственному сыну.

— Я просто поражен. Я считал, что у него слог не лучше, чем у генерала Эйзенхауэра. Ведь за Аллена невидимки не пишут.

— Знаю, знаю, Ит. У тебя такая игра — травить их. А на самом деле именно ты их и балуешь. Теперь скажи мне — ты помогал ему писать это сочинение?

— Я? Помогал? Он мне его даже не показывал.

— Ну, слава богу. А то я боялась, что ты станешь задирать нос, потому что сочинение на самом деле твое.

— Нет! Уму непостижимо! Доказывает только, как мало мы знаем собственных детей. А как отнеслась к этому Эллен?

— Себя не помнит от гордости. Марджи так волновалась, что говорить не могла. У него будут брать интервью для газет... и телевидение, он выступит по телевидению! А телевизора у нас нет, и мы даже не сможем посмотреть его. Марджи говорит, чтобы мы пришли к ней. В нашей семье знаменитость! Итен, нужно купить телевизор.

— Купим. Завтра с утра побегу в магазин. Да ведь можно заказать — пришлют.

— Позволить себе такую... Ох, Итен, я забыла, что лавка теперь твоя, совершенно забыла. Нет, ты понимаешь? Знаменитость!

— Надеюсь, мы сможем жить с ним под одной крышей.

— Дай ему порадоваться. Надо ехать домой. Они возвращаются с поездом семь восемнадцать. Мы должны быть дома, надо же встретить его.

— И испечь пирог.

— Обязательно испеку.

— И развесить гирлянды из гофрированной бумаги.

— Ты это не от зависти?

— Нет. Я потрясен. Гирлянды из гофрированной бумаги очень красиво. По всему дому.

— Но не снаружи. Это будет уж чересчур, Марджи говорит — может, нам лучше притвориться, будто мы ничего не знаем. Пусть он сам все расскажет.

— Не согласен. Он может обидеться. Выйдет так, будто мы не придаем этому никакого значения. Нет, пусть его ждет парадная встреча — приветственные крики, поздравления и пирог. Вот беда! Все закрыто, а то я купил бы фейерверк.

— А может, где-нибудь в киосках.

— Да, конечно. По дороге домой. Если еще не все распродано.

Мэри вдруг опустила голову, будто читая молитву.

— Ты — хозяин лавки, Аллен — знаменитость. Кто бы мог подумать, что это все случится сразу? Итен, надо скорей ехать. Мы должны быть дома к их возвращению. Почему ты так странно смотришь?

— Меня вдруг ошеломила мысль — как мало мы знаем о других. Даже под ложечкой засосало. Помню, в детстве, на рождество, надо бы веселиться, а у меня «съешь перца».

— Что-о?

— Это я придумал рифму, когда тетушка Дебора говорила, что у меня приступ Weltschmerz.

— А что это такое?

— Это когда по твоей могиле гуси ходят.

— Ах вот что! Нет, боже избави. Ведь такого дня у нас за всю нашу жизнь не было. Если мы не отметим его как следует, это будет свинство с нашей стороны. Теперь улыбнись и, пожалуйста, не ешь перца. А это смешно. Поди расплатись. Я буду укладываться.

Я заплатил по счету из тех самых денег, которые были сложены в тугой квадратик, и спросил господина Крота:

— У вас в киоске не осталось шутих?

— Кажется, есть. Посмотрю... Вот, пожалуйста. Сколько вам?

— Все, сколько есть,— сказал я.— Наш сын стал знаменитостью.

— Да? Как это понимать?

— Только в одном определенном смысле.

— Вроде Дика Кларка?

— Или Чессмена и Диллинджера.

— Вы шутите.

— Он выступит по телевидению.

— По какой станции? Когда?

— Я еще сам не знаю.

— Обязательно послежу. Как его зовут?

— Так же, как меня. Итен Аллен Хоули. Мы его зовем Аллен.

— Для нас это большая честь, что вы и миссис Аллен были у нас.

— Миссис Хоули.

— Да, простите. Надеюсь, вы к нам еще приедете. Здесь перебывало много всяких знаменитостей. Ищут у нас... гм!.. тишины.

Когда мы ехали по золотой дороге домой, медленно двигаясь в переливчатом, извивающемся, как змея, потоке машин, Мэри сидела прямая, гордая.

Я купил целую коробку шутих. Больше сотни.

— Вот теперь я тебя узнаю, милый. Интересно, Бейкеры вернулись или нет?

ГЛАВА XIX

Мой сын держался самым достойным образом. Он не казнил, а миловал нас, у него не было никаких намерений мстить. Награды и почести, а также наши поздравления он принял как нечто должное, не выказав ни тщеславия, ни чрезмерной скромности. Потом, не дождавшись, когда моя сотня шутих догорит до черноты, подошел к своему креслу в гостиной и включил свой приемник. Было ясно, что все наши прегрешения прощены. Я впервые видел, чтобы мальчик его лет с таким тактом принимал обрушившуюся на него славу.

Это был поистине вечер чудес. Если Аллен поразил меня своим неожиданным вознесением на небеса, то не меньше поразила меня Эллен! На основе многолетнего пристального наблюдения я ожидал, что мисс Эллен будет кипеть и бушевать от зависти и подыскивать способы как-нибудь умалить величие брата. Но она обманула меня. Она стала прославительницей Аллена. Это она, Эллен, рассказала, как они, проведя упоительный вечер в городе, сидели потом в обставленной с большим вкусом квартире на 67-й улице и от нечего делать слушали последние известия по телевизору, и вдруг диктор объявил о триумфе Аллена. Это она, Эллен, поведала нам, кто что тогда сказал и какой у кого был вид и как они чуть в обморок не упали. Аллен сидел в сторонке и спокойно слушал рассказ сестры о том, что вместе с четырьмя остальными лауреатами он выступит по телевидению и на глазах у миллионов зрителей и слушателей прочтет свое сочинение. В паузах раздавались счастливые охи и ахи Мэри. Я взглянул на Марджи Янг-Хант. Она казалась непроницаемой, как тогда, во время гадания. И сумрачная тишина вползла к нам в гостиную.

— Ничего не попишешь,— сказал я.— Тут требуется крем-сода со льда на всю компанию.

— Эллен принесет. Где Эллен? Опять она исчезла, как молодой месяц.

Марджи Янг-Хант, явно нервничая, встала с кресла.

— У вас семейное торжество. Я уйду.

— Марджи! Вы тоже в нем участвуете. Куда девалась Эллен?

— Мэри, не заставляйте меня признаваться, что я немножко выдохлась.

— Ну, понятно, дорогая. Как это я забыла! А мы так хорошо отдохнули! И все благодаря вам.

— Я сама очень довольна. И рада, что все так получилось.

Ей хотелось уйти, и как можно скорее. Она выслушала благодарность от нас и от Аллена и убежала.

Мэри проговорила вполголоса:

— Мы ничего не сказали Марджи про лавку.

— Ладно, ладно. Зачем обкрадывать Его Румяное Сиятельство? Сегодня он на первом месте. Куда девалась Эллен?

— Она пошла спать,— сказала Мэри.— Это очень тактично с твоей стороны, ты прав, милый. Аллен, сегодня у тебя было столько волнений. Пойди ляг.

— Нет, я еще посижу здесь немножко,— милостиво сказал Аллен.

— Но тебе надо отдохнуть.

— Я и так отдыхаю.

Мэри взглянула на меня, ища поддержки.

— Крепись, крепись, час испытанья пробил! Отлупить его, или же дадим ему возможность восторжествовать и над нами?

— Да ведь он ребенок. Ему надо отдохнуть.

— Ему многое что надо, только не отдых.

— Всем известно, что детям необходим хороший отдых.

— То, что всем известно, большей частью неправильно. Ты когда-нибудь слышала, чтобы дети умирали от переутомления? Нет! Но со взрослыми это случается. Дети народ хитрый. Когда отдых им необходим, тогда они и отдыхают.

— Но уже первый час ночи.

— Правильно, дорогая, и завтра он будет дрыхнуть до двенадцати, а мы с тобой встанем в шесть.

— Что же, ты уйдешь и оставишь его здесь?

— Ему надо отомстить нам за то, что мы произвели его на свет.

— Не понимаю, что ты там несешь. Отомстить?

— Давай заключим пари, а то ты уже сердишься.

— Да, сержусь. Потому что ты говоришь глупости.

— Если через полчаса после того, как мы с тобой ляжем спать, он не проберется тайком к себе в гнездышко, я обязуюсь заплатить тебе сорок семь миллионов восемьсот двадцать шесть долларов и восемьдесят центов.

И, представьте себе, я проиграл, придется мне платить. Ступеньки скрипнули под ногами нашей знаменитости через тридцать пять минут после того, как мы попрощались с ним на ночь.

— Ненавижу, когда ты оказываешься прав,— сказала моя Мэри. Она собиралась всю ночь не спать, прислушиваясь.

— Да я и не был прав, дорогая. Я ошибся на пять минут. Но я помню себя в его возрасте.

Она тут же заснула. Она не слышала, как Эллен осторожно спустилась по лестнице, а я слышал. Я лежал и всматривался в красные пятнышки, плавающие в темноте. Но я не пошел за ней, так как услышал легкое звяканье медного ключа в замке горки и понял, что моя дочь заряжает свою батарею.

Красные пятнышки что-то уж очень разыгрались. Они шныряли из стороны в сторону и, когда я пытался сосредоточиться на них, исчезали без следа. Старый Шкипер избегал меня. Он не являлся мне с тех пор

как... да, с самой пасхи. Он не то что тетушка Харриэт — «коя в царствии небесном»,— Старый Шкипер никогда не является мне, если я не в ладах с самим собой. Это служит своего рода мерилом моих взаимоотношений с собственной персоной.

В ту ночь я силой заставил его прийти. Я лег на самый краешек кровати и вытянулся во весь рост. Я напряг все мускулы, особенно мускулы шеи и подбородка, крепко сжал кулаки, вдавил их в живот, и он пришел — я увидел холодные маленькие глазки, седые торчащие усы и наклон плеч вперед, свидетельствующий о том, что когда-то он был очень сильным и нередко пускал в ход свою силу. Я даже заставил его надеть синюю фуражку с маленьким лакированным козырьком и золотой буквой «Х», составленной из двух якорей,— фуражку, которую он почти никогда не носил. Старик сопротивлялся, но я силой привел его и усадил на полуразрушенный парапет у Старой Гавани возле Убежища. Я велел ему сесть на груду балластных камней и положил его руки на набалдашник нарваловой трости. Этой тростью можно было сбить с ног слона.

— Мне нужно возненавидеть что-то. Жалеть и понимать — это все ерунда. Я хочу возненавидеть, чтобы избавиться от того, что меня жжет.

Память плодит воспоминание за воспоминанием. Стоит начать с какой-нибудь одной детали, и все оживает, и дальше пошло, пошло, точно кинолента, которую можно крутить как угодно — и вперед, и назад.

Старый Шкипер ожил. Он протянул вперед свою трость.

— Проведи черту от третьего выступа за волнорезом до мыса Порти, до высшей точки прилива. На полкабельтова вдоль этой черты лежит она, или то, что от нее осталось.

— А сколько это — полкабельтова, сэр?

— Как сколько? Триста футов. Она стояла на якоре, начинался прилив. Два неудачных года. Китового жира мало — половина бочек пустые. Когда она загорелась, около полуночи, я был на берегу. Жир вспыхнул, так что весь город осветило, будто днем. Пламя достигало чуть ли не мыса Оспри. Подогнать к берегу побоялись — доки займутся. За какой-нибудь час она сгорела до ватерлинии. А ее киль и фальшкиль и теперь там лежат — целые, крепкие. Они были дубовые, и кницы тоже дубовые, а дуб — с Шелтер-айленда.

— Как начался пожар?

— Не знаю, я был на берегу.

— Кому это понадобилось, чтобы она сгорела?

— Как кому? Хозяевам.

— Вы сами были ее хозяином.

— Только наполовину. Я бы не мог поджечь судно. Посмотреть бы мне сейчас на те шпангоуты... посмотреть бы, в каком они состоянии.

— Теперь ступайте с богом, сэр.

— Ненависть на этом не вскормишь — мало.

— Все лучше, чем ничего. Дайте мне только разбогатеть, и я подниму ее киль. Сделаю это ради вас. Проведу черту от третьего выступа до мыса Порти в прилив на глубине трехсот футов.— Я не спал. Руки у меня были напряжены. Кулаки стиснуты и прижаты к животу, чтобы Старый Шкипер не растаял, но, отпустив его, я сразу уснул.

Когда фараону снился сон, он призывал толкователей, и они толковали ему, что случилось и что случится в его царстве, и все было правильно, ибо царство его — это был он сам. Когда сны снятся кому-нибудь из нас, мы тоже идем к специалистам, и они объясняют нам, что происходит в стране, которая есть мы сами. Мне специалисты не требо-

вались. Как большинство современных людей, я не верю ни в пророчества, ни в магию, но чуть не полжизни отдаю тому и другому.

Весной Аллен у нас вдруг затосковал и объявил себя атеистом в отместку господу богу и нам, родителям. Я посоветовал ему не хватать через край, потому что, став атеистом, он не сможет плевать через левое плечо при виде черных кошек, бояться ходить под лестницами и загадывать желания при виде молодого месяца.

Люди, которые страшатся своих снов, убеждают себя, что им вообще никогда ничего не снится. Мой сон объяснить нетрудно, но от этого он не станет менее страшным.

Каким-то образом, через кого-то мне передали просьбу Дэнни. Он улетал самолетом и требовал кое-какие вещи, которые я должен был сделать сам. Ему понадобилась шапочка для Мэри — темно-коричневая, на меху, из овчины под замшу, как мои старые домашние туфли, с длинным козырьком, как бейсбольная каскетка. И еще ветромер, только не металлический, с маленькими вращающимися чашечками, а самодельный, из тонкого картона, какой идет на почтовые открытки, и чтобы этот ветромер был насажен на бамбуковые палки. Кроме того, он хотел встретиться со мной перед отъездом. Я захватил нарваловую трость Старого Шкипера. Она стоит у нас в холле в слоновой ноге, куда ставят зонтики.

Когда нам подарили эту слоновую ногу, я посмотрел на ее большие желтоватые ногти и сказал детям:

— Тот, кто вздумает сделать ей педикюр, получит хорошую порку. Поняли?

Они вняли моей угрозе, и поэтому мне пришлось самому покрасить слоновые ногти ярко-красным лаком, взятым у Мэри с ее гаремного туалетного столика.

Я поехал к Дэнни в «понтиаке» Марулло, и аэропорт оказался нью-бэйтаунским почтамтом. Поставив «понтиак», я положил нарваловую трость на заднее сиденье, и тогда ко мне подъехала полицейская машина с двумя отвратительными полисменами. Они сказали:

— На сиденье класть нельзя.

— Это что, противозаконно?

— Умничать вздумали?

— Нет, просто спрашиваю.

— Так вот, вам говорят: нельзя туда класть.

Дэнни я нашел в задней комнате почтамта. Он разбирал там посылки. На голове у Дэнни сидела замшевая шапка, и он крутил картонный ветромер. Лицо у него было осунувшееся, губы запеклись, а кисти рук толстые, как грелки, точно от пчелиных укусов.

Он встал, протянул мне руку, и моя правая рука погрузилась в теплую резинистую массу. Он дал мне что-то — маленькое, тяжелое и холодноватое, вроде ключа, но это был не ключ, а какая-то металлическая штучка, гладко отполированная и острая по краям. Не знаю, что это было, я не посмотрел, только ощутил на ладони. Я потянулся к нему и поцеловал его в губы, и губами почувствовал, какие они у него сухие и запекшиеся. Тут я проснулся, в ознобе, сам не свой. Начинался рассвет. Озеро на картине уже было видно, а корова по колена в воде — еще нет, и я все еще чувствовал у себя на губах сухость его запекшихся губ. Я встал сразу, потому что не хотел лежать и думать об этом. Кофе я не стал заваривать, а пошел прямо к слоновой ноге и увидел, что грозная дубинка, именуемая тростью, стоит на месте.

В этот трепетный час рассвета было жарко и душно, потому что утренний ветер еще не поднялся. Серая улица отливала серебром, на тротуаре валялся разный мусор — отходы прожитого людьми дня. «Фокмачта» была еще закрыта, но мне не хотелось кофе. Я прошел по пере-

улку, отпер боковую дверь, заглянул в лавку и увидел там на полу кожаную шляпную коробку. Тогда я вскрыл жестянку с кофе и вылил ее содержимое в мусорную урну. Потом провертел две дырки в банке сгущенного молока, налил немного в порожнюю жестянку, отворил боковую дверь, заклинил ее, чтобы не захлопнулась, и поставил банку на порог. Кот, конечно, торчал в переулке, но к молоку он приблизился только тогда, когда я ушел в лавку. Оттуда мне было видно, как серый кот в сером переулке лакает молоко. Когда он поднял голову от банки, у него были белые молочные усы. Он сел и стал вылизывать себе мордочку и лапки.

Я открыл шляпную коробку и достал оттуда субботние чеки, подколотые один к другому. Потом вынул из желтого банковского пакета три тысячи долларов. Эти три тысячи останутся у меня на всякий случай, до тех пор пока приход и расход в лавке не сбалансируется. Остальные две тысячи долларов надо снова внести на счет Мэри, а в дальнейшем при первой же возможности вернуть и эти три тысячи. Тридцать бумажек я положил в мой новый бумажник, и он оттопырил мне задний карман. Потом я стал вносить из кладовой ящики и коробки, вскрывать их и заполнять товаром опустевшие полки, записывая на листке оберточной бумаги то, что надо заказать. Опорожненную тару я выставил в переулок, откуда ее заберет грузовик, и налил еще молока в кофейную банку, но кот больше не пришел. То ли он наелся, то ли ему нравилось есть только краденое.

Год на год не похож — так же, как и день на день: разная погода, разные пути, разные настроения. 1960 год был годом перемен. В такие годы подспудные страхи выползают на поверхность, тревога нарастает, и глухое недовольство постепенно переходит в гнев. Так было не только со мной и не только в Нью-Бэйтауне. Нам предстояли президентские выборы, и тревога, носившаяся в воздухе, постепенно сменялась гневом, а гнев поднимал, будоражил. И так было не только в нашей стране — во всем мире зрела тревога, зрело недовольство, и гнев закипал, искал выхода в действии, и чем оно неистовее, тем лучше. Африка, Куба, Южная Америка, Европа, Азия, Ближний Восток — все дрожало от беспокойства, точно скаковая лошадь, перед тем как взять барьер.

Я знал, что вторник пятого июля будет большой день — больше всех других дней в году. Я будто даже знал наперед, как все сложится, но, поскольку все так и сложилось, проверить меня трудно.

Я будто знал, что амортизированный, на семнадцати камнях мистер Бейкер, который тиканьем отсчитывал время, забарабанит в дверь лавки за час до открытия банка. Так он и сделал — еще до того, как я открыл торговлю. Я впустил его и запер за ним дверь.

— Какой ужас! — сказал он.— Я был в отъезде, понятия не имел, что тут происходит, но как только узнал, так сразу приехал.

— О чем это вы, сэр?

— Как о чем? О том, что разыгралось у нас в городе. Ведь это все мои друзья, мои старые друзья. Надо что-то предпринять.

— До выборов следствия не начнут, только предъявят обвинение.

— Знаю. Но, может быть, нам следует заявить, что мы убеждены в их невиновности. Если понадобится, даже дать платное объявление в газете.

— В какой, сэр? «Бэй-харбор мессенджер» выйдет только в четверг.

— Но что-то надо сделать.

— Да.

Вот такими казенными фразами мы с ним и обменивались. Он, вероятно, знал, что я знаю. И все-таки смотрел мне в глаза и как будто на самом деле был искренне взволнован.

— Если мы ничего не сделаем, на выборах все пойдет вкривь и

вкось. Надо выдвинуть новых кандидатов. Ничего другого нам не остается. Тяжело поступать так со старыми друзьями, но кому, как не им, знать, что мы не можем дать волю всякой шушере.

— А вы бы поговорили с ними.

— Они потрясены, они вне себя. У них не было времени обдумать все, что случилось. Марулло вернулся?

— Он прислал человека вместо себя. Я купил лавку за три тысячи долларов.

— Прекрасно. Это очень дешево. А бумаги у вас?

— Да.

— Если он что-нибудь выкинет, номера купюр у меня записаны.

— Ничего он не выкинет. Он сам хочет уехать. Ему надоело все это.

— Я никогда не доверял вашему Марулло. Никогда не знал, где и как он орудует.

— По-вашему, он жулик, сэр?

— Он большой хитрец и всегда действовал на два фронта. Если ему удастся реализовать все свое имущество, он — богач. Но три тысячи за лавку — это просто даром.

— Он благоволил ко мне.

— Да, видимо. Кого он прислал, кого-нибудь из мафии?

— Нет, государственного чиновника. Марулло, знаете ли, доверял мне.

Мистер Бейкер схватился за голову — жест совсем не в его духе.

— Как же я сразу не сообразил! Вы, вот кто! Из хорошей семьи, надежный, владелец лавки, бизнесмен, всеми уважаемый. Врагов у вас здесь нет. Конечно, вы!

— Что я?

— Кандидат в мэры.

— Бизнесменом я стал только с субботы.

— Вы меня прекрасно понимаете. Вокруг вас мы можем создать новую солидную группировку. Да, это самый лучший выход.

— От продавца бакалейной лавки до мэра?

— Никто никогда не считал Хоули всего лишь продавцом.

— Я сам себя считал. Мэри меня считала.

— Но теперь все по-другому. Мы можем заявить об этом до того, как шушера вылезет вперед.

— Мне надо обдумать это как следует, со всех сторон.

— Некогда.

— А кого вы прочили раньше?

— Когда это раньше?

— До того, как муниципалитет погорел. Хорошо, мы с вами потом поговорим. Суббота у меня такая выдалась, что все раскупили. Впору было весы продавать.

— Вы можете хорошо обернуться с этой лавкой, Итен. Советую вам поставить торговлю на более широкую ногу, а потом продать. Вы будете важным человеком в городе, такому неудобно обслуживать покупателей. А как там Дэнни? Слышно о нем что-нибудь?

— Нет. Пока ничего не слышно.

— Напрасно вы дали ему денег.

— Да, пожалуй. Я думал, что делаю доброе дело.

— Конечно, конечно!

— Мистер Бейкер, сэр... Скажите мне, что случилось с «Прекрасной Адэр»?

— Как что случилось? Она сгорела.

— В гавани. Отчего возник пожар, сэр?

— Нашли время спрашивать. Я знаю обо всем этом с чужих слов. Сам был мальчишкой — не помню. Старые корабли насквозь пропитаны

китовым жиром. Наверно, кто-нибудь из матросов бросил спичку. Шкипером был ваш дед. Кажется, он находился на берегу. Только что пришел из плавания.

— Плавание было неудачное.

— Да, так рассказывали.

— Страховку трудно было получить?

— Обследование всегда производится. Да, насколько я помню, выдали ее не сразу, но мы, Хоули и Бейкеры, все-таки получили сколько следовало.

— Мой дед считал, что «Прекрасную Адэр» подожгли.

— Господи помилуй, зачем?

— Чтобы получить деньги. Китобойный промысел шел на убыль.

— Никогда не слышал, чтобы он так говорил.

— Не слышали?

— Итен! К чему вы клоните? Почему вы вдруг извлекли на свет божий такую давнюю историю?

— Сжечь корабль страшное дело. Это убийство. Когда-нибудь я все-таки подниму со дна ее киль.

— Ее киль?

— Я знаю, где она лежит. В полукабельтове от берега.

— Зачем это вам?

— Хочу посмотреть, прогнило дерево или нет. Ведь на «Прекрасную Адэр» пошел дуб с Шелтер-Айленда. Если киль еще жив, значит, она не совсем умерла. Вам, пожалуй, пора идти, если вы хотите благословить открытие сейфа. И мне тоже пора открывать.

Тут колесики у него внутри заработали, и он, тик-так, тик-так, проследовал к себе в банк.

Появления Биггерса я, надо думать, тоже ожидал. Ему, бедняге, наверно, то и дело приходилось караулить у дверей. Должно быть, и сейчас сторожил где-нибудь за углом и едва дождался, когда мистер Бейкер уйдет.

— Надеюсь, сегодня вы не будете затыкать мне рот?

— Какая в этом нужда?

— Я понимаю, почему вы тогда обиделись. Я был недостаточно... дипломатичен.

— Может быть.

— Ну как, обмозговали мое предложение?

— Да.

— И что решили?

— Решил, что шесть процентов лучше, чем пять.

— Боюсь, что фирма на это не пойдет.

— Их дело.

— Пять с половиной еще куда ни шло.

— А вторую половину вы от себя добавите.

— Ой-ой-ой! А я-то думал, что имею дело с простачком! Ну и хватка у вас!

— Вот так и не иначе.

— Ну, а какие будут заказы?

— Вон у кассы лежит список, но это еще не все.

Он взял обрывок бумаги, на котором я писал.

— Кажется, подцепили вы меня на крючок. Боюсь, не сдобровать мне. А нельзя ли получить сегодня полный список?

— Лучше завтра, и завтра будет полнее.

— Понимай так, что все заказы перейдут к нам?

— Если поладим.

— Да вы, приятель, своего хозяина за горло держите! Сойдет вам это с рук?

— Там видно будет.

— Ну что ж, до завтра я, может быть, успею заглянуть — к усладе коммивояжеров. А вы, братец, видать, не мужчина, а глыба льда. Такая, скажу вам, дамочка!

— Подруга моей жены.

— Вот оно что! Понятно. Слишком близко к дому — не разгуляешься. Хитрец вы. Теперь-то уж я это понял. Шесть процентов. Ай-ай-ай! Значит, завтра утром.

— Если успею, может быть, сегодня к концу дня.

— Нет, давайте уж завтра утром.

В субботу покупатели шли пачками. Сегодня, во вторник, темп торговли был совсем другой. Люди не торопились. Им хотелось поговорить о событиях, разыгравшихся в городе. Они восклицали: как это прискорбно, отвратительно, ужасно, позорно,— но вместе с тем упивались всем этим. У нас в городе давно такого не случалось. И хоть бы кто-нибудь обмолвился словом о предстоящем съезде демократической партии в Лос-Анжелесе! Правда, Нью-Бэйтаун республиканский город, но у нас вообще больше интересуются тем, что нам ближе. Тех людей, на могилах которых мы сейчас плясали, каждый из нас хорошо знал.

Часов в двенадцать в лавку вошел Стонуолл Джексон, какой-то усталый, грустный.

Я поставил на прилавок банку с маслом и куском проволоки выудил оттуда револьвер.

— Вот, начальник. Избавьте меня от этой улики. Она мне покоя не дает.

— Протрите его чем-нибудь. Глядите-ка. Ведь это «айвер-джонсон» старого образца. У вас есть кто-нибудь, кто может побыть в лавке?

— Нет.

— А где Марулло?

— Он уехал.

— Придется вам ненадолго закрыть торговлю.

— Что случилось, начальник?

— Да такое дело... сынишка Чарли Прайора убежал сегодня утром из дому. Чего-нибудь выпить похолоднее у вас не найдется?

— Все что угодно. Оранжад, крем-сода, лимонад, кока-кола?

— Ну, лимонаду. Чарли у нас чудной какой-то. Его сынишке Тому восемь лет. Он решил, что весь мир против него, надо убегать из дому и податься в пираты. Другой на месте Чарли всыпал бы ему горячих, а Чарли — нет. Ну что же вы, откройте лимонад.

— Простите. Вот, пожалуйста. Чарли славный малый, но при чем тут я?

— Да ведь у него не как у людей. Он решил, что лучший способ вылечить Тома от его фантазий, это помочь ему... И вот они позавтракали, закатали подушку в одеяло и наготовили гору всякой еды. Том хотел взять с собой японский меч, на случай если понадобится обороняться, но он длинный, волочится. Помирился на штыке. Чарли сажает его в машину и отвозит за город, чтобы стартовал оттуда. А высадил он его у тэйлоровского луга — там, где раньше была усадьба Тэйлоров... вы ведь знаете. Случилось это сегодня часов в девять утра. Чарли не сразу уехал, последил издали за своим сынком. Первое, что тот сделал, это сел и за один присест умял шесть сандвичей и два крутых яйца. Потом пошел через тэйлоровский луг со своим узелком — штык в руке,— а Чарли уехал.

Вот оно. Я знал, о чем он, я знал. И вздохнул чуть ли не с облегчением, что наконец одолею это.

— Часов около одиннадцати мальчишка с ревом выбежал на дорогу, остановил какую-то машину, и его подвезли домой.

— Стони, я догадываюсь. Дэнни?

— Что поделаешь... да. В погребе старого дома. Ящик виски, пустых бутылок только две, и склянка со снотворными таблетками. Я сам не рад обращаться к вам с такой просьбой, Ит. Он долго там пролежал, и что-то у него с лицом. Кошки, наверно, потрудились. Вы не припомните, какие-нибудь рубцы или отметины у него были?

— Я не хочу смотреть на него, начальник.

— Кто захочет? Так как же, рубцы были?

— На левой ноге повыше колена должен быть шрам... он напоролся на колючую проволоку. И еще...— Я засучил рукав.— Еще вот такая же татуировка — сердце. Мы с ним вместе это сделали, когда были совсем мальчишками. Нацарапали рисунок бритвенным лезвием, а потом втерли туда чернила. До сих пор осталось. Видите?

— Да... это годится. А еще что?

— Еще большой шрам на левом боку после удаления части ребра. Он болел плевритом, теперешних средств тогда не было, и ему вставляли дренажную трубку.

— Ну, если удалена часть ребра, тогда этого достаточно. Я даже не пойду туда. Пусть коронер сам побеспокоится, оторвет зад от стула. Вам придется присягнуть насчет этих отметин.

— Хорошо. Только не заставляйте меня смотреть на него. Он... вы же знаете, Стони, мы с ним были друзьями.

— Знаю, Ит. Слушайте, что это говорят, будто вас прочат в мэры?

— Первый раз слышу. Начальник... побудьте здесь минуты две.

— Мне надо идти.

— Две минуты, пока я сбегаю напротив и выпью чего-нибудь.

— А! Понимаю! Ну конечно! Бегите, бегите! С новым мэром надо ладить.

Я выпил там и еще прихватил бутылку с собой. Когда Стони ушел, я написал на куске картонки печатными буквами: «Вернусь в два»,— запер дверь и спустил шторы.

Я сел на кожаную коробку из-под шляпы, стоявшую за холодильником, и долго сидел в моей лавке — в своей собственной лавке, окутанной зеленоватым сумраком.

ГЛАВА XX

Без десяти минут три я вышел через боковую дверь, завернул за угол и поднялся в банк. Морфи, сидевший в своей металлической клетке, принял в окошечко пачку денег, чеки, желтый пакет и заполненные ордера. Потом, придерживая рогаткой пальцев раскрытые банковские книжки и шурша стальным пером, стал вписывать туда мелкие квадратики цифр. Пододвинув книжки ко мне, он посмотрел на меня, казалось бы, затуманенным, но пристальным взглядом:

— Я не хочу об этом говорить, Итен. Я знаю, что он был вашим другом.

— Спасибо.

— Торопитесь, а то не миновать вам встречи с мозговым трестом.

Но было уже поздно. Кто знает, может, Морфи успел дать сигнал. Дверь с матовым стеклом распахнулась, и мистер Бейкер, аккуратный, поджарый, седенький, спокойно сказал:

— Вы не зайдете ко мне, Итен?

Стоит ли откладывать? Я вошел в его матовый приют, и он так тихо притворил за мной дверь, что даже замок не щелкнул. Стол в кабинете был покрыт стеклом, под которым лежал листок с телефонными номерами. Возле его кресла с высокой спинкой, точно двойняшки-телята, стояли два кресла для посетителей. Они были удобные, но приземистые,

немного ниже, чем директорское кресло. Когда я сел, мне пришлось смотреть на мистера Бейкера снизу вверх, и это придало мне проситель-ный вид.

— Печально.

— Да.

— Но не вините одного себя. Вероятно, дело к тому и шло.

— Вероятно.

— Не сомневаюсь, что вы желали добра своему другу.

— Я считал, что это ему поможет.

— Да, конечно.

Ненависть подступила мне к горлу, как желчь, и я чувствовал не столько злобу, сколько отвращение.

— Не говоря о том, что эта гибель трагична и бессмысленна, она влечет за собой некоторые осложнения. Вы не знаете, у него родствен-ники есть?

— По-моему, нет.

— У тех, кто с деньгами, родственники всегда находятся.

— У него денег не было.

— Но был тэйлоровский луг, не заложенный в банке.

— Вот как? Н-да, луг и нора в погребе.

— Итен, я вам говорил, что мы хотим построить аэропорт, который будет обслуживать весь наш округ. Тэйлоровский луг совершенно ров-ный. Если мы не получим его, придется срывать холмы, а эта работа станет в миллионы долларов. Теперь, даже если не объявятся наследни-ки, надо будет действовать через суд. На это уйдут месяцы.

— Понятно.

Его прорвало.

— Ничего вам не понятно. Из-за ваших благодеяний этот участок подскочит в цене, к нему и не подступишься. Мне иной раз кажется, что благодетели самые опасные люди на свете.

— Вы, вероятно, правы. Мне пора в лавку.

— Лавка теперь ваша.

— Да, в самом деле! Никак к этому не привыкну. Все забываю.

— Вы не только это забываете. Деньги, которые он от вас получил, принадлежали Мэри. Теперь ей надо проститься с ними. Вы их просто выбросили вон.

— Дэнни любил мою Мэри. Он знал, что деньги — ее.

— Слабое утешение.

— Я думал, что он решил подшутить надо мной. Он дал мне вот это.— Я вынул два листка линованой бумаги из внутреннего кармана пиджака, куда положил их несколько недель назад, зная, что именно при таких обстоятельствах они и будут предъявлены.

Мистер Бейкер расправил листки на стекле, покрывавшем его стол. Он стал читать их, и мускул под правым ухом так у него задрожал, что ухо задергалось. Потом он снова пробежал эти листки, ища, к чему бы придраться.

Когда он, сукин сын, поднял на меня глаза, в них был страх. Перед ним сидел человек, о существовании которого он и не подозревал. Ему понадобилась минута, чтобы приспособиться к этому незнакомцу, но он оказался на высоте. И приспособился.

— Сколько вы хотите?

— Пятьдесят один процент.

— Чего?

— Паев в корпорации, или в компании, или что там у вас будет.

— Это смехотворно.

— Вам нужен аэропорт. Единственная подходящая площадка принадлежит мне.

Он тщательно протер очки бумажным носовым платком и снова надел их, но на меня не взглянул. Его глаза ходили по кругу, в котором мне места не было. Наконец он спросил:

— Вы знали, что делали, Итен?

— Да.

— Ну и как вы себя теперь чувствуете?

— Да, вероятно, так же, как чувствовал себя тот, кто явился к нему с бутылкой виски и заставлял его подписать одну бумагу.

— Это он вам сказал?

— Да.

— Он лжец.

— Он и сам этого не отрицал. Он предупреждал меня, чтобы я ему не верил. Может, эти бумаги с каким-нибудь подвохом? — Я легким движением взял со стола две исписанные карандашом помятые страницы и сложил их вдвое.

— Насчет подвоха вы правы, Итен. Эти документы в полном порядке, датированы, засвидетельствованы. Может, он вас ненавидел? Может, подвох в том и состоит, чтобы растлить вас морально?

— Мистер Бейкер, никто из моих родных не поджигал корабля.

— Мы с вами еще поговорим, Итен, мы с вами будем делать дела, делать деньги. На холмах вокруг луга скоро вырастет небольшой городок. Теперь вам непременно придется стать мэром.

— Нет, сэр, не смогу. Столкновение интересов — вещь предосудительная. Несколько человек на своем печальном опыте убеждаются сейчас в этом.

Он вздохнул — вздохнул осторожно, точно боясь потревожить что-то в горле.

Я встал и положил руку на изогнутую кожаную спинку мягкого просительского кресла.

— Вам полегчает, сэр, когда вы притерпитесь к факту, что я не тот симпатичный болван, за которого меня принимают.

— Почему вы не посвятили меня в свои дела?

— Сообщники опасны.

— Значит, вы сознаете, что совершили преступление?

— Нет. Преступление это то, что совершает кто-то другой. Мне пора открывать лавку, хоть я и хозяин в ней.

Когда мои пальцы коснулись дверной ручки, он негромко спросил:

— Кто донес на Марулло?

— Полагаю, что вы, сэр.— Он взвился с места, но я затворил за собой дверь и вернулся в свою лавку.

ГЛАВА XXI

Никто в мире не способен так блеснуть, как моя Мэри, когда надо принять гостей или отпраздновать какое-нибудь торжество. Она переливается всеми огнями, точно бриллиант, и не столько дает что-то празднику от себя, сколько сама от него получает. Глаза у нее искрятся, а улыбающийся рот, готовность рассмеяться подчеркивают, подкрепляют любую, самую убогую шутку. Когда на пороге вечеринки стоит Мэри, все ее участники чувствуют себя и милее и умнее, да так оно и есть на самом деле. И это все, что Мэри дает, а большего от нее и не требуется.

Когда я вернулся из лавки, весь дом Хоули празднично сиял. Гирлянды разноцветных пластмассовых флажков тянулись от люстры к лепному карнизу, опоясывающему стены, маленькие яркие стяги свисали с лестничных перил.

— Ты не поверишь! — крикнула Мэри.— Эллен достала флажки на заправочной станции Стандарт-ойл. Джордж Сэндоу одолжил их нам.

— В честь чего это?

— В честь всего. Все чудно.

Не знаю, слышала она про Дэнни Тэйлора или нет. Может быть, слышала и велела ему уйти. Я-то уж, конечно, не приглашал его на наше торжество, но он ходил взад и вперед около дома. Я знал, что позднее мне придется выйти к нему, но в дом его не позвал.

— Можно подумать, что это Эллен получила награду за сочинение,— сказала Мэри.— Вряд ли она так гордилась бы, если б сама стала знаменитостью. Полюбуйся, какой она торт испекла.— Торт был высокий, белый и на нем разноцветными буквами — красная, зеленая, желтая, голубая и розовая — было написано «герой».— К обеду будет жареная курица с подливкой, соус из потрохов и картофельное пюре, хотя сейчас лето.

— Прекрасно, дорогая, прекрасно. А где наша юная знаменитость?

— Знаешь, его тоже будто подменили. Он принимает ванну и к обеду переоденется.

— Какой знаменательный день, сивилла! Того и жди, что мул ожеребится или в небе сверкнет новая комета. Ванна перед обедом. Подумать только.

— А ты не переоденешься? У меня есть бутылка вина, и я думала, может, мы разопьем ее как-то поторжественнее, со спичем, с тостом, хотя мы всего-навсего своей семьей.— Она весь дом взбаламутила своим праздничным настроением. Не успел я оглянуться, как уже сам бежал наверх принять ванну и включиться в общее торжество.

Проходя мимо комнаты Аллена, я постучал в дверь, услышал в ответ мычание и вошел.

Аллен стоял перед зеркалом, ловя там свой профиль с помощью ручного зеркальца. Чем-то черным, может быть, тушью для ресниц, взятой у Мэри, он навел себе черненькие усики, подмазал брови, удлинив их к вискам эдаким сатанинским изломом. Когда я вошел, он улыбался в зеркало цинично-многоопытной, обольстительной улыбкой. И на нем был мой синий галстук в горошек. Он ни капельки не смутился, что его застали за таким занятием.

— Репетирую,— сказал он и положил зеркало на стол.

— Сынок, в этой суматохе я, кажется, не успел сказать, что горжусь тобой.

— Н-ну... это только начало.

— Откровенно говоря, я думал, что как писатель ты даже слабее президента. Я и удивлен и рад. Когда ты собираешься прочесть миру свой труд?

— В воскресенье, в четыре тридцать, будут передавать по всем станциям. Придется вылететь в Нью-Йорк. Специальным самолетом.

— А ты хорошо подготовился?

— А-а, справлюсь! Это только начало.

— Всего пятеро на всю страну — и ты один из них!

— Будут работать все станции,— сказал он и кусочком ваты стал удалять усы, причем я с удивлением убедился, что у него полный набор косметики — тушь для ресниц, и кольдкрем, и губная помада.

— У нас в семье столько неожиданного, и все сразу. Ты слышал, что я купил лавку?

— Да. Слышал.

— Когда флаги и знамена уберут, мне понадобится твоя помощь.

— То есть как?

— Я тебе уже говорил — будешь помогать в лавке.

— Нет, не смогу,— сказал он и стал разглядывать свои зубы в ручное зеркальце.

— Не сможешь?

— Я буду участвовать в передачах «У нас в студии», «Моя специальность» и «Таинственный гость». Потом скоро начнут викторину «Пошевели мозгами». Может, даже пустят эту передачу на заграницу. Так что, сам видишь, времени у меня не останется.— Он выдавил из пластмассового флакона какую-то клейкую массу на волосы.

— Значит, твоя карьера обеспечена?

— Да вроде так. Это только начало.

— Сегодня я не стану выходить на военную тропу. Мы поговорим об этом в следующий раз.

— Тут до тебя все дозванивался какой-то тип из НБК. Может, они хотят заключить контракт, а я несовершеннолетний.

— А о школе ты подумал, сын мой?

— Нужна она, если заключат контракт.

Я быстро вышел из комнаты и затворил за собой дверь, а в ванной пустил холодной воды и дождался, когда холод проникнет мне глубоко под кожу и остудит сотрясающую меня ярость. И когда я вышел оттуда чистенький, гладенький и благоухающий мэриными духами, самообладание вернулось ко мне. За несколько минут до обеда Эллен села на подлокотник моего кресла, перевалилась оттуда ко мне на колени и обняла меня.

— Я тебя люблю,— сказала она.— Правда, как интересно? И правда, Аллен молодец? Он будто родился знаменитостью.— И это говорила девочка, которую я считал завистливой и немножко подленькой.

Перед десертом я провозгласил тост за нашего юного героя, пожелал ему счастья и закончил так:

— Зима тревоги нашей позади. К нам с сыном Йорка лето возвратилось!

— Это Шекспир,— сказала Эллен.

— Правильно, дурашка, а из какой вещи, кто это говорит и когда?

— Понятия не имею,— сказал Аллен.— Это одни зубрилы знают.

Я помог Мэри отнести посуду в кухню. Она сияла по-прежнему.

— Не сердись,— сказала она.— Он еще найдет себя. Все наладится. Будь терпелив с ним.

— Хорошо, моя чаша грааля.

— Звонил какой-то человек из Нью-Йорка. Наверно, относительно Аллена. За ним пришлют самолет, подумай только! Никак не привыкну, что лавка теперь твоя. И — это уже разнеслось по всему городу — ты будешь мэром?

— Нет, не буду.

— Я об этом со всех сторон слышу.

— У меня будут дела, которые исключают такую возможность. А сейчас я уйду. Я отлучусь, родная, ненадолго. Мне надо встретиться кое с кем.

— Я, наверно, пожалею, что ты уже не продавец. До сих пор ты вечерами сидел дома. А что, если тот человек опять будет звонить?

— Подождет.

— Он не хочет ждать. Ты поздно вернешься?

— Не знаю. Все зависит от того, как там обернутся дела.

— Как это грустно с Дэнни Тэйлором. Возьми дождевик.

— Да, грустно.

В холле я надел шляпу и, сам не знаю почему, вынул из слоновой ноги нарваловую трость Старого Шкипера. Возле меня вдруг возникла Эллен.

— Можно, я с тобой?

— Нет, сегодня нельзя.

— Я тебя очень люблю.

Я глубоко заглянул в глаза моей дочери.

— Я тоже тебя люблю. И принесу тебе драгоценностей — какие у тебя самые любимые?

Она фыркнула.

— С тростью пойдешь?

— Да, для самозащиты.— Я сделал выпад витой дубинкой, как палашом.

— Ты надолго?

— Нет, ненадолго.

— А зачем тебе трость?

— Для красоты, со страху, из щегольства, угрозы ради. Архаическая потребность в оружии.

— Я буду тебя дожидаться. А можно мне взять розовый камешек?

— Дожидаться меня не за чем, мое жемчужное зернышко. Розовый камешек? То есть талисман? Конечно, можно.

— Что такое талисман?

— Посмотри в словаре. Как пишется, знаешь?

— Та-лес-ман.

— Нет. Та-лис-ман.

— А ты сам скажи, что это такое.

— Посмотришь в словаре, крепче запомнишь.

Она обхватила меня руками, стиснула и тут же отпустила.

Поздний вечер приник ко мне своей сыростью, влажным воздухом, густым, как куриный бульон. Фонари, прячущиеся среди сочной листвы Вязовой улицы, отбрасывали вокруг себя дымчатые, пушистые ореолы.

Мужчина, занятый на работе, так мало видит мир в его естественном дневном свете. Поэтому и багаж новостей и оценки тех или иных событий он получает от жены. Она знает, где что случилось и кто что сказал по этому поводу, но все это преломляется сквозь ее призму, оттого выходит, что работающий мужчина видит дневной мир глазами женщины. Но вечером, когда его лавка, его контора закрыты, он живет в своем, мужском мире — хотя и недолго.

Мне было приятно держать в руке витую нарваловую трость, чувствовать гладкость ее массивного серебряного набалдашника, отполированного ладонью Старого Шкипера.

Давным-давно, когда моя жизнь протекала в дневном мире, я временами пресыщался суетой и уходил в гости к травам. Лежа ничком, близко-близко к зеленым стебелькам, бывший великан сливался воедино с муравьями, тлями, букашками. И в свирепых джунглях трав я забывался, а забвение — это тот же душевный покой.

Сегодня поздним вечером меня тянуло в Старую Гавань, в Убежище, где круговорот жизни, времени, приливов и отливов мог бы сгладить мою взъерошенность.

Я быстро вышел на Главную улицу и, пройдя мимо «Фок-мачты», лишь мельком глянул через дорогу на зеленые шторы моей лавки. У пожарной части в полицейской машине сидел весь красный, взмокший, как свинья, толстяк Вилли.

— Опять на охоту, Ит?

— Ага.

— Как жалко Дэнни Тэйлора. Хороший был человек.

— Да, жалко,— сказал я и прибавил шагу.

Две-три машины, поднимая легкий ветерок, обогнали меня, но гуляющих на улицах не было. Кому охота обливаться потом, шагая по жаре.

У обелиска я свернул к Старой Гавани и увидел издали якорные огни нескольких яхт и рыбачьих судов. Кто-то вышел с Порлока и двинулся мне навстречу, и по походке, по фигуре я узнал Марджи Янг-Хант.

Она остановилась передо мной, загораживая путь. Есть женщины, от которых и в жаркий вечер веет прохладой. Может быть, мне так показалось, потому что ее легкая ситцевая юбка чуть развевалась на ходу.

Она сказала:

— Вы, верно, меня ищете.— И поправила прядь волос, не нуждавшуюся в этом.

— Почему вы так говорите?

Она повернулась, взяла меня под руку и движением пальцев заставила пойти рядом с ней.

— Только такие мне и достаются. Я сидела в «Фок-мачте», видела, как вы прошли, и решила, что вы ищете меня. Обогнула квартал и перехватила вас.

— Откуда вы знали, в какую сторону я пойду?

— Не знаю. Знала, и все. Слышите? Цикады. Это к жаре и безветрию. Не бойтесь, Итен, сейчас мы с вами очутимся в тени. Если хотите, пойдем ко мне. Я дам вам выпить — высокий холодный бокал из рук высокой горячей женщины.

Я позволил ее пальцам увести меня под шатер раскидистых кустов жимолости. Какие-то цветочки, невысоко поднявшиеся над землей, желтыми огоньками горели в темноте.

— Вот мой дом — гараж с увеселительным чертогом наверху.

— Почему вы все-таки решили, что я вас искал?

— Меня или кого-нибудь вроде. Вы видели бой быков, Итен?

— Один раз в Арле после войны.

— Меня водил на это зрелище мой второй муж. Он обожал его. А я считаю, что бой быков создан для мужчин, которые трусоваты, а хотят быть храбрецами. Если вы видели бой быков, тогда вам это понятно. Помните, как после работы матадора с плащом бык пытается убить то, чего перед ним нет?

— Да.

— Помните, как он теряется, не знает, что делать, а иной раз просто стоит и будто ждет ответа? Тогда ему надо подсунуть лошадь, не то у него сердце разорвется. Он хочет всадить рога во что-то плотное, чтобы не пасть духом. Вот я и есть такая лошадка. И вот такие мужчины — растерянные, сбитые с толку мне и достаются. Если они могут всадить в меня рог, все-таки это небольшая победа. Потом можно снова отбиваться от мулеты и шпаги.

— Марджи!

— Стойте! Я ищу ключ. А вы пока нюхайте жимолость.

— Но я только что после победы.

— Вот как? Разорвали плащ в клочья? Затоптали его в песок?

— Откуда вы знаете?

— Я знаю, когда мужчины ищут меня или другую такую Марджи. Осторожнее, лестница узкая. Не стукнитесь о притолоку. Выключатель вот здесь. Увеселительный чертог, мягкое освещение, запах мускуса... и глубь морей, где солнца нет!

— Вы и впрямь колдунья.

— Будто вам это неизвестно! Несчастная, жалкая захолустная колдунья. Садитесь здесь, у окна. Я включу ветерок, сама пойду и, как говорится, накину на себя что-нибудь легонькое, а потом поднесу вам высокий холодный бокал, чтобы вы прополоскали себе мозги.

— От кого вы слышали это выражение?

— Не догадываетесь?

— Вы хорошо его знали?

— Некую его часть знала. Ту часть мужчины, которую может знать женщина. Иногда эта часть — лучшее, что в нем есть, но только иногда. У Дэнни так оно и было. Он доверял мне.

Эта комната была словно альбом воспоминаний о других комнатах — там и сям кусочки, обрывки других жизней, как подстрочные примечания. Вентилятор в окне урчал чуть слышным шепотком.

Она вскоре вернулась в чем-то голубом — длинном, свободном, будто пенящемся, и принесла с собой облако духов. Когда я вдохнул этот запах, она сказала:

— Не бойтесь. Мэри не знает, что у меня есть такой одеколон. Вот пейте — джин и хинная. Хинной я только чуть протерла бокал. Это джин, чистый джин. Если лед поболтать в бокале, будет казаться, что вы пьете холодное.

Я выпил бокал сразу, как пиво, и почувствовал, что сухой жар джина разлился у меня по плечам и побежал вниз, к пальцам, будто покалывая кожу.

— Вот что вам было надо,— сказала она.

— Да, видимо.

— Я сделаю из вас хорошего храброго быка. Немножко сопротивления — так, самую малость, чтобы вы вообразили себя победителем. Быку это необходимо.

Я взглянул на свои руки, все исчерченные царапинами и маленькими порезами — следы вскрывания ящиков,— взглянул на ногти, не слишком чистые.

Она взяла мою трость с кушетки, куда я положил ее, войдя в комнату.

— Надеюсь, вам не понадобится подхлестывать себя?

— Вы мой враг?

— Это я-то, нью-бэйтаунская резвушка,— ваш враг?

Я так долго молчал, что ей стало не по себе.

— Спешить некуда,— сказала она.— Времени для ответа у вас достаточно — вся жизнь. Пейте еще.

Я принял у нее из рук налитый до верху бокал, но губы и язык у меня так пересохли, что пришлось отпить немного, прежде чем заговорить, и заговорил я с трудом, будто сквозь какую-то шелуху в горле:

— Что вам от меня нужно?

— А вдруг я настроилась на роман?

— С человеком, который любит свою жену?

— Мэри? Да вы ее совсем не знаете.

— Я знаю, что она нежная, милая и в чем-то беспомощная.

— Беспомощная? Она кремень. Ее еще надолго хватит после того, как ваш моторчик совсем сработается. Она, как чайка, пользуется ветром, чтобы парить в небе и не махать без нужды крыльями.

— Это неправда.

— Грянет большая беда, и ее пронесет сквозь эту беду, а вы сгорите заживо.

— Что вам от меня нужно?

— Неужели вы не сделаете ни малейшей попытки соблазнить меня? Неужели вам не хочется выместить свою ненависть на старушке Марджи?

Я опустил недопитый бокал на столик, но она с быстротой змеи приподняла его, поставила на пепельницу и рукой вытерла мокрый кружок от донышка.

— Марджи! Я хочу узнать, какая вы.

— Не обманете. Вы хотите узнать, что я думаю о ваших подвигах.

— Я только тогда пойму, что вам от меня нужно, когда узнаю, какая вы.

— Надо думать, что вы это всерьез? Всего один доллар за тур. Путешествие по Марджи Янг-Хант с ружьем и фотоаппаратом. Я была

милая славненькая девочка, умненькая девочка и довольно никудышная танцовщица. Встретилась с человеком, как говорится, в летах и вышла за него замуж. Он не то что любил меня — он был от меня без памяти. Для умненькой девочки это золотая жила. Танцевать мне не очень хотелось, а работать и вовсе — нож острый. Когда я дала ему отставку, это его так сразило, что он даже не потребовал от судьи включения пункта о вторичном замужестве. Вышла за другого, и мы с ним так прожигали жизнь, что он не выдержал — умер. Но уже двадцать лет каждое первое число приходит чек. Уже двадцать лет я палец о палец не ударила, только принимала подарки от обожателей. Двадцать лет! Трудно поверить, но так оно и есть. И я уже не та славненькая девочка.

Она сходила в свою крошечную кухню, прямо в руке принесла три кубика льда, опустила их в свой бокал и залила сверху джином. Бормочущий вентилятор внес в комнату запах морских отмелей, обнажившихся с отливом. Она тихо сказала:

— У вас будут большие деньги, Итен.

— Вы все знаете?

— Самые благородные и те подлецы.

— Продолжайте.

Она широко повела рукой, и ее бокал отлетел к стене, кубики льда покатились по столу, как игральные кости.

— На той неделе моего верного воздыхателя хватил удар. Как только он сыграет в ящик, чеков больше не будет. Я старая, ленивая, и мне страшно. Вы у меня в резерве, но я вам не доверяю. Вы можете сыграть против правил. Можете вдруг стать честным-пречестным. Говорю вам, мне страшно.

Я встал и почувствовал, что ноги у меня отяжелели, не подкашиваются, а просто отяжелели, и будто они не подо мной, а где-то далеко.

— На что вы рассчитываете?

— Марулло тоже был моим другом.

— Понимаю.

— Вы не хотите лечь со мной? Я хороша в постели. По крайней мере, так мне говорят.

— Нет, не хочу, для этого вас надо ненавидеть.

— Вот потому-то я вам и не доверяю.

— Мы с вами что-нибудь придумаем. Я ненавижу Бейкера. Может, вы его с собой уложите?

— Как вам не стыдно! Джин на вас не действует?

— Действует, когда спокойно на душе.

— Бейкер знает, что вы сделали с Дэнни?

— Да.

— Как он это принял?

— Ничего, спокойно. Но повернуться к нему спиной я бы не рискнул.

— Альфио — вот кто рисковал!

— Что это значит?

— Только то, о чем я догадываюсь. И на чем я могла бы сыграть. Не бойтесь, я ему не скажу. Он мой друг.

— Кажется, я вас понимаю. Вы разжигаете в себе ненависть, чтобы взмахнуть мечом. А меч-то у вас резиновый, Марджи.

— Будто мне это неизвестно. Но я полагаюсь на свое чутье, Ит.

— Ну, поделитесь со мной, что оно вам подсказывает?

— Пожалуйста. Бьюсь об заклад, что десять поколений Хоули будут мордовать вас почем зря, а когда они устанут, вы сами возьметесь стегать себя мокрой веревкой и растравлять себе раны солью.

— Если это все так, при чем здесь вы?

— Вам понадобится друг, чтобы было перед кем изливаться, а я — единственная, кто пригоден на эту роль. Тайна тяготит, Итен. И вам это не так уж дорого обойдется — какой-нибудь небольшой процент.

— Ну, вот что, я пойду.

— Допейте свой джин.

— Нет, не хочется.

— Не стукнитесь о притолоку, когда станете спускаться, Итен.

На половине лестницы она догнала меня.

— Палку свою вы нарочно оставили?

— Нет, упаси боже!

— Вот она. А я подумала, может быть, это своего рода жертвоприношение?

На улице моросило, а к ночи в дождь жимолость пахнет еще сильнее. Ноги у меня подкашивались, так что нарваловая трость оказалась весьма кстати.

У толстяка Вилли на сиденье автомобиля лежала пачка бумажных полотенец, и он вытирал ими пот с головы и лица.

— А я ее знаю! Хотите пари?

— Не хочу проигрывать.

— Слушайте, Ит, тут вас разыскивает какой-то тип в «крайслере», с шофером.

— Что ему надо?

— Не знаю. Спрашивал, не попадались ли вы мне. Я не проболтался.

— Ждите от меня подарок к рождеству, Вилли.

— Что у вас такое с ногами, Ит?

— Играл в покер. Пересидел.

— А-а, мурашки? Так если он опять мне встретится, сказать ему, что вы пошли домой?

— Пусть приходит в лавку завтра утром.

— «Крайслер-империал». Огромный, собака, длиной с товарный вагон.

На тротуаре у «Фок-мачты» стоял Джой — какой-то вялый, размякший.

— А я-то думал, вы укатили в Нью-Йорк за бутылочкой прохладительного.

— Слишком жарко. Духу не хватило. Пойдемте выпьем, Итен. Что-то я совсем раскис.

— Жарко, не хочется, Морфи.

— А пива?

— Пиво меня еще больше горячит.

— Что это за жизнь! Отбарабанил в банке — и податься некуда. И поговорить не с кем.

— Жениться бы вам.

— Тогда уж и вовсе не с кем говорить.

— Может, вы и правы.

— Еще бы не прав. Женатый, да крепко женатый,— самый одинокий человек в мире.

— Откуда вы это знаете?

— А я их вижу. И сейчас на такого смотрю. Возьму несколько бутылок холодного пива и пойду посмотрю, не захочет ли Марджи Янг-Хант поразвлечься со мной. Она поздно ложится.

— По-моему, ее нет в городе, Морфи. Она говорила моей жене, если не ошибаюсь, что хочет побыть в Мэйне до тех пор, пока жара не спадет.

— Будь она проклята, эта Марджи! Ну ладно, ее убыток — бармену прибыль. Пойду поведаю ему печальные эпизоды из одной загуб-

ленной жизни. Он тоже не будет слушать. Ну, всего. Ит. Идите с господом богом. Так напутствуют в Мексике.

Нарваловая трость постукивала по тротуару, подчеркивая мое недоумение, зачем я солгал Джою? Она не будет болтать. Это испортит ей всю игру. Она хочет все время держать палец на предохранителе гранаты. А почему — не знаю.

Я свернул с Главной улицы на Вязовую и увидел у старинного дома Хоули «крайслер», похожий не столько на товарный вагон, сколько на катафалк — черный, но не блестящий, потому что он был весь в дождевых капельках и масляных брызгах расплеснутой на шоссе грязи. Свет его фар смягчали матовые стекла.

Наверно, было очень поздно. В спящих домах на Вязовой не светилось ни одно окно. Я весь промок и вдобавок ступил где-то в лужу. Башмаки у меня жирно чавкали при каждом моем шаге.

Сквозь затуманенное ветровое стекло виднелся человек в шоферской фуражке. Я подошел к этой машине-монстру, постучал по стеклу, и оно сразу с электрическим подвыванием поползло вниз. В лицо мне пахнуло ненатуральной свежестью кондиционированного воздуха.

— Я Итен Хоули. Вы меня ищете? — И я увидел зубы — блестящие зубы, выхваченные из сумрака автомобильной кабины нашим уличным фонарем.

Дверца отворилась сама собой, и из «крайслера» вышел худощавый хорошо одетый мужчина.

— Я от телевизионной студии «Данскам, Брок и Швин». Мне надо поговорить с вами.— Он посмотрел на шофера.— Только не здесь. К вам можно зайти?

— Что ж, зайдемте. У нас, наверно, все спят. Если вы будете говорить тихо...

Он пошел следом за мной по мощеной дорожке, проложенной через топкий газон. В холле горел ночник. Когда мы вошли, я поставил нарваловую трость в слоновую ногу.

Потом включил лампочку для чтения на спинке моего большого кресла с продавленными пружинами.

В доме стояла тишина — но какая-то не та тишина, что-то в ней чувствовалось неспокойное. Я посмотрел вверх, на двери спален, выходивших на площадку второго этажа.

— Наверно, что-нибудь серьезное, раз вы так поздно.

— Да.

Теперь я разглядел его. В этом лице представительствовали зубы, не получая никакой поддержки от усталых, но настороженных глаз.

— Мы не хотим гласности. Год выдался тяжелый, вы сами знаете. Скандал с викториной выбил у нас почву из-под ног, а тут еще эта история с комиссиями конгресса. Приходится быть осторожным. Сейчас очень опасное время.

— Может, вы мне все-таки скажете, в чем дело.

— Вы читали сочинение вашего сына «Я люблю Америку»?

— Нет, не читал. Он хотел преподнести мне сюрприз.

— И преподнес. Я не понимаю, как мы сразу этого не обнаружили, но факт остается фактом.— Он протянул мне голубую папку.— Прочтите, где отчеркнуто.

Я сел в кресло и открыл ее. Текст был напечатан то ли на пишущей машинке, то ли на одной из новых типографских машин с таким же шрифтом, но поля были все исчирканы жирным черным карандашом.

Итен Аллен Хоули (младший)

Я ЛЮБЛЮ АМЕРИКУ

Что такое человеческий индивидуум? Атом, почти невидимый без увеличительного стекла, пятнышко на поверхности вселенной; ничтожная доля секунды, несоизмеримая с безначальной, бесконечной вечностью; капля воды в бездонных глубинах, которая, испарившись, улетает вместе с ветром; песчинка, которой не долго ждать возврата к праху, породившему ее. Неужто же существо, столь малое, столь мелкое, столь преходящее, столь недолговечное, противопоставит себя поступательному движению великой нации, что пребудет в веках, противопоставит себя последующим порожденным нами поколениям, которые будут жить, доколе существует мир? Обратим же взоры к своей стране, возвысим себя чистым, бескорыстным патриотизмом и убережем отечество наше от всех грозящих ему опасностей. Чего мы сто́им, чего сто́ит тот из нас, кто не готов принести себя в жертву на благо родной страны?

Я перелистал всю тетрадку и везде увидел следы черного карандаша.

— Узнаете?

— Нет. Ужасно знакомо... это что-то прошлого века.

— Правильно. Генри Клей. Речь, произнесенная в 1859 году.

— А остальное? Тоже Клей?

— Нет. Надергано отовсюду. Тут и Дэниел Вебстер и Джефферсон и даже — господи, прости! — кусочек из второй вступительной речи Линкольна. Я просто не понимаю, как это проскочило. Наверно, потому, что сочинений были сотни. Слава богу, что мы все-таки вовремя спохватились. Представляете себе? После истории с викториной и с Ван Дореном.

— Сразу видно, что не детская рука.

— Не понимаю, как это случилось. И ведь если бы не открытка, так бы все и прошло.

— Открытка?

— Открытка с видом Эмпайр-стейт-билдинг.

— Кто же ее прислал?

— Анонимная.

— Откуда она послана?

— Из Нью-Йорка.

— Покажите ее мне.

— Она у нас в сейфе на случай каких-нибудь неприятностей. Но вы ведь не пойдете на это?

— Что вам от меня нужно?

— Мне нужно, чтобы вы все забыли — будто ничего и не было. И если вы согласны, мы тоже так сделаем — будто ничего и не было.

— Забыть это нелегко.

— Да слушайте, я просто говорю, чтобы вы держали язык за зубами и не причиняли бы нам никаких неприятностей. Год был тяжелый. Перед президентскими выборами к чему угодно придерутся.

Я захлопнул красивую голубую папку и отдал ему.

— Никаких неприятностей не будет.

Его зубы блеснули, как двойная нитка жемчуга.

— Я так и знал. Я так и говорил там, у нас. Я поинтересовался вами. У вас хорошее досье. Вы из почтенной семьи.

— Теперь, может быть, вы уйдете?

— Смею вас уверить, я понимаю ваши чувства.

— Благодарю вас. А я понимаю ваши. Что можно похоронить, того будто и не было?

— Мне бы не хотелось оставлять вас в таком настроении. Не надо сердиться. Я работаю в отделе информации и связи. Мы что-нибудь придумаем. Стипендию... или что-нибудь в этом роде. Что-нибудь вполне приемлемое.

— Неужели порок объявил забастовку и требует повышения заработной платы? Нет, прошу вас, уходите.

— Мы что-нибудь придумаем.

— Не сомневаюсь.

Я проводил его, снова сел в кресло и, потушив лампочку, стал прислушиваться к своему дому. Он пульсировал, как сердце, а может, это и было мое сердце и шорохи в старом доме. Мне захотелось подойти к горке и взять в руки талисман. Я уже встал и шагнул вперед.

Я услышал какой-то хруст и словно короткое ржание испуганного жеребенка, и кто-то пробежал в темноте, а потом все стихло. Мои мокрые башмаки чавкнули на ступеньках. Я вошел в комнату Эллен и включил свет. Она лежала, свернувшись, под простыней, голова — под подушкой. Когда я попробовал поднять подушку, она вцепилась в нее и мне пришлось дернуть сильнее. Из уголка рта у нее текла струйка крови.

— Я поскользнулась в ванной.

— Вижу. Сильно ушиблась?

— Нет, не очень.

— Другими словами, это не мое дело?

— Я не хотела, чтобы его посадили в тюрьму.

Аллен сидел у себя, на краю кровати, в одних трусиках. Его глаза... Я невольно представил себе мышь, загнанную в угол и готовую отбиваться от щетки.

— Ябеда поганая!

— Ты все слышал?

— Я слышал, что эта гадина сделала.

— А ты слышал, что ты сам сделал?

Мышь, загнанная в угол, перешла в нападение.

— Подумаешь! Все так делают. Кому повезет, а кому нет.

— Ты в этом уверен?

— Ты что, газет не читаешь? Все до одного — до самой верхушки. Почитай газеты. Как начнешь витать в облаках, так читай газеты. Все это делают, и ты сам, наверно, когда-нибудь делал. Нечего на мне отыгрываться. Плевал я на всех. Мне бы только с этой гадиной рассчитаться.

Мэри разбудить нелегко, но тут она проснулась. А может быть, и вовсе не засыпала. Она была в комнате Эллен, сидела на краешке ее кровати. Уличный фонарь освещал ее, играл тенями листьев на ее лице. Она была как скала, огромная скала, противостоящая волнам прилива. Да, верно. Она — кремень, она — твердыня, несокрушимая и надежная.

— Ты ляжешь спать, Итен?

Значит, она тоже все слышала.

— Нет еще, радость моя.

— Опять куда-нибудь пойдешь?

— Да... погуляю.

— Пора спать. На улице дождик. Тебе непременно надо уходить?

— Да. Есть одно место, мне надо побывать там.

— Возьми дождевик. А то опять забудешь.

— Да, милая.

Я не поцеловал ее. Не мог поцеловать, когда рядом с ней лежал, укрывшись с головой, этот комочек. Но я положил ей руку на плечо, коснулся ее лица, а она была как кремень.

Я зашел на минутку в ванную за пачкой бритвенных лезвий.

Я стоял в холле, послушно отыскивая в шкафу свой дождевик, и вдруг услышал какую-то возню, какой-то шум, топот, и Эллен, всхлипывая, шмыгая носом, кинулась ко мне. Она уткнулась кровоточащим носом мне в грудь и обхватила меня руками, прижав мне локти к бокам. И все ее детское тельце дрожало мелкой дрожью.

Я взял ее за чубчик и оттянул ей голову назад.

— Я с тобой.

— Нельзя, глупышка. Пойдем лучше в кухню, я тебя умою.

— Возьми меня с собой. Ты больше не вернешься.

— Что ты выдумываешь, чучело? Конечно, вернусь. Я всегда возвращаюсь Пойди ляг и усни. Самой же лучше будет.

— Так не возьмешь?

— Тебя туда не пустят. Что же ты хочешь, стоять на улице в ночной рубашке?

— Не смей!

Она опять обняла меня и стала гладить мне руки, бока, засунула кулачки в карманы так, что я испугался, как бы она не нащупала там пачку бритвенных лезвий. Она у нас всегда такая ласкушка, обнималка, и всегда жди от нее каких-нибудь неожиданностей. И вдруг она отпустила меня и шагнула назад, подняв голову, и глаза у нее были сухие. Я поцеловал ее в перемазанную щеку и почувствовал на губах вкус подсыхающей крови. И пошел к дверям.

— Без палки пойдешь?

— Да, Эллен. Сегодня без палки. Иди спать, родная. Иди спать.

Я побежал. Мне кажется, я убегал и от нее, и от Мэри. Я услышал, как Мэри не спеша спускается по лестнице.

ГЛАВА XXII

Был час прилива. Я вошел в тепловатую воду и пробрался в Убежище. Медлительная волна то и дело заливала вход в него, брюки у меня сразу намокли. Толстый бумажник в заднем кармане разбух, а потом сплющился под моей тяжестью. Летнее море кипело медузами, размером в крыжовник, которые распускали по воде свои щупальца; касаясь моих ног и живота, они обжигали меня, будто маленькими огоньками, а вода мерно, как дыхание, входила и выходила из Убежища. Дождь превратился в легкую туманную завесу, и она вобрала в себя все звезды и все городские огни и размазала их ровным тускло мерцающим слоем. Мне был виден третий выступ за волнорезом, но из Убежища казалось, что он не на одной линии с тем местом, где покоился затонувший киль «Прекрасной Адэр». Волна, более сильная, подняла мои ноги, и мне почудилось, будто они у меня сами по себе, отдельно от туловища, и настойчивый ветерок, возникший невесть откуда, погнал перед собой туман, как стадо овец. Потом я увидел звезду — поздно, слишком поздно зажегшуюся. Какое-то судно, пофыркивая, прошло мимо — парусник, судя по неторопливому, торжественному стуку мотора. Над зубцами искрошенного волнореза показался его клотик, но красный и зеленый бортовые огни не были видны мне.

Кожа у меня горела от ожогов медуз. Я услышал всплеск якоря, и клотик потух.

Огонь Марулло все еще горел, так же как огонь Старого Шкипера и огонь тетушки Деборы.

Это неправда, что есть содружество огней, единый мировой костер. Всяк из нас несет свой огонек, свой собственный одинокий огонек.

Стайка крохотных рыбешек метнулась вдоль берега.

Мой огонь погас. Нет на свете ничего темнее, чем обгоревший фитиль.

И где-то в глубине себя я сказал: хочу домой, нет, не домой, а по ту сторону дома, где загораются огни.

Когда огонь гаснет, становится так темно, что лучше бы он совсем не горел. Мир полон темных обломков крушения. Есть лучший способ, известный тем Марулло, которые жили в старом Риме: приходит час, когда надо тихо, достойным образом уйти, без драм, никого не наказуя — ни себя, ни своих близких. Простился, сел в теплую ванну и отворил вены — или теплое море и бритвенное лезвие.

Мертвая зыбь растущего прилива шарахнулась в Убежище, приподняла мнє ноги и отвела их в сторону, а мокрый свернутый дождевик унесла с собой.

Я лег на бок и сунул руку в карман за лезвиями и нащупал там что-то тяжелое. И тут я с изумлением вспомнил гладящие, ласкающие руки той, что несет огонь. Я не сразу вытащил его из мокрого кармана. И у меня на ладони он вобрал в себя весь свет, все огни и стал темно-темно-красный.

Новый вал прибоя притиснул меня к задней стене Убежища. Темп моря убыстрялся. Для того чтобы выйти из Убежища, мне пришлось бороться с волнами, но я должен был выйти. Меня перекатывало с боку на бок, я пробивался вперед по грудь в воде, а быстрые волны старались оттолкнуть меня назад.

Мне надо было выйти отсюда — надо было отдать талисман его новой владелице.

Чтобы не погас еще один огонек.

ЖАК-СТЕФЕН АЛЕКСИС

РОМАН

■

Перевод с французского
М. ВАКСМАХЕРА и О. МОИСЕЕНКО

Под редакцией
Н. НЕМЧИНОВОЙ

XII

Гонаибо проснулся очень рано. Утро было ясное, свежее, и ночь принесла ему отдых. Давно он уже не чувствовал себя так хорошо. Накануне он обегал все окрестности, наблюдая, прислушиваясь к разговорам, пересудам. Больше чем когда-либо он избегал крестьян, хотя ему и пришлось действовать вместе с ними во время похода за предметами водуистского культа. Он отчаянно стремился сохранить свою одинокую независимую жизнь среди растений и животных, под бескрайним небом, на поросшем травой берегу озера.

Ему приснилось, что он идет по большому голубому лугу, цветы на нем серебряные, а шерсть у животных похожа на белые хлопья. Жизнь — какое это чудо! За последние дни Гонаибо был лихорадочно возбужден, сердце его тревожно билось, но, увидев пришельцев собственными глазами, он успокоился. Этим утром он проснулся такой же веселый, как в светлые дни своей былой беззаботности: его ноги так и просились скакать, из горла неудержимо рвалась песня. Детство! Своенравная пора, когда у нас по жилам словно струится ручеек с проворными рыбками, заря жизни — предвестница грядущего дня... Будущее покажет, что наша страсть к разрушению, наша лихорадочная деятельность, наши столкновения, наша застарелая или вновь вспыхнувшая ненависть — все это было следствием переходного возраста, скотского состояния людей, в душе которых подлинная человечность еще не пришла на смену стадному безумию... И когда человеческий разум освободится наконец от ненависти, звериных инстинктов, крови, притворства, насилия или бесплодных

Окончание. Начало в №№ 1, 2.

мечтаний, жизнь станет вечным детством, пылким, восторженным и счастливым.

— Скажи, предок,— спросят потомки,— ведь было время, когда ты рыскал по лесам, как дикий зверь?

— То был не я, это происходило до меня,— ответим мы.

— Скажи, предок, ведь было время, когда ты обращал в рабство себе подобных?

— То был не я, это происходило до меня,— повторим мы.

— Скажи, предок,— спросят опять потомки,— ведь было время, когда ты жирел, питаясь потом себе подобных? Когда человек эксплуатировал человека, когда человек был хозяином, господином другого человека?...

И мы опустим голову, звери мы этакие!

Гонаибо с ручной змеей, обвившейся вокруг его плеча, шел среди кустов такой же легкой поступью, какой шествуют дни и ночи, в руках он держал флейту, на устах его была песня... Здравствуй, пчела! Привет тебе, сверчок, что стрекочешь возле кочки. Здравствуй, солнце, трава, птица, черной точкой мелькающая в небе! Здравствуй, перышко, облако, вода, воздух, камень, веточка,— всех вас приветствует Гонаибо, мальчик с ручной змеей! Сын дождя, земли и ветра шлет вам улыбку!

Гонаибо уселся на своем любимом месте, на вершине холма. У его ног вилась белая дорога, за спиной, уходя к берегам озера, зеленела поросшая кустарником саванна. Он приставил флейту к губам и извлек из нее нескончаемую вереницу звуков... Ведь и ветер, просыпаясь по утрам, стонет от наслаждения... Летите все выше, ясные, чистые звуки! Небо круглое, как голубая чаша... Догоняйте друг друга, прозрачные жемчужины, рожденные тростниковой флейтой. Дикие утки покачиваются, как пальмы... Качайтесь и вы в воздухе, незримые кристаллы нот, серебристые звуки. Жизнь кружится, вертится, как шар. Гонаибо играл, откинувшись назад, на душе у него было спокойно. У тебя есть сердце, у меня есть сердце, и все мы дети света!..

Вдруг он умолк. Что там такое? Блики солнца на траве? Фигуры, рожденные игрою воображения? Нет, конечно. Он вскочил и бросился со всех ног по гребню холма, приставив руки к глазам, чтобы защитить их от солнца и миражей. Чем дальше он бежал, тем яснее все видел. Там... возле дороги, на лугу, плоском, как ладонь, было шестеро темных всадников.

Гонаибо замер на месте. Да, у своих ног он действительно увидел шестерых всадников, шестерых всадников в шлемах и сапогах. Они скакали по лугу, вооруженные длинными палками. Ну и наглецы! Они хлестали шестами по траве и, казалось, что-то бросали в нее, как будто мяч... И то ехали шагом, то скакали галопом, гоня этот круглый предмет по направлению к двум финиковым пальмам, которые росли неподалеку от дороги, вздымая к небу свои перистые ветви и кисти желтых плодов. Гонаибо растянулся на земле, судорожно вцепившись руками в траву. В нем клокотал гнев. Несколько минут он наблюдал за белыми людьми, за этими нахалами, которые играли у края дороги. Схватив затем пращу, он старательно прицелился и метнул изо всех сил камень. Один из всадников поднес руку к виску. Партия прекратилась, пятеро остальных игроков окружили раненого. Гонаибо, не переставая, метал в них острые камни...

■

Данже Доссу тщательно разработал план действия. Он заранее потребовал у лейтенанта тысячу пятьсот пиастров, уверяя, что придется совершить множество искупительных обрядов: надо же умилостивить

прах разгневанных рабов, которых умертвил французский колонист, дабы они стерегли зарытый им клад. Итак, по словам колдуна, им грозит страшная кара со стороны покойников, которые неизбежно пробудятся от своего загробного сна. Но у Эдгара душа радовалась при виде испанских дублонов, которые вручил ему колдун, и он был готов решительно на все. Наконец-то ему привалило богатство и, несомненно, огромное! Втихомолку он отдал проверить одну из монет: она оказалась подлинной! Даже если ему достанется половина клада, это, вероятно, составит по нынешнему курсу сотни тысяч долларов. Данже уверял, что благодаря своему сверхъестественному дару он «видит» три огромных кувшина, скованных цепью и доверху наполненных золотом. Эдгар решил купить у колдуна его часть клада, уплатив за нее несколько тысяч долларов. Бродяга будет, конечно, в восторге от такой сделки!

В этот вечер Эдгар приехал к Мариасоль, как обычно, около семи часов вечера. Он достал с величайшим трудом то, что требовал Данже Доссу: поношенную форму генерала прежней национальной армии — шитый золотом красный мундир, треуголку, украшенную перьями, и прочее. Приятель лейтенанта, живший в столице, где-то раздобыл для него этот маскарадный костюм. Эдгар предупредил Мариасоль о своем свиданье с колдуном, которое состоится ровно в десять часов вечера. У них есть дела во дворе, и что бы Мариасоль ни услышала, она ни в коем случае не должна выходить из спальни. Мариасоль обещала, хотя и не понимала, что общего мог иметь Эдгар с этим страшным человеком. Данже наводил ужас на Мариасоль. Когда он смотрел на нее, молодой женщине казалось, будто тысячи муравьев бегают у нее по телу. Колдун не держал себя развязно, наоборот, но постоянно заходил в дом под предлогом, что ему надо подождать лейтенанта. И всякий раз не спускал глаз с Мариасоль. Она чувствовала, что этот взгляд раздевает ее и обезьяньи руки колдуна как будто ощупывают ее всю. Мариасоль приходилось бороться с собой, чтобы не потерять голову. Несомненно, этот человек желал ее. От него исходили какие-то отвратительные флюиды, липкие, вязкие, вызывая гадливое чувство и головокружение.

Боже, как трудно понять мужчин! Она была совсем одна в этой стране, никого здесь не знала, никому не могла довериться, ей даже не с кем было словом перемолвиться. Когда же она пыталась заговорить с Эдгаром о колдуне, он резко обрывал ее. Эдгар был с нею ласков и жесток, а иногда и груб. Трогательная нежность чередовалась у него с непонятными приступами неистовства. То он прижимал Мариасоль к сердцу, да так бережно и осторожно, словно она была маленькой птичкой, то вдруг без всякой видимой причины набрасывался на нее, точно похотливое животное, срывал с нее платье, причинял ей боль, кусал ее. Когда же Эдгар приходил в себя, как утопленник, выплывший из пучины, где он познал ужас смерти, он долго лежал без движения, тяжело дыша. Затем принимался нашептывать своей маленькой Мариасоль ласковые слова, которые сводили ее с ума, и она становилась мягкой, как воск, в его руках... Любила ли она его? Да, любила со всем пылом своих девятнадцати лет, любила, как любят больного ребенка, беспокойного и втайне несчастного человека. Она видела в Эдгаре мужчину, в душе которого еще жив ангел-хранитель его детских лет. Ведь Мариасоль была женщиной, такой, какой ее сделали столетия мужского владычества: она обладала всеми достоинствами, заложенными в ее чистом сердце, и вместе с тем находилась во власти всех предрассудков, от которых отупел мозг этой потерянной и вновь обретенной Гризельды.

Эдгар извелся от ожидания. Главное, иметь деньги. Священники и те признают могущество колдовских чар. Если колдовство может дать деньги и власть, он без зазрения совести прибегнет к нему. Во всяком случае, дублон, который он держал в руке, был чем-то вполне реальным.

Колдовство или самообман — не все ли равно, если Данже Доссу обладает даром находить зарытые сокровища? Было бы глупо не воспользоваться помощью колдуна из-за какой-то дурацкой щепетильности! Не надо только его сердить, раздражать. Что до этих невероятных россказней о злых духах, там будет видно, чего они стоят. А вдруг нынче ночью он столкнется нос к носу с каким-нибудь рогатым Вельзевулом?.. При одной этой мысли он вздрагивал и крепко сжимал маленький браунинг, спрятанный в кармане брюк.

— Не выпьешь ли отвара из плодов сулейника, солнце мое? Сегодня вечером ты как будто волнуешься, сердишься... Что с тобой, мой мальчик?

Протягивая Эдгару чашку, Мариасоль провела рукой по его волосам. Он уклонился от ее ласки.

— Отстань!.. Что со мной? Ничего особенного. Терпеть не могу, когда меня гладят по голове!..

Вот злюка, вот ворчун противный! Мариасоль отошла от Эдгара, бросив на него вопросительный и грустный взгляд. Она укрылась у себя в спальне и стала с нетерпением ждать конца этой отвратительной ночи. При малейшем шуме она вздрагивала и никак не могла уснуть. Как чадоедливо пищат комары!.. Она потушила лампу и забилась в постель. Прислушалась — Эдгар ходит взад и вперед по комнате, останавливается и опять принимается ходить: раз-два, раз-два, раз-два... Погоди, комар, дождешься ты у меня! Ну-ка сядь ко мне на шею, я тебя раздавлю! Зачем понадобились кирки и лопаты?.. Раз-два, раз-два... Хлоп! Убила комара!.. А для чего нужен Эдгару мундир?.. Раз-два, раз-два... Вот он останавливается, открывает окно... с кем-то говорит. Наверно, колдун пожаловал! И Мариасоль сжалась в комочек под одеялом.

Данже вошел в дом с тяжелым мешком в руках. Вслед за ним в открытую дверь влетела большая черная бабочка.

— Это опасная бабочка, господин лейтенант... Она не предвещает ничего доброго! Пожалуй, какой-нибудь мертвец хочет нам помешать!.. Чувствуете, как пахнет в комнате? Вот беда! И зачем это случилось именно сегодня... Кстати, хозяин, вы никогда не слышали здесь по ночам шагов, звона цепей или чего-нибудь в этом роде?

Нет, Эдгар никогда не слышал ни звона цепей, ни лязга железа, ни звяканья ключей. Правда, на Мариасоль нападал иногда страх, и она рассказывала всякие небылицы... Женские бредни! Оно и понятно: бедняжка слишком часто бывает одна...

— Нельзя постичь непостижимого,— заявил Данже Доссу.— Во всяком случае, сегодня вечером в доме появился мертвец. Мы ничего не добьемся, если не обезвредим его заклинаниями.

Колдун вынул из мешка бутылку, масляную лампу и несколько крошечных свертков. Он снял рубашку и, присев на корточки, пригнулся волосатым торсом к самому полу.

— Не в обиду будь вам сказано, господин капитан, вам тоже придется поцеловать землю...

Эдгар медлил, но все же повиновался. Данже зажег черную восковую свечу, начертил на полу крест, насыпав какого-то белого порошка, вытащил из сумы человеческий череп и стал бормотать заклинания:

— Накипь-пена, три канавки, три мотыги, три лопаты, три мачете, давай выливай, рой-копай, жги-поджигай, субботний день, сгинь, сгинь, рассыпься!

Лицо Данже Доссу все больше искажалось, глаза налились кровью, он был в исступлении. Он загребал воздух своими огромными ручищами, пена выступила у него на губах. Затем он разбросал на все четыре стороны горсточки волшебного порошка: порошка святой Вероники, порошка заклятия, порошка порчи, порошка смерти. Эдгар пятился все

дальше, пока не уперся в стену, с непреодолимым ужасом наблюдая за этой сценой. Колдун взял из пакетика щепотку ружейного пороха и кинул ее в пламя свечи. Произошел сильный взрыв. В соседней комнате протяжно заскрипели пружины на кровати Мариасоль. Данже продолжал сыпать волшебный порошок и время от времени вызывал вспышки пороха.

— Ты сам позвал меня, чтоб тебе!..— крикнул он Эдгару.— Делай то же, что и я!

Эдгар осторожно приблизился к свече, взял щепотку пороха и бросил ее в пламя. Густой дым наполнил гостиную. Мариасоль закашлялась. Данже схватил кирки и лопаты; по его знаку Эдгар взял мундир, шпагу и вышел вслед за колдуном.

Наступившая тишина встревожила Мариасоль, она осторожно приподнялась на кровати. Значит, ушли? Она вся дрожала. Бежать? Но куда? Она никого здесь не знала, да и, кроме того, теперь, когда были вызваны злые духи, ходить по улице опасно. Она встала, стараясь не шуметь, подошла к окну, отворила его и вздохнула полной грудью. Но тут же поспешно захлопнула окно: по улице медленно двигался белый конь со звездой на лбу — она ясно видела его,— конь был оседлан, но без седока. Прерывисто дыша, Мариасоль затворила даже ставни. Слышно было, как цокали копыта удалявшегося таинственного коня. Ночная птица насмешливо захохотала в сумраке. В гостиной было совершенно темно. Мариасоль подошла на цыпочках к двери, посмотрела в щелку, прижалась к ней ухом... Нет, ничего не слышно. Она приоткрыла дверь — никого.

Во дворе на площадке, по углам которой стояли четыре зажженные свечи, Данже Доссу и Эдгар Осмен рыли яму. Огромная фигура колдуна сгибалась и выпрямлялась в такт неистовым взмахам кирки, вгрызавшейся в каменистую почву. Пот ручьями стекал с его обнаженного торса. Эдгар пытался не отставать от Данже, но не мог выдержать такого напряжения. Время от времени он брал лопату и выбрасывал разрыхленный грунт. Вокруг лежали огромные кучи земли. Яма доходила обоим уже до пояса. Данже Доссу часто поглядывал на небо, по которому ползли черные рваные тучи. Вдруг колдун плотно сжал свои толстые вывороченные губы, стараясь подавить рвавшийся из груди смех. Он оказался прав: дождь не заставит себя ждать. Все было мастерски рассчитано. Из ямы теперь выглядывали только головы Данже и Эдгара.

— Стой! Стой! — крикнул колдун.

На дне ямы забил родник. Данже бросил кирку, погрузил руки в сырой песок, затем схватил свой мешок и вытащил из него разные предметы, в том числе небольшой кувшин. И тут же начал повторять заклинания, прерывая их вспышками пороха. Искатели клада снова взялись за работу, но вскоре остановились. Данже вынул из земли несколько костей и отложил их в сторону, бормоча молитвы. Еще раз разбросал волшебный порошок и продолжал копать.

— Золото уже недалеко,— заявил он.

Эдгар изнемогал от усталости. Неловко, словно пьяный, он ударял киркой по дну ямы. У него кружилась голова. Он то и дело вытирал глаза, которые застилал пот, и, собравшись с силами, вновь принимался за работу. Вдруг Данже начал жечь листья, вынутые из мешка, и полил яму какой-то жидкостью с удушливым запахом, от которого першило в горле. Молнии бороздили теперь все небо. Данже незаметно ударил киркой по кувшину, только что вытащенному из мешка. Кувшин разбился, Эдгар ничего не заметил.

Блестящая змейка лежала, извиваясь, на вскопанной земле.

— Гром и молния! Эй, парень! Убей змею! — крикнул колдун.

Тут только Эдгар увидел у своих ног пресмыкающееся. Он бросил кирку и схватил лопату.

— Убей же ее, черт возьми! Скорее! — вопил Данже.

Эдгар беспорядочно стукал по земле лопатой. Змея исчезла.

— Горе вам! — заревел Данже.— Вы упустили стража, приставленного к сокровищу. Ну и дурак же я был, что связался с таким остолопом! Вы не представляете себе, какой опасности мы подвергаемся. А вдобавок клад может опуститься, уйти глубоко в землю!.. Наденьте мундир, скорее!

Эдгар разделся, натянул узкие рейтузы, поспешно набросил на плечи красный расшитый золотом мундир, надел треуголку, украшенную перьями, и взял шпагу. Данже Доссу выскочил из ямы.

— Выше держите шпагу, черт возьми! — приказал он.— Я заставлю змею вернуться! Я обезврежу мертвеца, который притаился в доме.

Он вручил лейтенанту огромную свечу и зажег ее. Эдгар стоял неподвижно, как статуя императора Дессалина на Марсовом поле, подняв шпагу к небу, становившемуся все более мрачным, все более грозным.

— Не шевелитесь! Когда появится змея, ударьте ее шпагой! Главное, не промахнитесь!..

Данже Доссу стал жечь чертову смолу, полил землю странно пахнувшей жидкостью, прочитал гортанным голосом заклинания и помолился святому Экспедиту. Под конец он с недовольной гримасой тряхнул головой.

— Ждите меня здесь,— сказал он резко.— Пока черная бабочка находится в доме, змея не дастся нам в руки... Я пойду погляжу. Не уходите отсюда, не шевелитесь, даже если молния ударит у ваших ног! Крепко держите свечу и шпагу, и ничего с вами не случится. Теперь вы предупреждены.

Эдгар проверил, правильно ли он стоит, шире расставил ноги, судорожно сжал свечу и поднял шпагу высоко над головой. Данже схватил свой мешок и направился к дому, широко шагая.

Было душно, в воздухе чувствовалась гроза, которая никак не могла разразиться. Измученный, весь в поту, Эдгар делал отчаянные усилия, чтобы не упасть в яму. Его мысли разбегались, он уже не владел собой. У крыльца Данже Доссу оглянулся на оставленного им часового: тот стоял в своем нелепом мундире, со шпагой наголо, освещенный мерцающим пламенем свечи.

Войдя в дом, колдун прислушался. Он подошел к двери спальни и остановился. Затем неслышно повернул дверную ручку: Мариасоль лежала лицом к стене, накрыв голову простыней. Колдун крадучись приблизился к кровати. Мариасоль резким движением откинула простыню и увидела голого до пояса Данже Доссу, склонившегося над ней. Она хотела крикнуть, но не успела.

— Только крикни, задушу! — прошептал он.— А если хоть словом обмолвишься с лейтенантом, вы оба погибнете, и он и ты!

Он повалился на нее и жадно приник к ее рту губами.

Изнемогая от усталости, от нервного напряжения, лейтенант все стоял на часах возле ямы в своем расшитом мундире. Медленно текло время. Колдун не возвращался. Эдгар еще никогда не испытывал такого нервного возбуждения. Он смотрел на густую черноту неба... От всех этих одуряющих запахов у него кружилась голова. Он дрожал как в лихорадке. Однако странное оцепенение, сковавшее вначале его волю, мало-помалу проходило. Избавился он и от страха, но усталость все усиливалась. Скоро начнет светать... Что делает Данже Доссу в доме? Эдгар Осмен не узнавал себя. Черт возьми! Как мог он подчиниться колдуну! Дальше терпеть нельзя! Надо притащить сюда этого проходимца и потребовать, чтобы он немедленно добыл клад. Довольно играть

комедию!.. Если золото действительно спрятано в земле, надо под угрозой оружия заставить колдуна отыскать его! Эдгар опустил шпагу — ничего не произошло. Он вытер потный лоб, с минуту колебался, потом опрометью бросился к дому.

Войдя в гостиную, он с удивлением увидел, что колдуна там нет. Неужели подлец одурачил его? Оставил стоять на часах возле ямы, а сам удрал? Быть этого не может! Вероятно, он в столовой. Но и там было пусто. Эдгар хотел уже выйти во двор, как вдруг сердце его дрогнуло от внезапной тревоги. Он толкнул дверь в спальню и увидел Данже Доссу, почти скрывавшего своим мощным телом обнаженную Мариасоль, потерявшую сознание в его объятиях! Лейтенант испустил крик, похожий на рычание. Данже Доссу вскочил на ноги, схватил мешок, пригнувшись к полу, бросился на лейтенанта и со страшной силой ударил его головой прямо в лоб. Затем мигом забрал свою одежду и выскочил на улицу.

Эдгар недвижно лежал на полу. Мариасоль, распростертая на кровати, казалась мертвой.

■

Волнение никак не могло улечься в столице; все были взбудоражены — и народ, и интеллигенция, и мелкая буржуазия. Дело в том, что Пьер Румель мужественно выступил в печати против кампании насильственного отречения. Отвечая ему, преподобный отец Блуассен, человек на редкость ограниченный и непоследовательный, закусил удила. Этот бездарный писака, виднейший представитель гаитянской церкви, изрекал ложь и полуистины с упоением старого петуха, убежденного в том, что от его «кукареку» ночь сменяется днем. «Фаланга» — орган высшего духовенства — изобиловала сумбурными статьями, в которых неуклюжая германская ученость сочеталась с хитроумными доводами иезуитов.

Кампания насильственного отречения проходила теперь по всей стране, вызывая гневные протесты населения. В Дельмасе за ранней обедней в воскресенье неожиданно началась стрельба, священник едва уцелел, а из-за паники, охватившей прихожан, много человек было ранено. Несколько других церквей и часовен подверглись поруганию. Поднявшаяся из глубин волна возмущения против фанатичного бретонского духовенства прокатилась по всей стране. Правда, беспорядочно, неорганизованно, но народ все же сказал свое веское слово. А тем временем Компания ГАСХО вводила в действие свой тяжеловесный аппарат. Недовольство правительством росло. История двигалась вперед, как всегда, медленно, но неуклонно.

После своей мистификации Данже Доссу куда-то исчез. Выманив кругленькую сумму у Эдгара, он мог спокойно переждать грозу. Зато он нажил себе могущественного и лютого врага, от которого ему уже не будет пощады. Обезумев от ярости, Эдгар напрасно изъездил все окрестности в поисках колдуна. Однако ему вскоре пришлось прервать эту охоту из-за бесконечных совещаний, которые он проводил с руководителями ГАСХО. Карл был болен. Он совсем расхворался после одного бурного кутежа. Леони подозревала, что в жизни Эдгара случился какой-то перелом, но ни слова не могла вытянуть у этого нелюдима. Наконец отец Диожен Осмен воспользовался поимкой оборотня — случаем, ниспосланным ему самим богом,— чтобы возобновить заглохшую было кампанию насильственного отречения. В одной из своих проповедей он подробно объяснил, каким образом человека превращают в оборотня. Хунганам, заявил он тоном, не допускающим возражения, известны дьявольские тайны, при помощи которых они вызывают каталепсию и мнимую смерть. В подтверждение своих слов он привел свидетельства

нескольких почтенных лиц, уверявших, будто они видели собственными глазами воскрешенных мертвецов, которых тащили, вопреки их воле, с кладбища на вечную каторгу. Другие люди, продолжал священник, не раз узнавали в оборотнях своих бывших знакомых. Растерявшись от всей этой галиматьи, пустозвонных речей и запугивания, сотни людей в округе дали пресловутую клятву отречения. Снова в воскресенье из Гантье вышла процессия, и святилища в Делоше, Котене и Карадоке подверглись разрушению. Боясь потерять завоеванное преимущество, священник организовал и среди недели новые походы, во время которых верующие сравняли с землей хунфоры в Бруйяре, Мерсероне и Жанвье. Усердие отца Диожена не знало границ, он рыскал по деревням, уничтожая захваченные реликвии на месте. Было ясно, однако, что ему не удастся завершить дело к пасхе, зато он твердо надеялся отслужить благодарственный молебен на Фомино воскресенье. Его преосвященство архиепископ обещал почтить своим присутствием эту торжественную службу.

■

Жители Фон-Парижьена понемногу привыкали к присутствию американцев. Пришельцы вели себя осторожно и еще ничего не смели предпринимать. Отработав положенное количество часов в конторе, они прогуливались по окрестностям или играли в бейсбол на краю саванны, одаряли ребятишек сияющими улыбками и огромным количеством жевательной резинки. Недалеко от поселка, в уголке, затененном густыми деревьями, рабочие, прибывшие из столицы, собирали стандартные дома. Как только они заканчивали постройки, в них вселялись все новые белые люди. Автомобильный парк компании рос не по дням, а по часам — прибывали джипы, пикапы, пятитонки, полутонки и так далее. Появлялись также всевозможные машины с механической тягой: экскаваторы, тракторы, дренажные машины, машины для очистки от камней, катки, камнедробилки — словом, все то, что практический ум американцев без устали изобретает для вящей славы свободного предпринимательства и, главное, для того, чтобы сбывать побольше стали, этой основной статьи экспорта США. Стесняться тут не приходится, благо нашлась маленькая страна, наивно поручившая самому ростовщику распоряжаться капиталами, взятыми в долг у него. Надо отправлять в эту страну побольше машин, выпускаемых добрыми приятелями в Детройте или Чикаго, и вдобавок, воспользовавшись случаем, пристроить всех папенькиных сынков, желающих уклониться от призыва в действующую армию. Кроме того, здесь можно одним ударом убить двух зайцев: платить джонам и браунам неизмеримо больше, чем «туземцам», и сохранить для дяди Сэма бесценную голубую кровь аристократии золотого мешка, сражающейся на гаитянском фронте. Итак, без лишнего шума, точно следуя установленному плану, прибывшие подготовили тяжеловесный аппарат компании ГАСХО, чтобы в назначенный час прибрать к рукам весь заданный район. Ходили слухи, будто американцы уже захватили Сосновый бор, который спускается к озерам по склонам окрестных гор. Американское лесозаготовительное предприятие было подготовлено к пуску и могло хоть завтра вступить в эксплуатацию.

■

Приближался праздник рара. Обычно крестьяне задолго готовились к этой неделе развлечений — единственной подлинной передышке среди беспросветной каторги сельской жизни. Целая неделя радующих глаз красок, неделя веселья и света! Ведь надо умилостивить небесных пла-

кальщиц, чтобы до наступления летнего равноденствия дождевая вода в изобилии падала на землю. Айе, боже мой! Давайте трудиться, плясать и петь сколько душе угодно — все равно нас упрячут когда-нибудь в белый деревянный ящик и придется неподвижно лежать в нем до скончания века, глядя на свои мозолистые крестьянские руки! Приготовления к празднику не менее важны, чем молитва. Люди покупают в лавках красивые пестрые платки, куски разноцветного сатина, маленькие зеркальца, погремушки, всякую мишуру, стеклянные бусы, золотую и серебряную бумагу, дабы явить небесам шумное и красочное зрелище. А с наступлением праздника распорядители плясок станут подбрасывать к облакам свои жестяные палочки, в которых отразятся огни заката, а затем исполнят танец тростника под завывающие звуки бамбуковых дудок.

Карл Осмен с некоторых пор все бродил по окрестностям Солейе. Его привлекала здесь молоденькая крестьянка с лукавыми глазами и круглым, гладким личиком, простодушная дочь полей. Кожа у нее желтая, как спелый банан, а сама она стройная, гибкая, цветущая, красивая и прекрасно сознает, что хороша собой. Карл увидел ее впервые, когда она возвращалась с речки после купанья, свеженькая, резвая, и без умолку болтала с приятельницами. Ну и язычок — настоящая трещотка! Стоило взглянуть на верхнюю, дерзко вздернутую губу болтуньи, чтобы понять, какая это нахалка. Она и слыла нахалкой, но никто не назвал бы ее злой — просто она была непосредственной, ветреной, непоседливой, вспыльчивой и все же славной, добродушной девушкой с золотым сердцем. Увидя Карла, проказница расхохоталась:

— Провалиться мне на этом месте, девчонки!.. Посмотрите, как этот городской щеголь вылупил на нас глаза! Что это ему в голову втемяшилось? Такого растяпу мне ничего не стоит обвести вокруг пальца!

Все это было сказано с легким пришепетыванием. Фу, почему мать не подрезала ей в детстве уздечку языка, чтобы избавить дочь от этого недостатка?

Увидев красотку, Карл присвистнул от восхищения и пошел за ней следом, не отставая ни на шаг, и тут же выложил все комплименты, которые, по его мнению, могли понравиться такой вертихвостке. Девчонка (эту прелестную негритянку с едва расцветшей грудью нельзя было назвать иначе), итак, девчонка отвечала ему язвительными словами: сравнивала его с распалившимся голубем, который все воркует и пыжится перед своей голубкой.

— Ступайте, окунитесь в холодную воду, милый мой! И дайте пройти, не загораживайте дорогу!..

После долгого ожидания и поисков Карл вторично встретил ее, и на этот раз она, слава богу, была одна. Правда, она презрительно фыркнула и даже плюнула, но Карл все шел и шел за ней. Девочка молчала, было ясно, однако, что терпения ее ненадолго хватит: глаза ее потемнели, губы упрямо сжались, и она сердито взглянула на него. И тут, увы, добродетель ее пошатнулась. Равнодушие перешло в гнев, гнев излился в бранных словах, а вздыхатель, смеясь, воспользовался случаем и просунул руку за ее корсаж. Она наградила его пощечиной. Как опытный волокита, он погладил ее бедра и отскочил на почтительное расстояние... Если бы Карл догадался, что его наглое ухаживание успело вскружить голову молоденькой негритянке, он не остановился бы на полпути. Всему была виною плутовка весна! Карл ушел в ту самую минуту, когда красавица готова была уступить его домогательствам, влюбившись в этого краснобая, как будто его слова обладали магнетическими свойствами. Да, Карл был мастер очаровывать молодых и пожилых женщин. В его присутствии у них перехватывало горло и сохло во рту, что является безошибочным признаком неминуемого падения.

В третий раз он встретил девушку на танцах. Она не подняла на него глаз. Он пригласил ее. Она не ответила, тогда он силою увлек ее в круг танцоров. Он тесно прижимался к ней, тискал ее, целовал в шею. По окончании танца он спросил, чем можно ее угостить.

— Мне хотелось бы леденцов, сударь!.. И еще... флакон туалетной воды «Кошечка»...

Словом, наш молодец так рьяно обхаживал деревенскую простушку, что взял у нее решительно все. И он так усердно угощал ее сластями, что девушка не заметила, как понесла от него. Но как и почему это случилось, ни он, ни она, ни я не могли бы сказать. Проказничая с ней в чаще, Карл наконец догадался, что произошла перемена. Нежный живот девушки стал тугим и круглым, как барабан. Айе, господи боже! Мамочка милая! С этого дня красавица больше его не видела.

В среду на страстной неделе в воздухе просто гул стоял — столько различных звуков неслось отовсюду, ведь люди праздновали рара. Эдгар Осмен уже три дня не возвращался домой, и Леони изнывала от беспокойства. Мариасоль бегала разузнавать, куда он девался, но никто ей ничего не мог сказать. Тут пришел какой-то человек с поручением от лейтенанта. Оказалось, Эдгар задержался по служебным делам в окрестностях Солейе. Он просил брата срочно выехать к нему. Вот почему Карл скакал теперь по дороге. Проезжая мимо хунфора Ремамбрансы, он мельком увидел Буа-д'Орма.

Несмотря на геройство Диожена Осмена, древнее святилище все еще гордо вздымало кверху свои глинобитные стены и побуревшую соломенную кровлю.

— Ремамбранса не может погибнуть,— сказал Буа-д'Орм.

И люди свято ему верили — старик никогда не бросал слов на ветер. Они ждали, ждали с мучительным сомнением, но и с надеждой. Что бы там ни было, а среда на страстной неделе должна быть днем радости. Старухи, собравшиеся в зале «соба», возносили молитвы в честь грядущей пасхи. «Pater Noster» и «Ave Maria» звучали под старой крышей, славя величайшего из святых — Иисуса Христа, ради которого приверженцы Ремамбрансы жгли фейерверк, смеялись и танцевали. Вечером даже старухи присоединятся к молодым, чтобы поразмять себе ноги и спеть что-нибудь до появления звезд. А теперь они усердно читали молитвы вслед за госпожой Анж Дезамо.

Карл с трудом прокладывал себе дорогу среди толпы, не обращая внимания на развернувшееся перед ним зрелище. Плясуны скакали как одержимые, отбивая ногами такт «рабордайя». Один искусник танцевал, держа в зубах стол, накрытый на четыре персоны. Распорядитель плясок подбросил высоко в небо блестящую жестяную палочку, успел пропустить стаканчик в увитой зеленью беседке и, преспокойно вернувшись, поймал свой снаряд до того, как он упал на землю. Музыканты, игравшие на различных инструментах, раскачивались и подпрыгивали на месте. Танцорки в пестрых кофтах без устали работали ногами, с молниеносной быстротой проносясь по дорогам.

Немного дальше детвора увязалась за ватагой масок. Ребята стремительно бежали за ней, но вскоре вернулись, чтобы напасть на огромного толстопузого «иудея» — соломенное чучело с тыквенной головой. Они обрушились на него с палками и плетками. Штаны и старая рубаха пу́гала были уже в клочьях, из прорех со всех сторон сыпалась соломенная труха. Глупые юнцы! Во имя веры, проповедующей любовь к ближнему, они вооружились мстительной ненавистью, которую старшие внушали им в эти дни, самые горестные из всех, когда-либо описанных в мифологии, дни крестных мук сына божьего, который был просто несчастным человеком, наивным, чистосердечным и великодушным. А завтра

другие сыны человеческие подвергнутся гонениям, как некогда Иисус или символический иудей.

Карл продолжал путь, но вдруг остановился, помимо воли залюбовавшись представившимся ему зрелищем. Танцевал король праздника, похожий на лучезарную бабочку. Казалось, солнце распускает хвост, как павлин, день, клонясь к вечеру, готовит себе разноцветное ложе, вихрем кружится пассат и земля сливается с небом. Ноги короля выбивали дробь в воздухе, его великолепная туника развевалась по ветру, а усеянная звездами лазурная мантия надувалась, точно воздушный шар. Сам же он был живой орифламмой, он олицетворял попеременно птицу, ночное небо, стрекозу, ангела, светило, а его руки в шелковых перчатках походили на хвосты комет. Карлу пришлось наконец оторваться от созерцания. Пришпорив коня, он пустил его вскачь и стрелой понесся дальше. Ночь опускалась на землю. Всадник поехал тише. Не было никакого смысла рисковать жизнью из-за своего братца, этого махрового эгоиста. Нет уж, спасибо! По правде говоря, замедлив ход скакуна, Карл пытался справиться с собственным сердцем. Он досадовал, что находится в плену родственных чувств.

Добравшись до речки Солейе, он поехал через нее вброд и, придержав коня посреди течения, позволил ему напиться. Над долиной высилась могучая громада Мексиканской горы — кормилицы жителей, приютившихся у ее подножия. Она давала жизнь этой реке, ее вершина задерживала облака, по ее склонам стекали дождевые воды, покрывающие ее леса обогревали очаги, а своей красотой она радовала людей на много миль вокруг.

— Вы кто будете? Братец лейтенанта? Он просил встретить вас и .проводить...

Это сказал согбенный, сморщенный старик, который сидел на корточках у самой воды и посматривал на Карла маленькими живыми глазками. Старик с трудом пошевелился — все суставы у него хрустели — и наконец поднялся на ноги, так и не разогнув спины. Он пошел вперед, указывая путь всаднику. Сумерки сгущались. Карл и его проводник свернули на маисовое поле и долго петляли меж зеленых зарослей. Карл потерял всякое представление о том, где он находится.

— Далеко еще?— спросил он с беспокойством.

— Нет, сейчас приедете!— ответил проводник.

Однако конца пути не было видно. Минуты следовали друг за другом, словно зерна четок, перебираемые проворной рукой. Путники с трудом продвигались среди стеблей маиса, защищая лицо от их жестких листьев. Старик все шел и шел извилистой тропой. Однако, на радость Карлу, вокруг началась музыка ящериц. Сладостная многоголосая мелодия, похожая на неясный звон жемчуга, падавшего на кристальную чашу гулкой ночи, тихо баюкала его. В зарослях маиса, верно, таилось множество крошечных зеленых, коричневых или синих ящериц, и они теперь без умолку музицировали в густой листве. Их неземной оркестр исполнял чудесную кантилену, и, слушая ее, Карл чувствовал, что полностью отрешается от себя и вкушает райское блаженство. Его околдовали чары этих маленьких созданий, он позабыл обо всем и сам казался себе бесплотным духом. Музыка всецело завладела им, его тело растворилось в звуках и стало само лишь певучим стройным адажио. В природе встречаются непонятные чудеса, более пленительные, чем древнейшие мечты человечества! Разве можно сравнить мотеты итальянских певцов XIV века с этой первобытной красочной полифонией, наполнявшей теплый вечер грубой, бессознательной радостью животного мира.

Путники прибыли наконец на место. Карл разглядел в темноте ограду и за ней несколько сбившихся в кучу хижин. Он спрыгнул с седла и привязал лошадь к тыквенному дереву.

— Входите!— сказал ему проводник.

Карл вошел. Старик провел его через две комнаты, открыл какую-то дверь и пропустил гостя вперед. Карл переступил порог. Дверь позади него захлопнулась, он очутился один. Да, его заперли в квадратной комнате, где стоял лишь стол, кресло-качалка и складной стул. Стены и потолок были сплошь затянуты белой материей. По карнизу протянулась гирлянда цветущих ветвей «мексиканской красавицы». Помещение освещалось керосиновой лампой, висевшей на гвозде. Страх закрался в душу Карла. Куда он попал? Он крикнул: «Есть тут кто-нибудь?» Никакого ответа. Глубокая тишина. Он принялся стучать в стену — напрасно. Он и в самом деле оказался в тюрьме. Тогда он опустился на стул, чтобы поразмыслить. Действительно ли брат ждет его в этом доме? Кому вздумалось похищать никому неведомого Карла Осмена? И с какой целью?

Он встал, обошел вокруг комнату, ощупал стены, но не нашел двери, через которую его впустили сюда. Дрожа от волнения, он вновь принялся шарить под драпировками. Затем опять сел. Черт возьми! Надо держать себя в руках и обдумать все возможности спасения. Мать была права, говоря, что напрасно он разъезжает безоружный в любой час дня и ночи. Но полно, к чему отчаиваться и сожалеть о своей злополучной неосторожности? Прошло не меньше четверти часа. Карлу хотелось бить кулаками о стену. Да разве удастся пробить ее? Он сдержался. Он все осматривал комнату, когда вдруг послышался слабый шорох. Ему показалось, что кто-то вошел, и он мгновенно обернулся.

Перед ним стояла цветущая, хотя и немолодая женщина, одетая во все белое, с белым покрывалом и венком «мексиканских красавиц» на голове. Ноги ее были босы, она держалась очень прямо и улыбалась. Право, он никогда не видел этой женщины. У нее были приятные черты, нос широкий и круглый, а выражение лица говорило о спокойной силе. В сущности, она не улыбалась, но глаза ее излучали такой таинственный, загадочный свет, что лицо казалось улыбающимся. И эти лучистые глаза неотступно смотрели на Карла. Он вздрогнул. Откуда она появилась? По всей вероятности, воспользовалась тем, что он отвернулся к стене.

— Садитесь, сын мой, садитесь... не бойтесь...

Она села в кресло и стала качаться в нем, пристально глядя на Карла.

— Где Эдгар? Что с ним? Скажите, где он?

— Не сердитесь, сын мой, не бойтесь. Потерпите!..

Она не спускала с него глаз. Вот теперь она действительно улыбалась... Глаза женщины, окруженные мелкими морщинками, смотрели как будто ласково, и вместе с тем взгляд пронизывал собеседника. Ее веки то медленно поднимались, то опускались.

Карл выпрямился.

— Что означает эта комедия?.. Где Эдгар? Здесь? Да или нет? Если он здесь, я хочу немедленно его видеть, если нет, сию же минуту выпустите меня отсюда!..

Женщина спокойно приложила палец к губам и улыбнулась. Она по-прежнему держала его под властью своего взгляда. Что это? Ошибиться невозможно: чей-то голос напевал на улице... Он приближался... Карл прислушался. Голос показался ему знакомым... Ах, вот оно что, это голос Пренсьез, молоденькой крестьянки — его недавнего увлечения. Мимолетная прихоть, не больше! Значит, эта мелодрама вызвана беременностью девочки? Его приключение приобрело наконец какой-то смысл. Но к чему клонят эти люди?.. Голос запел совсем близко:

Скажите, скажите, разве можно обидеть меня?
Моя мать жрица,

Мой отец великий жрец,
Разве можно обидеть меня?

Карл вскочил на ноги. Тогда женщина проговорила решительным тоном:

— Садитесь, сын мой!.. Не надо сердиться, это ни к чему не приведет. Сегодня вы женитесь! Вот и все! Ничего дурного с вами не случится!

— Что за глупости?! Я приехал, чтобы встретиться с братом, лейтенантом Эдгаром... Ваш номер не пройдет! Если брата здесь нет, вам придется меня отпустить!

В этой почти пустой комнате нет ни одного предмета, которым можно было бы вооружиться. Придется хитрить и воспользоваться первой возможностью, чтобы спастись бегством. В воздухе разливался слабый запах «мексиканских красавиц». Песня умолкла... Так, значит, его заманили в западню, чтобы соединить брачными узами с Пренсьез!.. По какому же обряду их собираются венчать?.. Женщина спокойно раскачивалась в кресле и, не мигая, смотрела на своего пленника.

— Сударыня, прошу вас!.. Должен вас предупредить, что в городе известно, в какую сторону я поехал! Меня разыщут! Советую отпустить меня подобру-поздорову!..

Она приложила палец к губам и прошептала:

— Тсс!

Угрозы, по-видимому, нисколько не испугали ее. Карл чувствовал, что поддается влиянию этой женщины. Голова его была точно стянута металлическим обручем. Кровь стучала в висках. Вся эта сцена действовала ему на нервы... Женщина должна указать ему выход из комнаты. А для Пренсьез он постарается что-нибудь сделать, но прежде всего надо выбраться отсюда! Только бы его тюремщица не закричала. Полная тишина — необходимое условие бегства.

Опершись о стол, Карл старался отвести глаза от преследующего его взгляда. Как ни в чем не бывало, он осматривал эту странную комнату. Где же здесь дверь? Действовать следует осторожно и все же не слишком мешкать. А что, если снаружи видно, что делается в комнате? Вдруг он вскочил с места. Проворно схватил складной стул и, зажав голову женщины между спинкой и сиденьем, с силой сдавил их.

— Выведи меня отсюда, сейчас же, или я размозжу тебе голову!

Женщина до того оторопела, что даже не вскрикнула. Карл сдавил ей голову так, что кости затрещали. Она встала — глаза у нее вылезали из орбит,— подошла к стене, приподняла драпировку и отодвинула ногой задвижку, находившуюся у самого пола. Открылся не видимый до сих пор выход. Карл стискивал ей голову все сильнее. Они прошли через вторую комнату, затем через третью...

Конь Карла был по-прежнему привязан к тыквенному дереву. Не выпуская женщину из тисков, он подошел вместе с ней к лошади и, повалив на землю свою тюремщицу, вскочил в седло. Нещадно пришпоривая коня, Карл пустил его во весь опор. Он не скакал, а буквально летел. Сзади поднялась тревога, послышались громкие крики. Припав к гриве коня, Карл несся вперед, перескакивая через все препятствия.

XIII

Грузовики остановились возле рынка.

— Куда едете?

— В Сосновый бор... на рубку леса, так нам сказали... да, да, работать на белых.

— А на кой черт им лес?

Рабочие не знают этого. Да и какое им дело? Нанимая их, белый человек говорит: «Рубите лес!»

Люди рубят лес, хозяин платит им за труд, и если он слышит от них: «Спасибо, белый человек», — то лишь потому, что они хорошо воспитаны.

В «цветных» странах белые люди всегда зарабатывают слишком много. Когда они платят нам пять долларов, то, значит, заработали нашим горбом не меньше пятисот. А что нам остается делать? Таскать тяжести на рынке в Круа-де-Боссаль, продавать лотерейные билеты промотавшимся господам без рубашки под пиджаком, играть в «красное и черное» в вонючих притонах Нан-Пальмиста, торговать горячими пирожками, леденцами или «рассыпными» сигаретами, дремать на солнышке, грезя о недосягаемом обеде, и наконец первого января лезть на призовую мачту, густо смазанную салом?..

— Как зовут белого, на которого вы будете работать?

— Его зовут Гасхо!

— Гасхо? Вот оно что, значит, это белый человек! Верно, какой-нибудь проходимец!

— Разве проходимцы меньше платят?..

— Да нет, не в том дело! Просто Гасхо — какое-то чудное имя!

— А нам-то разве не все равно, какое у него имя и кто он — голландец, американец или швед? Все белые одинаковы — вор на воре! Как бы их там ни звали!..

— Дурачье! ГАСХО — вовсе не имя, так компания называется.

— Господи Иисусе!.. По мне, в тысячу раз лучше иметь дело с одним хозяином! Работать на компанию куда страшнее — ведь тогда у хозяина нет лица. Прижмет тебя белый человек да еще болтает, будто это не по его вине, а по вине компании... Работал я, к примеру, у Ж. Г. Уайта...

Грузовики были битком набиты молодыми парнями, которые говорили без умолку. Чем же еще заняться в дороге? Вот все и чешут языки. За грузовиками следовал одышливый автобус. В нем ехали торговки и «манолитас», трещавшие, как попугаи в лесу,— дешевые потаскухи, которые везли с собой целое маленькое хозяйство и наряды, необходимые для украшения своих поблекших прелестей. Вереница машин остановилась на углу рынка. Провизию покупали нарасхват. Рабочие буквально набрасывались на сухари и на лепешки из маниоковой муки. Ведь в лесу ничего не достанешь, и, если не хочешь сразу стать должником этой стаи жадных сорок, следовавшей за лесорубами, лучше запастись едой на всю наличность. Радуясь удаче, крестьянки выбежали с рынка и окружили машины. Было уже три часа пополудни, но жара все не спадала. Даже наоборот. Время от времени раздавался оглушительный грохот. Согласно древнему обычаю, так отмечали жители в страстную пятницу торжественную церковную службу. Каждые четверть часа взрослые и дети хватали кастрюлю, жестянку, банку — словом, все, что могло звенеть, греметь, стучать, и поднимали шум, от которого гул стоял в ушах. Ведь мы вспоминаем распятие Христа! Разве не сказано в писании, что в этот день гремел гром и молнии бороздили небо, что тьма была по всей стране до девятого часа, что земля сотрясалась и камни рассеклись, а завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу?.. На перекрестках мальчики взрывали смесь поташа и серы. Хлоп! Удар каблуком по двум камням, между которыми лежала эта смесь, и готово! Да здравствует страстная неделя!.. Люди ели овощи, вареных лангуст, вяленую рыбу, а некоторые за обедом даже лакомились тунцом в оливковом масле! Надо же отметить страстную пятницу! Это большой праздник!..

Высокий парень торговался с Жуаез Питу, которая никак не хотела уступить дешевле гроздь бананов. К ним подошла Клемезина Дьебальфей. Бананы, в сущности, принадлежали старухе Клемезине, она лишь на

минутку отлучилась, доверив свою торговлю Жуаез Питу. Клемезина внимательно посмотрела на парня.

— Да ведь это Кармело! Сынок Теажена Мелона! Святая Мария! Как, мальчик, неужто ты меня не узнал?..

— Мамаша Кле!.. Ну, понятно, я узнал тебя! А я-то искал, нет ли кого из наших. Как здоровье отца?.. Я еду работать! Вернусь в субботу на будущей неделе! В субботу!..

Пора было отправляться. Водитель давал оглушительные гудки. Рабочие, нещадно толкаясь, полезли в кузов грузовика.

— Кармело, малыш! Завтра праздник в Ремамбрансе. Смотри приходи! Не то святые разгневаются. Эй, Кармело, дитя мое! Не забывай своих!..

Кармело прыгнул в грузовик, уже успевший тронуться.

— Приду, если отпустят! Не беспокойся, мамаша Кле! Во всяком случае, приду, как только удастся...

Грузовик удалялся. Кармело и мамаша Кле обменялись еще несколькими словами, стараясь перекричать шум моторов. Жуаез Питу бросилась вдогонку за машиной, обхватив обеими руками гроздь бананов.

— А ну, кума, поддай жару! Быстрей! Быстрей!

Рабочие и крестьянки подбадривали новоявленную спортсменку. Жуаез бежала что есть мочи. Она приближалась. Догонит? Нет, не догонит... Как бы не так!.. Она напрягла последние силы и, сделав отчаянный рывок, догнала грузовик и протянула бананы Кармело. Гром аплодисментов и крики одобрения встретили этот рекорд.

■

Наступила страстная суббота. В затянутых черным залах святилища Ремамбрансы служба закончилась на заре молитвами, возносимыми к святым угодникам. Семьи, бывавшие здесь из поколения в поколение, рассаживались по местам, отведенным им в ограде храма, чтобы присутствовать на праздновании пасхи. Собрались все благочестивые дети старинной Ремамбрансы, они пришли в своей лучшей одежде, с запасом еды на несколько дней, пришли с неотвязной своей нищетой, но глаза их были полны надежды и солнца. Мужчины разговаривали, подперев щеку кулаком; на них были просторные блузы с тщательно заглаженными складками, голубые спереди и синие на спине, широкополые шляпы с высокой конической тульей, засученные до колен штаны и красные кожаные сандалии на босу ногу. Детвора пищала и резвилась во дворе около больших костров, на которых варилась густая похлебка. Женщины с трубками в зубах бранили детей и присматривали за своим скудным обедом — кашей, овощами без мяса и бобами под соусом. Громко звучали радостные крики, смех...

Негр силен, несмотря на недоедание, несмотря на злые болезни, несмотря на невероятную нужду, которая точит, разрушает его тело. Цветущая пасха пришла! Красавица пасха вернулась! Здравствуй, голубушка! Человек черпает силу не только в изобилии. У человека есть скрытые корни, которые уходят глубоко в землю. Взгляните на высокие финиковые пальмы в пустыне, полюбуйтесь чудесным «деревом путника», обратите внимание на прекрасные и сочные кактусы саванны!..

Те, кто давно не виделся, подходят, здороваются, поздравляют друг друга. Здравствуй, кум! Здравствуй! А как поживает сестричка? Пришла она с тобой?.. Люди все прибывают и смешиваются с толпой, уже собравшейся в обширном дворе старинного святилища. Все разговаривают очень громко, ведь крестьяне привыкли к широким просторам, к раздолью полей, к ветру, уносящему вдаль их слова.

— Слыхали? Отец Осмен разорил святилище хунгана Альтенора в Балане...

— Альтенора Тикомпера?

— Его самого...

— Так, значит, они на нас идут?

— Идут! Двинулись в прошлую субботу... Направляются в Буассоньер...

По мере того как кольцо окружения сжималось, Буа-д'Орм становился все спокойнее, все тверже. Вера его была непоколебима, как гранитная скала, и сила духа старого жреца невольно передавалась всем окружающим. Вести о стрельбе, которая произошла в дельмасской церкви, дошли и до него. То там, то тут католические церкви подвергались разгрому, гласила молва. Поговаривали даже, что само правительство причастно к творившимся безобразиям. Когда первое недоумение рассеялось, архиепископ приказал католической печати резко выступить против предполагаемых виновников всего случившегося. Однако он не решился назвать имена высокопоставленных особ, на которых намекал. В статьях говорилось только, что зло захвачено в самом начале и что фанатичное бретонское духовенство будет призвано к порядку.

В четырех-пяти шагах от перистиля хунфора главный жрец наблюдал за Аристилем Дессеном, церемониймейстером и декоратором святилища, который при помощи нескольких верующих украшал столбы храма пальмовыми листьями. За минуту до этого вспыхнула ссора между Аристилем и Мондестеном Плювиозом, стражем священного барабана Ассотор. Они никак не могли поделить свои права и обязанности. Дело чуть не дошло до драки. Но тут к ним неторопливо подошел Буа-д'Орм и остановился, подперев щеку рукой.

— Довольно драть глотку, Аристиль! В такой день, как сегодня, нельзя браниться,— тихо сказал он.

Забияки умолкли. Аристиль ушел, понурившись: ведь что ни говори, а за хижину, где хранится барабан Ассотор, ответственность несет Мондестен Плювиоз.

Время шло. Солнце высоко поднялось в небе. Вдруг раздался звук трубы. Все сбежались. Оказалось, пришел Жозеф Буден со своим помощником Канробером Гийомом. Канробер отложил трубу, а Жозеф вынул из кармана какую-то бумагу и стал читать ее вслух.

«Уведомление

Начальник области доводит до всеобщего сведения, что во исполнение плана Гаитяно-Американского сельскохозяйственного Общества по посадкам каучуконосных растений все плантаторы, помещики, арендаторы государственных земель, фермеры, крестьяне-испольщики и прочие земледельцы данной области приглашаются в среду 29 числа сего месяца, в шесть часов вечера, на церковную площадь города Фон-Паризьен, где созывается большое собрание. Будут сделаны важные сообщения. После собрания состоится киносеанс, устраиваемый ГАСХО для крестьян. Никто не может отговариваться незнанием постановлений правительства: заботясь о благе страны, оно решило безотлагательно приступить к насаждению каучуконосов. Все жители области, независимо от того, присутствовали они или не присутствовали на вышеуказанном собрании, обязаны неукоснительно подчиниться приказам властей и ГАСХО.

Составлено в канцелярии начальника области.

Подпись: *лейтенант Эдгар Осмен*».

Народ окружил Жозефа Будена, посыпались вопросы. Он кратко разъяснил, в чем дело, вызывающе посматривая на безликую массу крестьян. Ну и дурак! Ведь люди стояли как громом пораженные. Глуховатый старик Суссу Сент-Альбер дотронулся до плеча жандарма:

— В чем дело, сержант Буден?.. Я не понял...

— А в том дело, старина, что, если у кого лишай на ноге, или кто болен лихоманкой, чахоткой, или разбит параличом, тем хуже для него:

он должен быть на месте в назначенный день! Вот что правительство поручило мне сказать!.. И я, сержант Буден, даю слово: молодцы со всей округи явятся под моей командой, чтобы узнать, какие земли белые намерены отобрать для своих плантаций... И никаких разговоров! Да здравствует президент Леско!.. Властям известны все смутьяны. Я наблюдаю за ними! Зарубите себе это на носу!..

— Все может случиться, Жозеф Буден, решительно все... Если только господь дозволит...

Так сказал Буа-д'Орм, выступив вперед. Жозеф Буден сразу сник и убрался восвояси. Во дворе хунфора поднялся такой галдеж, словно стая птиц обрушилась на просяное поле. Ну и беда стряслась!..

■

Гонаибо пробирался ползком по траве в саванне. Никто не заметил его. Трава была мокрая от росы, но Гонаибо не обращал на это никакого внимания и молча полз все дальше и дальше. Вскоре он очутился в нескольких шагах от бараков. Все шесть сараев были построены из толстых бревен и крыты гофрированным железом. Гонаибо, крадучись, обошел их. Нигде ни души. Он долго присматривался, размышлял. Неподалеку красовался большой совершенно новый трактор, и эта выкрашенная в красный цвет махина четко вырисовывалась на фоне бледного утреннего неба. Здесь стояли также три грузовика, пять пикапов, один джип и два самоходных экскаватора. Американцы, наверно, припрятали в сараях множество всяких вещей, но главная угроза таилась в машинах — ведь это с их помощью пришельцы собирались захватить саванну. Итак, прежде всего следует уничтожить машины. Гонаибо заметил кирку, лежавшую в нескольких шагах на земле. Ни минуты не раздумывая, он подбежал и взял ее.

Мальчик решительно направился к одному из сараев. Просунув острие кирки в щель между косяком и дверью, он изо всех сил налег на рукоятку. Запор отскочил. Гонаибо вошел в сарай. Он не ошибся. Здесь в самом деле стояли многочисленные баки и канистры с бензином, валялись всякие орудия и инструменты. Он открыл один бак, понюхал и облил стены и пол бензином. Затем продырявил ударами кирки несколько других баков, схватил две канистры, подобрал с пола кирку и вышел.

Очутившись во дворе, он направился к трактору, влез наверх, осмотрел его со всех сторон и соскочил на землю. Потом обошел машину кругом, стараясь отыскать мотор. Заметив наконец крючки в передней части трактора, он поднял их и откинул капот: показался мотор. Тогда Гонаибо стал яростно колотить по нему киркой. Искалечив мотор, он вылил в него все содержимое канистры. Шутя расправился он и с остальными машинами.

Вернувшись в барак, он вновь запасся бензином и обильно полил соседние строения, затем чиркнул спичкой. Вспыхнул огонь. Гонаибо поджег также поврежденные тракторы и другие машины и со всех ног бросился прочь.

■

В этот день Эдгар встал рано утром и долго ходил мерным шагом по двору. Леони хлопотала по хозяйству, бегала туда-сюда, бранила горничную Сефизу и кухарку Мирасию. Карл уже распростился с городом. Причиной отъезда было недомогание. Он захворал после ночной попойки в компании со своими приятелями-забулдыгами. Кроме того, ему осточертел Фон-Паризьен, глухая дыра, где все его раздражало —

люди, атмосфера, нескончаемые сплетни и, главное, то, что делали здесь Диожен и Эдгар. Он пережил серьезный духовный кризис. Ведь раз он находится здесь, из этого можно заключить (справедливо или нет — дело другое), что он разделяет убеждения братьев.

Для чего ему жить в этом городишке, раздираемом ненавистью и безумием? Стоит пробыть здесь еще немного, и он потеряет свое достоинство. Он уже становится сообщником братьев... В самом деле, разве он не предупредил бы Эдгара или Диожена о любом заговоре, направленном против них? Разве он не жил у Эдгара? Не ел его хлеб, хотя и считал, что хлеб достается брату ценою подлости? С Карлом происходила странная перемена — незаметное, но вполне реальное превращение. Теперь он охотно сидел дома, чувствуя усталость, скуку и отвращение к бесшабашной богеме, к своей никчемной жизни и безделью. У него возникли новые желания, в которых, быть может, он сам себе не признавался, появились мимолетные, но вполне реальные прихоти. Он пристрастился к хорошему столу, привык обедать и ужинать в определенный час, запивать кушанья хорошим вином и изысканными коньяками и ликерами, для чего достаточно было протянуть руку или позвать слугу. В иные минуты Карл ловил себя на мысли о том, что, на месте братьев, он для успеха их планов поступил бы так-то и так-то. Почему он остановился на полпути между продажностью, аморальностью, с одной стороны, и чувственными утехами — с другой? Что хуже, разрушать святилища, отнимать земли у крестьян или разбивать сердца и надежды молоденьких девчонок?.. В нем нарастало желание зажить сытой и спокойной жизнью! Но только, в отличие от братьев, он не решался признаться себе в этом. Итак, сославшись на усталость, Карл уехал в Сен-Марк, к своей престарелой крестной матери Маргарите Куазон, которая обещала поухаживать за ним и полечить от всех недугов.

Эдгар по-прежнему мерил шагами двор. Час решительной схватки приближался. Дорог был каждый день, следовало все хорошенько обдумать, чтобы предотвратить множество неприятностей. Карманы его набиты деньгами: ему щедро заплатили за людские слезы, теперь надо доказать свое усердие... Среди местных тузов поднялось волнение, но не в этом заключалась опасность. Как поведет себя крестьянская масса — вот в чем вопрос.

К Эдгару подошел какой-то мальчик. Он принес на маленьком подносе, покрытом салфеткой, тяжелую виноградную кисть.

— От мамзель Мариасоль для господина лейтенанта,— сказал он.

Эдгар взял виноград и отослал мальчика. Да, труднее всего справиться с крестьянами. Только бы к ним не примкнули горожане... Эдгар тяжелой поступью ходил взад и вперед, а за ним вперевалку поспешал целый выводок утят: Эдгар крошил им хлеб, оставшийся от завтрака... Ну и прожорливые птицы! Стоит им увидеть что-нибудь съестное в руках, и они ни за что не отстанут! Стенли Кильби говорил, что мистер Феннел собирается приехать на днях с ревизией. Надо завоевать расположение представителя Компании.

Утки продолжали ковылять за Эдгаром. Весь его хлеб вышел. А забавно смотреть, с какой жадностью птицы вытягивают шеи и раскрывают клювы... Все живые существа одинаковы!.. Где это Мариасоль достала такую огромную кисть!.. Эдгар отщипнул несколько виноградин... В последнее время он пренебрегал Мариасоль. Эта виноградная кисть служит, вероятно, шагом к примирению, отчаянным призывом... Он был жесток с бедняжкой Мариасоль, а ведь она жила только им, радовалась его радостям... Он бросил уткам несколько виноградин... Какие чувства, в сущности, питал он к Мариасоль? Любовь, снисходительную жалость, влечение?.. Птицы ловко подхватывали

виноградины, вытягивая зобастые шеи и широко разевая плоские клювы. Они требовали еще и еще винограда, окружали Эдгара, выхватывали у него ягоды из рук... Как обернутся его отношения с Мариасоль, бросит он ее? Останется с ней надолго? Достаточно с нее и того, что есть. Впрочем, спасибо за виноград — хорошее угощение для уток! Верно, Мариасоль?

Вдруг его внимание привлекла одна утка. Она упала набок и зарылась клювом в землю, судорожно дергая лапами. Потом то же самое случилось со второй, с третьей уткой...

— Мама!..

Леони прибежала. Эдгар указал рукой на уток.

— Я бросил им несколько ягод винограда, который мне только что прислали...

— А сам ты ел его?..

— Нет...

— Кто прислал виноград?

— Принесли от Мариасоль. Если это верно, я ничего не понимаю...

Леони вырвала гроздь из рук сына, понюхала ее и, отщипнув несколько виноградин, бросила их уткам. Вскоре еще две птицы рухнули на землю в предсмертных судорогах.

— Идем, скорее, мальчик! Идем! Тебе надо выпить соленой воды... Ты счастливо отделался!

Она насильно увела сына в кухню и дала ему выпить полную кружку соленой воды.

— Это полезно при неожиданном испуге,— пояснила она. У ворот с громким скрежетом тормозов остановился автомобиль, мчавшийся с бешеной скоростью. Из него выпрыгнул обезумевший Стенли Кильби. Горят бараки, недавно построенные на краю саванны. По всей вероятности, поджог. Необходимо присутствие лейтенанта. Эдгар опрометью бросился в дом — надеть мундир и взять оружие.

Послышались взрывы. Это взрывались оставшиеся баки горючего. Леони обняла Эдгара, но он нахмурил брови, резко отстранил мать и поспешил вслед за Стенли Кильби.

■

Отслужив пасхальную обедню и объехав все часовни своего прихода, преподобный Диожен Осмен вернулся домой, хотя сначала и не собирался этого делать. Он вошел в спальню и в порыве безграничного отчаяния рухнул одетый на кровать. Он не только отказался от похода в это воскресенье против новых хунфоров, но и готов был все бросить. Сегодня за поздней обедней, когда он поворачивался к прихожанам, возглашая Dominus Vobiscum, сердце его сжималось при виде почти пустой церкви. Сколько он ни убеждал себя, что большинство верующих присутствовало на ранней обедне, было непонятно, почему в такой праздник они предпочли раннюю обедню торжественной службе с певчими. Прихожане должны были бы прийти, хотя бы из уважения к своему пастырю! Серьезное недовольство назревало среди них. Не больше двадцати детей родители привели сегодня к причастию; во время богослужения их личики с любопытством высовывались из-за балюстрады, ограждавшей хоры, а глаза неустанно наблюдали за священником. Он творил лишь волю пославшего его, но все же взял на себя ответственность за кампанию отречения. Почему все расползалось по швам? Почему его паства разбрелась, вместо того чтобы объединиться вокруг начатого им дела? Как знать, не поддался ли он пагубной, чрезмерной

ненависти? Он не мог забыть гневное лицо хунгана Сираме, привязанного к столбу и предававшего пришельцев проклятию, между тем как навозная жижа стекала по его лбу. Он не мог отогнать от себя воспоминания о разгромленных хунфорах. А насилия, совершенные им над совестью людей? Кто сеет ветер, пожнет бурю! Жатва была не за горами.

Хуже всего, что теперь уста Диожена лишь с трудом произносили слова молитв. Даже в тот час, когда священник должен читать молитвенник, Диожен подолгу оставался как бы в забытьи, в состоянии прострации, духовного паралича, разум его бездействовал, а перед глазами проносились фантастические картины кампании отречения, которую он проводил с таким неистовством. Порой же его мысли устремлялись к какой-то пучине, сверкавшей переливчатыми красками, к бездне, мерзкой и влекущей... Ах, предоставить бы все своему течению и катиться, катиться вниз к этой пучине, погрузиться в нее вместе с кишащими там чудовищами, пить пьянящий напиток забвения, перестать существовать в собственных глазах, кануть в небытие, избежать ловушек жизни, избежать и смерти и вечности.

Диожен встал, подошел к умывальнику и ополоснул лицо водой. Как видно, он стареет. Где ты, детство, пора беззаботности, смеха и сразу высыхающих слез? Почему рай праведников не заключается в вечном обновлении сердца и тела в награду за добрые дела? Тогда достаточно было бы посмотреться в зеркало, чтобы узнать, хороши ли твои каждодневные помыслы и деяния...

Он прислонился лбом к решетчатым ставням. Кинув взгляд на улицу, он увидел окно Резии Сонсон. Окно было открыто, Резия лежала на кровати в нижней юбке, едва прикрывавшей бедра, и в лифчике, из которого выскочила грудь. Резия, верно, ждала одного из своих любовников, а погода стояла жаркая. Диожен отпрянул от окна и сел за рабочий столик некрашеного дерева. Он вытер лоб, чтобы отогнать соблазнительное видение... Сегодня нечистый жестоко искушал его.

Диожен взял листок бумаги и принялся писать. Он скомкал листок и снова встал. Проходя мимо окна, он вздрогнул и быстро отступил назад. Резия стояла совершенно нагая и причесывалась. Время от времени она брала кусок картона и обмахивала им плечи, шею и грудь с лиловыми, как цветы колокольчиков, сосками. Казалось, бесстыдница нарочно делает это! Диожен выскочил из комнаты и кубарем скатился с лестницы.

— Я скоро вернусь! Пройдусь немного,— крикнул он мимоходом Амелии Лестаж.

— Что это вы, отец Диожен? Сейчас дождь пойдет!

Но Диожен уже был на улице. Он шел быстрыми шагами, и, видя его, люди недоумевали:

— Куда это так торопится отец Диожен... Ведь скоро пора будет служить вечерню, да и дождь вот-вот пойдет... В городе как будто никто не умирает. Должно быть, он гонится за каким-нибудь колдуном!..

Диожен миновал последние дома городишка и поднялся по тропе на зеленый холм. Дойдя до вершины, он сел на землю и принялся теребить пучок травы. У подножия холма волновалась густая листва деревьев, дальше виднелись крыши домов и церковная колокольня. Вдали можно было разглядеть Фон-Паризьен, Солейе, озера... Зашелестели крупные капли дождя. Диожен не двигался, словно окаменел среди чертополоха и пырея, вода струилась по его лицу и по сутане... Он все не шевелился. Ни первый, ни второй удар колокола, призывавшего к вечерне, не привели его в себя. Лишь услышав третий удар, он встрепенулся и бросился бежать по направлению к церкви.

■

На заре того же пасхального воскресенья Жозеф Буден остановил коня на опушке небольшого леса. Он спрыгнул на землю и, ведя лошадь под уздцы, углубился в него, раздвигая ветки, чтобы они не хлестали по лицу. Лес становился все реже. Вдруг перед ним выросло среди кустов ветхое строение — заброшенный винокуренный завод. Всадник привязал лошадь к дереву и вошел в дом.

Сквозь старую черепичную крышу с прогнившими балками проглядывало светлое утреннее небо. Жозеф сел на медный котел для варки сиропа, огромный зеленоватый котел, валявшийся на земле вверх дном. Говорят, будто в столице покупают металлический лом для производства оружия. Если бы покупатели догадались заглянуть в озерный край, они нажили бы немалые деньги, думал Жозеф Буден. Лому тут хоть отбавляй! С обветшалой крыши сорвалась черепица и упала к ногам окружного начальника. Он взглянул вверх и немного отодвинулся.

В этих развалинах наверняка водятся змеи. Земля была покрыта буйно разросшимися сорными травами. На всякий случай Жозеф вынул из ножен мачете и положил к себе на колени. Данже Доссу запаздывал. Почему он вызвал Жозефа именно в это утро, когда в святилище празднуют пасху? Вспомнив, что ревнивые и хитрые лоасы нередко играют злые шутки со своими непокорными чадами, Жозеф сперва не хотел идти на свидание к колдуну, но подчинился его требованию: кто знает, быть может, у Данже Доссу есть какое-нибудь спешное дело? Время текло медленно. Жозеф вышел наружу и, подойдя к лошади, взял из мешка несколько сухарей и бананов. Затем вернулся в разрушенное здание. Тут он заметил, что сквозь отверстие в крыше протянулась ветка ягодного лавра. Плоды на нем как будто созрели. Жозеф поднял камень и прицелился. Хлоп! Удар пришелся как раз по черенку, плод оказался замечательно вкусным, спелым и мучнистым. Наш герой принялся есть— откусывал кусок сухаря, затем кусок банана, опять брался за сухарь и заедал его лакомым плодом лавра.

■

Утренний свет проник в перистиль храма, а пыл танцоров все не ослабевал. Бледный полумесяц еще висел в голубом небе. Аристиль вошел во двор святилища вслед за молодым быком, которого он держал за веревку. Церемониймейстер Ремамбрансы, которого бык буквально тащил за собой, ударял по земле бичом, пугая животное и направляя его. Сбежались люди, но из предосторожности отошли в сторонку, желая в безопасности смотреть на предстоящее зрелище.

Бык был великолепен, из его ноздрей шел пар, он трусил мелкой рысцой, склонив голову набок,— его тянула за рога веревка, находившаяся в железных руках Аристиля, который, видимо, действовал по точно выработанному плану. Бык остановился и бил оземь черным блестящим копытом, обводя ярко одетую толпу налитыми кровью глазами. Красавец был белой масти с поразительно сильными стройными ногами, с большим черным пятном на спине, похожим на чепрак, и с черной отметиной между короткими острыми рогами. Он словно плясал кадриль, сопротивляясь ловким маневрам Аристиля, который то натягивал, то отпускал веревку. Силач Аристиль все же добился своего. Он привязал конец веревки к толстому камедному дереву, стоявшему посреди двора, и, хлопая бичом, заставил быка кружить вокруг дерева. Когда рогатая голова уперлась в ствол, Аристиль быстро подошел, держа наготове еще одну веревку. Левой рукой он осторожно обхватил быка за шею и с такой силой сдавил ее, что рогатая голова застыла

в неподвижности; тогда правой рукой Аристиль затянул петлю вокруг огромной морды. Наконец он стреножил быка и отошел, весь в поту.

Тут хор громко запел духовный гимн, звучавший, как грегорианское песнопение, гимн величественный и светлый:

Божье созданье, о!
Божье созданье, о!
Яростный бык приветствует нас!

Буа-д'Орм выступил вперед с кувшином в левой руке и с декой в правой, его белые одежды сверкали в прозрачном свете утра. За главным жрецом шла Клемезина Дьебальфей, неся длинный железный трезубец и две связанные веревкой корзины. Буа-д'Орм побрызгал водой вокруг и затем смочил голову быка, который, несмотря на путы, бил землю копытом. Взгляд, которым обменялись жертвенное животное и главный жрец, был исполнен неизъяснимой кротости. Бык нагнул голову и замычал. Взяв тогда корзины из рук старухи Дьебальфей, жрец установил их на спине быка. В корзины поставили несколько бутылок оршада, рома, кока-колы и тафии, настоенной на каких-то листьях. Тогда генерал Мирасен, в свою очередь, направился к быку...

Старый воин шел горделивой походкой, выпятив грудь. Он держался, как гладиатор на арене, у его шеи развевались концы красного платка. Он пожал руки окружающим, на лбу его залегли глубокие складки. Со вчерашнего дня генерал Мирасен пребывал в трансе: в него «вселился» Собо Наки Дахоме — страшный бог грозы и бури, на камне которого стояло святилище. Вдруг он подпрыгнул и, вскочив на спину быка, выхватил трезубец из рук Клемезины Дьебальфей. Почувствовав на себе седока, бык рассвирепел, жилы на его шее вздулись и, гневно мотнув головой, он разорвал веревку, которой был привязан к дереву. Собо Наки в образе генерала Мирасена уцепился за шею чудовища и схватил конец веревки, обмотанной вокруг его ног. Раздался многоголосый крик. Встав на дыбы, пасхальный бык глухо замычал. Толпа отшатнулась.

— Дурной знак! — говорили люди.

Генерал Мирасен был, конечно, еще крепкий, бодрый старик, но тут он совершенно преобразился. Он казался богом войны, не ведающим ни страха, ни слабости,— такая ярость обуяла этого вспыльчивого человека. Собрав все силы, он пытался перехватить веревку левой рукой, чтобы взять трезубец в правую руку и нанести быку смертельный удар. Веревка на ногах разгневанного быка понемногу перетиралась. Капли пота выступили на лбу генерала Мирасена, он что-то исступленно бормотал сквозь зубы, выпрямившись на спине зверя. Но обезумевший бык отказывался признать власть Собо Наки Дахоме.

— Нет!.. Так не полагается! Господь не допустит этого! — восклицала Анж Дезамо.

Она безостановочно плясала со вчерашнего дня, оказавшись во власти Мамбо Нанан — королевы небес, богини всех храбрецов и матери лоасов-воинов, единственной богини, которая наряду с Собо Наки имела власть над пасхальным быком. Вне себя от бешенства, бык метался по двору. Мамбо Нанан придавала лицу Анж Дезамо выражение неукротимой энергии. Ей вытерли лицо полотенцем и дали выпить несколько глотков оршада. Испустив хриплый крик, Мамбо Нанан прыгнула на круп быка. Генерал Мирасен крепко держался за веревку и что-то кричал, чудом сохраняя равновесие. Бесноватая взяла у него трезубец. Генерал ухватился за рога и, собрав все силы, вздернул голову быка к небу. Шейные позвонки хрустнули. Бык сделал отчаянный скачок. Мамбо Нанан сидела на нем верхом, прижав ноги к брюху, и безжа-

лостно ударяла трезубцем по горлу животного. Брызги крови падали на толпу, которая запела вместе с хором:

Божье созданье, о!
Божье созданье, о!
Яростный бык приветствует нас!

Люди кружили вокруг быка, который продолжал прыгать с обоими одержимыми всадниками на спине. Мамбо Нанан наносила ему удар за ударом. Алая кровь хлестала из шеи быка и фонтаном била к небу, разлетаясь во все стороны. Посвященные, опьянев от радости, затянули гимн смерти. Животное упало на колени. Тогда окружающие стали подходить один за другим к пасхальному быку, который умирал с высоко поднятой головой. Они погружали руки в огромную рваную рану на его шее, затем воздевали их к небу.

Солнце уже поднялось над косматыми вершинами деревьев. В одеждах, окропленных кровью, обезумевшие люди качались из стороны в сторону под быструю дробь барабана. Вдруг Агуе Арруо, Атшассу, по прозвищу Уж, Локо Азагу, по прозвищу Светлый, Белый Щеголь, секретарь То-Данги Дорво, Азака Меде, мамаша Се и множество лоасов-охотников устремились к глубокому оросительному каналу, проложенному неподалеку, и бросились в него одетыми.

Когда промокшие до нитки купальщики вышли на берег и двинулись обратно в сопровождении толпы крестьян и горожан, появился бегущий со всех ног окружной начальник Жозеф Буден. Он был в разорванной одежде, с непокрытой головой, еле переводил дух и казался помешанным. Его глаза дико блуждали, но по всему было видно, что это не просто одержимый. Он остановился во дворе святилища, возле камедного дерева, протянувшего вокруг свои огромные корни, упал ничком на землю и принялся водить лбом по каменистой почве. Затем он изо всех сил уперся затылком о толстый корень. Он делал нечеловеческие усилия. Жилы на его шее вздулись, дыхание со свистом вырывалось из груди. Корень медленно поднимался, и по мере того, как он выходил из земли, Буден подсовывал под него голову. Когда нижняя челюсть и шея несчастного оказались как бы в капкане, он замер с открытым ртом. Налившиеся кровью глаза вылезали из орбит, изо рта текла розоватая слюна и капала с высунутого языка. Он дышал все так же громко. Ему смочили лицо водой. Подошел Буа-д'Орм: главного жреца позвали, чтобы он оказал помощь человеку, которого боги подвергли такому страшному наказанию.

— Он не умрет,— заявил Буа-д'Орм,— но кара небес ужасна... Я бессилен против воли лоасов, ведь я всего-навсего их служитель. Но я помолюсь. Молитесь и вы все за нашего брата Жозефа Будена!.. Просите невидимых, чтобы они позволили мне освободить его! Молитесь! Возносите молитвы из глубины сердца!..

Каждый год разыгрывались подобные сцены, во время которых люди, оскорбившие богов своих предков, жестоко истязали себя. По толпе снова пробежал ропот: Пресильен Пьер, отсутствие которого в храме было замечено еще вчера, в свою очередь бегом пересек двор. Он разорвал на себе одежду, бросился полуголый в покрытый шипами куст на берегу канала и стал судорожно кататься по колючкам. Медленным твердым шагом Буа-д'Орм вернулся в святилище вместе с теми, кто был «избран богами»,— с людьми, обрызганными кровью пасхального быка, но еще не получившими посвящения. Им надлежало сосредоточиться и пробыть до посвящения неделю взаперти. Во время своей мистической беседы с лоасами они услышат в сердце своем голос неба

и познают неизреченные тайны. Возможно даже, что лоасы предстанут перед ними в какой-нибудь зримой оболочке. Они могут увидеть, например, священную змею и других божественных животных.

XIV

Какой-то путник шел вразвалку, направляясь к озеру. Он с наслаждением вдыхал запах сена, стоявший над саванной, прислушивался к птичьему гомону и окидывал восхищенным взглядом травянистую степь, словно впервые открывал ее. Это был высокий рыжеватый негр с подвижным, суровым лицом, как видно, человек простой, но бывалый. Он опустился на камень у самой воды и довольно долго просидел на одном месте. Он рисовал пальцем круги по зыбкой поверхности озера, с каким-то наивным удовольствием смотрел на свое отражение и, как говорится в песне, переглядывался с русалками.

Распластав крылья, королевский фламинго — розовая пушинка на лазурном фоне неба — парит высоко над озером, где пробуждается жизнь. Пернатое племя занимается утренним туалетом в камышах, плещется или чистит клювом перышки птенцов. А маленькие ящерицы уже скользят по земле, отыскивая укромный уголок, чтобы принять солнечную ванну.

Человек, сидевший на берегу, принялся бросать камни в озеро, да так, что они несколько раз подпрыгивали, скользя по поверхности воды. Гонаибо исподтишка наблюдал за ним. Незнакомец расстегнул ворот рубахи из сурового полотна, чтобы грудь его обвевал утренний ветерок, который резвился, прыгал и шелестел в кустах. Ветер чуть было не унес шляпу путника, лежавшую на земле, соломенную широкополую шляпу, немного обтрепанную по краям. Не тут-то было! Человек как раз вовремя придержал ее ногой, иначе она улетела бы. Гонаибо, сын озерного края, подошел ближе, чтобы разглядеть высокого парня, который вел себя здесь как хозяин. Всего несколько метров разделяло их. Человек с тревогой обернулся, затем, видимо, успокоившись, продолжал игру.

Камешки, пущенные им, с легким свистом пролетали по воздуху, один, два, а то и три раза касались поверхности озера и, бултыхнувшись, падали в воду. В прибрежных зарослях поднялся переполох. Несколько птиц испуганно улетели прочь. Но мало-помалу наступила тишина. Незнакомец, по-видимому, вовсе не интересовался жившими здесь пернатыми и иными существами, он и бровью не повел, когда из-под ног Гонаибо скатился камень. Казалось, ему хочется одного — побить собственный рекорд: он старался с размаху бросить плоскую гальку так, чтобы она сделала четыре или пять рикошетов. Он легко подпрыгивал на левой ноге, отставив правую, и — бац! — бросал свой метательный снаряд. Вдруг человек подскочил к кусту, в котором притаился Гонаибо. Тот отпрянул. Слишком поздно! Железная рука ухватила его за лодыжку и рывком подтянула к себе.

— Кого выслеживаешь? — спросил человек.

Гонаибо отчаянно отбивался.

— За кем шпионишь?.. Ну-ка, отвечай!..

Гонаибо, разозлившись, все сильнее дрыгал ногами, стараясь вырваться. Словно тисками, незнакомец сжал его левую руку.

— А ты все-таки скажешь, зачем сюда пожаловал!

Глаза Гонаибо метали молнии. Человек расхохотался и усадил его подле себя.

— Кто ты?..

Молчание. Юноша совсем не походил на местных крестьян. У пришельца, должно быть, разгорелось любопытство.

— Ну, скажи, кто ты, и я отпущу тебя!..

Дрожа от гнева, Гонаибо придумывал, как бы убежать. Впервые он чувствовал, что кто-то сильнее его. Человек разжал руки и сделал вид, будто хочет освободить пленника. Мальчик только и ждал этого. Он прыгнул в сторону, но сильная мозолистая рука снова легла на его плечо. Гонаибо впился зубами в эту руку. Сморщившись от боли, незнакомец разжал челюсти мальчика другой рукой. Из ранки сочилась кровь.

— Ах, вот как ты себя ведешь!.. Ну, погоди! Не воображай, что ты от меня удерешь!

— Пусти,— прошептал Гонаибо.

Лицо незнакомца расплылось в улыбке.

— Вот так-то лучше, а то я уж думал, что у тебя язык кошка съела!.. Послушай, я лесоруб, работаю вон там, на горе, в Сосновом бору... Я здешний, только долго не был на родине, теперь приехал повидать родных да старых друзей!.. А сюда пришел по старой памяти: захотелось взглянуть на те места, где играл мальчишкой... Скоро саванну заберут белые люди, «мериканы»,— надо, думаю, побывать здесь, ведь скоро край и не узнаешь... Я слышал о мальчике, который живет где-то неподалеку совсем один. Так это ты? Прошу прощения, рука у меня действительно тяжелая, но я не люблю, когда за мной подглядывают. Скажи, как тебя зовут? Знаешь, ты больно кусаешься, негодник!

Он отпустил Гонаибо. Тот отбежал на несколько шагов и остановился.

— Люблю это тихое озеро, люблю смотреть, как оно по-особенному рядится в разные часы дня,— продолжал пришелец.— Родных мест человек не может забыть... Сейчас тебе этого не понять... Но позже ты вспомнишь о нашей встрече, обо всем вспомнишь... Когда вернешься в эти края после долгой отлучки... Сейчас тут все такое же, каким и прежде было. Но что станется через несколько месяцев с этой степью, с озером, птицами, тростником — со всем, что я любил?..

Он махнул рукой и, грустно понурившись, снова сел. Затем подобрал несколько камешков и возобновил свою игру. Зеленовато-синяя вода трепетала под лаской легкого ветерка. Маленький кайман плыл в нескольких метрах от берега и казался таким спокойным, беззаботным, словно совершал утреннюю прогулку. Немного дальше голубой ибис, оснащенный парой белых крыльев с черной каймой, вдруг камнем упал с неба, затем, выровнявшись, описал над озером почти правильную гиперболу, держа в клюве пойманную рыбу. Крики целой эскадрильи каосов прорезали свежий утренний воздух. Водяные лилии развернули свои белые венчики, словно раскрыли, проснувшись, глаза, а стрекоза, уцепившись за былинку, раскачивалась, как на качелях, над голубыми лотосами, над желтыми, лиловыми и белыми кувшинками и прочими растениями.

Гонаибо подошел к пришельцу.

— Скажи, ты не Кармело, сын Теажена Мелона?

Человек вздрогнул.

— Как ты узнал меня? — спросил он, с любопытством вглядываясь в лицо мальчика.

Тот улыбнулся и сел в нескольких шагах от Кармело. У их ног, окаймляя заросли тростника, пестрели цветы розмарина, кавалерника, чернобыльника, нарциссы, аквилегии, мальвы, скабиозы.

— Ты говоришь, что белые заберут себе все? — спросил Гонаибо.— Ты уверен в этом?.. Что бы мы ни делали?..

Кармело кивнул головой и, подвинувшись к своему новому знакомому, обнял его за плечи — мальчик нехотя подчинился.

— Вот видишь там, вдали, стоит высокий златоплодник? — спросил Кармело.— Ну так слушай...

Длинной вереницей тянулись посвященные, держа в руке знак своего достоинства, и выходили из двора храма. Среди густой лесной поросли вилась узкая тропинка, окруженная байягондами. Толпа двигалась в полном молчании вслед за главным жрецом. Позади Буа-д'Орма несли на больших деревянных подносах различные яства, фрукты, напитки и цветы, предназначенные в дар лоасам. За поворотом тропинки возникла, словно сказочное видение, роща мапу — огромных могучих деревьев, горделивые вершины которых тянутся к небу. Посвященные разбрелись по опушке. Один лишь главный жрец направился к лабиринту гигантских корней, возвышавшихся над поверхностью земли. Иные корни поднимались почти на метр и, переплетаясь, создавали неправильной формы ячейки — «покои» лоасов. Некоторые из этих покоев имели форму треугольника, другие — ромба, третьи — неправильного многоугольника, а иные ровно ничего не напоминали. Боги вечной Африки поселились здесь в Нан-Мапу, поблизости от своих сынов, говорили члены Ремамбрансы.

Деревья тихо шелестели, маленькие зеленые ящерицы гонялись друг за другом по толстым стволам, и, когда поднимался ветер, причесывая растрепанную шевелюру лесных великанов, копьевидные листочки издавали слабый металлический звук. Казалось, идет тайный разговор между деревьями-жертвенниками и широким голубым небом. Буа-д'Орм вошел в покои Великой Айзан и стал громко молиться:

— Где вы, лоасы наших предков? Где вы?.. Я уже не слышу ваших голосов, лоасы!... Я не слышу вас! У меня нет больше сил, лоасы, я изнемогаю! Вы слишком многого требуете от меня... Дайте мне умереть!.. Я хочу умереть, лоасы!.. Зачем вы заставляете меня жить?.. Придите к нам, лоасы, придите к нам!.. Спасите детей ваших!..

Глубокое отчаяние охватило жреца. Он рухнул на колени. Слезы ручьями текли из его глаз, он дрожал всем телом. Прижавшись лбом к земле, он плакал как дитя. Долгие месяцы Буа-д'Орм жил в постоянном напряжении, держал себя в руках, чтобы появляться на людях с ясным лицом и сохранять свое непоколебимое спокойствие. Но, увы, силы человека не безграничны!.. Он не мог сдержать слез, ему необходимо было выплакаться и, облегчив душу, продолжить свое дело, дойти до конца пути. А кроме того, он не спал со страстной субботы, проводил время в посте и молитве. Он был истощен. Сейчас он долго стоял на коленях и, припав к земле, плакал, но постепенно рыдания утихли. Он забылся сном.

Задремав в такой странной позе, Буа-д'Орм увидел сон. Снилось ему, что он своей обычной спокойной походкой идет по дну глубокого моря. Его глазам открывается все разнообразие подводного растительного мира: вот стоят коралловые деревья, расстилается ковер лиловых водорослей, тихо колышутся желтые, черные, белые и розовые цветы. Стаи маленьких пестрых рыбок вьются вокруг плакучего деревца. Большущий краб вышел навстречу главному жрецу и, поклонившись, заторопился, чтобы не отстать от него. Пришли и другие — акула, медуза, спрут, скат, морская змея, морской угорь, морская черепаха и морская ласточка. Все они поклонились Буа-д'Орму и большой свитой двинулись вслед за ним. Всюду в подводных глубинах трепетала жизнь, такая же деятельная, такая же красочная, как на поверхности земли. Буа-д'Орм вдыхал опаловую воду, легко проникавшую в легкие, словно то был лесной воздух. Его окружали полурастения-полуживотные: морские звезды, заросли ракушек, изящные щупальца актиний, и он был счастлив торжественным приемом, оказанным ему дивными обитателями морской пучины. Неожиданно возникло отвратительное чудище —

не то спрут, не то рыба. Огромный пучок волос, торчавший у него на голове, зашевелился и взбаламутил море. Главный жрец и все морские животные, следовавшие за ним, были вовлечены в этот гигантский водоворот. Буа-д'Орм приблизился к чудовищу и засунул руки в его зияющие жабры. Острые плавники страшилища раздирали его тело, но он боролся, не щадя сил. Море походило теперь на лес красных и липких от крови волос. Буа-д'Орм изнемогал в этом поединке, голова у него кружилась, но он продолжал сражаться. Он уже был на краю гибели, готовился испустить дух и вдруг увидел ослепительное шествие: приближалась Божественная Рыба, возлежавшая в золотом филигранном ковчеге такой же тонкой работы, как и толедские чеканные изделия. Надо было выстоять до появления Агуэ Арройо, главного бога вод, который поразит страшного спрута. Но Буа-д'Орм уже истекал кровью. Он увидел, что Агуэ Арройо бросился вперед, затем все смешалось у него перед глазами.

За зеленой завесой листвы грянул хор, мелодия напоминала торжественные грегорианские песнопения. Старец проснулся. Он выпрямился, все еще стоя на коленях перед деревьями-жертвенниками, широко раскинул руки и встал. Песнопения звучали все громче, трогательнее, проникновеннее. Буа-д'Орм двинулся вперед и вошел в покои лоасов. Он высоко поднимал ноги, перешагивая через образованные корнями перегородки. Служители Ремамбрансы поставили на землю подносы с приношениями богам. Толпа на минуту замерла в благоговейном молчании, затем последовала за своим пастырем в жилища лоасов. Когда дети Ремамбрансы проникли в покои Атшассу Зангодо, послышались крики, и множество рук поднялось, указывая на вершину дерева. Люди уверяли потом, что они узрели огромную красную змею, скользившую по гигантскому дереву-жертвеннику. Видение это промелькнуло с быстротой молнии...

■

Диожен Осмен пустил своего серого мула крупной рысью. За последние дни, торопясь покончить с хунфорами, священник брал с собой лишь небольшую охрану: причетника, мальчика-певчего, нескольких прихожан и трех-четырех жандармов. Впрочем, одно его появление обращало в бегство большинство папалоа. Отец Диожен не отдыхал уже трое суток. Кампания должна непременно закончиться в воскресенье на Фоминой неделе. Было около половины двенадцатого. Он никого не нашел в хунфоре Раделери. Все указывало на поспешное бегство служителей святилища. Диожен едва отыскал там несколько старых сосудов и глиняных блюд для марассов*. Повсюду царил страшный беспорядок. В самом храме было пусто, голо. На стене, возле жертвенника еще сохранилась фреска, на ней был изображен бог-воитель в парадном одеянии, с саблей наголо, среди роскошной природы. Роспись, состоявшая из больших остроугольных плоскостей, была выполнена приемом резкой светотени, краски отличались чистыми, теплыми тонами, в них преобладали охра, кармин, густая зелень и переливчатый синий цвет; местами сияла молочная белизна, словно излучая таинственный свет. Диожен Осмен приказал разрыть землю под жертвенником, и там обнаружили большой священный камень. По своему обыкновению, участники крестового похода сожгли хунфор, но не тронули окружавших его хижин.

Затем маленький эскадрон во главе со священником поскакал дальше. Диожен надеялся приехать в Минге еще до полудня и, совершив свое разрушительное дело, к обеду вернуться домой. Проникая сквозь сплетение ветвей, нависших над дорогой, нестерпимо палило солнце. За

* Марассы — дети-близнецы, в честь которых совершаются особые обряды.

последние дни причетник Бардиналь высказывал недовольство даже в присутствии священника. Он простудился в этих экспедициях, сильно кашлял и в тот день с большой неохотой последовал за отцом Осменом, не желавшим слушать его благоразумных советов. Бардиналь был взволнован, и его беспокойство росло с каждым днем. Все снадобья, которые он перепробовал, не помогли ему, и он опасался, что зловредный кашель вызван некими таинственными причинами.

Всадники доехали до места, где плотный зеленый навес не пропускал палящих лучей. Удушливая жара сменилась чудесной прохладой. Вдруг на повороте мул преподобного отца Осмена остановился как вкопанный.

— Аго! — крикнул Бардиналь

Диожен чуть было не перелетел через голову мула и спасся лишь тем, что уцепился за его гриву. Дорогу перегородила большая лужа застоявшейся воды. Увидев в ней свое отражение, мул испугался. Священник вновь сел в седло и взмахнул хлыстом. Но мул встал на дыбы. Бардиналь и другие спутники нагнали Диожена.

— Пожалуй, лучше вернуться домой, отец Осмен... Не годится ездить по этим местам после полудня... Все так говорят.

Священник свирепо взглянул на трусливого причетника, и тот прикусил язык. Затем отец Осмен ласково потрепал мула по холке, успокоил его и, слегка ударив хлыстом, пришпорил. Мул вздрогнул и перескочил через лужу. Остальные всадники последовали за Диоженом. Едва они миновали лужу, как заухала сова. Услышав среди бела дня крик ночной птицы, маленький отряд встревожился. Но Диожен все так же невозмутимо скакал по направлению к Минге. Спутники ехали за ним в глубокой задумчивости.

В деревушке, состоявшей из десятка хижин с пирамидальными крышами, они не встретили ни души. Не видно было даже любопытных и печальных крестьянских ребятишек, которые бегают полуголые в коротеньких малиновых рубашонках или в пестрых, как у клоунов, платьицах, сшитых из лоскутов. Пустынной была и пыльная унылая дорога. Только куры в тщетных поисках червей разрывали лапами сухую землю да худые, как скелеты, собаки лаяли по старой привычке. Один из жандармов, сопровождавших Диожена Осмена, уверял, что хунфор находился шагах в ста от деревни, за рощей казуаринов. Всадники продолжали путь. Вскоре они действительно увидели эти высокие деревья, поникшие ветви которых в ярком свете дня казались голубоватыми, как водяные струи. При каждом вздохе ветра деревья напевали свою многоголосую, томную, благозвучную и грустную мелодию. У подножия их сидел изможденный старик. Морщинистое обветренное лицо его было таким темным, что сливалось с корой стволов, лохмотья почернели от грязи, весь он сжался в комок и, обхватив руками свои узловатые колени, что-то бормотал сквозь зубы, разговаривая сам с собой.

Поровнявшись с ним, отец Осмен остановил мула.

— Скажите, где тут хунфор хунгана Фей-Будена?

Упрямо уставившись в землю, старик продолжал бормотать.

— Эй, старина! Я с тобой разговариваю!

Старик обратил на всадников тусклый взгляд, презрительно сплюнул и снова потупил голову. Бардиналь подошел и, дотронувшись до его плеча, сказал:

— Послушай, священник спрашивает тебя, где находится хунфор...

Старец неожиданно встал, полуголый, в жалком рубище, и, размахивая палкой под носом у причетника, стал выкрикивать непонятные угрозы. Глаза его сверкали гневом, и несмотря на дряхлость, о которой свидетельствовало жалкое иссохшее тело, обвисшая складками кожа, костлявые колени, его облик был исполнен горделивого, несколько мело-

драматического благородства, а из поблекших уст вырывались слова проклятия. Бардиналь и сам отец Осмен попятились, смущенные столь неожиданной вспышкой.

— В путь! — скомандовал священник.

В самом деле, всадники могли и одни найти дорогу. Они свернули на размытую водой тропу и в нескольких шагах от рощи увидели ограду хунфора. Диожен обернулся, желая убедиться, что спутники не отстали от него, и, пришпорив мула, быстро въехал в открытые ворота. Но тут мул споткнулся о бутылку, наполовину врытую в землю, и рухнул вместе со своим седоком. Рой зеленых мух вылетел из разбитой бутылки.

— Аго! — закричали всадники.

Они остановились и даже отступили немного, готовые обратиться в бегство. Священник вскочил, беспорядочно размахивая руками, чтобы отогнать мух. Левое копыто мула провалилось в дыру.

— Вперед! Помогите мне вытащить мула!

Мальчик-певчий Деметриус спрыгнул с лошади, держа в руке распятие. Он подобрал полы своей красной сутаны, в которой легко было запутаться, и бросился на помощь Осмену.

Нога у мула была сломана. На ней зияла открытая рана. Осколки беловатых костей прорвали окровавленную шкуру.

— Эй, жандарм! Сюда... Мула надо прикончить. Вынь из кобуры револьвер.

Лицо Диожена нервно подергивалось, руки дрожали. Он засунул их в карманы, чтобы скрыть эту дрожь от посторонних глаз. Когда жандарм приставил дуло к уху мула, священник отвернулся. Раздался выстрел. Тогда только Диожен взглянул на животное, валявшееся возле ворот. Труп мула оттащили в сторону.

— Ну, следуйте за мной!..

— Отец Осмен, не искушайте господа бога,— наставительно сказал Бардиналь.— Вернитесь к себе в приход! Все, что случилось сегодня, не предвещает ничего доброго... Отложим до другого раза... У нас еще есть время!

— Молчать! Довольно болтовни! Вперед!.. За мной!..

Диожен выхватил крест из рук мальчика-певчего, перешагнул через труп мула и вошел во двор. Его спутники переглянулись. Гюстав Дюплан последовал за ним, остальные тоже въехали в ворота. Однако все неодобрительно качали головами.

Диожен с глубочайшим удивлением обводил взглядом двор. Двери хижин, пяти или шести мазанок, были открыты настежь, внутри все казалось на месте, но исчезли люди. Зал святилища был совершенно пуст, а земляной пол изрыт канавами. Против святилища стояло деревце молочая, на стволе которого висела распятая птица. Это была водяная курочка, ее длинные перепончатые лапы дергались в агонии. Диожен отошел на шаг. Помолчав, он провел по лбу тыльной стороной руки. Тоска теснила ему грудь.

— Бардиналь,— заявил он наконец,— надо срубить дерево!..

Причетник обернулся к остальным спутникам, которые стояли понурившись, затем посмотрел прямо в глаза священнику:

— Какой бес вселился в вас, отец Осмен?.. Чего вы добиваетесь?.. К чему все это?.. Довольно разрушений! Не надо рубить это дерево, отец Осмен!..

— Приказываю тебе срубить дерево! — крикнул Диожен гневным хриплым голосом.

— Дерево посвящено злым духам, не надо рубить его! Это западня!.. Не стану я его рубить, и, если уж на то пошло, вам, пожалуй, придется самому взяться за топор!..

— Не рубите дерево, отец Осмен! — взмолились присутствующие.

— Деметриус!.. Принеси топор! — приказал Диожен.

Он взял топор из рук мальчика-певчего, смотревшего на него испуганными глазами, приблизился к дереву и стал с размаху рубить ствол. Щепки летели во все стороны. Дерево содрогалось под ударами. Зрители отошли подальше. Священник изо всех сил бил топором. Вдруг в листве раздался дикий хохот, затем кто-то спрыгнул вниз. Отец Осмен застыл на месте. Человек скрылся в глубине двора; вдалеке его хохот звучал еще страшнее. Кое-кто узнал Данже Доссу. Он исчез так же быстро, как и появился. Дерево зловеще затрещало и рухнуло.

Уже больше трех часов Стенли Кильби, Мильтон Холдер и важное должностное лицо, представитель ГАСХО, приехавший из столицы, совещались с лейтенантом Эдгаром Осменом в конторе Компании в Фон-Паризьене. Темой беседы служил поджог бараков, построенных на краю саванны. Правление ГАСХО было очень обеспокоено пожаром и требовало расследовать это дело. Эдгар нервно шагал взад и вперед по комнате.

— Единственное, что я вам обещаю, мистер Холдер,— говорил он,— это сделать все от меня зависящее для охраны имущества Компании... Как вам известно, отряд у меня невелик, и мне трудно сказать, когда преступники будут пойманы... Я принял все необходимые меры. Больше мне нечего прибавить.

— Итак, выходит, что разбойники могут безнаказанно срывать все начинания Компании? У вас мало людей!.. Но скажите, сумели бы вы задержать этих негодяев, будь у вас целый полк солдат? Сомневаюсь в этом, лейтенант, очень сомневаюсь! Способны вы поймать их, да или нет?

— Компания даже не потрудилась уведомить меня о постройке этих бараков, она оставила их без всякой охраны — на месте не было ни души, когда вспыхнул пожар, а теперь она возлагает на меня ответственность за свои же собственные промахи!.. Население в этой стране строптивое, мистер Холдер, запомните это, если собираетесь здесь обосноваться. Вы требуете разыскать виновных сию же минуту! Хорошенькое дело! Не могу же я в угоду вам арестовать всех местных крестьян! Не могу также отозвать вашу охрану и послать ее на поиски преступников! Будьте благоразумны, мистер Холдер. Я срочно выезжаю в столицу и предприму там необходимые шаги, чтобы события не застали нас врасплох... Вы должны удовлетвориться этим!..

Эдгар сердито скомкал подвернувшийся под руку листок бумаги. До чего же надоедлив этот господин! Второй представитель Компании ничего не говорил, лишь заносил что-то в свою записную книжку. Мильтон Холдер вперил острый взгляд в лейтенанта Эдгара Осмена. Тот посмотрел в упор на его хищную физиономию с крючковатым носом и серовато-голубыми глазами. Лейтенанту не нравились грубые, вульгарные манеры этого упрямого дельца, тупого, как колбасник из Майнца. Выскочка противный! Мильтон Холдер почувствовал себя неловко, улыбнулся и переменил тон.

— У нас есть свои правила безопасности, лейтенант Осмен, и, можете мне поверить, они вполне оправдали себя... Я попытался объяснить вам, как горячо мы желаем разоблачения виновных... Мы готовы еще заплатить вам, лишь бы они были найдены... Сколько, по-вашему, потребуется денег, чтобы отыскать виновных?..

Эдгар сел, пристыженный, и стал вертеть между пальцами карандаш, взятый со стола.

— Я завтра же уезжаю в столицу, мистер Холдер,— проговорил он резко...

Некоторые семьи, в большинстве своем жители городка, разошлись по домам, но в хунфоре Ремамбрансы еще оставалось в среду много народа. В перистиле стояли большие миски, полные всевозможных яств.

Солнце долго не показывалось в этот день. Накануне вечером и всю ночь нещадно лил дождь, мешая людям плясать в перистиле. А теперь лишь тусклый свет струился с неба, затянутого низкими тучами. Дети радостно набрасывались на еду. Они хлопали в ладоши, кричали, хохотали, толкались. Взрослые смотрели на их возню с задумчивой, немного грустной улыбкой. Праздник приближался к концу. Скоро придется вернуться домой, к повседневным заботам, к тяжкому труду, к житейским невзгодам. Счастливое детство! Для взрослых навсегда миновала эта веселая, беззаботная пора, их сердца с каждым днем становились холоднее. Вознеся молитвы к богам, Буа-д'Орм уединился в зале «соба». Он сел на землю позади глиняных блюд и маленьких красных кувшинов и весь ушел в созерцание. В дверях появился Кармело и нерешительно остановился у порога.

— Входи же, дитя мое, входи,— сказал старец.

Кармело переступил порог.

— Поди сюда... Сядь рядом со мной... Надо и тебе, мой мальчик, предаться размышлениям перед лицом лоасов, богов твоих предков... Хоть ты и вернулся на родину, а я заметил, что ведешь ты себя как иностранец... Или ты позабыл о лоасах?..

Кармело сел.

— Я осмелился потревожить тебя, отец Буа-д'Орм, потому что мне пора уезжать... Погода сегодня пасмурная, но солнце, верно, уже высоко стоит в небе, и работа ждет меня в горах... Я зашел поздороваться с тобой и рассказать все, что знаю. Об этом я даже не решился говорить с родным своим отцом, не то, чего доброго, он потеряет голову... Белые люди зарятся на наши земли, и, я уверен, они захватят их, что бы мы ни делали... Пока мы еще бессильны против них. Ремамбрансе приходит конец, отец Буа-д'Орм... Ты должен сказать нашим людям, чтобы они собирались в путь и подыскивали себе работу в другом месте. Ты один можешь им это объяснить, отец Буа-д'Орм... Американцы, возможно, наймут их на свои плантации, но не думаю, чтобы работы хватило на всех. Ведь у белых есть машины... Да и легко ли человеку стать простым батраком на той земле, где он был хозяином?.. И все же не годится нашим людям бесцельно скитаться по дорогам, как толпам нищих... Куда же им идти? В города?.. Может быть... Но что ждет их там? Страшные беды, ибо девушек подстерегает проституция, стариков — отчаяние, а детей — бродяжничество!.. Ах, горе горькое, отец Буа-д'Орм!.. И подумать только, что мы ничего не можем поделать и должны ждать, сложа руки...

Буа-д'Орм не пошевелился, не проронил ни слова. Казалось, он не понял того, что ему сказал Кармело. Его задумчивый взгляд блуждал по стенам, по алтарям лоасов, по жертвенным блюдам и другим предметам культа. Вдруг его губы зашевелились. Он заговорил медленно, как будто отрывая слова от своего сердца:

— Ты сказал, что они все захватят? Возможно, ты прав. Я чувствовал, что лоасы хотят мне сообщить важные вести, чувствовал это всем своим существом... Они ничего не пожелали сказать мне прямо... Быть может, им хотелось, чтобы я все узнал от тебя — от человека, который знает, как живут в городах... Одного я никак не возьму в толк, мальчик. Объясни мне, зачем сражались наши предки, зачем жил Дессалин, если белым людям дозволено отобрать наши земли?.. Я, конечно, помню вре-

мя, когда «мериканы» и гаитянские жандармы разлучали нас с семьями, заставляли строить дороги, выполнять другие принудительные работы, били нас палками и плетьми... По вечерам нас связывали и запирали по пятьдесят, по шестьдесят, по восемьдесят человек в тесных сараях. Я хорошо помню время, когда крестьяне в долинах и горах одни вели борьбу против солдат морской пехоты... Но пришел день, горожане услышали наш призыв, и мы вместе с ними прогнали белых... Возможно ли, чтобы властители, живущие в городах, призвали чужестранцев и отдали им наши земли, которые белые сами не посмели бы взять?.. Скажи, Жолибуа умер? Скажи, почему так случилось? Ведь ты наша плоть, наша кровь, Кармело! Ты знаешь нашу жизнь и наши горести, скажи мне, почему?..

— Да, правда, отец Буа-д'Орм, Жолибуа умер, но и он ничего не сделал бы, будь он жив... Они бы истязали его, заточили в тюрьму и вновь убили бы, боясь, как бы он не встал им поперек дороги... Ты говорил мне о Дессалине... Задолго до Жолибуа император Дессалин правил в согласии с волей народа, ну и что же? Они убили его и, разрезав тело на куски, возили их напоказ по улицам и площадям. Акао был вождем народа, они и его убили. Антенор Фирмен, генерал Жан Жюмо шли вместе с народом — их тоже убили... Карла Перальта продали, распяли живым и отдали его труп на съеденье муравьям и хищным птицам. Те, кто теперь управляет нами, отец Буа-д'Орм, не имеют ничего общего с народом... Они не обрабатывают сами своих полей, у них нет орудий, которыми бы они работали, они не знают тяжести ноши на своих плечах, не знают, как горяча мостовая в полдень, когда по ней ступаешь босыми ногами... Они живут на нашей земле, но не связаны, не соединены, не спаяны с ней на счастье и на горе... А между тем истинные дети Дессалина гибнут каждый день, сраженные пулей, где-нибудь в Пон-Руже... Если бы ты знал, сколько мне пришлось выстрадать в городах, чтобы узнать, чтобы понять все это, отец Буа-д'Орм!.. Я дрался за свою жизнь, отец Буа-д'Орм, я работал, я маялся! Сколько я муки принял, чтобы научиться ремеслу, чтобы научиться грамоте и стать настоящим рабочим... Я искал и нашел людей, которые многое мне объяснили... Я знаю теперь, что настанет день, когда все это изменится, но прежде надо будет выдержать тяжелую борьбу! А сколько до тех пор совершится преступлений!.. Ты меня очень огорчил вчера, отец Буа-д'Орм, сказав перед всем народом, будто я уже не такой, как остальные дети Ремамбрансы... Но что делают дети Ремамбрансы?.. Плачут, стонут, проклинают, молят лоасов и покоряются!.. Я уже не могу покоряться и твердить, что господь бог добр, что лоасы — наши отцы, а Ремамбранса будет жить вечно!.. Я знаю, придет день, и Дессалин вернется на землю Гаити, он вернется, чтобы положить конец стонам, жалобам и возглавить борьбу своих детей. Он не может не вернуться! Он выйдет из чрева земли! И тогда настанет день правосудия, день мщения, для грязных негров, босоногих негров, негров с гор, негров долин, черных, как сажа, негров... И в ожидании дня, когда народ станет господином, Кармело Мелон зарабатывает себе на жизнь, он валит лес, распиливает деревья, подвергается оскорблениям, работает на других, но всюду, где бы он ни был, он передает людям слова Дессалина. То громко, то тайком он говорит им: «Объединяйтесь в молчании, готовьте ламби и факелы, чтобы вновь, как в 1804 году, раздался призыв и весь народ поднялся на борьбу». Вот каким стал мальчишка Кармело, отец Буа-д'Орм, вот почему он не плясал в перистиле, не вытирал потного лица одержимых...

Жрец выпрямился и в изумлении смотрел на этого мальчугана. Ведь как будто еще вчера лесоруб был ребенком, и Буа-д'Орм сажал его к себе на колени. Забияка? Да, Кармело всегда был забиякой, но до сих пор он уважал обычаи.

— Если богу будет угодно, Кармело, если богу будет угодно!.. Вот о чем ты позабыл сказать,— прошептал Буа-д'Орм взволнованно.— Ты все говорил правильно, справедливо, но ни словом не упомянул о божьей воле, о том, что мы должны верить в лоасов... Я уже говорил тебе... С тех пор как ты вернулся, в твоих движениях, словах, поступках проглядывает что-то чуждое лоасам наших предков... Это правда, Кармело... Разве ты забыл, что лоасы сражались вместе с Дессалином?..

— Не будем говорить об этом, отец Буа-д'Орм... Я остался по-своему верен Ремамбрансе, но теперь я уже взрослый человек. У меня своя вера!..

Буа-д'Орм выслушал этот ответ с чувством недоумения, нежности и грусти. Он был безоружен перед Кармело Мелоном. Старик положил руку ему на плечо.

— Я знаю, мой мальчик, что Ремамбранса исчезнет,— сказал он,— но я знаю также, что древнее святилище возродится, если лоасы останутся жить в наших сердцах... Дети Ремамбрансы разбредутся по свету, это правда, они уйдут, как толпы нищих, по дорогам, пусть так... Я боюсь другого, боюсь, что они вернутся обратно, как и ты, Кармело, снедаемые жаждой борьбы, но без сияющего света лоасов в своем сердце... это еще хуже, чем конец Ремамбрансы, это конец всего!

Кармело встал.

— А если нужно, чтобы старое погибло и родилось то, что должно родиться? — спросил он.— Ничто никогда не умирает!.. Все возрождается, только в иных формах. Я никому не делал зла, вот почему Ремамбранса продолжает жить во мне... Если святилищу, обрядам и тебе самому суждено исчезнуть для того, чтобы возродился наш народ, не все ли равно?..

— Замолчи, мальчик!.. Или ты забыл, где находишься?.. Не навлекай проклятий на свою голову! — испуганно проговорил Буа-д'Орм.— Твои речи подобны словам другого человека, приходившего сюда, брата того священника, который нас преследует... Как это странно!.. Мир устам твоим, дитя, замолчи!.. Ибо я знаю, что лоасы живут в земле, в реках, в морской пучине, в водах озер, в небе, когда светит солнце и когда оно гаснет, в смене времен года, в урожае, в улыбке звезд... Как могут они не жить вечно в сердце людей?..

Кармело затянул пояс и взял шляпу:

— Мне пора, отец Буа-д'Орм... Прощай!

Буа-д'Орм встал и пожал ему руку.

— Прощай, сын мой!.. Мы больше не увидимся... Иди навстречу будущему, иди с чистым сердцем и сбереги его в чистоте!.. Я ничего не хочу знать иного! Ступай! Да будет с нами милость божья!..

Кармело секунду колебался.

— Да будет с нами милость божья! — повторил он, грустно улыбаясь.

Он надел шляпу и ушел, широко шагая. Во дворе его ждал старик отец. Они взялись под руку, распрощались со всей компанией и пошли по дороге, освещенной бледными лучами показавшегося наконец солнца.

■

Лейтенант Эдгар Осмен вернулся домой озабоченный. Он нашел мать за чтением только что полученного письма. Она была взволнована, задумчива.

Леони протянула ему письмо. Эдгар взял его, бросил рассеянный взгляд на исписанные страницы и, заинтересовавшись, принялся читать.

«...Мои дела идут неплохо, мама,— писал Карл,— совсем неплохо, но я чувствую сильную усталость. Жизнь течет. Суетишься, хлопочешь и,

как обычно, зря тратишь силы... Никогда я не испытывал такого отвращения к себе! Пребывание здесь дало мне богатую пищу для размышлений. Я вновь увидел старый дом крестной, старые деревья, старый военный плац, пробудились старые воспоминания детства. Невольно задаю себе вопрос, прав ли я, отрицая мир, в котором живу, и упорно пытаясь создать себе мнимый рай. Что я такое в конце концов? Личинка, червь, злосчастный представитель богемы, воображающий, будто он что-то собою представляет... после того, как выпьет несколько стаканов вина!

Что такое жизнь, если не роковая шутка? И не верх ли безумия верить в мудрость и принимать всерьез собственную особу, одновременно ставя под сомнение значимость других людей? Если хорошенько подумать, мое поведение не что иное, как стыдливая попытка к самоубийству. Иначе говоря, самоубийство в рассрочку!.. Но довольно попусту философствовать! Не то ты еще расстроишься. Поговорим о другом!

...Крестная необыкновенно добра ко мне, всячески меня ублажает... Она шлет тебе лучшие пожелания, однако, по своему обыкновению, слишком многословные. Как полагается, я был с визитом у нашей родственницы Дезуазо. Встретил там ее младшую кузину Денизу Северен. Девушка настоящая белая голубка — удивительно встретить такую непосредственность и простоту в этой пошлой среде. Мне хотелось во что бы то ни стало шокировать ее, но все оказалось напрасным. В конце концов я поддался ее очарованию. Можешь себе представить?!»

Эдгар вернул письмо матери. Леони вопросительно взглянула на сына.

— Ну как?..

— Что как?

— Что ты об этом думаешь?

— Да ничего особенного... Карл был и всегда будет ветрогоном.

— Дай бог, чтобы ты оказался прав! — воскликнула Леони со вздохом.

— Не понимаю, что ты хочешь сказать!

Леони взяла письмо и сложила его.

— А то, что он пойдет по той же дорожке, что и ты с братом... Мое материнское чутье никогда меня не обманывает!

Эдгар снял мундир, сел и задумался, вытирая потный лоб. Затем неожиданно поднял глаза на мать.

— Завтра я уезжаю в Порт-о-Пренс... Не попросить ли Карла, чтобы он приехал туда ко мне?.. Что ты на это скажешь?..

Леони пожала плечами, вздохнула и, встав с места, направилась в спальню.

Там она взяла молитвенник, лежавший на столике у изголовья кровати, и открыла его. Правильно ли она сделала, показав письмо Эдгару? Но, несомненно, Карл этого и хотел. Все его туманные рассуждения предназначались для брата, а не для матери, ведь она простая, неученая женщина... Карл косвенно обращался к Эдгару. Взгляд Леони остановился на небольшой молельне, устроенной в углу комнаты. Она подошла к ней и убрала несколько роз, осыпавшихся перед образом богоматери — утешительницы страждущих, которая смотрела из своей рамки в стиле рококо, улыбающаяся, загадочная, осыпанная драгоценностями.

— Зачем ты вняла моим молитвам, пресвятая дева? — воскликнула Леони.— Теперь он пойдет по той же дороге, что и братья... По дороге слез и проклятий! С нее уже не свернешь... Когда я молилась о том, чтобы он изменился, я не знала... Молю тебя, пресвятая дева, если еще не поздно, не исполняй моей просьбы!..

Леони прислонилась лбом к стене и заплакала, закрыв лицо согнутой в локте рукой.

■

Гонаибо не спал всю ночь. В тревоге он вспоминал свой разговор с Кармело Мелоном. Никогда он не встречал такого ясного, прямолинейного, холодного и уверенного в себе ума, такого неоспоримого здравого смысла. Никто еще не разговаривал с ним так серьезно.

«Почему ты ведешь себя, как упрямый ребенок? — говорил Кармело решительно и даже с оттенком осуждения.— Думаешь, в одиночку ты можешь добиться правды? Что знаешь ты о жизни? А ведь ты уже взрослый мужчина, пойми это... Такому парню, как ты, пора научиться размышлять. Посмотри, какой ты большой, какие у тебя сильные руки, какие мускулы... Надо подумать о будущем... Ты бессилен против белых людей и всех их прихвостней. Бессильны против них и крестьяне со своей сохой и мачете, ведь у них нет ни решимости вести борьбу, ни организации, ни руководителей... Что бы ты ни делал, тебе придется уйти отсюда. Жизнь не ограничена этой саванной, черт возьми!.. Вся родная земля ждет тебя! Ты знаешь, ведь она прекрасна, куда ни взгляни, хотя и сурова и требует от нас каждодневной борьбы... Посмотри на птиц, они улетают, когда настанет пора... У меня тоже больно сжималось сердце, когда пришлось покинуть родные места, но это было единственное средство остаться самим собою. Пора и тебе идти навстречу новой жизни, научиться ремеслу, трудиться и жить, как твои братья. Стать взрослым — значит найти грань между мечтой и действительностью. Обдумай все и приходи ко мне наверх, в горы, в тот лес, который поет... Обещаю найти тебе работу и многое расскажу о жизни. Приходи как можно скорее!..»

Эти слова проносились в голове Гонаибо, словно волны бурного моря, бьющие о каменистый берег. Мать тоже говорила не раз, что настанет для него время покинуть саванну. Так, значит, этот час пробил? Неужели он стал мужчиной? А ведь и правда, легкий пушок уже оттенял его верхнюю губу, волосы выросли в самых тайных местах, голос ломался, звучал порой хрипло, низкие ноты вплетались в высокий фальцет, тембр голоса менялся. Неизведанное до сих пор томление овладевало телом, а иногда его бросало в жар, влекли какие-то неясные желания.

Скрип гамака, в котором Гонаибо покачивался, наконец надоел ему. Он спустил ноги на пол и сел. В хижину проникали первые проблески зари. Он встал и подошел к двери. На небе смешались разные цвета — черный, синий, сиреневый, розовый. Слабо мерцали побледневшие звезды и тонкий серп молодого месяца, а золотистый свет нарождающегося дня уже пронизывал ночной мрак. Над озером рдела ярко-красная полоса. Гонаибо резко свистнул, подзывая свою ручную змею. Не слыша ответа, он опять засвистел. Ему вовсе не хотелось играть! Он раздраженно свистнул еще и еще раз, но тщетно. Тогда он принялся звать:

— Зеп! Зеп!

Никогда еще змея не вела себя так странно. Конечно, она иногда дурачилась, пряталась, но все же, играя, высовывала голову, чтобы подразнить мальчика.

Гонаибо обошел вокруг хижины, заглянул во все углы, все обшарил, лазил на деревья, заглядывал в ямы — все напрасно. Беспокойство охватило его. Быстро шагая, он направился к озеру. После долгих поисков решил вернуться домой. Дойдя до хижины, он застыл в изумлении. Змея валялась на пороге с раздавленной шеей. Она еще ползала, слабо дергаясь, но чувствовалось, что ей совсем плохо. Гонаибо подбежал и поднял Зепа. Это был уже не его друг, а какое-то дряблое существо, голова которого жалостно болталась из стороны в сторону. Очевидно, на змею

напали неожиданно, когда она бродяжничала по саванне. Право, нельзя было себе представить, чтобы Зеп, такая умница, угодил под случайно скатившийся камень. Может быть, в ту минуту он спал? И куда только носила его нелегкая? Змея умирала. Гонаибо тихо ласкал ее, держа на руках. Мальчик сидел на корточках, обессиленный горем. Картины минувшей радостной жизни, его игр с Зепом на берегу озера невольно всплывали в памяти. Он закрыл глаза и погрузился в светлые воспоминания детских лет, проникнутые сейчас безграничной грустью. Бросив взгляд на змею, он заметил, что она перестала двигаться. Это была теперь лишь безжизненная оболочка, окровавленный жалкий лоскут. Гонаибо встал, сходил в хижину за мачете и направился к озеру.

У подножия тыквенного деревца, под горой, покоилась его мать, но на этом месте не было ни могильного холмика, ни надгробной плиты, ни камня, указывавшего, что здесь уснула вечным сном женщина, которая в жизни познала любовь и страдание. Гонаибо редко приходил на могилу, которую он сам вырыл по указаниям умирающей матери. Похоронив ее, он не испытал такого глубокого отчаяния, как в это утро. Ведь тогда он был еще ребенком и не сознавал как следует, что она ушла от него навсегда. Присев на корточки возле деревца, Гонаибо вырыл длинную ямку, закопал в нее змею и утрамбовал землю ногой. И долго просидел на корточках, в этой привычной для него позе, ничего не видя и не слыша. Безмолвные слезы текли по его щекам. На сердце было одно только желание — умереть самому, исчезнуть навсегда. Некогда в этой стране жили пришедшие издалека негры-ибосы. Среди них вспыхивали порой настоящие эпидемии самоубийства, так жаждали они избежать тяжести рабства. Тогда эти люди принимались есть землю, причем окружающие не могли понять, зачем они это делают. Самоубийцы безостановочно ели землю, пока не падали мертвыми. Индейцы тоже прибегали к коллективному самоубийству на золотых приисках конкистадоров. Смерть... Что чувствуют люди, умирая?

Чей-то голос звал его:

— Гонаибо!.. Гонаибо!..

Голос приближался. Это был женский, вернее, детский голос. Кричала Гармониза, внучка Буа-д'Орма Летиро.

— Гонаибо!

Она увидела, что мальчик сидит, прислонившись к дереву, и подбежала к нему.

— Послушай, Гонаибо, дедушка велел тебе сказать, что он придет сюда завтра рано утром... Он хочет, чтобы ты спрятал какие-то вещи... Но что с тобой?..

Он даже не взглянул на нее, не пошевелился и полными слез глазами смотрел куда-то вдаль. Он размышлял. Она села подле него.

— Что случилось, Гонаибо?.. Скажи, что с тобой?..

Дотронувшись до лица друга, она почувствовала, что щеки его мокры от слез. Она прильнула к нему и повторила свой вопрос. Затем взяла его за голову обеими руками, положила к себе на плечо и вытерла глаза Гонаибо своими ладонями. Да, это были слезы, безмолвные слезы. Она снова стала расспрашивать его. И вдруг он разрыдался.

Гармониза прижала его к себе, стала гладить по голове, что-то нашептывая ему. О чем же она говорила? О ветре? О птицах, которые спят на ветках под дождем? О тепле прильнувшей к ней щеки? О биении своего юного сердца, о своих порывах, о грезах наяву? Или она говорила о своем постоянном желании быть подле Гонаибо, держать его в объятиях, баюкать вот так, как сейчас? Ей хотелось утешить юношу, развеять его скорбь! Но иногда, чтобы усыпить горе, нужна тишина. И Гармониза уже ни о чем больше не расспрашивала, лишь проводила своей прохладной рукой по его лицу, по плечам и груди. Она чувство-

вала холодное, как мрамор, прикосновение его губ к своей шее. Он безвольно покоился на ее плече, по-прежнему рыдая. Она прижалась губами к пылающему лбу Гонаибо, простодушно целуя его, чтобы утешить. Потом вытянулась возле него на земле. Наконец он взглянул на девочку, и она посмотрела на него, наклонилась над ним и тоже разразилась слезами.

Он ощущал округлости ее расцветшего тела, теплоту юных грудей, трепетных, как только что вылупившиеся птенцы, и щекочущее прикосновение к своему плечу длинных волос. Он изо всех сил прижал ее к себе. Она растерянно взглянула на него и отдалась ему, горячая и счастливая. Она лишь слабо застонала в ту минуту, когда ее молодое тело раскрылось для жизни.

Над их головами была лишь листва да небо. Все ветви маленького тыквенного деревца были осыпаны цветами, того самого дерева, о котором говорила перед смертью мать Гонаибо.

■

Распределение лепешек было произведено в Ремамбрансе в четверг. Старушка Дада, супруга Буа-д'Орма, суетилась весь день такая же бодрая, как всегда. Когда наступила пятница — предпоследний день пасхальной недели,— Дада помогла совершить омовение вновь посвященных в теплой воде, настоенной на листьях. Все было сделано надлежащим образом, но с огромным усилием воли и лихорадочным беспокойством: отец Осмен подходил все ближе, опустошая встречающиеся на пути хунфоры. На всех дорогах, ведущих к святилищу, главный жрец велел расставить дозорных, чтобы они в случае надобности подняли тревогу. Несмотря на царившее кругом волнение, отец Буа-д'Орм сохранял полное спокойствие и всем руководил ревностно и тщательно, как всегда. Он решил не торопиться: все должно идти как обычно. Когда обряды будут завершены, он примет необходимые меры.

С наступлением темноты празднества закончились, и Буа-д'Орм заперся в зале «соба» с генералом Мирасеном, Инносаном Дьебальфеем, госпожой Анж Дезамо, Аристилем Дессеном, Олисмой Алисме, Шаритаблем Жакотеном, Жозельеном Жоффе, Бальтазаром Фенелюсом и Жюстеном Корбеем. А затем они разошлись по разным отделениям святилища. При первых проблесках зари Мондестен Плювиоз, хранитель барабана Ассотор, сдал свои ключи и присоединился к друзьям. Все сокровища, все реликвии древней Ремамбрансы и других хунфоров были сложены в переметные сумы, сплетенные из листьев латании, и погружены на мулов. Скоро над опустевшим двором святилища засияет солнце. Буа-д'Орм собрался было уходить, но, не видя Дада, забеспокоился. Ведь обычно жена вставала, едва заслышав пипирита, чтобы сварить кофе. Старик направился к своему дому. У дверей его охватило мрачное предчувствие, ибо он споткнулся, задев левой ногой за порог.

— Дада!.. Мы уезжаем... Почему ты не встаешь?..

Она ничего не ответила. Буа-д'Орм подошел к столу и ощупью разыскал спички. Тревога тисками сжимала ему грудь.

— Дада! Ты больна?.. Что с тобой?..

Дада лежала бездыханная на своем ложе, лицо у нее было спокойное и ясное.

Боль, как удар клинка, пронзила сердце Буа-д'Орма. Дада умерла во сне, не страдая. Она угасла, как догоревшая свеча... Почему небо не подало ему знака? Почему? Значит, боги покинули старого жреца! Годы посеребрили волосы Дада, она состарилась, прислуживая в храме, и до гроба сохранила верность узам, соединившим их с детства. Судьба

ее свершилась... Эта смерть предвещала конец целой эпохи, а теперь и его собственная смерть была близка — таков неумолимый приговор. Аго йе, святые лоасы!

Буа-д'Орм вошел в комнату Гармонизы. Она спала на спине, прижав к груди руки, и радостно улыбалась. Она видела сон, губы ее шевелились, словно она произносила слова, полные неизъяснимой нежности. Старец колебался, не решаясь разбудить ее.

— Гармониза! Ну же, вставай!.. Одевайся... Ты поедешь вместе со мной,— тихо сказал он и прикоснулся к ее плечу.

■

Гонаибо ждал в нескольких шагах от хижины, он был взволнован и нервно расхаживал взад и вперед. Увидев вереницу вьючных животных, он побежал навстречу приезжим. Они проработали целый час и вырыли длинный глубокий ров. Когда все было готово, дно его устлали пальмовыми ветвями, а на них положили священные камни, предметы культа и реликвии. Гонаибо внимательно смотрел на работы, держа за руку Гармонизу. Главный жрец стоял тут же и наблюдал за обоими. Когда ров был прикрыт пальмовыми ветвями и засыпан землей, Гонаибо подошел к главному жрецу.

— Мне надо поговорить с тобой, отец Буа-д'Орм,— сказал он.— С глазу на глаз...

Взгляд старика остановился на Гармонизе. С той минуты, как предметы культа исчезли под землей, Буа-д'Орм изменился в лице: казалось, он уже не принадлежит к миру живых, его глаза горели загадочным огнем. Неподвижный, как статуя, он взирал на все словно издалека, погруженный в гордую задумчивость, худоба его стала еще заметней. Он медленно воздел руки, повернулся, шатаясь словно призрак, колеблемый ветром, и посмотрел на восток, где разгоралась заря.

— Все совершилось, согласно воли лоасов...— сказал он.— Люди, пришедшие со мной, должны возвратиться в свои дома, я один выполню то, что осталось сделать... Пусть дети Ремамбрансы уходят без опасений — лоасы не покинут их. Пусть они живут, пусть страдают и борются, как настоящие дети земли... Быть может, им придется разойтись в разные стороны... Отныне я ничего уже не могу сделать для них... Так повелевает жизнь и лоасы!.. Идите скорее!.. Я сказал!..

Крестьяне с удивлением переглянулись, затем пытливо посмотрели на лицо главного жреца, озаренное внутренним светом. Они поняли тогда, что судьба совершилась, и, понурив голову, молча двинулись в обратный путь, ведя за собой вьючных животных. Буа-д'Орм стоял теперь лицом к озеру и глядел вдаль.

— Я знаю, что ты мне скажешь, Гонаибо... Род Буа-д'Орма Летиро не должен гаснуть... Я знаю...

Гонаибо подбежал к нему.

— Отец Буа-д'Орм, отныне Гармониза останется со мной. Я так решил... Даже если ты откажешь, это ничего не изменит!..

Буа-д'Орм по-прежнему не спускал глаз с озера.

— Никто не поступает по собственной воле, Гонаибо, все начертано в большой книге, решения принадлежат одному только небу... Я знал, что ты хочешь мне сказать. Прежде чем ты заговорил, я уже знал, какова воля неба. Слушай, Гонаибо, давным-давно в нашу страну привезли в рабство четырех братьев. Здесь их и продали... Первый из них основал Ремамбрансу, второй — Сускри, возле Мармелады, третий создал в Гонаиве святилище Летиро, названное впоследствии Сувенанс, а четвертый заложил святилище Кампеш в Северной долине. Все они были истыми сынами Африки, верными служителями лоасов наших

предков. Их наследие осталось в неприкосновенности. Всю свою жизнь я страдал и боролся ради того, чтобы их дело жило... Я возделывал их земли, я совершал обряды перед их алтарями, по мере сил помогал их последователям, и все это потому, что лоасы насильно связали меня с Ремамбрансой. Скоро мое старое тело будет покоиться в земле. Но внутренний голос говорит мне, что лоасы изберут тебя... Быть может, я вообразил себе это, но обещай, что ты не останешься глух к их призыву, если он когда-нибудь прозвучит. Тебе известно, где находится дека, ты возьмешь ее и лишь только прислушаешься к голосу своего сердца, ты будешь знать, что надо делать... Ты положишь священные камни на прежнее место, и познание невидимых постепенно перейдет к тебе... Ты будешь страдать, служа лоасам, но разве я сам не страдал? Страдание спасает, Гонаибо, ты никогда не будешь несчастлив, никогда... В сердце твоем воцарится покой... Обещай мне не навлекать на себя гнева лоасов, не пытайся противостоять им... Обещай!..

Гонаибо молчал, смело глядя в глаза Буа-д'Орму.

— Я знаю, что могу умереть спокойно,— продолжал главный жрец,— и поручить тебе внучку... Я знаю, что могу сделать это, не опасаясь за нее, но обещай мне повиноваться лоасам, если когда-нибудь они призовут тебя... Обещай...

Какая-то странная сила исходила от взгляда старика, от его протянутых вперед ладоней. Гонаибо чувствовал, что слова обещания сами просятся на язык, но он поборол себя.

— Зачем я стану давать тебе обещания, отец Буа-д'Орм, ведь я не знаю, о чем ты говоришь... Даже если мой отказ огорчит тебя, я ничего не могу поделать... Я всегда поступаю так, как мне подсказывает сердце... Я вырос в одиночестве и не знаю лоасов, о которых ты говоришь...

— Послушай, дитя,— возразил старик, повернувшись к нему.— Ты предназначен для великой миссии, и, как бы ты ни противился, тебе придется выполнить ее... Мне хотелось только сказать тебе о том, чему научила меня жизнь...

Гонаибо стоял, упрямо поступившись.

— Видишь эту цепочку, дитя?.. Взгляни! — проговорил старик.

Буа-д'Орм раскачивал золотую цепочку, держа ее двумя пальцами, затем поднял руку и с размаху бросил цепочку в озеро.

— Подожди меня,— сказал он.

Сойдя с берега, старец вошел в воду и мало-помалу стал погружаться в нее. Гонаибо судорожно сжал руку Гармонизы. Их сердца бились с неистовой силой. Неужели Буа-д'Орм решил утопиться у них на глазах? Нет, это немыслимо! Ничто не позволяет так думать. Быть может, он совершал непонятный тайный обряд, последнее деяние жреца?.. О Буа-д'Орме ходили невероятные легенды, говорили, что он одарен магнетической силой, способной двигать горами. Гонаибо и Гармониза лишились голоса, приросли к земле, не могли пошевелиться. Вероятно, все это продолжалось одну минуту, но им показалось, будто прошли века. Что за колдовские чары были у этого старца!

Они увидели, как над водой показалась сперва голова Буа-д'Орма, затем плечи и все его изможденное тело. С трудом переводя дыхание, он держал в зубах серую рыбу, которая еще трепыхалась. Добравшись до берега, старец рухнул на колени, выпустил рыбу изо рта, и она упала в траву. Его грудь тяжело вздымалась, глаза налились кровью. Даже не притронувшись к рыбе рукой, он распорол ей брюхо зубами, лихорадочно стал рыться в ее внутренностях, потом выпрямился. Золотая цепочка свисала у него изо рта. Буа-д'Орм бросил рыбу обратно в озеро и подошел к остолбеневшим Гонаибо и Гармонизе. Он обвязал цепочку вокруг шеи Гонаибо.

— Уходи, Гонаибо, уходи, оставь меня,— сказал он.— У Гармонизы теперь нет никого, кроме тебя. Дада и я отжили свой век, вы нас больше не увидите... Ступайте, злоба людская отныне бессильна над вами... Уходите и оставьте меня одного!..

■

Когда преподобный отец Осмен ворвался во главе процессии в святилище Ремамбрансы, он оцепенел от изумления. Все хижины пылали. Буа-д'Орм Летиро стоял посреди двора и ждал священника. Он сказал ему громким голосом:

— Лоасы бессмертны, священник! Гляди, гляди во все глаза... Лоасы не допустили, чтобы твои кощунственные руки поднялись на древнюю Ремамбрансу. Древнее святилище погибло в огне, превратилось в пепел, но лоасы живы! Смотри, как сверкает пламя на пепелище: Ремамбранса жива! Теперь Буа-д'Орм может спокойно встретить смерть, ибо придет день, и древнее святилище возродится на том же месте, но станет выше, лучше, прекраснее и будет жить вечно, как и лоасы вечной Африки... Ты же на беду свою переживешь самого себя, но не будет человека на земле более мертвого, чем ты. Гляди, как качаются деревья, ты почувствуешь таинственное, незримое присутствие лоасов. Слушая, как ветер стонет в ветвях, ты поймешь, что это голос лоасов проклинает тебя. Взирая на смену времен года, вдыхая запах созревших колосьев, ты не вынесешь упрека, звучащего из недр земли, которая перестала быть твоею... Вкушая любой плод, созревший в нашем краю, ты ощутишь на языке горечь ненависти лоасов. К чему бы ты ни прикоснулся рукой, все будет жечь тебя огнем — такова воля лоасов!.. Ибо ты пренебрег правом людей верить согласно велению своего сердца... Ступай же прочь, выродок! Ступай прочь, человек без племени! Человек без земли! Человек без народа! Карающая десница богов простерта над тобой!..

И Буа-д'Орм Летиро двинулся к маисовому полю, оставив насильников на пепелище.

XV

Леони еще раз перечитала письмо Карла. Ночные бабочки плясали «калинду» вокруг керосиновой лампы, пламя которой мигало и гасло. Керосин в лампе, верно, выгорел. Леони с трудом встала, чтобы сходить за бутылью. Заправив лампу, она села на прежнее место и вновь принялась читать.

Карл сообщал в письме о своей женитьбе на мадемуазель Дезуазо и об отъезде с женой за границу. Он уезжал в Вашингтон, куда был назначен секретарем посольства. Ничто уже больше не удивляло Леони. Ни радостная, ни печальная весть не могла вырвать ее из пучины уныния, в которую она погрузилась. И все же ей стало очень больно. Но к чему огорчаться? Звуки скрипок не увлекут глухого! Фантазия, великодушие, нежелание приспособляться, сама поэзия умерли в сердце Карла лишь потому, что время всей своей тяжестью придавило людей, у которых не было глубокой связи с родной землей. До сих пор Леони на словах осуждала сына, порой даже грубо одергивала его, а в душе надеялась, что ее наставления ничего не изменят и сын останется глух к ним. Но почему Карл должен оказаться лучше Диожена или Эдгара? По какому праву она обрекала его на бездействие? Ведь за короткое время она стала старухой, матерью-наседкой, отчаянное кудахтанье которой не могло уберечь ее птенцов. Волосы сразу поседели, жизнь ее кончилась. У нее не осталось ничего, кроме материнского нутра, малодушия, страха и боли.

Вдруг на улице послышался какой-то шум, гул целой толпы. Дверь отворилась. Опираясь на двух жандармов, вошел Эдгар, весь в крови. Леони завыла не своим голосом и бросилась к сыну. Эдгар был похож на сумасшедшего. Он оттолкнул жандармов, которые поддерживали его.

— Молчать!.. Сию же минуту замолчи! — крикнул он потрясенной матери.— Принеси чего-нибудь перевязать рану.

Правой рукой он сорвал с себя рубашку. Пониже левого плеча торчал кинжал, вонзившийся в тело по самую рукоятку. Леони молча вернулась с кучей тряпья и бутылочкой йода. Она дрожала.

— Скорее!.. Подойди ближе! — рявкнул Эдгар.

Леони подошла, ноги у нее подкашивались.

Эдгар вырвал из раны кинжал. Хлынула кровь.

— Зачем эти люди стоят здесь?.. Гоните их в шею!..

Эдгар сделал тампон из тряпок и приложил его к ране.

— Гоните всех отсюда и пошлите сержанта Калепена в Гантье за доктором Флоранселем!..

Леони не могла унять дрожь. Посторонние вышли из комнаты и толпой собрались на улице около дома. Зеваки разглагольствовали, стоя перед запертыми дверями. Оказывается, во время собрания, на котором лейтенант заявил, что послезавтра начнется выселение крестьян, какой-то человек выскочил из толпы и ударил его кинжалом. Злоумышленник скрылся, воспользовавшись происшедшим замешательством. Если верить слухам, покушение совершил крестьянин по имени Аристиль Дессен.

■

На следующее утро, едва защебетал пипирит, лейтенант Эдгар Осмен уже был в седле, бледный, возбужденный, с огромной повязкой, державшей плечо в неподвижности. Его вчерашняя ярость не прошла, и несмотря на советы окружающих, он решил действовать. Лейтенант поклялся дать такой страшный урок жителям, что они вовек его не забудут. Он хотел схватить преступника, а если тот скрылся, арестовать его семью. Однако, подъехав к хижине, на которую ему указал окружной начальник, Эдгар не нашел там ни души. Соседние лачуги тоже опустели. Все соседи исчезли, и конечно жена Дессена вместе с ними! Лейтенант арестовал Мондестена Плювиоза, который, по словам Жозефа Будена, был близким другом Аристиля, но больше ему никого не удалось схватить. Мондестен был отправлен в город под сильным конвоем, и облава продолжалась. Но, пожалуй, легче было бы найти иголку в копне сена!

По дороге им встретилось несколько семей, уже покидавших насиженные места. В самом деле, фермерам и издольщикам нечего было ждать. Земля не принадлежала им, следовательно, денег за нее они не получат, и проще, не мешкая, уйти. Люди грузили свой скарб — старые циновки, старые горшки, старые чугуны — на спину ослов и мулов или же взваливали поклажу на собственную голову. Малыши, сидевшие на закорках у матерей, с удивлением озирались по сторонам. Дети постарше были в восторге от этого путешествия всей семьей, они резвились по сторонам дороги, затем мчались со всех ног, догоняя родителей, и получали от них взбучку. Другие крестьяне стояли у порога с трубкой в зубах, ни словом не выдавая своей ненависти к грабителям, своего гнева, скованного нерешительностью, отчаянием. Выражение лиц было замкнутое, непроницаемое — под пеплом в душах людей тлел огонь. Никто больше не выходил в поле. К чему теперь сеять, полоть?.. Разговоров не было слышно — царило молчание. Молчание — это крестьянская до-

бродитель, но теперь оно словно нависло над землею, и движения стали медлительнее, походка тяжелее, усмешка горше.

— Так, значит, вы уходите, братья?..

— Да, уходим, братья!.. Ничего не поделаешь!..

— Ну что ж, да будет с вами милость божья!

— И с вами да будет милость божья, братья!..

Стояла полная тишина, нарушали ее только крики мулов, шелест листвы под ветром и безотчетные шорохи жизни. Чувствовалось, конечно, что людям хочется быть вместе, но они безмолвствовали. Они стояли неподвижно, кучками, подперев щеку рукой. Они едва осмеливались смотреть друг на друга. Что говорить? Что делать? Только одно — быть вместе, зная, что одни и те же заботы одолевают их всех. Однако то было затишье перед грозой. Напряжение росло, люди понимали, что гроза бесполезна, и, однако, жаждали ее. Она была необходима, она облегчила бы их душу, как крик, дающий исход нестерпимой боли. А что, если грозы не будет? Неужели придется уйти при звуках деревянного колокола, уйти, как нищим, как простым батракам, как жалким издольщикам? Когда человеку не за что уцепиться, он довольствуется попыткой к действию, самообманом. Крестьяне не раз предпочитали длительной засухе бурю, грозившую уничтожить их посевы. Она нарушала бесконечное мучительство злого рока, приходили другие беды, но небо уже не было таким синим, таким плоским, пустынным и унылым. Одна беда прогоняет другую. Но для того, чтобы в Ремамбрансе произошли перемены, надо было заронить искру в души людей. Вспыхнет ли эта искра? Если вспыхнет, пожар будет ужасен...

Богатые крестьяне и те отказались от своей всегдашней обособленности. Прежде они ждали, чтобы соседи первые подошли к ним, поздоровались, отдали им дань уважения, а теперь они сами подходили к мелким землевладельцам, смешивались с группами бедняков, понимая, что единственно правильный выход — это раствориться в массе людей, владеющих крошечными земельными наделами. Сколько клинков вонзилось в сердца людей! Главный жрец исчез; на месте древнего святилища дымились развалины! Смельчак Аристиль где-то скрывался или, избегая погони, бежал прочь от всей этой красоты — зелени, цветов, птиц! Издольщики уходили небольшими кучками куда глаза глядят. Аннаис, Алоис, Бурно, Симеон, Мари-Жанна и столько других брели по большой дороге, теряясь в облаках пыли и ослепительных лучах солнца; быть может, они навсегда простились с друзьями и теперь уносили с собой много дорогих сердцу воспоминаний!..

Лейтенант Эдгар Осмен все еще ездил верхом, расспрашивая прохожих. Поразительное дело, неужели среди обездоленных, несчастных крестьян не найдется ни одного человека, готового за хорошее вознаграждение дать начальству требуемые сведения? Но встречные отвечали в один голос, что они ничего не знают об Аристиле.

— Аристиль Дессен? Вы говорите, Аристиль?

И на лицах появлялось недоуменное выражение.

Ночь снова опустилась на землю, но старец словно не чувствовал прохлады, которая струилась отовсюду сквозь заросли маиса. Буа-д'Орм неподвижно лежал на спине. Он не пошевелился со вчерашнего дня. Загадочная улыбка застыла на его губах. Он жил какой-то странной жизнью. Казалось, он ничего не ощущал: ни маленьких красных муравьев, которые ползали по его ногам, ни назойливого стрекотания цикад, ни даже сильного, острого запаха бальзамина, росшего в нескольких шагах от него. Он лежал здесь со вчерашнего дня под сводом скло-

нившихся стеблей маиса, не ел, не пил, не испытывал никаких желаний и в полной неподвижности ждал смертного часа. В душе у него был ни с чем не сравнимый покой. Он даже не думал, нет, он угасал.

Жесткие листья шелестят, ударяясь друг о друга, синева небес становится все гуще, все темнее, зажигаются звезды, сперва бледные, потом серебристые. Звезды! Уйдет ли он в мир звезд? Будет ли парить высоко над землей, перелетая от созвездия к созвездию? Стоит ли там, во вселенной, тишина или слышится волшебная музыка? Почему боги не открывают людям с чистым сердцем непостижимого устройства этого сияющего мира, усеянного звездной пылью,— царства неземного покоя, величайшей гармонии, где нет ни желаний, ни грез, ни реальности, царства неизъяснимого блаженства?

— Я верю, лоасы!.. Я верю, господи! Я умираю, и я верю! Нет, я не сомневаюсь!.. Возможен ли рай, если сомнение остается в душе? Сомнение хуже всякого ада! И, однако, мы живем лишь потому, что постоянно, поминутно сомневаемся!.. Разве могла бы существовать мысль, не будь сомнения?.. Душа есть обиталище веры и сомнения! Какими мы становимся несчастными, растерянными, оставаясь наедине с собой в последнюю минуту!.. Дайте мне силу верить до конца, дайте мне силу смириться! Я должен верить! Я верю, потому что бездна небытия слишком ужасна, потому что вечная смерть кажется мне отвратительной, лоасы!.. Я верю, верю во все, чему меня учили, верю во все, что, кажется мне, я познал путем откровения. Я верю!..

Буа-д'Орму Летиро хотелось вступить живым в вечность, но он по-прежнему лежал, а часы текли. Звезды смотрели на землю насмешливым и сверкающим взглядом; вдали, на склонах холма, зажигались и гасли большие костры, словно горны соперничали со светилами, создавая искусственные солнца. Буа-д'Орм покончил счеты с жизнью, скоро ночь для него будет такой глубокой, что он потеряет всякое представление о мире и о себе самом.

Откуда-то донесся хор петушиных голосов. Вдруг ткань тишины поредела, распалась. Возможно, это была лишь иллюзия или шаги вестника смерти?.. Однако никто не появлялся. Буа-д'Орм не мог сказать в точности, когда его ухо уловило неясный шум. Звук был далекий, слабый, но слышался вполне явственно.

...Тэ-тэк, тэк, тэ-тэк!..

Тогда впервые за двое суток Буа-д'Орм пошевелился. Он напряг мускулы шеи и поднял голову. Глубоко вздохнул, почесал ногу. Барабан приближался:

...Тэ-тэк, тэк, тэ-тэк!..

Старец приподнялся на локтях и прислушался. Неужто опять они? Или это наваждение? Он сел. Жив он или умер?.. Надо было хорошенько порыться в далеком прошлом, чтобы всплыло воспоминание об этом звуке. Дело было сорок или пятьдесят лет тому назад, во время жестоких гражданских войн, раздиравших страну. Некий генерал Серафен Дюгазон, «оборотень», каких мало, забрал большую власть в здешних местах. Пришлось вести непримиримую борьбу с этим важным лицом, пособником дьявола и опасным колдуном. Как-то ночью, когда генерал Дюгазон вытворял на перекрестке свои коленца вместе с кучей других «шапоэлесов», Буа-д'Орм захватил его врасплох и благодаря своей гипнотической силе усыпил в сатанинской позе. Колдун, одетый в отвратительные лохмотья, простоял до полудня на голове со скрещенными в воздухе ногами. Весь народ мог видеть его. Когда же Буа-д'Орм пробудил генерала Дюгазона от гипнотического сна, тот удрал из Фон-Паризьена, и с тех пор здесь больше не появлялись ни он сам, ни иные «оборотни».

Барабан трещал теперь, не переставая, монотонно, неустанно, отрывисто, зловеще. Буа-д'Орм встал, шатаясь, и оперся на палку, чтобы не упасть. Он с силой вздохнул, сорвал пучок бальзамина, растер листья, понюхал их, взял в рот. Почувствовав себя бодрее, он двинулся на звук барабана.

■

После полуночи лейтенант Осмен решил наконец вернуться домой. Он обследовал все подозрительные хижины, расспросил всех встречных, а с наступлением темноты спрятался, чтобы вести наблюдение из засады. Аристиль Дессен как в воду канул, не удалось обнаружить ни малейшего его следа. Эдгар ехал верхом между сержантом Калепеном и окружным начальником Жозефом Буденом; лицо его осунулось, он дрожал от усталости и лихорадки. Жозеф Буден вскоре свернул в сторону. Тут ветер донес до всадников похоронный звук барабана. Остановив коня, сержант прислушался.

— Вы слышали, господин лейтенант?.. Надо поторопиться, а то мы увидим что-то страшное... Только святой угодник может нас спасти. Скорее, господин лейтенант!..

Они пришпорили коней. Зловещий стук барабана как будто несся отовсюду. Всадникам почудилось, что «оборотни» окружают их. Барабан звучал все отчетливее, заунывнее, назойливее.

Тэ-тэк, тэк, тэ-тэк! Тэ-тэк, тэк, тэ-тэк! Тэ-тэк, тэк, тэ-тэк!

Можно было подумать, что несколько барабанов бьют в унисон. Послышался неясный шепот. Вдруг грянула песня, подхваченная многими голосами:

Я не возьму девушки,
Отмеченной клювом орла,
Я не возьму добычи,
Отмеченной клювом орла!
Волчок!
Волчок!
Ударим по земле задом! Волчок!

Неожиданно перед всадниками вырос огромный боров и с быстротой молнии пересек дорогу.

— Аго! Господин лейтенант, нас окружают! Спасайся, кто может! Вперед!..

Хлестнув изо всех сил коня, сержант Калепен пустил его вскачь. После краткого колебания за ним последовал Эдгар, мертвенно-бледный, еле держась в седле. Проселочная дорога стала шире. За поворотом они увидали группу мужчин, одетых в короткие штаны, с голыми блестящими от масла торсами. Их лица были испещрены белыми значками и разводами, на голове каждого торчал странный колпак, надвинутый до самых глаз. Они плясали с остервенением. Барабан неистовствовал, яростные шквалы звуков чередовались с зловещими неравномерными паузами. «Шампоэлесы» плясали какой-то дикий танец и то передвигались быстрыми скачками, согнув колени, то внезапно останавливались и, вихляя бедрами, трясли раздутыми животами.

Я не возьму девушки,
Отмеченной клювом орла!

Плясуны подпрыгивали на один-два метра и раза два поворачивались в воздухе вокруг собственной оси:

Волчок!
Волчок!

Затем плюхались на землю.

Ударим по земле задом! Волчок!

Барабан трещал, не переставая.

Сержант Калепен яростно натянул поводья, его конь взвился на дыбы и, сделав полуоборот, стрелой понесся в противоположном направлении. Эдгар Осмен помчался вслед за сержантом, с трудом управляя лошадью одной рукой. Но всюду прыгали «оборотни», исполняя свой диковинный, мрачный танец. Встав на голову и широко раскинув руки, «маканда» медленно сдвигал и раздвигал ноги, словно ножки циркуля. Испуганные лошади неслись, сами не зная куда. Сержант пришпорил было коня и попытался вырваться, но тут обе лошади запутались в натянутой веревочной сети и рухнули на землю вместе с седоками. Эдгар упал на раненое плечо, громко вскрикнул и потерял сознание. Сержант тотчас же вскочил, стараясь высвободить ноги.

— Я сын великой Батала *! — крикнул он.

И, порывшись в кармане, что-то вытащил из него и высоко поднял над головой. Это был маленький амулет, состоявший из двух створок, между которыми лежала не то медаль, не то монета. Лицевая сторона обеих створок была покрыта невообразимой мазней. К сержанту тотчас же подбежали, помогли ему выпутаться из сети, взяли этот «пропуск» и, рассмотрев его, вернули владельцу.

— Убирайся! — сказал ему один из «маканда».— И запомни: глаза видят, но уста молчат! Прочь отсюда! Живей!

Сержант не заставил повторять этого дважды. Схватив лошадь под уздцы, он освободил ее от сети, вскочил в седло и тут же исчез. Тогда, приплясывая с демонической радостью, «оборотни» окружили неподвижное тело лейтенанта. Барабан буквально надрывался, повторяя:

Тэ-тэк, тэк, тэ-тэк!..

Звучал нелепый, грубый, неистовый, дикий гимн:

Я не возьму девушки,
Отмеченной клювом орла!
Волчок!
Волчок!

В этом зрелище было что-то бредовое, жуткое, неправдоподобное. Казалось, на всем, даже на небе, лежала печать шутовства, мерзости, чародейства и невежества. Эдгар Осмен зашевелился под опутавшей его сетью. Как из-под земли, вырос огромный бесформенный боров, который только что перебежал дорогу всадникам. Он приблизился к лейтенанту, понюхал его и обошел кругом. Остальные «маканда» отступили, ожидая, что будет. В эту минуту из заросли маисовых стеблей вышел Буа-д'Орм. Прежде чем колдуны заметили его, он уже оказался рядом с ними. Старик был вне себя от гнева. Он принялся колотить палкой по этому сборищу, и оно в беспорядке рассыпалось.

— Это я истинный сын бабушки Батала! — кричал Буа-д'Орм.

И он наносил удары направо и налево, пробираясь к лейтенанту, лежавшему рядом с боровом. Главный жрец набросился с дубинкой на странную свинью.

— Вылезай из своей шкуры, Данже Доссу! Вылезай, свинья! Пока в жилах Буа-д'Орма течет хоть капля крови, он не потерпит, чтобы ты разводил здесь всякую чертовщину со своими зловредными колдунами. Вылезай, Данже Доссу! Давай померяемся силами, если не трусишь.

* Пароль «шампоэлесов».

Наделенный в эту минуту необычайной мощью, Буа-д'Орм дубасил по мнимому животному, не давая ему ни пощады, ни передышки. Диковинный боров перевернулся на спину, его брюхо раскрылось, и из него вылез Данже Доссу. Он был избит, весь в поту, ноги и руки у него затекли от необычайных усилий, которые ему пришлось делать, чтобы поразить своих приверженцев.

— Подойди сюда, Данже Доссу! Подойди, и я докажу тебе, что ты лишь жалкое сатанинское отродье, лишенное всякой власти! Да, жалкое отродье, которое я заставлю плясать под свою дудку!.. Попробуй, померяйся силами с Буа-д'Ормом Летиро, если не трусишь!

■

Поединок состоялся на заре. Буа-д'Орм ждал колдуна на берегу реки Фон. Когда Данже Доссу появился, сразу стало заметно, что он идет с трудом, хотя и бодрится, а глаза его горят жаждой мести. Увидев главного жреца, он остановился. Буа-д'Орм сделал несколько шагов по направлению к нему.

— Выкинь всю ту мерзость, которую ты прячешь в своем мешке, Данже Доссу! Всю выкинь. Ты прекрасно знаешь, что такие штуки не имеют власти над Буа-д'Ормом Летиро, даже если он спит глубоким сном!..

Их глаза встретились, но Данже тут же опустил голову, ибо не мог выдержать взгляда главного жреца.

— Я бросил тебе вызов и хочу померяться силами с тобой,— продолжал старец.— Ты должен бороться со мной голыми руками!.. Обыкновенная речная вода рассудит нас... Неужели демоны, которым ты служишь, побоятся чистой, прозрачной воды? Подойди же ко мне, если не трусишь!..

Данже Доссу приблизился. Он колебался. Что придумал коварный старик, чтобы подчинить его своей воле? Каким оружием вздумал он одолеть молодого и сильного противника?

Буа-д'Орм подошел к Данже и отцепил алюминиевую кружку, которую тот носил на поясе. Затем наклонился и зачерпнул в нее воды. Старик выпрямился, с улыбкой стараясь поймать взгляд Данже Доссу. Он отпил полкружки и, незаметно окунув кончик бороды в воду, протянул кружку колдуну.

— Пей, если не трусишь... Выпей чистой речной воды из своей собственной кружки... Ну же, пей!..

Данже подошел к старику. Он внимательно наблюдал за всеми его движениями, но ничего подозрительного не увидел. Буа-д'Орм, очевидно, рассчитывал на свою гипнотическую силу, способную подчинить противника. Старик впился взглядом в глаза колдуна. Тот протянул руку и взял кружку, повертел ее, осмотрел со всех сторон.

— Ты конченый человек, Буа-д'Орм,— сказал он,— лоасы покинули тебя! Ремамбрансы больше не существует! Напрасно ты важничаешь передо мной!.. Я не боюсь тебя, Буа-д'Орм... Не боюсь твоих глаз! Тебе не убить Данже Доссу своим взглядом!.. Вот видишь, я пью, а ты готовься умереть!..

Данже решительно поднес кружку к губам, на секунду застыл в нерешительности, но тут же выпил всю оставшуюся воду до последней капли. Буа-д'Орм отступил на шаг. Вдруг глаза Данже налились кровью, он отбросил кружку, поднес скрюченную руку к горлу и сделал шаг вперед, готовясь прыгнуть на главного жреца. Тот отстранился, и Данже Доссу, промахнувшись, упал ничком с глухим стоном. Буа-д'Орм несколько секунд смотрел на колдуна, затем, подойдя к нему вплотную, на-

клонился и перевернул его на спину. Он расстегнул рубашку Данже и обнаружил маленькую лиловую ладанку, висевшую на черном шнуре. Буа-д'Орм оборвал шнурок.

Лицо Данже Доссу было зеленовато-бледным. Однако он еще не умер. Он с трудом поднял голову, попытался произнести какие-то слова, но они застряли у него в горле. Голова колдуна запрокинулась. Все было кончено. Бросив последний взгляд на труп, лежавший на берегу реки, Буа-д'Орм кинул амулет в воду, медленно огляделся, с глубокой грустью всматриваясь в знакомые места, и направился к маисовому полю святилища.

■

На следующий день после гибели Ремамбрансы отец Диожен Осмен почувствовал себя плохо, и ему пришлось остаться дома. Состояние больного все ухудшалось. Стоило ему приподняться, как начиналась невыносимая головная боль. Появилась лихорадка с частыми приступами и высокой температурой, хотя Диожен дрожал от озноба и возбужденно требовал, чтобы ему принесли все одеяла, какие имелись в доме. Когда же его укрывали потеплее, он отбивался, кричал и бранил несчастную Амелию Лестаж, упрекая ее за нерадивость. Вскоре начался бред, и больной стал метаться. Спешно вызвали доктора Флоранселя, тот взял на исследование кровь, прописал пациенту лед на голову, хину, пирамидон и сделал ему вспрыскивание. Лишь после этого Диожен затих, а потом погрузился в беспокойный сон, прерываемый хриплым бормотанием и стонами.

Несколько часов спустя Диожен открыл глаза и уставился в потолок. По-видимому, он не узнал свою сиделку Эфонизу Фонтен, не узнал даже мать, которая ждала у его изголовья, когда он проснется. Он вел себя спокойнее, хотя и продолжал бредить. Температура все еще была высокой. С полудня он стал метаться в постели, замирал на мгновение, обводя комнату бессмысленным взглядом, затем вновь начинал метаться. Прошел день, миновала ночь, ему не стало лучше. Опять повторился нервный припадок, испугавший добровольных сиделок, однако припадок удалось прервать благодаря новому вспрыскиванию. Больной понемногу успокоился. и на рассвете, после обильного мочеиспускания — он не мочился тридцать шесть часов — впал в забытье.

Наутро опять пришел врач и сообщил о результатах исследования, сказав, что всякая возможность малярии исключается. Леони даже не взглянула на врача, она, казалось, совсем отупела от горя и лишь с трудом повторяла слова молитв вслед за двумя благочестивыми соседками. Расспрашивать его стала Эфониза Фонтен. Он заговорил о воспалении мозга и произнес целый монолог о чудодейственном препарате под названием пенициллин, который, к сожалению, еще не поступил в продажу. Леони, по-видимому, совершенно не интересовали ни лекарства, ни медицина. Для нее борьба шла не на земле, а на небе. Что могли сделать люди против воли невидимых, против незримых сил воздуха и неба? Если Диожену станет лучше, надо поскорее увезти его отсюда, вырвать из-под власти тех, кто желает ему зла. Только одна эта мысль и занимала Леони.

Гнетущая тишина нависла над домом священника и над соседними домами. В представлении простых людей болезнь отца Осмена была результатом поединка между двумя кланами небесного Олимпа: боги родной земли пришли в столкновение с богами и святыми угодниками белых. Люди избегали проходить мимо дома священника из боязни пострадать при схватке враждующих небесных ратей, которые, вероятно, жестоко сражались над крышей этого дома и поблизости от него, оспаривая друг

у друга власть. Все слуги отца Осмена разбежались, сам Бардиналь дал тягу. За исключением последних верных друзей, Эфонизы Фонтен и Амелии Лестаж, скользивших, как тени, по старому зданию, по двору и пристройкам, у больного бывал только доктор Флорансель, настроенный еще более вольтерьянски и иронически, чем обычно, и выполнявший свои врачебные обязанности лишь по привычке — он не очень-то верил в науку. Однако врач с состраданием посматривал на мать, терпевшую муку мученическую у изголовья своего сына... Перепуганные обитатели Фон-Паризьена с нетерпением ждали рокового исхода. Смерть Диожена Осмена всем принесла бы облегчение, ведь она показала бы, что неумолимые лоасы добились возмездия. Но пока священник хрипит за окном своей спальни, слепая ярость небес угрожает всему населению. После этой искупительной жертвы жизнь потечет по-прежнему, и люди будут рассказывать своим детям трагическую историю преподобного отца Осмена.

Прошел еще день, жар спал, но больной не поправился. Диожен почти не разговаривал, даже не отвечал матери. Вечером он встал, несмотря на уговоры и мольбы окружавших, и сел, съежившись, в большое глубокое кресло против окна. Он вздрагивал при малейшем шорохе, уныло смотрел на далекие горы, покрытые курчавыми деревьями и лиловыми туманами, и чуть слышно шептал какие-то непонятные слова, углубившись, уйдя в себя, совершенно равнодушный ко всему окружающему.

Флорансель заявил, что, пожалуй, ничего больше не может сделать. Он посоветовал обратиться к специалисту и сказал без обиняков, что, по его мнению, больной испытал тяжелое нравственное потрясение. Болезнь грозит затянуться... Быть может, следовало бы увезти Диожена в деревню, подальше от людей, в какой-нибудь уединенный уголок, где много воздуха, тишина... При этих словах Леони словно ожила, выйдя из состояния прострации; она сорвалась с места, захлопотала и принялась поспешно укладывать вещи. Ей хотелось немедленно уехать из этого проклятого прихода, погубившего здоровье ее сына. До сих пор Леони не плакала, но тут слезы ручьем полились из ее глаз, порожденные инстинктом самосохранения, заложенным в человеческом сердце. Воля к борьбе, как гейзер, прорвалась сквозь ледяную кору, сковавшую ее душу... Даже если придется продать все, что у нее есть, и остаться в одной рубашке, она добьется выздоровления Диожена.

■

Крестьяне не были выселены в назначенный день. После двух суток томительного ожидания дети Ремамбрансы стали надеяться на помощь свыше, благодаря которой они получат хотя бы отсрочку. Неизменный оптимизм гаитянских крестьян восторжествовал над страхом. Люди отправились в город за новостями, но толком ничего не узнали. И все же языки развязались, каждому хотелось высказать свое мнение. В конце концов четверо или пятеро заядлых работяг отправились в поле... Шарлеус подумал, что он еще успеет выкопать несколько корзин батат; Адальбер решил поставить силки и наловить цесарок; одни крестьяне намеревались накосить травы для корма скота, другие надеялись, что у них еще хватит времени собрать урожай с ягодного лавра, златоплодника и других плодовых деревьев. То тут, то там вновь зазвучал смех. Дочь госпожи Шериссон улыбнулась соседскому сыну. Несколько влюбленных пар взялись за руки, потом перешли к поцелуям и вновь предались наслаждениям в прохладных рощах и благоуханных кустарниках. Как-то под вечер, возле пламенеющего дерева, которое так любят болтушки-сороки, послышался робкий звук тамбурина.

Парни нерешительно приблизились к тому месту, где музыкант отважился наигрывать зажигательную «махи»,. Они окружили его и, присев на корточки, стали покачивать в такт музыке головами. Когда же под пальцами музыканта зазвучал мотив «конго-ларижель», в вечернее небо взмыла песня. Какая-то девушка подозвала взглядом легконогого парня. И, трепетно обнявшись, они унеслись в танце.

На западе древнее солнце опустилось на ложе разноцветных облаков, а с востока уже спешила ночь, окутывая синим сумраком природу, развеселившуюся от бодрых звуков тамбурина. Пляшите, братья! Попирайте ногами горькое, тупое, бесцветное, вязкое уныние! Творите радость даже в пучине скорби, пусть голод и любовь вновь пробудятся в ваших поникших телах. Голод и любовь — вот два сосца, питающие жизнь, но человек может сознательно возродить свое сердце благодаря источникам радости, которые он сам создал... Переплетаются спирали звуков и ритмов, могучая поэзия колыхающихся в танце человеческих тел вносит разброд в штурмовые колонны несчастья; волшебство красок, колдовские чары воспоминаний и всесильная вера в чудеса земли рассеивают безнадежность... Танцуйте же, братья! Веселитесь, стряхните иней, осевший на вашей душе, танцуйте и возвращайтесь к жизни.

Ночь, крадучись, пришла в озерный край, затем отступила перед ослепительным сиянием утра. Крестьяне договорились убрать в этот день маленький погост, на котором покоились их близкие: вырвать буйные травы, вскормленные прахом усопших, убрать камни и песок, нанесенные потоками воды в пору дождей, вымыть прямоугольные надгробные плиты и побелить их известкой. Никто не знал, надолго ли будет заброшено маленькое сельское кладбище, сколько времени останутся покойники под пятою пришельцев! Почет предкам! Почет мертвым! Невидимые окружают нас, говорили крестьяне, они следят за нами, все знают и карают грешников.

— Не так давно,— уверял кто-то,— невидимые убили у меня корову!.. И, знаете, из-за пустяков! Я забыл зажечь свечу на могиле тех, кто дал мне землю и жизнь...

— Почет мертвым! — отвечает другой.— Воздавая им честь, мы знаем, что и сами не совсем умрем.

Почет мертвым, говорю я, ибо это свидетельствует о нерушимой связи между старыми и новыми ценностями. Почет мертвым, ибо это единственный залог, что любая страна сохранит, несмотря на перемены, преемственность, без которой нет ни племени, ни народа, ни человечества. Почет мертвым!..

Крестьяне передали властям межевые планы, купчие крепости, метрические свидетельства и прочие документы, чтобы получить возмещение за отнятые земли. Что бы ни случилось, у подлинных хозяев останутся на погосте мертвые, которые будут охранять владения живых и благословлять изгнанников. Крестьяне верили в это от всей души. Помогите нам, дорогие усопшие! Маленькое сельское кладбище полно народа и жизни, мачете блещут над каменистой почвой, могильные плиты возникают из зеленой оболочки трав и кустов. От известкового раствора идет резкий неприятный запах, горят свечи небеленого воска, и на могилах вырастают горы цветов. Почет мертвым! Люди работают наперегонки, тесными рядами и поют, не умолкая.

В ту минуту, когда крестьяне меньше всего ожидали этого, прибежал со всех ног запыхавшийся мальчонка и поднял тревогу: шесть бульдозеров двигаются по пыльной дороге, оставляя за собой зубчатые следы гусеничной цепи. Они уже проехали рощицу желтых бамбуков возле хижины Жюстена Корбейя и теперь идут прямо на деревню. Все бросились домой. Прибежавшие первыми остановились как вкопанные. Под наблюдением лейтенанта Осмена, окруженного несколькими «мерика-

нами» и взводом жандармов, бульдозеры уже крушили деревенские хижины. Крестьяне кинулись было вперед.

— Стой! — крикнул лейтенант.— Ни с места! Вас предупреждали еще четыре дня назад! Вам давно следовало вытряхнуться отсюда. Назад, или я прикажу отшвырнуть вас!

Жандармы уже двинулись на них с ружьями наперевес. Крестьяне отпрянули. Затем, помедлив немного, они поспешили к своим домам, чтобы спасти то, что еще можно было спасти.

После бульдозеров не остается ничего, ровным счетом ничего — лишь пыль каменной кладки, расплющенные вязанки камыша, покрывавшие крышу, да смятый, разметанный по земле золотистый сноп, украшавший верхушку кровли. Не остается ничего, слышится только отчаянный вопль — это люди прощаются со своим гнездом; вопль долго звучит в воздухе, замирает и возрождается то там, то тут, при каждом разрушенном доме. Не смолкает одышливый кашель машин, дьявольский грохот хижин, дрожащих в предсмертных судорогах, треск деревьев, карканье каосов, летающих над деревней, испуганное ржание взвивавшегося на дыбы коня, лай собак, зловещий хруст столбов, на которых недавно покачивались маисовые гуаны*. Машины опьянели. Они мечутся от одной группы хижин к другой. Они крушат надежды, распыляют давнишние грезы людей, уничтожают плоды терпеливых усилий трех, четырех поколений, обрывают красные венчики бугенвилии, распустившейся этой весной... Машины уходят, оставляя за собой развалины, пепел, гнев... Как много горя. Как много-много горя! Вы сему свидетели, земля и небо, зеленые пальмы и кактусы, золотые огни солнца!.. Чтобы не видеть больше бульдозеров, семьи торопливо тащатся по дороге с поклажей на спине, как муравьи. Другие цепляются, точно наседки, за свои разрушенные гнезда, и жандармы гонят несчастных прочь ударами прикладов.

Шантерель, подруга Шаванна Жан-Жиля, легла перед бульдозером. Старуха Клемезина Дьебальфей словно с ума сошла: она в гневе стала топать ногами и хотела броситься на белых. С трудом удалось усмирить ее. Мельвиль Лароз, музыкант, игравший на тамбурине, застыл в неподвижности, похожий на бронзовое изваяние, а из глаз его лились безмолвные слезы. Жуаез Питу, окруженная своей грязной орущей детворой, вопила, пока не охрипла, и тут же от отчаяния и усталости свалилась на землю. В наступившей неразберихе одни семьи уходили куда-то по дороге, другие сидели на развалинах своего дома и, казалось, ничего не понимали, третьи бесцельно бродили по окрестностям.

Когда бульдозеры направились к хижине генерала Мирасена, оказалось, что хозяин стоит посреди двора, держа в руках свое охотничье ружье. Перед этим он велел уйти всем своим домашним. Бульдозеры остановились. Вызвали лейтенанта. Он тут же прибежал и отдал приказ жандармам. Приложив ружье к плечу, генерал Мирасен ждал. Жандармы, пригнувшись к земле, повели на него наступление. Эдгар Осмен шел впереди с револьвером в руке; время от времени он останавливался и кричал старику:

— Бросьте ружье! Всякое сопротивление бесполезно! Бросьте ружье, говорят вам. Приказываю вам во имя закона!..

Генерал Мирасен выпрямился во весь рост и тщательно целился, прижавшись щекой к прикладу.

— Бросьте ружье...

Грянул выстрел, и лейтенант не успел закончить начатой фразы. Он дико вскрикнул и рухнул на спину. Поставив ружье на землю, генерал

---

* Большие связки маисовых початков, которые принято вешать на деревья или на столбы возле дома.

Мирасен торопливо перекрестился, вложил дуло себе в рот и снова выстрелил.

■

Гонаибо неслышно вошел в свою хижину. Остановившись на миг, он посмотрел на светлое пятно в углу. Там, скорчившись на циновке, тревожно спала Гармониза. Над ее головой рой неугомонных комаров выделывал фигуры высшего пилотажа. Она дергалась, встряхивала волосами, гримасничала, пытаясь прогнать их. Гонаибо подошел и, тихонько ударяя в ладони, учинил целое побоище комаров. Эти негромкие хлопки вызвали у спящей бессознательную реакцию: она забеспокоилась и резким движением повернулась лицом к стене. Почти все комары были перебиты, уцелел один или два. Все же Гонаибо вышел из хижины, сорвал несколько листьев бальзамина и, вернувшись, растер их между пальцами. По комнате разлился сильный, одуряющий, сладкий запах. Гонаибо положил смятые листья возле головы Гармонизы и вытянулся рядом с ней. Несмотря на избавление от комаров, Гармониза никак не могла успокоиться. Свернувшись в комочек, она, казалось, что-то напевала про себя, но слезы подступали у нее к горлу, и песня походила на рыдание. Очевидно, Гармонизу постигло большое горе. Гонаибо осторожно положил руку на ее плечо. Она замолчала, затем возобновила свою прерывистую жалобу, но только гише и глуше.

Гонаибо не хотелось спать. Он смотрел на балки соломенной крыши и размышлял. Да, все кончено. Упрямиться было бы безумием... Надо уходить. Но он никак не мог решиться на это. Ночью он, сам не свой, обошел все окрестности. Сумрак, посеребренный лунным светом, затерявшаяся в ночи лошадь, сады, опустошенные бульдозерами, похотливые и злобные вопли диких кошек, чуть слышный бег мангуст, спешащих на покинутые поля, семьи изгнанников, уснувшие под деревом, среди развалин, горбатые, взъерошенные, потрескавшиеся, облезлые холмы, шершавое прикосновение ветра, неумолчные шорохи ночной жизни, голос молчания, короткий разговор, оборвавшийся на полуслове в опустевшей деревне,— вот что запало ему в душу в эту злополучную ночь. Завтра здесь уже никого не останется, только сельскохозяйственные машины будут с хриплой одышкой работать на завоеванных просторах.

Гонаибо молча страдал. От страха у него мурашки бегали по спине. Неизвестность надвигалась со всех сторон. Через какие-нибудь десять минут придется встать и идти навстречу будущему. Впереди нет ничего, кроме густого тумана. Ни одного просвета, ни одного огонька, предупреждающего об опасностях на дороге в грядущее. Ничего, кроме детского сердца и двух сильных рук. Да, мужество — его единственная опора. Но достаточно ли одной душевной силы, чтобы совладать с водоворотом жизни?

Гармониза пошевелилась, голова ее упала на плечо Гонаибо, и девочка доверчиво прижалась к нему, сразу успокоившись. Она удивленно открыла глаза:

— Как, это ты?.. Ты вернулся?..

Рука Гонаибо легла на ее грудь, пальцы скользнули по упругим округлостям. Гармониза приподнялась на локте, заглянула ему в глаза. Он отвернулся.

— Лейтенант тяжело ранен...— начал он.— Говорят, его отвезли на медицинский пункт Компании, в лесу. Быть может, его и спасут... Белые люди все захватили... все... Разрушили дома, и жители уходят куда глаза глядят... Белые, видно, хотят все забрать сразу...

— Ты нашел отца Буа-д'Орма? — спросила она.

Он взял обе руки Гармонизы, с силой сжал их.

— ...Да, я видел его...— сказал он, обняв подругу за плечи.— Я разыскал его... На маисовом поле святилища. Он лежал среди зелени и как будто улыбался. Вытянулся и стал большим-большим, просто огромным, ведь я всегда видел его согбенным... Я вырыл могилу у подножия высокой секвойи и похоронил его. Лучше места не найти. Он отжил свой век. Он съел свою меру соли. Ему хорошо, он покоится в прохладной земле. Он наконец отдыхает. Он станет цветком, бабочкой, облаком, росой, дождем, нивой, он счастлив... Нет. Не надо дрожать, Гармониза... Не надо плакать... Выпрямись... Вставай, пойдем! Час настал. Пора уходить. Небо уже светлеет. Шелестит предрассветный ветер... Вставай, Гармониза, идем со мной...

Гонаибо нагнулся, поднял туго набитый мешок, приладил крест-накрест лямки на голом торсе, а мешок перекинул за спину. Потом помог Гармонизе встать... Если бы слезы могли воскрешать мертвых, внучка Буа-д'Орма никогда не поднялась бы — рыдала бы до тех пор, пока не выплакала глаза. Но мертвые не оживают... Она сделала шаг, опираясь всей тяжестью на руку друга, дошла, шатаясь, до двери и переступила порог. По мере того как Гармониза шла вперед, она выпрямлялась, она уже не висела на руке Гонаибо. И ей было так странно, что покой проникает в ее сердце. Скорбь сменилась смутной тревогой, ускорявшей движение крови. Гармониза была дочерью народа, у которого смерть вызывает непреодолимую потребность славить жизнь торжественными песнями и плясками, и она твердым шагом шла по росе. Раз, два! Раз, два! Иди навстречу жизни! Раз, два! Иди в горы, которые ждут тебя! Перед ней в траве блеснула зеленая искорка — зажег свой фонарик ротозей-светлячок. Гармониза выпустила руку Гонаибо и наклонилась, чтобы поймать светлячка. Яростно взмахнув крылышками, он ускользнул от нее, Гонаибо бросился за ним вдогонку. Гармониза побежала вслед за юношей.

Минуту спустя их смех уже звенел, светлый, звонкий. Гонаибо, обернувшись, улыбнулся ей. Они взялись за руки, и, перепрыгивая через кочки, направились прямо к конусообразной вершине, прикрытой шапкой лиловых облаков, к высокой вершине — царице гаитянских гор, по склонам которой растет поющий лес.

XVI

Преподобный отец Диожен Осмен, одетый в белую рубашку и синие штаны, идет босиком, с непокрытой головой, по поющему лесу и что-то бессвязно бормочет. Обманув бдительный надзор Леони, он направляется под сенью деревьев к своему любимому месту, откуда часами смотрит вниз, на долину. Он идет колеблющейся, неровной походкой, вздрагивает и останавливается при каждом шорохе — упадет ли сосновая шишка, ударяясь о ветви, треснет ли сухой сучок, зашелестит ли трава под ногами убегающего животного, прожужжит ли насекомое. Затем снова пускается в путь. Он идет, идет все дальше... Ветер пробирается между шероховатыми стволами, и лес непрерывно гудит. Лес похож на огромный многоголосый орган. Каждое дерево-великан звучит на свой лад, каждая сосна — одна из труб необычайного музыкального инструмента. Горный ветер пробегает по рядам регистра, меняя высоту и тембр звука, яростно нажимает на педали, множит мелодии. Столетние сосны важно покачиваются и машут своими мохнатыми ветвями. Они поют на всевозможные голоса и бесконечно разнообразят оттенки звуков. Диожен наклоняется к земле, где на гниющем пне растет семейство мелких душистых грибов джон-джонов. Он садится на корточки и дружески разглядывает эти черные грибки, которые налезают друг на друга, чтобы пробиться к свету, столь скудному в лесной чаще. Диожен гладит грибы,

слегка прикасаясь к ним рукой, и смотрит на них пристальным, пустым взглядом. Он так осторожно дотрагивается до бархатистых шляпок, что даже капельки росы остаются на них. Как не чтить растения? Ведь в природе лишь они одни уважают жизнь.

Перед ним на земле лежат травинки, сухие иглы, зеленые иглы, бежит муравей, виднеется ямка, торчит кочка. Грибы смеются всеми своими серебристыми спорами. Козявка в черном нагруднике и с парой красных крылышек трепещет от ненависти при виде липкого неповоротливого земляного червя. Жажда убийства — эта зеленая плесень — пристала к лапкам хищного жука-богомола. Отделайся от этой плесени, букашка!.. Стряхни ее со своих лапок!.. Рыжий муравей лезет, словно пьяный, по утыканной шипами веточке. Сороконожка пробирается среди тех же копьевидных колючек! Спеши навстречу блаженной смерти, сороконогое страшилище, прими удар копья и мученическую кончину святого Себастьяна!.. Надо уронить слезу в каждый раскрывшийся цветок ночной красавицы. Цикада убивает, она убивает своим пронзительным криком всех крошечных крылатых насекомых, пролетающих поблизости от нее. Лесная земляника роняет свои ягоды, словно капельки крови. У самой земли из елового пня торчит большой коричневатый гриб — «бычий язык». Каждая пядь земли, каждый крошечный, с ладонь, кусочек леса подобен джунглям.

— Диожен!

Голос прозвучал резко, как удар хлыста.

— Диожен!.. Где ты? Вернись, Диожен!..

Нет, это кричат не грибы, не рыжие муравьи, не цикады. Голос Леони разносится по лесу, погруженному в молитву.

Диожен вздрагивает и бросается бежать в сторону, противоположную той, откуда доносится призыв. Музыка леса постепенно поглощает голос Леони. Фуга звучит, нарастая,— все новые и новые деревья присоединяются к хору, звуки взмывают вверх, ширятся, гаснут, затем возрождаются и снова замирают, перейдя в почти человеческий шепот лесных великанов. Отовсюду несется бесконечная прерывистая жалоба:

— Аа, аа, аа!..

Стенайте, деревья, пойте! Расцвечивайте свою мелодию, машите ветвями! Диожен удаляется быстрым шагом, его босые ноги неслышно ступают по сосновым иглам. Он останавливается и долго слушает кантату леса. Идет и опять останавливается. Там, на нижней ветке дерева, висит рой пчел. Огромный золотистый шар дрожит мелкой дрожью, и вдруг рой разлетается, пчелы исчезают в густых зарослях ежевики.

Эвридика умерла,— поет лес, но улыбка Эвридики будет жить вечно, и каждое дерево служит убежищем для ее нимф. Сопрано, контральто и меццо-сопрано звучат все громче, торжественно воспевая драму жизни и смерти. Аристей, не желая того, убил невинную Эвридику!.. Диожен спасается бегством от проклятий, которые падают на его больную голову и камнем ложатся на смятенное сердце. Он бежит прочь, но, неожиданно обернувшись, видит куст, покрытый черными ягодами ежевики. Вдруг раздается властный призыв божественного Протея:

— Аристей!.. Сын светлоокого Аполлона!..

Пчелы появляются над кустом ежевики. Они вылетают отовсюду и исчезают высоко в небе. Скорбные голоса неожиданно замирают, и слышится только мелодичный шепот леса. Деревья разговаривают между собой на языке музыки. Ничто в природе не остается равнодушным к этому странному концерту исполинов, которые уходят корнями в недра родной земли. Диожену лес кажется неведомым до сих пор миром, средоточием сил природы, породивших всех людей и всех богов. Сумасшедший идет обратно. Он направляется к кусту ежемики и ест сочные освежающие ягоды. Где найти дерево, поющее низким мужским голосом?

Дерево, обладающее тайной вечного обновления? Где ты, божественный Протей?..

Диожен бродит по лесу во власти демонов своего больного рассудка. Он идет наугад, натыкается на деревья. Он обхватывает стволы руками, трется об их шершавую кору. Где найти дерево, знающее тайну вечного обновления, дерево, которое засыхает и тут же вновь начинает зеленеть? Где растет дерево-жертвенник, в котором скрывается божественный Протей? Какое дерево вернет покой преподобному Диожену Осмену?

— Диожен!..

Он вздрагивает, услышав голос Леони, которая ищет его по лесу. Он бежит прочь от этого голоса. Бежит в поисках одиночества, единственного друга, не внушающего ему страха. Как будто одиночество действительно существует!..

Диожен сидит на том месте, откуда открывается вид на долину Кюль-де-Сак. Внизу разбросаны деревни, поселки, а дальше сверкают лазурные озера, зеленеют агавы и изумрудные плантации бананов; до него доносится и удушливый запах сожженных посевов и хмельной аромат сахарного тростника. Вдоль морского берега тащится поезд, похожий на черную сколопендру. Диожен бормочет бессвязные слова, смотрит и ничего не слышит, слушает и не видит — ни криков людей за работой, ни их смеха, ни их усилий...

На узенькой тропинке появляется юная пара. Гонаибо и Гармониза бегут друг за другом, приближаясь к священнику, который сидит к ним спиной и грезит наяву. Они сходят с тропинки, чтобы поглядеть на человека с пустыми глазами. Он словно не замечает их. Гонаибо и Гармониза изумленно смотрят на него. Неожиданно священник отвечает на их взгляд. Он дрожит всем телом, лицо его становится осмысленным. Но тут появляется старуха в широком платье из сурового полотна, какие носят кающиеся грешницы. Диожен встает перед матерью. До чего же старой стала Леони Осмен! На плечи у нее наброшена черная шаль, на голове она носит белый тюрбан, а на голых ногах — грубые коричневые сандалии. Несмотря на глубокие морщины, которые горе, как резцом, провело по ее лицу, оно запечатлено выражением отчаянного упорства. Рот с опущенными уголками по-прежнему упрямо сжат, глаза горят лихорадочным беспокойным огнем.

— Ну, пойдем, Диожен... Пойдем!

Леони берет сына за руку. Он бросает последний взгляд на Гонаибо и Гармонизу и послушно следует за матерью. Юная пара смотрит им вслед, пока они не исчезают из виду.

С тех пор Диожен постоянно убегает из своего уединенного домика и скитается по лесам. Вновь и вновь идет он среди деревьев-музыкантов, бродит днем, бродит ночью. Протекут годы, и если жители поющего леса поведают людям когда-нибудь — скажем, через сто лет,— что в Сосновом бору блуждает привидение, значит, Диожен Осмен все еще не нашел покоя и обречен вечно искать мира без надежды, что мир войдет в его истерзанное сердце. Леони часто преклоняет колена перед белой надгробной плитой, оплакивая своего покойного сына Эдгара. Концы ее длинной черной шали развеваются по ветру, и кажется ночью, будто огромный вампир распростер крылья над одинокой могилой, затерявшейся в лесу. Порывистый ветер иногда подхватывает и уносит вдаль листки писем, которые еще посылает матери Карл Осмен, отмечая вехи своей блестящей политической карьеры.

■

Вершины сосен качались высоко в небе. Сосны гудели, наполняя сияющий день мрачной мелодией. Гонаибо и Гармониза шли по тропе, держась за руки, и слушали мощный голос Соснового бора. Порой они

пускались бежать или мимоходом пригоршнями рвали землянику и сочные ягоды ежевики. Тропинка ведет в самую чащу бора. Вдруг они останавливаются, пораженные чудом, открывшимся их глазам. Впереди расстилается многоцветный ковер диких орхидей. Каких тут только нет оттенков и форм! Орхидеи одна другой лучше: однотонные, полосатые, с винтообразными тычинками, с загнутыми, плоскими или курчавыми лепестками, с прищуренными улыбающимися глазами, с алым полуоткрытым ртом и белыми, как слоновая кость, зубками.

Давно ли юная чета чувствовала себя подавленной, печальной. Хотя молодая кровь играла в их жилах, хотя им хотелось вприпрыжку бежать по тропинке, на сердце была гнетущая тяжесть. И вот лес разогнал страх, тревогу, грусть. Деревья зовут их, кусты удерживают цепкими шипами и предлагают свою дружбу. Ни с чем не сравнимая музыка сосен, красота лесных орхидей, свежесть травы — все это неудержимо влечет их. Приходится пересиливать себя, чтобы избежать колдовских чар природы. Они продолжают свой путь, а над их головами звучит неумолчная песнь леса. Они идут, крепко держась за руки. Птицы тоже вступают в хор и перекликаются с деревьями-музыкантами. Гонаибо и Гармониза невольно замедляют шаг. Лес редеет. От неожиданного зрелища у них сжимается сердце. Длинные надрезы бороздят стволы сосен, и смола, словно кровь, ручьями стекает к земле. Деревья уже не поют, они только шепчутся чуть слышно. Здесь побывали люди.

Страх овладевает Гармонизой при виде раненых деревьев. Разве эти деревья не божественны? Кто смеет калечить живых богов?

— Все в мире божественно,— отвечает Гонаибо.— Дождь, времена года, камни, растения, звери и люди... Но человек первый среди богов!.. Постепенно мы проникнем в тайны тех богов, которые нас еще угнетают. Не надо бояться ни одной силы в мире!

При этих словах он снимает с шеи тонкую золотую цепочку, которую ему дал старик Буа-д'Орм Летиро.

— Возьми ее,— говорит он.— Это тебе надлежит ее носить. Быть может, она тебе понадобится... А мне нужна только моя собственная сила...

Гармониза смотрит на него глазами, полными слез. Она берет цепочку и на миг кладет голову на плечо своего друга. Гонаибо — юный бог, и скоро он целиком заполонит душу молодой женщины, не оставив в ней места даже для лоасов ее предков!

И вот оба бегут дальше по лесу, и снова сосны начинают петь.

Добравшись до широкой просеки, они остановились, озадаченные. Слева идут, не таясь, лесорубы с топором на плече. Среди них есть люди, которые еще совсем недавно были крестьянами, это ясно видно по их походке... Лесорубы нападают на деревья, топоры вгрызаются в плоть сосен. Течет красная смола, и деревья долго-долго вздрагивают, продолжая петь до тех пор, пока не упадут. Неужели эти рабочие, выстроившиеся полукругом, не боятся исполинских деревьев — богов растительного мира? Разве им неведом страх? Неужто они непобедимы?..

Гонаибо приставляет ко рту сложенные рупором руки и кричит изо всех сил:

— Кар-ме-ло!..

Люди оборачиваются, прислушиваются. Один из них отделяется от группы рабочих. Он приветливо машет рукой:

— Гонаибо!.. Иди сюда!.. Иди к нам!.. Я ждал тебя!..

Обняв за плечи подругу, Гонаибо увлекает ее за собой. Охмелевшие сосны исполняют все ту же фугу. Весь лес поет. Время от времени деревья-музыканты падают, но голос леса остается таким же мощным. Жизнь начинается.

НАСЕЛЕННЫЙ КОСМОС?

Вместо предисловия

В прошлые века человек надменно считал себя единственным во Вселенной разумным существом, подобным богу.

Джордано Бруно, осмелившийся мыслить иначе, был сожжен на Площади Цветов в Риме более трехсот лет назад...

Он первый вслух сказал, что звезды — это миры во всем многообразии их форм и жизни...

И разумной жизни?

Наука долго отворачивалась от таких вопросов.

Среди космогонических теорий, объясняющих происхождение солнечной системы, преобладали тенденции «исключительности». Неповторимым считалось возникновение нашей планеты. И жизнь на Земле, увенчанная разумом человека, принималась как единственное исключение во всей Вселенной.

О селенитах или марсианах говорили и писали голько фантасты, свободные и «безответственные»... Но фантазия — зеркало действительности. Удивительные открытия неожиданных форм жизни в самых различных условиях: в глубинах вод, во тьме пещер, в разреженнной атмосфере; появление теории Дарвина, материалистически стройно представившей эволюцию развития всего живого; высказывание Энгельса в «Диалектике природы» о том, что жизнь возникает всюду, где условия благоприятствуют этому, а раз возникнув, будет развиваться, пока не породит племя мыслящих существ, через которых Природа познает самоё себя,— заставили взглянуть на небо иначе.

Неужели в звездной бездне, где звездам нет счета, а бездне — дна, как говорил Ломоносов, есть кто-то всматривающийся в тусклую звездочку нашего Солнца, мечтающий о братьях по Разуму?

Современная наука подходит к этому вопросу во всеоружии знания. Ныне астрономы уже не сомневаются в существовании планетных систем у звезд. Очевидно, планеты — не исключение, а естественная форма развития звезды.

Академик В. Г. Фесенков, убежденный противник существования развитой жизни на ближайших планетах, делает интересный подсчет возможного числа населенных миров. Если считать, что лишь одна звезда из миллиона имеет хотя бы одну планету, условия которой сходны с земными, то уже в нашей Галактике (а таких в обозримой части космоса множество!)возможно развитие жизни на ста пятидесяти тысячах миров. Можно добавить, что по теории вероятностей на половине этих миров жизнь еще не достигла уровня земного развития, но на другой половине пошла дальше, в том числе и по культуре разумных существ.

В последнее время ученые поправляют В. Г. Фесенкова, увеличивая предполагаемое число населенных миров в Галактике до миллиона.

Миллион цивилизаций, уже освоивших космос, изучающих Вселенную не только визуально, но, быть может, и путем непосредственных контактов?

Неужели звездные исследователи долетали и до нас, побывали на Земле?

Скептики приводят выводы той же теории вероятностей — одно такое посещение приходится на 800 миллионов земных лет, но...

Уже летают в космосе наши автоматические межпланетные станции: «Мечта», ставшая десятым спутником Солнца: полетевшая к Венере межпланетная станция, в которую были заложены вымпелы с символами, понятными любой разумной расе Вселенной,— схемой солнечной системы и макетом планеты Земля... Фантазия отражает действительность, ее чаяния и мечты.

Уже замкнули кольцо вокруг Земли советские космические корабли, пилотируемые Гагариным и Титовым,— лучшее доказательство того, что «сказка становится былью». Успешно закончился орбитальный полет американского космонавта Джона Гленна.

За последнее время все больше писателей и ученых заглядывают в историю человечества, изучают рукописи и памятники материальной культуры. Они склоняются к мнению, что некоторые факты и тексты свидетельствуют о контактах инопланетной цивилизации с Землей.

Этим поискам посвятил свой рассказ «Трое с Сириуса» румынский писатель Раду Нор.

Окрыленные успехами Советской страны, первой пославшей своих сынов на разведку в космические дали, люди всех широт стали проявлять огромный интерес к познанию Вселенной. То, что испокон века представлялось неведомым, начинает приобретать черты реальности. Среди многих откликов на эти темы я как-то получил и такое письмо из Австралии — читатели, приславшие его, задумываются: а не могут ли быть агрессивно настроены пришельцы из космоса? Беспокойство понятное, если припомнить, что американские фантасты нередко пишут о космических катастрофах, о вооруженных вторжениях из космоса, о «войне миров». У писателей-фантастов социалистических стран иные представления, они исходят из гуманных, миролюбивых устремлений разумных, мыслящих существ. Я лично убежден, что высшие достижения техники невозможны без достижения разумными существами высшей морали. Именно в этом плане решает проблему межзвездных контактов Раду Нор.

Несколько иначе представляет столкновение культур польский писатель Кшиштоф Борунь в своем рассказе «Антимир».

Антимир? В этом ведь нет ничего мистического. Это вовсе не противостоящий нам мир, не зеркальная страна наших двойников, как порой трактуют, а материальный мир, состоящий из «античастиц». Недавно в беседе с выдающимся нашим физиком Л. Д. Ландау я задал ему вопрос: исключает ли он существование таких миров? Он ответил, что не исключает. Над этим стоит задуматься.

Быть может, половина звезд и их планет состоит не из положительно заряженных ядер и электронов, а из отрицательно заряженных ядер и позитронов? И половина населенных миров, половина всех бесчисленных разумных рас Вселенной никогда не сможет общаться путем контакта между собой? Ведь контакт вещества и антивещества приводит к аннигиляции, к превращению элементарных частиц в кванты энергии, в фотоны.

О трагическом столкновении представителей нашего мира с антимиром, о неожиданных конфликтах, обусловленных недостаточно обдуманным поведением космических исследователей, рассказывает Борунь. Мы оставляем поведение героев на совести писателя, думая, что он хочет предупредить о подобных возможностях, чтобы этого никогда не было...

Именно с таких позиций интересно прочитать его рассказ, увидеть в его антитезе гуманистическое начало, волнующую, притягательную силу инопланетных цивилизаций, заслуживающих того же бережного уважения, на которое вправе рассчитывать при межпланетных контактах и мы, земляне. Борясь с опасностью войн на Земле, мы и не помышляем о перенесении их в космос.

АЛЕКСАНДР КАЗАНЦЕВ.

РАДУ НОР

Трое с Сириуса

Перевод с румынского
А. ЛУБО

СТРАННОЕ ПОВЕДЕНИЕ АСТРОНАВТА ВЛАДА

Звезды мерцали перламутровым блеском. Планеты, залитые бледным призрачным светом, вращались медленно, как усталые гиганты, а вдали, за пределами Галактики, кипели водовороты серебристых туманностей.

Дени и Николай стояли, как обычно, перед кварцевым окном, любуясь красотой астральной ночи. Третий член экипажа звездолета «Вихрь» Влад предпочитал оставаться в своей каюте. Поведение Влада казалось им странным, так как в первые дни полета астронавты, завороженные ослепительным блеском межзвездного мира, не могли оторваться от его созерцания.

Это была уже не первая их совместная экспедиция. Дени, Влад и Николай побывали на Марсе и Венере, облетели Сатурн и обследовали астероиды за Марсом. Между тремя астронавтами установилась прочная мужская дружба, какую могут породить лишь долгие годы, проведенные вместе в тесных стенах космического корабля.

Перед последним полетом каждый успел побывать у себя на родине: Николай — в Ленинграде, Дени — в Монпелье, Влад — в Бухаресте. Николай и Дени вернулись окрепшими, веселыми и готовыми к смелым подвигам. Но Влада нельзя было узнать. Живой, энергичный, полный оптимизма молодой человек стал вдруг хмурым и неразговорчивым. И хотя между товарищами не было секретов, Влад не открыл им, что творилось у него на душе.

Друзья продолжали думать о Владе, когда он вдруг появился на пороге. Бледный, с красными от бессонницы глазами, он рассеянно поздоровался, сделал несколько шагов к окну и застыл, слегка откинув голову.

Николай и Дени переглянулись и отошли, сделав вид, что заняты своим делом. Первый стал снова проверять индикаторы автопилота, хотя занимался этим всего четверть часа назад, второй снял с полки звездный атлас и открыл его наугад.

В овальном помещении, окрашенном в темные тона, установилась непривычная, гнетущая тишина. Только шум двигателей, подобно отдаленному гулу водопада, доносился сюда сквозь звуконепроницаемые переборки.

Внезапно тишину нарушил пронзительный звонок.

Дени выронил атлас и кинулся к радиоприемному устройству. Он тронул рукоятки настройки, переходя на прием.

— Тише, тише! Нас вызывает Земля,— взволнованно сказал он.

Астронавты вздрогнули. Слово «Земля», произнесенное здесь, приобретало особый смысл. Оно означало: родина, семья, друзья, цветущие равнины, голубые моря и величественные горы. Все сгрудились у приемника и стали внимательно слушать. Среди хрипа, треска и свиста вдруг возник человеческий голос, сначала слабый, потом все более твердый и отчетливый.

— Алло, «Вихрь»! Алло, «Вихрь»! Говорит КС-9,— говорит контрольная станция 9.

Дени тронул рычаги настройки, улучшив звучание приемника.

— Алло, «Вихрь»,— продолжал звучать голос из репродуктора.— Слушайте важное сообщение. Международный Совет Астронавтики решил изменить направление вашего полета. Алло, алло... на Сириус! Вы поняли? На Сириус... Подробные указания, контрольные расчеты, астрограммы получите позже. Счастливого пути!

Голос умолк. Мгновение, всего лишь мгновение длилась тишина, потом Влад схватил Дени за руку и воскликнул:

— Сириус? Он сказал — Сириус! Это значит, что Барбу жив!

— Ну да,— ответил Дени,— Сириус. Что это означает для нас? Десять лет полета вместо пяти, вот и все. По-моему, мы найдем на Сириусе то же самое, что и на Ближайшей Центавре.

Удивленный странным поведением товарища, Николай решился наконец расспросить его обо всем.

— Дружище, по-моему, пришло время объяснить, что с тобой происходит,— сказал он.

— Вы правы! — проговорил Влад и бросился в одно из кресел.— Пока мне не была известна судьба Барбу, я не имел права говорить. Теперь я могу рассказать вам обо всем. Садитесь рядом и слушайте.

ДВОЕ ДРУЗЕЙ ОТПРАВЛЯЮТСЯ НА ЭКСКУРСИЮ

— Барбу — мой лучший друг. В школе мы всегда были вместе. И даже позднее, когда каждый избрал свою дорогу — он занялся философией, я астронавтикой,— мы не разлучались и много путешествовали вдвоем.

Два месяца назад, после нашего возвращения из экспедиции на Марс, он предложил мне совершить поездку в Трансильванию. Я согласился, и мы вылетели на вертолете в Альбу Юлию. Я был убежден, что у Барбу есть какая-то определенная цель. В этом городе находилась библиотека, основанная много веков назад графом Батиани, где хранятся подлинные сокровища для библиофилов, а следовательно, и для моего друга. Сразу же после приземления стало ясно, что я не ошибся в своих предположениях.

— Влад, сделай милость, пойди со мной в библиотеку Батиани,— обратился ко мне Барбу.— Уверен, что ты не пожалеешь. Мне нужно прочесть там всего несколько страниц из одной древней рукописи по геометрии. Это займет не больше двух-трех часов.

Я согласился. Серые мрачные стены старого здания четко вырисовывались на фоне летнего неба. Я вошел в библиотеку без всякой охоты. Снаружи солнце золотило крыши домов и верхушки деревьев, а здесь, в полутемных залах с маленькими окошечками, уже властвовал сумрак. Я осмотрелся, стараясь освоиться с окружающей обстановкой. Вдоль стен тянулись полки, уставленные объемистыми томами в переплетах из свиной кожи, со стершимися от времени буквами. В центре стоял огромный глобус, расписанный средневековым мастером, а по углам — пюпитры и кресла, украшенные искусной резьбой. Пахло пылью и ста-

риной. Библиотекарь — старичок с желтым, как пергамент, лицом — встретил нас любезно. Он принес Барбу книгу и оставил нас одних.

Приятель мой осторожно положил книгу на один из пюпитров и, прежде чем приняться за чтение, любовно погладил богатый кожаный переплет.

Тем временем я не спеша прогуливался вдоль полок, читая заглавия книг. Тут были редкие издания библии, труды алхимиков и магов, научные книги, написанные знаменитыми людьми средневековья.

Все это наверняка представляло большой интерес, но старые, даже уникальные книги не увлекали меня, если не были непосредственно связаны с моими занятиями.

Вскоре мне наскучило рассматривать книги, и я отправился бродить по соседним комнатам.

Повсюду были выставлены произведения искусства, собранные хозяином библиотеки: оружие, дорогие ткани, безделушки, картины и многое другое.

В глубине одной из комнат я наткнулся на винтовую лестницу и поднялся по ней. Наверху, в комнате с террасой, граф Батиани оборудовал маленькую астрономическую обсерваторию. Я полюбовался мастерски сделанными инструментами и стал смотреть в телескоп на солнечный диск. Ослепленный блеском солнца, я присел в кресло. Я сидел неподвижно, опустив ресницы, и перед глазами у меня плавали желтые и зеленые пятна.

Вдруг до меня донесся крик Барбу:

— Влад, где ты? Скорее иди сюда!

Необычное волнение в его голосе заставило меня бегом спуститься по лестнице. Барбу ждал меня на пороге. В одной руке он держал книгу, в другой — полуистлевший лист пергамента, исписанный мелкими буквами.

СЕНСАЦИОННОЕ ОТКРЫТИЕ

— Посмотри, что я нашел в этой книге,— сказал Барбу, протягивая мне пергамент.

Я взял листок и подошел к окну, чтобы рассмотреть мелкий почерк. Документ был написан по-латыни, и мне пришлось немало потрудиться, чтобы уловить хотя бы смысл написанного.

Барбу не дал мне закончить чтение.

— Это рапорт монаха-иезуита Телезиуса, предназначенный для епископа Георга Лепеша. В 1436 году, незадолго перед восстанием в Бобылня, брат Телезиус объехал несколько сел в пойме Ариеша, чтобы собрать сведения о настроениях крепостного крестьянства. Но дай пергамент, лучше я тебе его переведу. Слушай: «Как приказало Ваше Преосвященство, я говорил с крепостными крестьянами. Ум и сердце их отравлены жгучей ненавистью к знати, королевским поборам, барщине, десятине. В одном селе по названию Лункань мне довелось услышать много ереси и крамолы. Один старик, не боясь Всемогущего и подстрекаемый дьяволом, сказал мне, что он знает больше, чем все преосвященные кардиналы Рима. Старик сказал, что вокруг солнца вращаются девять планет и не только на земле есть жизнь. На планете Марс тоже когда-то жили живые существа, которые обходились без королей, знати и даже попов, а жили значительно лучше, чем крепостные.

По словам старика, марсиане были такими искусными, что построили два летающих острова. Я пригрозил ему земными и небесными карами, но он ответил, что, если люди последуют примеру марсиан, они уничтожат несправедливый строй.

Я знаю, Ваше Преосвященство, что все это выдумка дьявола, но источник их — ненависть к власти».

— Что это? — воскликнул я.— Фантазия или гениальное предвидение? Как мог крестьянин XV века говорить о девяти планетах нашей солнечной системы и двух искусственных спутниках Марса?

Барбу улыбнулся:

— Если бы речь шла о чем-нибудь обычном, я не стал бы тебя беспокоить. Меня тоже поразил текст пергамента. Но астрономия входит в круг твоих обязанностей, и я решил...

— Ты решил, что я объясню тебе, как мог крепостной крестьянин предвидеть существование Урана, открытого в конце XVIII века, Нептуна, обнаруженного в 1846 году, и Плутона, найденного только в 1930?

— Рассказ о двух летающих островах и того чище,— сказал Барбу.— Как мог говорить об этом крестьянин, когда Галилей и Кеплер тогда еще не родились и телескоп не был изобретен, Вольтер еще не писал «Микромегаса», а Свифт — «Путешествия Гулливера», где, как ты знаешь, они говорят о двух мирах, вращающихся вокруг Марса?

Мы оба разгорячились. Каждый старался привести все новые доводы в пользу давно уже сделанного нами вывода о том, что крестьянин из Лункани говорил о невероятных вещах.

— Видишь ли, Барбу,— я поймал потерянную нить разговора,— старик говорит об искусственных, а не естественных спутниках — спутниках, созданных руками марсиан. Этого не подозревал даже Холл, когда впервые увидел в телескоп двух спутников планеты. Насколько мне известно, только в 1959 году профессор Шкловский высказал предположение, что Фобос и Деймос — искусственные спутники.

— У меня голова кругом идет,— сказал Барбу, прикрывая глаза рукой.— Или этот документ — дело рук фальсификатора, или мы действительно сделали сенсационное открытие. Как ты думаешь, что нам теперь предпринять?

Я предложил посоветоваться с библиотекарем. Мы позвали старика и обо всем ему рассказали. После беглого ознакомления с документом он подтвердил его подлинность и сделал для нас несколько фотокопий.

Нет нужды распространяться о дальнейших спорах между Барбу и мной. В конце концов мы договорились немедленно вылететь на вертолете в Лункань. Через каких-нибудь полчаса мы уже приземлились в небольшом селении Страны Моцов.*

«ОГНЕННАЯ ПТИЦА»

Если бы кто-нибудь спросил у меня, что мы надеялись найти там, где 600 лет назад крепостной крестьянин предвосхитил целый ряд астрономических открытий, мне трудно было бы ответить. Самое большее, на что мы могли рассчитывать, это обнаружить в народных песнях или древних легендах упоминание о планетах или даже о Марсе. Конечно, этого было мало, чтобы отправляться в экспедицию, но нас непреодолимо влекла к себе тайна пергамента.

Лункань живописно раскинулась на вершине холма среди елового леса. Домики едва виднелись в гуще зелени, и только башни гелеобатарей, высившихся над лесом, выдавали их присутствие. Здесь жили потомки крепостных — рабочие и техники нового горнодобывающего комбината.

Прибытие нашего вертолета прошло почти незамеченным. Местные жители привыкли к оживленному воздушному движению и в большин-

* Горная часть Трансильвании.

стве своем сами пользовались вертолетами или индивидуальными летательными аппаратами.

Мы приземлились на крыше административного центра — красивого здания, вмещавшего все службы управления местечком. Эскалатор быстро опустил нас вниз, на площадь. Сгорая от нетерпения, мы обратились к первому встретившемуся нам человеку с вопросом, у кого мы можем получить справку об историческом прошлом района. После недолгого размышления прохожий посоветовал нам пойти к директору гимназии и местного музея Стефану Бонташу.

Дом Бонташа находился в глубине сада, в нескольких шагах от школы. Повсюду громоздились цветочные клумбы — одни на земле, другие подвешенные на столбах,— образуя причудливую красочную лестницу и источая целую симфонию ароматов.

Старый учитель принял нас как дорогих гостей, угостил холодной водой и медом из собственных ульев. Узнав о цели нашего визита, он внимательно прочел фотокопию документа.

— Очень, очень интересно,— сказал он.— В самом деле, люди здешних мест всегда отличались богатой фантазией. Легенды и песни у них удивительно интересны. Наша фонотека насчитывает свыше тысячи пленок, но сам я, страстный собиратель фольклора, ни разу не встречал ничего о Марсе и его искусственных спутниках. Вероятно, все, что сказал старый крестьянин монаху Телезиусу, было плодом минутного вдохновения и не является достоянием многих. Сожалею, но ничем не могу вам помочь.

Однако Барбу не сдавался:

— Профессор, может быть, вы все-таки вспомните какую-нибудь песню или легенду на иную тему, в которой содержится хотя бы намек на то, что нас интересует.- Одна фраза, даже слово оказываются иногда ключом к решению запутанной проблемы.

Бонташ задумался. Закрыв глаза и сжав ладонями виски, он старался восстановить в памяти песни и легенды, услышанные им за долгие годы жизни.

— Вы филолог,— обратился он к Барбу после долгого размышления,— и должны меня понять. Три поколения учителей собирали здесь фольклор. Я знаю этот фольклор так же хорошо, как собственный сад или дом. Обычная тема наших сказок и песен — любовь, красоты природы, обычаи. Рассказывается в них и о жизни народа в различные исторические периоды. Иногда, особенно в очень древних из них, появляются элементы сверхъестественного, любопытные своей оригинальностью. Так, например, в одной из сказок говорится о прибытии каких-то странных чужеземцев в серебряных одеждах.

Барбу вздрогнул.

— Чужеземцы в серебряных одеждах? — быстро спросил он.— Это, конечно, рыцари?

— Не думаю! Я имею в виду рассказ одного крестьянина, записанный моим предшественником в 1950 году. В нем упоминается о чужеземцах, спустившихся с неба на огненной птице.

При последних словах я подскочил, как ужаленный:

— Огненная птица — вероятно, ракета. Товарищ профессор, прошу вас, найдите эту пленку.

Бонташ встал, пряча улыбку, подошел к металлическому шкафу, занимавшему всю стену, и нажал на кнопку. Из отверстия шкафа выскочила нужная кассета с пленкой. Бонташ вставил ее в магнитофон, и вскоре в комнате зазвучал неторопливый старческий голос:

— Мне 84 года, и зовут меня Петре Домаш. Рассказ этот я слышал от своего деда Илларие Домаша, а он — от своего деда.

Давным-давно, когда люди у нас жили в нищете и неволе, угнетенные графами и католическими попами, свершилось большое чудо. Однажды ночью небо осветилось, и на землю спустилась большая черная птица с огненным хвостом. Из чрева ее вышли трое в серебряных одеждах. Ни лицом, ни походкой они не напоминали людей. Передвигались пришельцы прыжками, как горные козлы, и разговаривали на каком-то чудном языке, не похожем ни на немецкий, ни на русский, ни на итальянский. Люди пытались подойти поближе, но чужеземцы избегали встреч и прятались в свою птицу. Двое-трое крестьян, которые чаще других находились поблизости от пришельцев, рассказывали, что те очень искусны: умеют летать, как птицы, переговариваться на расстоянии и даже превращать ночь в день.

Через неделю один чужеземец умер. Оставшиеся двое отнесли его далеко в горы и похоронили. Вернувшись, они разобрали птицу на части, а сердце ее тоже унесли в горы. Все остальное они обратили в прах. На месте птицы остались лишь опаленная трава и немного пепла. Через несколько дней скончался второй, а последний из пришельцев еще немного поболел и тоже отдал богу душу...

Долгое время вспоминали в Лункани об этих чужеземцах. Вот о чем рассказывал мне дед Илларие Домаш».

ЖЕЛЕЗНАЯ ЛОГИКА БАРБУ

По пути к административному центру, на крыше которого остался наш вертолет, мы снова разговорились и, чтобы обсудить все как следует, зашли в парк и присели на скамью. Мы пытались найти связь между найденным пергаментом и рассказом Петре Домаша. В рассуждениях Барбу была железная логика, с ним можно было согласиться, если принять его основные положения.

— Представим себе,— говорил он,— что 600 лет назад в окрестностях Лункани приземлился космический корабль с другой планеты. Само собой разумеется, что экипаж обладал знаниями в области астрономии, которыми в те времена еще не овладел ни один житель Земли. Таким образом, пришельцы знали о существовании девяти планет нашей солнечной системы, спутниках Марса и о том, что они искусственные. Вне всякого сомнения, пришельцы общались при помощи радиоволн и благодаря этому «переговаривались на расстоянии», знали различные способы применения электроэнергии, а следовательно, умели «превращать ночь в день».

— Но как узнал об этом старый крестьянин? — возразил я.

— При помощи рисунков и схем — на песке, стене или другой плоской поверхности. Вспомни, как исследователи Земли в прошлые века пользовались этим способом при первых контактах с населением открытых ими районов. Меня не удивляет, если гости из других миров могли применять понятные знаки, придуманные на месте, чтобы договориться с обитателями планеты. Смущает другое — почему они никого не допускали к себе?

— Это понять просто! Они, несомненно, прилетели на ракете с атомным двигателем. По какой-то причине реактор испортился, и экипаж подвергся радиоактивному облучению. Видимо, их одежда и все, чем они пользовались, было заражено, и поэтому астронавты избегали близких контактов с крестьянами.

— В таком слувае, «сердце птицы», спрятанное в горах, и было тем самым реактором, который по-прежнему может представлять грозную опасность для окружающих. Реактор должен быть где-то поблизости. Кто знает, какие несчастья он причинил или еще способен причинить!

Мы должны найти реактор и обезвредить его,— сказал Барбу.— Кроме того, аппарат имеет большую научную ценность. Это первое вещественное доказательство существования высокой цивилизации на другой планете, помимо Земли, первое свидетельство посещения нашего земного шара инопланетным кораблем. Ты представляешь, какой это вызовет шум? Каким будет ударом по позициям ученых, которые сомневаются в наличии других миров, достигших высокой ступени развития?

Мы вышли из парка и поспешили к административному центру. Без особого труда нам удалось раздобыть счетчик Гейгера и запас продовольствия на несколько дней. Захватив все это, мы поднялись в воздух.

Через каких-нибудь полчаса мы уже летели над покрытыми лесом цепями гор, оставив позади белые, казавшиеся игрушечными, домики Лункани.

ТАЙНА ДВУХ СКАЛ

Во время полета Барбу манипулировал сверхчувствительным счетчиком Гейгера, способным обнаружить любой источник радиации на земле даже с высоты в двести метров, на которой мы находились.

Вертолет описывал широкие круги и уже успел удалиться от Лункани на большое расстояние, а счетчик по-прежнему молчал.

Вечерние тени одевали темно-голубым покрывалом горы, леса и цветущие долины. Картина эта была достойна кисти художника.

Мы находились в воздухе уже два часа. Я собрался было предложить Барбу перенести поиски на следующий день и вернуться в Лункань, как вдруг он сжал мне руку. В счетчике Гейгера послышалось редкое пощелкивание, похожее на удары первых капель дождя.

Я так резко подал вперед рукоятку управления, что наш маленький вертолет подпрыгнул, словно норовистый конь, и с головокружительной быстротой заскользил вниз. В любом другом случае Барбу сделал бы мне выговор за такой рискованный маневр, но сейчас он не только не заметил его, но даже поторопил меня сдавленным от волнения голосом:

— Вниз, Влад! Скорее вниз!

Счетчик затрещал сильнее. Мы находились теперь всего в двадцати метрах от земли. Внизу гордо высились две отвесные скалы, стоявшие друг против друга по краям ущелья. Быстрый горный ручеек тысячелетиями точил эти камни.

Снижаясь, мы все больше убеждались, что именно где-то здесь находится источник излучения исключительной силы.

Когда мы вышли из кабины, уже выплыла Луна, а внизу в долине зажглись огоньки Лункани, смешиваясь с загоревшимися в небе звездами.

— Сегодня уже поздно что-либо предпринимать,— сказал я.— Давай поставим палатку, закусим и вздремнем. А завтра с утра займемся делом.

Барбу что-то пробормотал сквозь зубы — мое предложение, видимо, его не устраивало,— но возражать не стал. Я быстро уснул на надувном матрасе и спал всю ночь без сновидений. Разбудили меня первые лучи солнца, проникшие в палатку сквозь щели у входа.

Я потянулся, открыл заспанные глаза и увидел, что Барбу исчез. На его матрасе лежала записка: «Дорогой Влад! Прости, не могу больше ждать. Пойду немного поброжу среди скал. Не беспокойся, скоро вернусь. Барбу».

Я вскочил и поспешно оделся. Осмотревшись, я убедился, что Барбу захватил с собой счетчик Гейгера и фонарь. Я не знал, когда ушел мой друг, но теперь часы показывали четверть седьмого, а он все еще не

возвращался. Я бегом кинулся к ручью. Серые скалы высились передо мной — мрачные и грозные, как средневековые замки. Между ними бежал быстрый ручеек. С полчаса я бродил в этом странном окаменевшем мире, где не росло ни травинки, не щебетала ни одна птица.

Барбу бесследно исчез. Я продолжал поиски. Карабкался на выступы скал, спускался в обрывистые впадины и звал, звал его десятки и сотни раз. Лишь эхо отвечало мне. Я обогнул выступ скалы и, пробираясь по узкой тропинке, увидел расселину. С большим трудом я проник в нее и, пройдя еще метров двадцать, наткнулся на вход в пещеру. Без долгих колебаний я зажег фонарь и вошел под каменные своды. В лицо ударила волна холодного воздуха, запахи сырости и гнили. В течение нескольких минут я пробирался по тесному извилистому коридору, который привел меня в огромный зал со сводчатым потолком, полный сталактитов самых причудливых форм. Некоторые из них напоминали колонны античного храма, другие сплетались в столь тонкое кружево, что к ним страшно было притронуться, третьи казались экзотическими цветами, выросшими в чаще тропических джунглей.

Оглядываясь по сторонам, я споткнулся и упал. Фонарь выскользнул у меня из рук и исчез, словно сквозь землю провалился. Вскоре, однако, я заметил огонек своего фонаря далеко внизу: предохранительная сетка спасла его при падении. После недолгого колебания я решил спуститься за ним. Это оказалось довольно трудным предприятием: стена круто обрывалась. В конце концов мне все-таки удалось добраться до дна расселины. Трудно описать, как я был счастлив, снова ощутив в руке холодный металл фонаря.

Но, осветив вокруг себя пещеру, я окаменел от ужаса. Прежде всего я увидел Барбу, лежавшего на земле с застывшей на лице гримасой боли. В руке он сжимал нечто вроде тетради с зеленоватыми страницами, покрытыми мельчайшими рисунками, напоминавшими иероглифы. Рядом лежал фонарь и немного поодаль — счетчик Гейгера. Его треск напоминал теперь пулеметные очереди.

Это означало, что мы находимся в зоне невероятно мощного радиоактивного излучения, а ведь друг мой провел здесь несколько часов!

В одном из углов пещеры я заметил и самый источник радиации — какую-то черную массу цилиндрической формы. Это было не что иное, как реактор космической ракеты, той самой «огненной птицы», о которой поведал сказитель из Лункани. Он пролежал 600 лет в этой каменной гробнице и все еще продолжал сеять смерть. Об этом свидетельствовали груды костей, о которые я спотыкался на каждом шагу. Все живые существа, попадавшие сюда,— от медведей до летучих мышей — находили здесь могилу, пораженные невидимыми лучами.

НЕУМОЛИМАЯ ЛУЧЕВАЯ БОЛЕЗНЬ

Я почувствовал, как леденящий холод пробежал у меня по спине, а на лбу выступили капли пота. Пришлось сделать над собой усилие, чтобы побороть страх.

Я взял из рук Барбу тетрадь и сунул ее в карман. Потом приподнял друга и, держа его под мышки, потащил наверх. Не успел я пройти и десяти метров, как мной овладела какая-то странная слабость. Ноги подкашивались, руки ослабели, дыхание стало прерывистым. Я задыхался. Но отчего? Из-за недостатка кислорода... из-за каких-то ядовитых газов... или мощного излучения?..

Я сделал над собой сверхчеловеческое усилие и поволок Барбу дальше. Не знаю, как хватило у меня сил подняться по склону, пересечь зал и коридор и выбраться на свет.

Снаружи я рухнул на землю рядом с Барбу.

Собравшись с силами, я начал делать другу искусственное дыхание и брызгать ему в лицо водой, пока он не пришел в себя.

Первыми словами Барбу были:

— Прости меня, Влад, что я причинил тебе столько беспокойства. Как твое самочувствие?

Сердце у меня сжалось. Он говорил так спокойно, словно не подозревал, в каком состоянии находится. Возможно, Барбу не знал, что, пробыв столько времени вблизи реактора, он, несомненно, заболел неумолимой лучевой болезнью.

Барбу отгадал мои мысли, горькая улыбка появилась у него на лице.

— Знаю, дружище, я обречен. Время, проведенное в пещере... но теперь я прошу тебя уйти. Ты не имеешь права находиться рядом со мной. Моя одежда, тело — радиоактивны. Смотри, как бы не повторилась история астронавтов с «огненной птицы»!

Барбу, очевидно, забыл, что и я побывал в пещере.

Мой друг продолжал:

— Когда я отыскал пещеру, то прежде всего наткнулся на реактор, потом на коробку с рукописью. Кстати, где она? Это документ огромной научной ценности!..

Я протянул тетрадь Барбу, и он облегченно вздохнул:

— Здесь завещание экипажа космической ракеты. Они оставили его для нас — жителей Земли, изложив свои мысли при помощи рисунков, которые сравнительно легко расшифровать. Найдя рукопись я не удержался, чтобы не просмотреть ее на месте при свете фонаря, и забыл об опасности. Остальное тебе известно...

Я поднял его на руки и понес к вертолету. Всю дорогу я чувствовал на себе взгляд Барбу. Он словно хотел проститься перед вечной разлукой.

В больнице в Лункани нас подвергли тщательному осмотру.

Я находился под воздействием радиации сравнительно недолго и поэтому был вне опасности. Тем не менее мне тоже сделали несколько уколов антирада, недавно открытого эффективного средства против лучевой болезни.

Состояние Барбу было серьезным. Шансов на спасение было мало. Его отправили в Бухарест и поместили в специальный институт...

Почти месяц Барбу находился между жизнью и смертью. В тот день, когда я получил распоряжение отправиться в экспедицию на «Вихре» и мне наконец разрешили поговорить с Барбу, доктора все еще не знали, каков будет исход болезни.

ЗАВЕЩАНИЕ ПРИШЕЛЬЦЕВ С ПЯТОЙ ПЛАНЕТЫ

Николай и Дени слушали рассказ Влада, затаив дыхание.

— Но мне все еще не ясно, почему ты так долго молчал,— сказал Дени.— И почему, узнав, что мы полетели на Сириус, воскликнул: «Значит, Барбу жив?!»

Влад улыбнулся.

— Я не рассказал самого главного: не объяснил, какая связь между выздоровлением Барбу и нашим полетом.

Как я уже сказал, мне удалось увидеться с Барбу накануне старта

Встреча состоялась в помещении, разделенном пополам прозрачной стеной, где разговаривать можно было только с помощью телефона.

Барбу осунулся и побледнел, но не пал духом. Собственная судьба, как видно, мало заботила его.

— Не знаю, удастся ли им спасти мне жизнь,— начал Барбу.— Приговор врачи вынесут через четыре дня. Мне хотелось бы успеть закончить работу с тетрадкой, найденной в пещере. Я стараюсь по возможности точнее объяснить значение рисунков. Но если не удастся, если я... умру раньше, это сделаешь ты. Пока что никому ничего не говори. Прощай, друг. От всего сердца желаю тебе счастливого пути...

А теперь мне осталось только ознакомить вас с тетрадью, найденной в пещере. Она содержит завещание астронавтов, посетивших нашу землю шесть веков назад. Я прочту его вам в пересказе Барбу.

Влад пошел в каюту и принес оттуда кассету с пленкой. Он вставил пленку в проектор, на экране появилась страница с иероглифами, а рядом другая, исписанная на машинке.

Влад начал читать:

— «К жителям Земли! Мы прилетели сюда на космическом корабле с Пятой планеты системы (Барбу не смог разобрать названия), солнцем которой служит Сириус.

Цель нашего полета не Земля, а Марс, так как предками нашими были марсиане. 500 миллионов (очевидно, земных) лет тому назад на Марсе процветала счастливая, полная изобилия жизнь. Обитатели планеты открыли ядерную энергию, построили ракеты и два искусственных спутника диаметром в 8 и 16 километров.

Потом произошла катастрофа. Космическое облако неизвестного состава унесло с собой кислород из атмосферы Марса. Вода на планете стала убывать. Моря и реки постепенно высыхали. Население большей частью вымерло. Немногие оставшиеся в живых улетели с Марса на ракетах. Часть из них направилась к Земле, но в те времена на вашей планете еще не существовало условий для жизни развитых организмов. Оказалось, что на других планетах солнечной системы тоже нельзя жить. Последние марсиане вылетели на самой большой ракете, рассчитанной на длительные перелеты к другим солнечным системам. Космонавты остановились на искусственном спутнике (название не удалось расшифровать, но речь идет, видимо, о Фобосе), где оставили наиболее ценные свидетельства своей культуры: книги, кинофильмы, произведения искусства, приборы. Потом они отправились дальше.

Через несколько... (земных) лет они оказались в районе Ближайшей Центавры, но и здесь не нашли пригодной для жизни планеты. Прошли еще (годы) путешествия, и наконец марсиане приблизились к Сириусу. Вокруг этой звезды вращаются четырнадцать планет, различных по своим размерам. Космонавты решили остановиться на Пятой планете, расположенной на среднем расстоянии от Сириуса. Условия жизни и здесь были очень тяжелыми. Колебания ночной и дневной температуры достигали 60 (единиц измерения температуры, величину которой пока не удалось установить). Растительность была бедной, животный мир находился на низкой стадии развития. (В завещании были приведены изображения нескольких характерных для планеты животных и растений.)

Всего нескольким марсианам удалось приспособиться к условиям жизни на этом небесном теле. Со временем высокая цивилизация марсиан пришла в упадок. Потомки беглецов одичали, опустились, начали поклоняться идолам — Сириусу и огню.

Прошло немало лет, и население планеты увеличилось до нескольких сотен тысяч, несмотря на высокую смертность. Шаг за шагом завоевы-

вались все новые высоты науки и техники, улучшались условия жизни. Способности, навыки и таланты росли день за днем, что привело к созданию усовершенствованной техники, монументальных сооружений, замечательных произведений искусства.

Наука достигла высокого уровня. Была вновь открыта атомная энергия и построены ракеты. Обитатели Пятой планеты обследовали все четырнадцать планет системы, но только на двух из них была обнаружена жизнь в низших формах.

В эту эпоху были найдены остатки ракеты, на которой когда-то прилетели беглецы с Марса, а в ней несколько ценных документов. Таким образом обитателям Пятой планеты удалось установить свое происхождение. Тотчас же было решено послать экспедицию на Марс и доставить с искусственного спутника сокровища культуры предков.

Мы трое были избраны для этого полета. Однако авария в атомном реакторе помешала нам достигнуть Марса. Мы решили сесть на Землю, убедившись, что это единственная обитаемая планета солнечной системы. Мы надеялись получить здесь помощь, но обитатели Земли находились на более низкой ступени развития, их техника еще не достигла фазы использования атомной энергии, и мы убедились, что они ничем не смогут нам помочь.

Излучение реактора привело к необратимым изменениям в составе нашей крови. Мы поняли, что для нас все кончено, и избегали контакта с жителями Земли, боясь погубить их. По тем же соображениям мы разобрали ракету, а двигатель спрятали в пещере.

Мы убеждены, что жить нам осталось недолго. Когда обитатели Земли найдут реактор космического корабля, это завещание поможет им узнать происхождение ракеты и познакомиться с историей населения Пятой планеты».

Влад выключил проектор.

— Теперь вам, наверно, все ясно,— сказал он.— Выслушав сообщение, что мы полетим на Сириус, я понял, что Барбу жив, и опубликовал найденный документ.

— Мы будем первыми, кто вступит на планету, население которой достигло высокого уровня цивилизации,— взволнованно произнес Николай.

— И доставим потомкам марсиан первые вести о судьбе героического экипажа межпланетного корабля и их родном Марсе,— добавил Дени.— Мы сообщим им, что Фобос превращен в музей и люди позаботились о найденных там сокровищах.

Трое космонавтов подошли к кварцевому окну. Среди миллионов звезд в безднах космоса сверкал Сириус. Все трое молчали, понимая, что словами невозможно передать значительность этой минуты. Сильные руки друзей встретились в крепком пожатии в знак вечной дружбы и борьбы за окончательную победу человека над силами природы.

КШИШТОФ БОРУНЬ

Антипод

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ

Перевод с польского
Е. ВАЙСБРОТА

Сведения были точными. Я нашел его в Музее внеземного искусства и узнал сразу, как только вошел в зал, хотя мы не виделись двадцать восемь лет. Он почти не изменился, только волосы приобрели серебристо-голубоватый оттенок, а глаза ввалились, придавая лицу выражение усталости и угрюмой задумчивости.

Я подошел и сказал:

— Конопатый! Откуда ты взялся?

Я нарочно употребил старую студенческую кличку, опасаясь, что он может меня не узнать. Время берет свое.

Однако опасения оказались напрасными. Он взглянул на меня, словно пробудившись ото сна, удивленно моргнул и вдруг расплылся в улыбке.

— А, чтоб тебя! — воскликнул он.— Зеленый Глаз! Ну и постарел же ты!

Мы обнялись.

— Может, пойдем куда-нибудь прополощем горло? — предложил он, как в былые времена.

Пошли. Я хотел заказать популярный в последнее время безалкогольный напиток, но мой приятель отказался. Взяли большую бутылку старого вина.

Я размышлял, с чего начать, но он сам облегчил мою задачу.

— Когда мы виделись в последний раз? — спросил Конопатый, выпив первую рюмку за встречу.— Пожалуй, еще перед «Великим прыжком»?

— Нет,— возразил я.— Это было уже после «Прыжка». Годами пятью позже. Помнишь, ты говорил тогда, что улетаешь далеко и надолго, за пределы системы. Врал, наверно?

Конопатый насупился и сказал:

— Зеленый Глаз, я никогда не вру! Если сказал, что...— он осекся, испытующе взглянул на меня и повторил:— Я никогда не вру! В крайнем случае молчу!

Я снова налил вина.

— Ну ладно... Не обижайся! Так давно не виделись... Лучше расскажи, что с тобой было?

— А тебя где носило? — не отвечая, поинтересовался он.

— Мне не о чем рассказать...— ответил я небрежно.— В основном сидел на Земле. Полгода был на Марсе, два месяца на Венере. Вот, пожалуй, и все. Ну а ты где все-таки побывал? — вернулся я к своему вопросу.— Столько лет прошло, почти тридцать.

— Двадцать восемь,— уточнил он и задумался, потом спросил как бы невзначай:— А ты по-прежнему работаешь в печати?

— Собственно... уже не работаю. Ушел на пенсию. Хочу закончить повесть.

Его взгляд как-то потеплел.

— Значит, все-таки взялся за литературу? До сих пор не читал ни одной твоей книги... Многие годы вообще ничего не брал в руки. Просто,— он слабо улыбнулся,— это было технически невозможно. Меня не было в солнечной системе... И много ты написал?

— Около трети.

— Ну, желаю успеха! — весело воскликнул Конопатый, поднимая рюмку.

Выпили.

— Так ты был за пределами системы? — уже смелее начал я.

Глаза моего приятеля затуманились.

— Ты слышал об экспедиции «Маттерхорна»? — спросил он, снова не отвечая мне.

— Кажется, да,— неуверенно сказал я.— Должно быть, старая история? Впрочем, припоминаю. Это было после опубликования материалов зонда Сорри?

— Совершенно точно! Понаделал он тогда шума своими стереограммами!

Мне вспомнилась сцена в Музее внеземного искусства.

— Скажи, почему ты так странно вел себя там, в музее? — спросил я напрямик.

— Странно? — Конопатый подозрительно взглянул на меня.

— Мне показалось, ты был очень взволнован, рассматривая стереограммы. Хотя, честно говоря, они и на меня производят сильное впечатление.

— А на меня нет,— зло отрезал он.— Только...

— Что? — подхватил я.

— Они напоминают мне одну историю. А если говорить о впечатлении, то не одного тебя это захватывает.

— Те строения действительно прекрасны!

— Прекрасны? А что значит — прекрасны? Теперь я в этом слабовато разбираюсь. А тогда... тогда разбирался еще хуже. И потому я тут! — вдруг взорвался он.— Потому смог вернуться! Потому живу среди людей на Земле и могу сейчас вместе с тобой прополаскивать горло,— закончил он, меняя тон, словно хотел сгладить впечатление от своей вспышки.

Конопатый все больше интриговал меня. Значит, тут действительно что-то есть...

— Где ты побывал? — спросил я, стараясь не выдать своего волнения.

— Хочешь знать? — понизил он голос.— А молчать умеешь?

— Умею,— кивнул я.

— В системе Проциона. Сделал такую глупость... Принял должность второго навигатора на фотонном корабле «Маттерхорн». Одиннадцать земных лет длились в ракете всего два с лишним года. Экипаж — шестнадцать человек. Одни мужчины. Представителем правительства Федерации Южной Америки был Гольден, заместителем командира корабля Логер, кроме того, специалисты в области архитектуры и скульптуры, механики и...

— Логер? — перебил я, припоминая, что Конопатый еще в годы нашей молодости недолюбливал его.— Твой «старый знакомый»?

— Ну да,— со злостью ответил он.— Сначала этот тип относился ко мне хорошо. Говорил, что по сути дела главенство Калена, первого навигатора,— чистая формальность, что на «Маттерхорне» эти должности равноценны, а кроме того, что наши старые недоразумения забыты. И скажу тебе честно: он действительно изменился, перестал задирать нос. Позже оказалось, что это было просто маскировкой. Гольдену он кадил

немилосердно. Спал и видел себя командиром. После смерти Славского...

— Кто это?

— Командир «Маттерхорна». Из-за него погиб! Из-за него! — Конопатый встал и покачнулся.

— Пойдем домой! — предложил я.

— Домой? Я тебе говорю, что Логер... Логер... Домой? Домой, говоришь? Идем. Я тебе кое-что покажу!

— Где ты живешь?

— В отеле «Паллас».

Я подошел к автомату и вызвал воздушное такси. Спустя пять минут мы уже были на месте. Оказалось, что месяц назад мой друг снял тут двухкомнатный номер на 116-м этаже.

В первой комнате царил неописуемый беспорядок. На полу были разбросаны книги, бумаги, кинопленки. Какие-то порванные эскизы, карты и рисунки заполняли выдвинутый из стены диван. В углу валялась перевернутая ручная вычислительная машинка.

Вторая комната была заперта. Ключа в замке не было.

Я убрал с дивана наваленные на нем бумаги и уложил товарища. Однако он не захотел лежать и сел, привалившись к стене и насвистывая.

— Может, все-таки поспишь? — предложил я.

— И не подумаю! Мне и так хорошо.

Я не знал, как быть дальше.

— Пожалуй, я пойду. Приду завтра.

— Нет! Останься! Я хотел рассказать тебе кое-что важное.

— Может быть, о системе Проциона?

— О системе Проциона? Процион — двойная звезда на расстоянии 11,3 светового года от Солнца. Входит в созвездие Малого Пса. Состоит из двух звезд, А и В, с периодом обращения вокруг общего центра массы в сорок лет. Процион А,— он будто читал по книжке,— визуальная яркость 0,5. Тип F 5, абсолютная величина 2,3 или в 5,8 раза ярче Солнца. Процион В — белый карлик, визуальная звездная величина 10,6... абсолютная 13,1 или 0,00044 яркости Солнца, радиус 0,007 радиуса Солнца, масса 0,46 массы Солнца. Наличие планет можно выявить на основе анализа спектра звезды. Количество и величина планет неизвестны. Нет доказательств существования жизни в системе Проциона. Нет подтверждения достоверности снимков, привезенных межзвездным зондом «Бумеранг XII» в 2068 году. Экспедиция фотонного корабля «Маттерхорн». Год старта 2070. Нет сведений о судьбе экспедиции. Нет сведений! Нет данных!.. Смотри! Вон там лежит. В углу. Последнее издание «Всеобщей энциклопедии»! Самая точная информация! Ха-ха-ха! — неестественно громко рассмеялся он.— Нет данных! Нет доказательств! А «Маттерхорн»? А я? Нет! Нет? — он вдруг стал серьезным.— Нет?! Есть!!

Он лихорадочно шарил по карманам и наконец извлек ключ.

— Вот! Открой дверь! Пойди посмотри!

Я почувствовал неприятную дрожь. Неуверенно подошел к двери и сунул ключ в замочную скважину. Дверь с тихим шорохом открылась. За ней был кабинет. В противоположность первой комнате в нем был порядок, как в обычных гостиничных номерах. Только слой пыли на мебели говорил о том, что тут давно не убирали. Посредине, напротив дверей, там, где обычно стоит письменный стол, виднелся большой ящик, соединенный паутиной проводов с другим, поменьше.

Я почувствовал легкий толчок в спину.

— Ну! Не бойся! Открой крышку и загляни! Там справа кнопка.

Я подошел, молча заглянул в небольшое контрольное окошечко.

Не знаю, может быть, подействовало выпитое вино, только у меня начало мутиться в голове.

В центре ярко освещенного пространства неподвижно висело в воздухе, а может быть, в пустоте... чудо.

Что это было в действительности, я понять не мог. Может быть, чудо было существом с другой планеты. Сложная сеть линий и цветных пятен покрывала какую-то темную массу. Однако в этой путанице цветов и форм не чувствовалось хаоса. Наоборот — необычайное равновесие, гармония чувствовались в сложном рельефном изображении. Что-то отталкивало, но одновременно и притягивало взор к этой глыбе. Странная «скульптура» действовала не только на зрительный центр, но возбуждала воображение, порождала ассоциации, почти галлюцинации. Мне казалось, что цветные элементы массы то соединяются, то снова расходятся, что там происходит какое-то движение, какая-то жизнь...

Меня охватило непонятное возбуждение. Что-то далекое и в то же время очень близкое, казалось, было заключено в этом предмете. Я почувствовал непреодолимое желание взять его в руки, хотя боялся, что он может обжечь, как раскаленное железо.

— Что это? — спросил я, не поворачивая головы: не мог оторваться от таинственного видения.

Ответа не последовало. Мой приятель вернулся на диван. Из соседней комнаты слышалось его мерное дыхание.

— Спишь? — тихо спросил я.

Он не ответил.

Я с усилием оторвал взгляд от таинственного предмета и закрыл крышку.

Конопатый спал.

Я задумался. Конечно, следовало тут остаться. Обстоятельства складывались очень удачно, нельзя было упускать такой случай. Я уже довольно много узнал. Несомненно, все услышанное — только пролог и речь идет о гораздо более важных вещах.

Я решил подождать, пока Конопатый проснется. Рядом с диваном стояло кресло, заваленное книгами и бумагами. Я сложил их на пол и уселся, намереваясь вздремнуть, но случайно взглянул на валявшиеся рядом листки. Контрольная перфорация по краям указывала, что они получены стенографическим автоматом непосредственно с магнитной ленты. Я поднял страницу, которая начиналась с середины фразы:

«...просто невероятно! И, однако, Петерсен был прав. Послушайся мы его тогда, Славский сегодня был бы жив. Что за бессмыслица — доверяться неизвестным, чуждым существам?

А все-таки они располагают ядерным оружием. И еще каким! Антипротоны. Только один Петерсен сообразил, что это подвох. Гольден был против посылки разведчика. Что это: только глупость? Логер упорно поддерживал Гольдена. Он, собственно, и не допустил посылки зонда на тесную орбиту. Может быть, это было лишь самообманом?

Славский слишком доверял теории Логера. Но это был крепкий человек. Если вернемся, ему поставят памятник на Марсе, в Аллее Достойных. В солнечной системе сказали бы «герой».

Тут текст обрывался. Я потянулся за следующей страничкой, но не нашел продолжения. По-видимому, страницы были разбросаны, а потом сложены в беспорядке, так как следующая относилась уже к другому событию. Я хотел начать поиски по номерам, но содержание той странички, которая была у меня в руке, приковало мое внимание еще больше, чем предыдущей:

«Логер называет это храмом солнц Проциона, но Ланг другого мнения. Он утверждает, что нет никаких указаний на то, что в обществе

проционидов проявляется культ дневного светила, тем более что в некоторых областях техники они достигли уровня Европы начала XX века. Холи идет еще дальше — говорит, что шар может быть «народной» эмблемой, если это слово вообще имеет какой-то смысл в мире проционидов. Мне все равно, памятник это, или храм, или амфитеатр (изнутри эта усеченная пирамида очень напоминает амфитеатр или стадион). Если бы не огромный светящийся шар в центре «арены», там можно было бы проводить футбольные матчи.

Почему они бежали?.. Да и разве можно назвать это бегством? Эвакуировать целый город и распылить его население по всей стране — это мероприятие, на которое нелегко решиться...»

Продолжения я опять не мог найти. Следующая страница имела номер 1443, а следовательно, относилась к более поздним событиям. Около кресла лежало в беспорядке несколько десятков страниц. Пришлось встать и собирать листки с пола. В общем их набралось тридцать девять. Когда-то они составляли, очевидно, большой дневник тысячи в две страниц. Тридцать девять страниц могли дать только весьма отрывочные представления.

Я заколебался, не зная, как поступить с этим материалом. Во всяком случае, не мешало иметь фотокопии всех страничек. Сделать тридцать девять снимков с помощью микрокамеры было нетрудно.

Сложив листки по порядку возрастания номеров, я принялся за чтение. К сожалению, большинство листков касалось каких-то малосущественных подробностей о полете «Маттерхорна» и лишь девять — пребывания в системе Проциона. Наконец последняя содержала какие-то хаотические рассуждения, записанные, по-видимому, на обратном пути.

Привожу здесь содержание этих нескольких страниц целиком, за исключением первой (1052), посвященной визуальным и спектроскопическим наблюдениям поверхности неизвестной планеты, скорее всего IV планеты Проциона А.

Следующие две страницы имели порядковые номера 1097 и 1098. Первая начиналась датой:

«12 октября. Пятница.

Сегодня мы опять возобновили попытки. Дело идет все лучше. Славский здорово придумал с этими рисунками в пространстве. Гаген оказался не только прекрасным механиком, но и первоклассным пилотом. На своей крошечной ракете он выделывает истинные чудеса. Не знаю, смогли бы мы, люди, на аналогичном этапе развития цивилизации так же быстро понять знаки иных существ?

Они уже знают, откуда мы. Гаген «соорудил» в пространстве «кольцо» — в виде ореола вокруг Солнца,— которое в течение нескольких минут можно было наблюдать из столицы. Потом «начертил» схематический рисунок солнечной системы с обозначением орбиты Земли. Они поняли... Ночью расположили на водах залива сотни световых точек, которые сначала представляли тот район неба, где бывает видно Солнце, а затем окружили его, как и мы, светящимся кольцом. Потом изменили расположение огней, изображая свою планетную систему с указанием орбиты их родной планеты. Мы, в свою очередь, немедленно повторили их рисунок. Они ответили нам ритмичными вспышками — подтвердили, что видят.

Итак, они дали нам понять, что принимают нас за существ, в какой-то степени подобных себе, а не за злых или добрых духов.

Значит, Гольден был не прав, когда рассматривал дымовой треугольник как знак религиозного поклонения нашему кораблю.

На сегодняшнем совете мы должны расширить и модифицировать программу связи. Гартер уверен, что нам удастся довольно быстро разработать систему знаков и что-то вроде словаря, который сделает возможным ближайший контакт и создаст условия для высадки. Конечно, мы будем строго придерживаться Марсианской конвенции. Логер даже думает, что процноиды охотно согласятся на визит, тем более что они не в состоянии помешать нам сесть.

По уровню техники они немного отстают от нашего XX века. Немало также контрастов, если говорить о жизни этих существ. Большинство городов, а особенно Столица Желтого Континента,— это истинные шедевры градостроительства и архитектуры. Богатство форм и цветов просто ошеломляюще. Одновременно в некоторых районах, особенно в горных областях, можно увидеть строения с таким примитивным...»

Следующей была уже приведенная ранее страница 1207 с сообщением о трагической гибели командира фотолета «Маттерхорн». После нее шла страница под номером 1266:

«Собственно, я немного преувеличиваю. В то время я не был объективен. Удивляться нечему... Спектральные исследования уже издалека показали наличие свободного кислорода. Жизнь имела углеродно-органический характер. Мы видели большие водохранилища, районы, покрытые чем-то вроде растительности Венеры, а их города — достаточно веское доказательство сравнительно высокой и древней культуры. Что еще более близкое нам, почти родное мы могли встретить во Вселенной, чем эта IV планета Проциона А?

Кто мог предполагать, что проблема ни в коей мере не сводится тут к выбору между кислородной маской и климатическим скафандром?»

Страницу, помеченную номером 1401, было почти невозможно прочесть. Удалось понять лишь, что речь идет о каких-то «необычайных сокровищах искусства», а также об опасности «неожиданного нападения, которое может кончиться катастрофой». В прошедшем времени говорилось также о сражении и об уничтожении тридцати четырех «сигар». Тут было какое-то противоречие, так как некоторые фразы как будто указывали на то, что борьба носила оборонительный характер. Одновременно автор дневника приписывал Логеру авантюризм и обвинял в нарушении основ Космического права. Может быть, мой друг попросту был предубежден против Логера и преувеличивал в своих записках факты, которые могли свидетельствовать против него?

За этой испорченной страницей следовала другая из уже приведенных (1443), в которой говорилось о бегстве процноидов из города. Наконец шли две страницы с номерами 1958 и 1959. Вот их содержание:

«...никакого смысла. Я не позволю лишать корабль всего экипажа. И так нас осталось двое. Зачем ему столько людей там, внизу? Все равно глыбы не сдвинуть — поля слишком слабы! У Калена до сих пор язвы на пальцах от сильного воздействия радиации. И кроме того, я не соглашусь, чтобы эту дрянь складывали на корабле! Мне пока что жизнь дорога. Если попытается прислать еще один транспорт — не задумываясь выброшу все в пространство! Действуют, как бандиты, и думают, что я буду заодно с ними...

16 января.

Уже третий день сижу в аварийной камере. Вероятно, это конец. Не оставили мне даже воды... Видимо, Логер ждет, что я умру от жажды. Пожалуй, дождется. У меня нет никаких шансов выбраться из этой трубы. Даже свет выключил. Диктую эти слова на пленку. К счастью, магнитофон был в кармане. Может, кто-нибудь случайно найдет его и передаст на Землю правду о том, что тут произошло...

...Вчера с утра, как я и предполагал, Логер прислал новый груз. Я выбросил все в пространство и уничтожил на расстоянии 80 километров. Конечно, они с базы это видели... Я им сотворил иллюминацию, тем более что светил только Процион В. Казалось, будто Процион А вдруг озарил небо. Логер прилетел с Гордоном. Убедил Гагена, что я спятил. Бросили меня сюда, в камеру. Я думал, хоть воды дадут и каких-нибудь питательных таблеток, но никто не появился. Даже света не оставили.

Не ожидал я этого от Гагена и Гордона. Может быть, Логер сказал им, что оставил мне пищу? Наверно, сказал. Они, конечно, не обрекли бы меня на такую подлую смерть. Очевидно, они ничего не знают.

Почему, однако, никто не подает признаков жизни? Неужели оставили корабль без экипажа? Правда, центральная координационная система работает, и вмешательство человека излишне. Но все-таки... Наверно, Логер забрал всех на эту проклятую базу!

А они словно все посходили с ума! Я понимаю: можно тосковать, можно вздыхать по женщине, любимой, матери, но по мигающему шару?! Хорошо, что я не полетел туда. Еще, чего доброго, и меня это захватило бы.

Наверно, корабль пуст. Наверно, Логер забрал всех. Это же ясно: иначе кто-нибудь мне помог бы, не дал бы сдохнуть в этой темноте. А Логер даже света мне не оставил!

18 января.

И все же я жив! Назло всем! Наперекор этому подлецу! Я живу, а они там сдыхают. Может, еще не сейчас, но это наступит, рано или поздно. Наступит — и ничто им не поможет! Проционицы наверняка не дураки! Это, конечно, их работа. Мудрая работа. Кто бы ожидал от этих скользких тварей, что они сумеют такого мудреца, как Логер, поймать в ловушку? И как поймать! Примитивная техника! Девятнадцатый век! И все же двадцать первый век тут не поможет. Самое большее — распадешься на фотоны.

И я им не помогу. Не могу помочь, если бы даже хотел. Если бы мог — наверняка сделал бы все, чтобы вытащить их из этого стеклянного гроба. Но я бессилен. Совершенно беспомощен. Во всем виноват Логер.

Если бы хоть Кален был на корабле... Он, возможно, нашел бы какой-нибудь способ. А я не могу даже простого скафандра смонтировать, не то что систему электромагнитного поля. Да разве помогут и такие приборы, которые монтировали Кален и Логер? Разве они растопят эту стеклянную массу? Ведь о механическом воздействии не может быть и речи.

Пробовал дать задание координатору, но и он беспомощен, проявляет полное безразличие. А ведь ему я обязан жизнью. Это он услышал стук и привел в действие крышку аварийного люка.

Что делать? Что делать? Не могу же я их оставить! Как только столица войдет в тень, попробую наладить световую связь. Может быть, Петерсен и Кален что-нибудь придумают».

Последняя страничка, помеченная номером 2004, была уже наверняка продиктована на обратном пути:

«Все это ерунда. Однако человек — глупая машина. Плохо записанная лента. Все кружит, все кружит, все время помнит о том, что хотелось бы забыть.

Собственно, о чем я беспокоюсь? Ведь я жив! Свободен! Вернусь на Землю, и все будет в порядке. Пища есть. Им тоже хватит таблеток. Хватит ли? Ведь это только для меня время течет быстрее. Одиннадцать

и три десятых года! Это в лучшем случае дважды по 12 лет... Хватит ли им энергии? Может быть, хватит. А нервы? Не перегрызутся ли, как дикие звери? А если им не хватит энергии? Может быть, уже не хватило? Мне все время кажется, что вижу жуткий гриб ядерного взрыва. А потом... я уже не уверен. То мне кажется, что это амфитеатр, в котором горят слабые огни затопленной базы, то, что там вообще нет города, а лишь ужасная воронка, кратер с диаметром во много километров.

Все время вижу прозрачное вещество и их тени. в окнах базы... Видят ли они еще звезды? Может быть, уже пыль, несомая ветром, толстым слоем покрыла поверхность застывшего озера? Может, там растут цветы? Их цветы. Пурпурные цветы проционидов. Цветы, к которым никогда не прикоснется рука человека.

Может быть, жители столицы вернулись в свои жилища? А если вернулись? Отдают ли они себе отчет в том, что кроется внутри их пустой пирамиды? Как мало надо, чтобы вместо города на этом месте чернел кратер. Опять не могу избавиться от ощущения, что там все уже кончилось, что спасательная экспедиция не имеет смысла...»

На этом дневник обрывался. Что же произошло с экипажем фотолета «Маттерхорн»? Почему погиб Славский? Каким образом была затоплена база на поверхности IV планеты? Почему мой друг не мог помочь товарищам? И почему не хотел принимать груз, присланный командованием экспедиции? Может быть, руководствовался только соображениями морали? Может быть, за этим кроется какая-то другая причина? Каким был на самом деле Логер?

Мне хотелось узнать правду.

Я поднял голову. Глаза мои встретились с глазами Конопатого. Он не спал, а внимательно смотрел на меня.

— Читал? — спросил он, показывая глазами на исписанные странички.

Я смутился. Отрицать было бессмысленно.

— Пытался навести здесь порядок и случайно наткнулся на них,— неуверенно начал я.— А так как они меня очень заинтересовали, то...

Он усмехнулся и зло проговорил:

— Я придумал новую поговорку: «Не пускай в дом газетчика, даже если он уверяет, что ушел на пенсию»...

— Прости,— буркнул я.— Мне, пожалуй, пора.

— Нет! Теперь не уйдешь! Садись! — приказал он безапелляционно.— Раз уж ты прочел эти странички, то должен узнать всю правду, чтобы понять...

Мне было не по себе, но одновременно я почувствовал некоторое облегчение.

— От всего этого в дрожь бросает,— осторожно начал я.— Это ты диктовал? — я показал на отпечатанные странички.

— Да. А что тебя интересует?

— Собственно, все. Я хотел бы разобраться в этой истории. Ты мог бы рассказать в какой-нибудь хронологической последовательности?

— У меня нет желания рассказывать. А тем более рассказывать по порядку. Если хочешь — спрашивай, не хочешь — не спрашивай...

Он вытянулся на диване, положив руки под голову.

— Из того, что мне удалось понять,— начал я сразу,— после прибытия в систему Проциона вы вывели «Маттерхорн» на стационарную орбиту вокруг IV планеты Проциона А и пытались наладить связь с ее жителями. Эти попытки дали какой-нибудь практический результат?

— Не понимаю, что ты имеешь в виду. Мы пытались найти общий язык визуальными методами. Ракета чертила светящиеся фигуры в пространстве. Проционицы очень разумные существа. Уже на второй

день они начали реагировать весьма логичным образом на наши сигналы, а через четыре дня, как следовало из ответов, уже понимали их смысл, так что через неделю встал вопрос о непосредственных контактах.

— И всю эту неделю вы не высаживались?

— Нет. Космическое право запрещает высадку на обитаемых планетах, заселенных разумными существами, без их согласия. Кроме того, всегда необходимы предварительные наблюдения. Надо было хоть немного познакомиться.

— Как выглядели эти проционицы?

— Как перевернутые запятые, липкие, осклизлые создания. Тело округлое, как шар или яйцо. Шесть конечностей — все хватательные.

— А голова?

— Головы вообще нет. Во всяком случае, в нашем понимании. Органы зрения — на подвижных усиках, а отверстия для приема пищи и выделения отбросов — в окончаниях шупалец.

— У тебя нет снимка?

— Есть. Позже покажу.

— А полный комплект дневника сохранился?

Он подозрительно взглянул на меня.

— Нет. Все уничтожил. И микромагнитную запись тоже... Все уничтожил! — повторил он.

— Зачем?

— Так лучше,— уклончиво ответил он.

— Чего-нибудь боишься?

— Хвалиться нечем. Они...— начал он и вдруг переменил тему.— Ты спрашивал о высадке? С этого все и началось! Когда нам удалось вдолбить проционидам, что мы хотели бы нанести им визит, они сразу согласились. С делегацией должны были лететь Славский в качестве командира, Кален — как навигатор и механик, Гордон и Холи, знатоки искусства и внеземной архитектуры, а также Гартер — лингвист и кибернетик. Мы были очень довольны, что все идет так гладко, только один Петерсен был неспокоен. Он твердил, что сначала надо послать автомат. Такое быстрое согласие может означать ловушку. Дело в том, что мы обнаружили в окружающем пространстве большое количество античастиц, и не подлежало сомнению, что это явление имеет какую-то связь с исследуемой планетой. Петерсен считал, что у нас нет еще достаточных данных для оценки технического уровня, достигнутого проционидами. Возможно, говорил он, что основная промышленность размещается под землей, что они уже располагают ядерной техникой и античастицы — продукт экспериментов. Петерсен даже выдвинул мнение, что при оценке ситуации всегда необходимо принимать во внимание возможность нападения. Однако Логер высмеял его, говоря, что наличие большого количества античастиц — следствие определенного рода селекции космического излучения, которое, по-видимому, возникает в довольно сильном магнитном поле IV планеты. Уже во время полета, а особенно за последние полгода, мы наблюдали в некоторых районах увеличение количества античастиц со значительным зарядом, как мы думали, внегалактического происхождения. Поток этих частиц был, по мнению Логера, захвачен и удержан в системе Проциона. Вообще-то спор был сугубо теоретическим — каждый подтверждал свои доводы формулами, но дискуссию пресек Гольден, авторитетно заявивший, что разведчика высылать нельзя без согласия жителей планеты. А просить сейчас разрешения нецелесообразно, так как они могут подумать, что мы им не доверяем. Правда, в последнем он был, конечно, не прав, потому что высылку автомата можно было легко оправдать необходимостью определения условий, а особенно наличия микроорганизмов, чтобы не вызвать взаимного заражения. Но тогда нам всем так не терпелось с посадкой, что мы переспо-

рили Петерсена. Он в конце концов согласился с тем, что мы должны сделать одно зондирование в свободном пространстве, то есть выше тысячи километров над поверхностью планеты. Автомат выявил тогда наличие сферы радиации, состоявшей из античастиц, что, казалось, подтверждало теорию Логера о том, что мы имеем дело с естественным явлением.

— И все-таки это была ловушка? Славский погиб?

— Погиб. Как и было решено, они полетели впятером. Сначала все было в порядке. Пилот-автомат вел машину по заданной орбите. Славский, Гордон, Холи, Гартер и Кален сидели в пассажирской кабине, наблюдая за экранами магнитно-гидродинамической системы защиты поверхности ракеты от нагревания, вызванного соударениями с ионизированными частицами атмосферы. Самовозбуждающееся поле служило солидной защитой одновременно и от ионизированных частиц, и от античастиц, пути которых искривлялись так, что не достигали стенок корабля. Конечно, определенное количество частиц с большим зарядом проникает сквозь такое поле, но мы считали, что это не могло создавать большой опасности. И когда вдруг раздался аварийный сигнал, оповещавший о резком скачке величины излучения, никто не обратил на это внимания. Они подумали, что это попросту кольцо радиации, теоретически предвычисленное Логером и подтвержденное роботом-разведчиком. Подобное кольцо имеется и у Земли, однако у IV планеты оно состояло почти исключительно из античастиц. Сила излучения возрастала. Ракета потеряла радиосвязь с кораблем. Славский приказал спутникам сидеть на местах, а сам пошел в кабину пилота, так как робот сигналил все настойчивей и мог в любой момент самостоятельно изменить направление полета. По-видимому, Славский решил как можно скорее пройти сферу радиации и приказал роботу направить машину прямо вниз, к планете. Он считал, что ниже, как это предсказывал Логер, окажется сфера, состоящая из протонов. Это-то и было самоубийством. Дозиметры ошалели! Сила гамма-излучения была настолько велика, что через несколько минут счетчики перестали работать. Одновременно воспламенилась поверхность ракеты. Приборы показали, что вместо ожидаемых протонов ракета наталкивается только на антипротоны и что напряжение поля возрастает... Славский приказал роботу повернуть, но робот отказался слушаться. Видимо, возрастание величины гамма-излучения вызывало какие-то возмущения в электронных системах автомата. Славский был вынужден перейти на ручной пилотаж. Машина повернула, но еще некоторое время продолжала углубляться в атмосферу. И горела... Горела! — повторил мой друг дрожавшим голосом.— Защитное поле «село». Ты знаешь, что происходит, когда сталкиваются частицы с античастицами? Мы видели с корабля, как поверхность снаряда стала красной, потом желтой, наконец белой. Мы были убеждены, что подтвердились предположения Петерсена и прокиониды атаковали ракету потоком антипротонов. Логер даже хотел потребовать включения двигателей, с тем чтобы перевести «Маттерхорн» на более удаленную орбиту, но мы не позволили. Ведь это означало бы оставить наших людей на произвол судьбы. Ракета горела, но уже изменила направление полета, отдаляясь от проклятой планеты! К счастью, двигатели выдержали. Правда, Славский был уже мертв. Исследования показали, что температура в кабине пилота дошла до восьмисот градусов, но после выхода ракеты из атмосферы и ослабления гамма-излучения робот снова принял управление на себя. Однако он не мог довести снаряд до «Маттерхорна», так как совершенно ослеп.

— Кто ослеп?

— Я же говорю — робот! Все наружные приборы ракеты поплавились. Когда мы добрались до нее, она была еще ярко-красной. К сча-

стью, люк открылся легко. Гартер, Кален, Гордон и Холи были живы, но лежали без сознания. Пассажирская кабина находилась в центре корпуса и не имела окон. Температура не превышала тут ста градусов. Славского, увы, не удалось вернуть к жизни.

— Значит, Петерсен оказался прав?

— Все зависит от того, как понимать. Был прав в том, что надо было сначала произвести разведку. Нам никто не устраивал ловушки. Проционицы не хотели нас убивать! Они вообще не имели ни малейшего понятия о ядерной физике.

Я был совершенно обескуражен.

— Тогда что же произошло?

— Это был *антимир!* — тихо, но с ударением сказал мой друг.

Наступило молчание.

— Ты имеешь в виду мир, созданный из античастиц? — спросил я спустя минуту, желая еще раз увериться в том, что не ослышался.

— Да,— кивнул он.— Ты, наверно, знаешь, что это значит! У нас вокруг положительных ядер вращаются отрицательные электроны. Там около отрицательных ядер вращаются положительные электроны — позитроны. Вместо протона — антипротон, вместо нейтрона — антинейтрон. Столкновение частицы с античастицей дает в результате...

—...аннигиляцию,— докончил я, чувствуя, что холодею.

— Да. Аннигиляцию,— повторил он глухо.— Уничтожение существовавшей до этого формы материи, превращение вещества в излучение. Ничего странного, что жароупорная поверхность ракеты горела, как солома на ветру.

— Неужели возможно, чтобы Процион... Так близко от Солнца! Едва одиннадцать световых лет!

— Что значат все теории против фактов? — неестественно рассмеялся мой товарищ.— Придется пересмотреть космогонические теории. Придется создать новые, а старые выкинуть на свалку. Да, Зеленый Глаз, на свалку!

— Я все еще не могу поверить!

— И мы тоже не могли. Даже Петерсен не верил! Ведь до сих пор считалось, что если в галактике приходилось в среднем больше одной античастицы на 10 миллионов частиц, то это уже должно было вызывать нарушение термодинамического равновесия! Концентрация антиматерии в межзвездной среде настолько мала, что все единодушно исключали возможность возникновения в Млечном Пути звезд, состоящих из антиматерии.

— Может быть, этот антимир попал к нам из другой галактики?

— Малоправдоподобно. Уж слишком невелика скорость Проциона относительно Солнца. По-видимому, мы еще мало знаем о Вселенной. Это открытие совершенно выбило нас из колеи.

— Но ведь уже во время вхождения в систему вы должны были сообразить...

— Внутрь системы мы входили в период торможения. А действие фотонного двигателя, вернее, продукты протекающих в нем реакций совершенно меняют качество измерений, проводимых в непосредственной близости от корабля.

— Стало быть, кроме следов антиматерии в космическом пространстве и вблизи IV планеты, вы ничего не заметили? Невероятно!

Конопатый некоторое время смотрел на меня, словно обдумывая вопрос.

— Не забывай,— сказал он наконец,— что антиматерия физически и химически внешне ничем не отличается от материи. Собственно, это та же материя, только вывернутая наизнанку. Для проционидов наши физические и химические справочники пригодны так же, как и для нас. Они

описывают те же самые закономерности, те же самые реакции с теми же самыми элементами. Только для них наша материя является антиматерией. Вопрос, с какой стороны смотреть. Однако на расстоянии различий обнаружить невозможно. Все фотоны одинаковы. Только при непосредственном столкновении.

— И тогда, после катастрофы, вы поняли, что это антимир?..

— Если бы так...— тяжело вздохнул мой друг.— К сожалению, это нам даже в голову не пришло. Мы были заворожены подозрениями Петерсена. Да и кто бы мог поверить, что планета построена из антиматерии? Логер, который тотчас по смерти Славского взял руководство в свои руки, сказал, что на разбойничье нападение мы должны ответить демонстрацией нашей высокой техники. Мы должны показать, что наши ракеты, если мы того захотим, достигнут поверхности планеты. Я сопротивлялся этому, считая, что нет смысла обострять положение. Логер, может быть, и не посчитался бы со мной, но меня поддержали Гольден, Кален, а позже и другие. Однако Логер требовал, чтобы из ускорителя выслали в направлении планеты поток античастиц. Он хотел доказать, что и мы тоже можем это сделать. Конечно, результата не было никакого. Но еще и тогда мы были словно слепцы. Петерсен считал, что они могли отвести поток каким-нибудь полем. Гольден предложил послать в качестве парламентера робота, снабженного возможно более мощным защитным полем. Целью полета Логер выбрал остров диаметром около полутора километров с возвышавшимся на нем строением, напоминавшим священную пирамиду ацтеков.

— Вы не пробовали договориться при помощи световых сигналов?

— Пробовали, но ничего не вышло. Гольден пытался передать своего рода сообщение, что, учитывая нарушение проционидами договора, повреждение нашей ракеты и вызванную этим смерть человека, мы требуем дипломатического удовлетворения. По-видимому, это было слишком сложно для убогого общего языка. Проциониды не поняли и только раз за разом, видимо, обеспокоенные, повторяли серии сигналов, которые раньше мы приняли за согласие на посадку. Логер требовал выслать ракету-робот. Пока робот двигался среди ионизированной антиматерии, защитное поле неплохо его предохраняло. Однако, когда он вошел в плотные слои атмосферы и потерял скорость, процесс аннигиляции начал усиливаться. На высоте пятидесяти километров снаряд уже ослепительно сверкал. Мы были убеждены, что проционидыхотят его уничтожить, и пытались изменить направление полета, но рулевой механизм уже не работал. Наконец произошел взрыв. Робот не содержал взрывного заряда, а тем более ядерного. И все-таки взрыв поразительно напоминал взрыв водородной бомбы. Только тут Петерсен и Логер поняли, что перед нами антимир. В ракете было около ста килограммов массы. Часть материи аннигилировала в атмосфере, однако с поверхностью воды столкнулась по меньшей мере половина этой массы. Снаряд упал рядом с островом в море. Много часов радиоактивная туча висела над океаном, достигая даже побережья, удаленного на сто девяносто километров от острова.

— А проционидыы?

— На острове их было, по-видимому, немного. Слабое, конечно, утешение — ведь снаряд буквально стер остров с поверхности моря. Как только мы поняли, что имеем дело с антиматерией, мы послали проционидам предостережение, чтобы они покинули район, которому угрожала радиоактивная туча. Однако, я думаю, было немало смертельных случаев и за пределами острова. Все мы были подавлены происшедшим. Воспоминания о недавней смерти Славского словно поблекли. Даже Логер казался надломленным, ведь ответственность падала на него.

— Что за глупая, бессмысленная и одновременно ужасная история! — воскликнул я, глубоко потрясенный рассказом друга.

— Да. Это было страшно... Мы совершенно не знали, как выпутаться из создавшейся ситуации. Логер сначала хотел даже вернуться в солнечную систему, но Гольден убедил его в бессмысленности такого решения. Гольден говорил, что надо все как-то загладить. А кроме того, экспедиция должна выполнить задание. Тем временем проционицы совершенно превратно поняли случившееся как объявление войны. И не удивительно!..

— Вы, конечно, пытались выяснить недоразумение?

— К сожалению, проционицы не имели понятия об атомном ядре, не говоря уже об антиматерии, и не понимали, о чем мы пытаемся им сообщить. А может быть, просто перестали нам верить! С той минуты они уже ни разу не ответили на наши сигналы. Через неделю бесплодных усилий наладить контакт Логер решил, что мы попробуем еще раз установить непосредственную связь. Правда, о высадке человека на поверхность планеты, созданной из антиматерии, не могло быть и речи...

Я обратил внимание на расхождения между рассказом и дневником.

— Ты же писал...— начал я, но он не дал мне закончить.

— Подожди! Это было только начало! Видно, немного ты понял из тех отрывков,— он показал на листки,— если не знал ни об антиматерии, ни о скафандрах с электромагнитной защитой.

Я потянулся к страницам.

— О скафандрах там что-то было. Но я не догадался, какие они. Неужели?..

— Эх! На все найдется средство! Даже на антиматерию! Сначала разговор шел только о роботах. О людях еще никто не думал. Проционицы не отвечали на сигналы, а в остальном вели себя, как прежде. Мы наблюдали за ними в телескоп, делали снимки и измерения, время от времени — неглубокое зондирование. Наконец спустя пять недель Логер, Петерсен и Кален закончили сборку двух роботов, которые могли опускаться в этот антимир, передавать телевизионные изображения и производить наблюдения вблизи.

— Но вы ведь имели дело с неионизированной антиматерией, не поддающейся влиянию полей. Каждая частица воздуха, столкнувшаяся с аппаратом...

— Вот именно! — перебил меня приятель.— Нельзя было допустить такого столкновения! Логер и Петерсен напали на мысль окружить робот слоем ионизированной антиматерии, удерживаемой на расстоянии при помощи мощного поля. Ионизацию вызывала аннигиляция частиц, которые проникали сквозь поле. Увеличение количества частиц, проникающих сквозь защитный слой, вызывало усиление ионизации и тем самым усиливало защитный покров, уменьшая аннигиляцию. Умело регулируя поле, можно было поддерживать своего рода равновесие, с тем чтобы защитное поле не устраняло аннигиляции, а только чрезвычайно замедляло ее. Робот был снабжен двумя ионными двигателями: одним — ракетным, на плазме, создаваемой из собственных запасов материи, работавшим в космической пустоте, где не надо было включать охранного поля; другим — внешнего типа, поступательным, работавшим только при включенном поле в антиматериальной атмосфере.

— Каким образом?

— Поле не только отталкивало ионизированные частицы антиматерии и охраняло робот от столкновения материи с антиматерией, но могло отбрасывать эти частицы в определенном направлении, создавая реактивную тягу. Изменяя направление отталкивания, можно было сво-

бодно маневрировать машиной. Это, несомненно, было удачное изобретение. Аппарат имел только два существенных недостатка: немилосердно нагревался, и поэтому приходилось применять весьма интенсивное охлаждение, а кроме того, антиматерия в твердом состоянии могла проникнуть сквозь защитный слой и вызвать взрыв. Но тогда это казалось нам несущественным. Кален, кроме того, задумал сумасшедший план создания магнитного подъемника, дающего возможность переноса на орбиту корабля антиматериальных предметов из железа. Это было бы не только неплохим началом, но и открывало бы перспективы создания робота с твердой антиматериальной защитой.

— И такой снабженный полем робот мог садиться на планету?

— В точном значении этого слова — нет. Он только висел над поверхностью в том антиматериальном воздухе. Первый робот такого типа вел сам Логер. Одновременно мы выслали предупреждение, чтобы жители планеты не пытались атаковать машину. И в этом, пожалуй, была ошибка.

— Не понимаю.

— Для проционидов это явилось подтверждением их опасений, что мы собираемся овладеть планетой. Они встретили робот чем-то вроде заградительного огня. Технический уровень — где-то между концом XIX — началом XX веков на Земле. Примитивные снаряды с реактивными двигателями взрывались, как шрапнель, в воздухе над местом, которое Логер выбрал в качестве цели первого полета. Только случай да быстрая реакция Логера помогли избежать катастрофы. Он поднял машину на высоту двадцати километров, и мы принялись решать, как поступать дальше. Тут-то Логер впервые показал свое настоящее лицо. Большинство экипажа считало, что надо отступить и возобновить попытки оптической связи. Логер выслушал соображения, а потом высказал почти совершенно противоположное мнение, не допустив дальнейшей дискуссии. Ты знаешь, какие права предоставляются командиру космического корабля, какую власть он имеет за пределами сферы трех населенных людьми планет. Так должно быть. Но тогда это было просто авантюризмом. И даже хуже. Логер приказал Калену установить на втором роботе скорострельный автомат, который должен был защищать первый. Второй робот должен был пилотировать я.— Он умолк и нервно смял в руке исписанную страницу.

— Но ведь не намеревались же вы атаковать проционидов? — начал я, но вопрос, по-видимому, не дошел до сознания моего друга, так как он продолжал, словно не слыша.

— Приказ был коварным! Логер хотел отыграться на мне: я был самым ярым противником вооружения робота.

— А уполномоченный? Ведь космический закон гласит, что высаживаться можно только с разрешения жителей планеты. Неужели...

— Как же ты наивен, Зеленый Глаз! — перебил он с иронией.— Одного закона мало, надо иметь совесть. Я говорил, что Гольден легко поддавался чужому влиянию. Правда, я отчасти понимаю Логера: тут был принципиальный вопрос о выходе из тупика. Мы все тогда единодушно решили, что о возвращении не может быть и речи, что надо как можно скорее добиться взаимопонимания и начать исследовательские работы. Разница была только в выборе средств. И именно тут проблема приобретала принципиальный характер. Гольден поддержал Логера, пояснив, что посылка робота не является высадкой, это лишь способ установить контакт с жителями планеты. К тому же, прониониды не подавали сигналов, которые можно было бы рассматривать как нежелание разрешить посадку. Конечно, все это было чистейшей софистикой: обстрел робота, несомненно, следовало трактовать как сопротивление. Однако Логер не допустил, как я говорил, дискуссии.

— И ты пилотировал этот робот?

— А что я мог еще сделать? Согласно инструкции, я вел машину на расстоянии тридцати километров от робота Логера. И в случае опасности должен был применить оружие.

— В мире антиматерии!

— Скорострельный автомат — это что-то вроде пистолета-пулемета, выбрасывающего снаряды весом в несколько граммов. Снаряды могут быть любые, вплоть до ядерных. Там же было достаточно обычной материи. Разумеется, снаряды были снабжены небольшими генераторами поля. Я тебе уже говорил, что более массивный снаряд такого рода, с большой кинетической энергией может проникать сквозь защитное поле. Ясное дело, он тотчас соударяется с частицами газа атмосферы, и начинается аннигиляция, замедленная самоиндуцирующимся полем. При столкновении с твердым телом или жидкостью наступает взрыв, сравнимый с взрывом маленькой аннигиляционной бомбы. Это было довольно грозное оружие, несмотря на небольшую массу снарядов. Выдумка Логера, на это у него ума хватило.

— Ну и?..

— Именно тогда все и началось,— сказал Конопатый, угрюмо глядя в пол.— Логер направил свой робот к районам, покрытым растительностью, где построек было немного и, как казалось, не могли скрываться военные машины. Робот беспрепятственно добрался почти до самой поверхности планеты и летел на небольшой высоте в направлении ближайшего города. Мой робот висел на высоте двадцати пяти километров, откуда я наблюдал за нужным районом. Логер как раз находился над городом, когда я заметил на экране радара на расстоянии восьмидесяти километров каких-то два больших летательных аппарата, направлявшихся к городу.

— У проционидов были самолеты?

— По форме они скорее напоминали дирижабли. Длинные «сигары» с отверстием посередине. Какая-то смесь колеоптера с дирижаблем. «Сигары» двигались в направлении города со скоростью свыше ста километров в час, и следовало предполагать, что это примитивные боевые машины. Я предостерег Логера, но он как раз заметил на крыше самого высокого здания города длинный стержень, показавшийся ему изготовленным из железа. Логеру во что бы то ни стало захотелось проверить, не удастся ли ухватить стержень электромагнитом. Он приказал мне по возможности дольше задержать те две «сигары», конечно, избегая столкновения. Тем временем ситуация приняла непредвиденный и очень опасный оборот. Замеченный Логером стержень был намертво прикреплен к крыше. В нем действительно содержалось железо, так что его удалось ухватить кольцевым магнитом, но не было, конечно, и речи о том, чтобы поднять его вверх. Логер выключил электромагнит, но ракета не могла подняться в воздух.

— Авария?

— Нет. Стержень, торчавший из крыши, сам был чем-то вроде электромагнита, а приплыв ионов в защитном поле робота вызывал путем индукции возникновение притяжения. А ведь для того, чтобы снять со стержня магнитное поле и подняться в воздух, надо было как раз отбросить ионы вниз, вдоль оси стержня.

— Поразительная история...

— Случайность, но виноват был Кален, не предусмотревший такой возможности. Ситуация стала трагической: робот не мог стартовать, а тем временем «сигары» шли на помощь городу. О том, чтобы их задержать, нечего было и думать. При виде моего робота «сигары» стали расходиться, причем одна из них попыталась окружным путем добраться до города, а другая шла прямо навстречу мне. С расстояния около трех

километров они открыли огонь. Однако, прежде чем их ракетные снаряды пролетели необходимое расстояние и взорвались, я успел поднять робот вверх на десять километров. Я сказал себе, что не буду уничтожать эти машины, но оказался припертым к стенке. Робот Логера был не в состоянии стартовать и в любой момент мог быть атакован. Аннигиляция означала бы гибель города. А ведь экипаж «сигар» не мог знать об этом и направлялся к городу именно для уничтожения космического пришельца. Было совершенно исключено, чтобы мы успели объяснить жителям, в чем состоит опасность, прежде чем дело дойдет до катастрофической атаки. Мне казалось, что я схожу с ума. Я проклинал Логера и Калена, а одновременно убеждал себя, что в данный момент единственным спасением для города является уничтожение обоих боевых кораблей. Тем временем машины все ближе подходили к городу, обстреливая мой робот при каждой попытке задержать их.

Нервная судорога пробежала по лицу Конопатого. Я почувствовал, что и мне что-то сжимает горло.

— И ты уничтожил эти дирижабли? — с усилием спросил я.

Он кивнул, не глядя мне в глаза.

— Я знаю, тогда не было другого выхода,— сказал он тихо.— Я не мягкосердечный человек, многое уже видел, но не могу убивать. Не могу не думать. Еще сегодня не могу отделаться от ощущения, что тогда все могло быть иначе.

— Вы не боялись, что застрявший робот может быть атакован жителями города? — попытался я возобновить разговор.

Он долго глядел на меня, словно не понимая, о чем я говорю, наконец ответил уже немного спокойнее:

— Было одно счастливое обстоятельство, исключавшее нападение снизу. Крыша строения представляла собой широкую вогнутую террасу, так что ни с соседних домов, ни снизу робот виден не был. Они могли напасть только с воздуха или пройти каким-нибудь ходом через крышу. Однако никто, по-видимому, не решался на такого рода встречу. Одиночные проционицы всегда избегали наших машин. Да и нечему удивляться.

— Они не возобновили атак с воздуха?

Он горько усмехнулся.

— Это было только начало. Мы уничтожили еще тридцать два летательных аппарата, прежде чем проционицы поняли, что атаки не имеют смысла. Это, увы, уже была война. Ненужная, лишенная даже крупиц логики. Самое худшее, что мы не могли прекратить военных действий, пока не были смонтированы приспособления для освобождения робота. Петерсен и Кален делали, что могли. Но лишь спустя четыре недели им удалось закончить монтаж третьего робота. Это было необходимо, так как второй должен был оборонять первого. Третий робот снабдили ускорителем, излучающим узкий пучок протонов большой энергии. Вызывая этим потоком аннигиляцию, удалось наконец отделить злосчастный стержень. Этот месяц окончательно меня вымотал. Я был совершенно надломлен психически. Когда наконец все три робота вернулись на «Маттерхорн», я уже буквально ни на что не годился. Лишь через два месяца Гибсон, корабельный врач, поставил меня на ноги. Но было уже поздно. Хотя, как знать?.. Может, это была только моя глупость? Может, не надо было потакать Логеру, а просто пальнуть ему в лоб или...

— О чем ты говоришь? — спросил я, чувствуя, что Конопатый опять начинает перескакивать через события и путаться в них.

— Видишь ли,— начал он с явной неохотой,— за эти месяцы, вместо того чтобы улучшить положение, Логер и его клика окончательно все обострили. Клика маньяков и авантюристов!.. А было так: уже снимки

«Бумеранга XII», которые давали только весьма общие представления об архитектуре и градостроительстве проционидов, произвели сильное впечатление на людей. Но то, что показали камеры роботов, было настоящим чудом! У этих существ скульптура и архитектура играют какую-то особую, доминирующую роль. Даже те несчастные «сигары» были необычайными произведениями искусства. С ними нельзя равнять даже наши галеоны периода Возрождения и барокко. Это были сооружения с какими-то странно легко входящими в душу человека пластическими формами. Наши искусствоведы просто потеряли головы. Рассматривая города проционидов вблизи, они словно ошалели. Это передалось Гольдену и Логеру. Да что там говорить! Даже Кален и Петерсен не остались безразличными, хотя искусство их и не интересовало. И тогда, наперекор не только Космическому праву, но и вообще здравому смыслу и логике, несмотря на то, что и дальше не было никакого взаимопонимания с проционидами, стали посылать роботов на поверхность планеты, в города и большие селения. Начались съемки, измерения, систематизация, классификация. Начались вздохи и сожаления, что это антиматерия, что невозможно увидеть все поближе, собственными глазами. Хотя бы сквозь стекла скафандров.

— А проциониды?

— Что проциониды! Разве могли они рассматривать нас иначе, как врагов? Иногда доходило до стычек. Правда, они уже не пытались атаковать работы, но преграждали им путь огнем к некоторым объектам, городам и островам.

— А вы?

— Сначала Логер отдал ясный приказ, запрещавший нападать на проционидов, и велел отступать в случае атаки с их стороны. Но позже бывало всякое.

— И вы не могли им объяснить, что это только недоразумение, трагическое стечение обстоятельств! Ведь легче добиться взаимопонимания при непосредственном контакте, чем на расстоянии, рисуя картинки в пространстве.

— Ошибаешься. Решают не средства связи, а смысл информации. Это может показаться парадоксом, но общий язык в области отвлеченных понятий гораздо важнее, чем в дословных значениях. Проциониды наверняка точно понимали смысл переданных им изображений. Об этом свидетельствует то, что некоторые указания они выполняли правильно и вообще прислушивались к предостережениям. Однако проциониды считали нас врагами, агрессорами и по меньшей мере наглецами, которых, если б только было возможно, они выгнали бы со своей планеты. И ни разу с момента возникновения конфликта они не ответили на наши попытки наладить связь.

— А ты не думаешь, что это был своего рода бойкот?

— Вероятнее всего. А может быть, это стояло в связи с какими-то правилами поведения, обязательными в их мире.

— Но вы сделали все, что было в ваших возможностях, чтобы исправить положение?

— В том-то и дело! — подхватил он.— Если бы я мог сказать, что все. Если бы так... Но кто должен был это сделать? Сумасшедшие историки искусства, которых не интересовало ничто, кроме скульптуры и архитектуры проционидов? Или Петерсен, для которого факт открытия антимира означал пересмотр стройной теории, над которой он работал всю жизнь? Может быть, Кален, исступленно конструировавший все новые, все более необыкновенные приспособления, дающие возможность вести работы в мире антиматерии? Может быть, Гольден или Логер, которые прежде всего думали о выполнении задания экспедиции?!

— Но разве связь — не первостепенная задача?

— Да. Но не забывай, что нас разделяли тридцать четыре уничтоженных воздушных корабля и полуторакилометровый остров, сметенный с поверхности моря! Установление тесного контакта означало бы ограничение, а может быть, и приостановку непосредственных исследований. Разве проционицы дали бы согласие на их продолжение, зная правду? Даже проявляя максимум доброй воли, разве могли они подвергать себя, свои города, свои произведения искусства беспрерывному риску аннигиляции?

— Ты хочешь сказать, что никто не был заинтересован в прекращении состояния войны? Ведь это же подлость, преступление!

— Никто никого за руки не хватал. Никто ничьих мыслей не читал. Гольден смог бы тебе все обосновать согласно канонам Космического права. Однако было бы неверно утверждать, что все думали так же. Гибсон открыто добивался прекращения исследований, Гартер часто вступал в конфликты с Логером, пытаясь втолковать проционидам ситуацию слишком открыто.

— Это лингвист-кибернетик?

— Да. Гартер прежде всего занимался связью с проционидами. Он был полной противоположностью Гольдену и Логеру. Иногда казалось, что он держит сторону не людей, а тех уродцев, что они ему ближе. Я на это не был способен. Для меня они всегда были чуждыми существами. Но, возвращаясь к теме, скажу: Кален тоже, особенно позже, был против методов, применявшихся Логером. Не мог простить себе, что созданные им приспособления служили... грабежу! Ведь это был грабеж! В наше время! Кто уполномочивал их забирать что-нибудь с поверхности планеты? Тут вопрос не только в железе для создания изоляционных систем. Одно дело — взятие проб антиматерии или просто сырья, и совсем другое — произведения искусства тех существ.

Я начинал понимать.

— Значит, в том ящике?..— я показал глазами на дверь, ведущую в соседнюю комнату.

Конопатый замялся, секунду смотрел мне в глаза, словно раздумывая над ответом.

— В некотором смысле... да. Это как раз из того периода,— ответил он тихо.— Позднее Логер с Каленом и еще двое механиков начали строить снаряд для высадки на планете и даже что-то вроде скафандров. Антиматерию, в основном железо, обрабатывали на расстоянии в пространстве, при помощи полей. Удалось изготовить не очень толстые оболочки, отделенные полями от поверхности самих скафандров и ракет. Такие аппараты могли садиться на твердую поверхность, и притом без охлаждения, а индивидуальные скафандры, напоминавшие своим видом колокола, давали возможность передвигаться в некоторых границах в мире антиматерии. Я считал эту затею безрассудством, ненужным риском. Без нужды подвергали опасности себя и проционидов. Достаточно было секундной неполадки в работе аппаратуры. Стоило только где-либо полю «протечь», и человек или корабль превратился бы в аннигиляционную бомбу. Но они уже не обращали внимания на опасность.— Он на минуту задумался.— Может, я зря все это рассказываю? Наверно, ты прочел в тех записках?

— Нет, нет, продолжай. Там есть еще упоминание о каком-то сокровище в храме и бегстве жителей города. Но о чем идет речь — непонятно.

— О! Это было уже месяцами тремя позднее! Сначала Логер вообразил, что ему предстоит «историческая миссия», что на IV планете следует создать зародыш человеческой цивилизации, который выполнял бы роль центра, руководящего переменами в обществе проционидов. Однако разве можно было говорить о положительном влиянии людей,

если проционицы, как правило, убегали при виде наших машин и прятались в домах? Внутрь строений вообще невозможно было попасть, так как проционицы значительно меньше нас. Собственно, это были вовсе не культурные контакты, а односторонние наблюдения и исследования.

— И часто доходило до столкновений?

— В основном исследования ограничивались небольшим районом площадью в несколько сот квадратных километров, и прежде всего городом, расположенным в центре. Тут можно было двигаться довольно свободно, но в некоторых пунктах планеты жители не допускали посадки наших машин. Растущее беспокойство и даже агрессивность проционицы стали проявлять, когда наши деятели начали для проведения подробных исследований и замеров добывать некоторые предметы непосредственно из строений или из других труднодоступных для автоматов и людей в скафандрах мест. В частности, дело дошло до открытой стычки во время исследования структуры длинного скульптурного элемента, украшавшего узкий проход между двумя строениями. Гордон пытался отделить этот элемент от стены и был закидан камнями, что, впрочем, не причинило ему большого вреда, так как небольшие куски антиматерии отскакивали от панциря. Будь у них большая масса или скорость, положение могло бы стать небезопасным. А другой раз толпа пыталась сжечь Логера внутри большого низкого строения. Логер снес его выстрелом из пистолета. Позже он объяснял свой поступок тем, что, мол, не выдержали нервы, но факт остается фактом. Гартеру же, собственно, нечего было объяснять проционидам. Где уж тут говорить о взаимном доверии? Наконец дошло до истории со светящимся шаром. Знаешь, в том храме в городе, который мы называли Столицей Желтого Континента... Логер настаивал на том, что этот странный шар надо забрать в солнечную систему. Я в споре участия не принимал, так как ни разу не летал на планету.

— Почему?

— Видишь ли...— он замялся,— все не так просто. Не думай, что я не доверял скафандрам. Такая смерть — лучшая из смертей. Конечно, при условии, что поле исчезнет сразу, а не будет слабеть постепенно, пропуская все больше частиц. Но предприятие наше становилось все более бессмысленным. Я был против подобных исследований. Потом, когда базу перенесли к столице...— Он резко переменил разговор: — А с тем шаром действительно произошла странная история. Почти все предметы, которые создают проционицы, почему-то вызывают у людей приятные ощущения. Может быть, тут проявляется коллективное внушение. Не знаю. Во всяком случае, светящийся шар содержал в себе что-то такое, что действовало на людей чрезвычайно сильно. И притом на всех. Ланг и Гибсон считали, что дело в электромагнитном излучении особого рода, вызывающем путем индукции такие изменения в ритмах биотоков нервов человеческого организма, которые мы воспринимаем как особенно приятные.

— И поэтому они разместили базу там, в храме?

— Нет, нет,— поспешно возразил мой друг.— Действие шара не было настолько уж сильным, чтобы мы потеряли рассудок. С базой было иначе. Сначала Логер пробовал убедить проционидов перенести шар к транспортной ракете. Но они покинули город. За одну ночь! Весь город, с многомиллионным населением!

— Прекрасная организованность!

— Да! Это они сумели! Обладай проционицы нашей техникой, положение могло бы быть чрезвычайно неприятным. Логер выбрал для базы место, окруженное особым поклонением проционидов, по форме оно немного напоминало крепость. Сначала казалось невероятным, чтобы они навсегда покинули такой большой богатый город. Однако прошло

две недели, а никто не возвращался. Попытки контактов, как ты знаешь, закончились провалом. Проционицы явно оказывали пассивное сопротивление. За это время на дне амфитеатра Логер и Петерсен оборудовали павильон и оттуда совершали вылазки в глубь города. Там было огромное количество произведений искусства. Некоторые, более легкие, и в первую очередь те, что не были прикреплены к основаниям, удавалось перенести на базу при помощи транспортной ракеты. Производить исследования в опустевшем городе в одиночку опасались. Возможно было нападение, а тем временем... Если предмет был слишком тяжел или соединялся с почвой, дело усложнялось. Поля скафандров были слишком слабы, а о создании без помощи проционидов роботов из антиматерии, управляемых на расстоянии, как это планировал Логер, нечего было и думать. Наконец Гольдену пришло в голову перевести вверх, на орбиту «Маттерхорна» некоторые небольшие, но особенно интересные предметы. Это было уже слишком для моих нервов. Я сказал, что не приму ни одного килограмма груза, и, когда, несмотря на мое предупреждение, они прислали несколько таких предметов, я уничтожил их, вызвав аннигиляцию.

— Об этом я читал. Потом Логер закрыл тебя в аварийной камере?

— Еще немного — и я сдох бы там от голода и жажды. Меня спас робот-координатор, открывший аварийный люк.

— Как это случилось?

— Сам не знаю... Думаю, ему просто что-то «не понравилось» внутри корабля. Между прочим, он имел задание наблюдать за опасностью. Конструкторы не исключали возможности каких-нибудь неожиданностей, аварии. В этом случае координатор вмешивался, чтобы восстановить нормальное положение. По-видимому, мое многодневное пребывание в аварийной камере и стуки в дверь были ненормальным положением, с точки зрения автомата.

— Ты уверен, что Логер, закрывая тебя в аварийной камере, хотел таким образом...

Он отрицательно покачал головой.

— Сначала и я так думал. Но, пожалуй, он не имел намерения меня «прикончить». Хотел только изолировать, арестовать, чтобы я не вступил в контакт с Каленом, Гибсоном и Гартером. Логер боялся бунта. Если бы за нами шло две трети экипажа, Логер был бы вынужден уступить. Поэтому всех остальных он держал при себе на базе. Меня боялся больше всего. Он не мог предвидеть, что не вернется на корабль.

— И они все остались на планете?

— Эх, глупейшая история! Ужасно глупая! Дали себя живьем похоронить! Сами влезли в ловушку. Когда я в первый раз взглянул в телескоп, меня пробрала дрожь. База стояла на дне амфитеатра, тут же, рядом с шаром. И все было как будто на месте, но весь храм, до самого края усеченной пирамиды, заполняла какая-то стеклянная прозрачная масса. В первый момент я подумал, что это вода. Но это была не вода. Застывшее стекло! А они были там, внутри амфитеатра, словно мошки в янтаре. Все роботы, даже простые приборы, сконструированные в последние дни Петерсеном, были там, на дне, собранные вокруг шара, который сквозь эту кристаллическую глыбу продолжал сверкать своими многоцветными огнями.

— Но что же, собственно, произошло?

— Логер решил оторвать шар от цоколя. Подтянули все роботы. Но, когда удалось сдвинуть его с места, из отверстия под ним хлынул поток какой-то жидкости, которая в несколько секунд заполнила дно амфитеатра, быстро застывая. Люди едва успели укрыться внутри павильона и соединенной с ним ракеты. Но взлететь ракета уже не могла. Клеевидная субстанция выливалась не только снизу. Она лилась

также из нескольких боковых отверстий, о существовании которых никто и не догадывался. В несколько секунд храм был затоплен.

— И ты все это видел?!

— Нет. Позже мы установили связь при помощи световых сигналов, так как радио не работало. Тут-то я все и узнал. Ведь они там, в затопленной базе жили. А я не мог им помочь,— добавил Конопатый, словно оправдываясь.— Не мог. Не располагал никакими приспособлениями, никакими транспортными средствами, имеющими защитное поле. Все ракеты Логер стянул туда, на планету. Проциониды выбрали подходящий момент! Они все время наблюдали за нами и прекрасно знали, насколько мы беспомощны, когда нас окружает твердая антиматерия.

— А изнутри павильона нельзя было?..

— Я же говорю: все приспособления оказались затопленными, погребенными в стеклянной массе! Как можно пробиться при помощи полей сквозь антиматерию? Только с помощью аннигиляции. А именно это и было невозможно, так как означало бы смерть! Прежде всего от гамма-излучения. Люди внутри пытались растопить стекловидное вещество, усиливая напряжение поля, но из этого ничего не получалось. Нужна очень высокая температура, а значит — и охлаждение. А они не могли разбрасываться энергией, хотя имели возможность использовать охладительную аппаратуру ракеты. Ведь если бы не хватило тока, если бы лишь на мгновение наступил перерыв в подаче энергии из реактора, вся база превратилась бы в колоссальную аннигиляционную супербомбу!

Он умолк, а я был так потрясен, что не мог произнести ни звука.

— Не известно, живы ли они еще,— помолчав, угрюмо произнес Конопатый.— Не помню, на какое время могло хватить энергии их роботам. Ведь достаточно, чтобы только у одного сдало поле. Только у одного! Последние недели роботы потребляли много энергии. Если говорить о базе и ракете, то думаю, что Петерсен нашел бы выход из положения. Он мог даже создать какой-нибудь аннигиляционный реактор, соединяющий нашу материю с антиматерией планеты. Но я им помочь не мог. Не мог помочь. Не мог убивать! — выдавил он голосом, дрожавшим от возбуждения.— Логер хотел, чтобы я принудил проционидов освободить базу. А как я мог их принудить? Только убивая.— Он поднял голову и долго в упор смотрел на меня.— Скажи! Разве я мог?!

Я не знал, что ему ответить. Рассказ, хотя и убедительный, был тем не менее односторонним, а события — столь необыкновенными, что любые попытки оценить их, пользуясь аналогиями, были невозможны.

— Ну, скажи, — настаивал мой друг,— а ты, ты поступил бы иначе?

— Не знаю. Наверно, нет,— неуверенно ответил я.

Он резко перегнулся через диван и схватил меня за руку.

— Так, значит... Так, значит, ты думаешь, что надо было... что можно было иначе?

— Ничего я не думаю! — возразил я довольно резко, вырывая руку.— Мне трудно сказать что-нибудь определенное. Я не знаю всех обстоятельств, не знаю технических возможностей, которыми ты располагал.

— У меня не было никаких возможностей. Я мог только убивать! Уничтожать! Значит, ты думаешь, что надо было принудить проционидов силой?

— Я этого не говорил. Но ты хоть пытался им объяснить световыми знаками, что если они не освободят твоих товарищей, то рано или поздно доведут дело до взрыва, а значит — до полного уничтожения их столицы?

— Я знал, что ты об этом спросишь,— ответил он с горечью.— Все вы спрашиваете одно и то же. Словно это изменило бы положение.

А если бы они их освободили, то какие у тебя гарантии, что Логер не стал бы мстить?! Не сомневайся — я старался объяснить проционидам, как обстоит дело. Может быть, они освободили наших. Кто знает?.. — Конопатый как-то странно взглянул на меня.— Да, наверняка освободили. Наверняка.

Я был обескуражен.

— Что ты говоришь?! Ведь только что ты утверждал...

— Допустим, что они никогда не были заключены,— сказал Конопатый, меняя тон.— Что вообще не было никакой ловушки.

Бредит? Нет, это не было бредом. Он говорил совершенно нормальным голосом. Мне показалось, что на губах у моего друга промелькнула усмешка. Неожиданная мысль пришла мне в голову.

— Значит, неправда, что база была затоплена?

— Допустим,— он снова как будто улыбнулся.

— Но почему... почему ты не принимаешь участия в новой экспедиции?

Конопатый вдруг побледнел. Глаза удивленно расширились. Но сквозь удивление нетрудно было заметить еще одно чувство: страх.

— Что ты знаешь об экспедиции? — глухо спросил он.

— Знаю, что через пять дней фотолет SF-37 «Молния» должен стартовать со специальной базы на Эросе. И знаю, что цель экспедиции — система Проциона. А теперь знаю еще, что эта экспедиция — спасательная.

Конопатый поднялся с дивана и, казалось, готов был броситься на меня.

— Ты... ты...— прохрипел он,— притворялся! Все время притворялся, будто ничего не знаешь. Обманывал меня! Значит, даже ты! Даже ты!

— Не волнуйся,— пытался я успокоить его.— Я не собираюсь использовать то, что услышал от тебя. Думаю, что...

— Я знаю: встреча со мной была подстроена! — резко оборвал меня Конопатый.— Это была игра, рассчитанная на то, чтобы вытянуть из меня как можно больше! Значит, вся история с пенсией была обманом? А я, глупец, думал, что ты честный парень, каким был тогда, много лет назад...

Я чувствовал, что должен объясниться.

— Я не обманывал тебя, говоря, что ушел на пенсию. Полгода назад я оставил редакцию и не собираюсь туда возвращаться. Хочу заняться исключительно литературным трудом.

— И все-таки?..— он подозрительно взглянул на меня.

— Три дня назад ко мне обратился старый товарищ. Я не мог отказать. Он знал, что мы были друзьями. Да я и не хотел отказываться. Хотел увидеться с тобой. Вспомнить старое.

— Ты наивен, если думаешь, что после всего этого я тебе поверю! Ты...

— Я еще не закончил! — спокойно перебил я его.— Не отрицаю, что моему товарищу, главному редактору одной телевизионной газеты, хотелось получить более подробную информацию об экспедиции «Молния» в систему Проциона. До сих пор по этому вопросу не опубликовано никакого сообщения. Все упорнее повторялись слухи о возвращении фотолета «Маттерхорн». Мой товарищ сказал, что с этим загадочным делом связано твое имя.

— И потому ты рылся в моей комнате? И потому тщательно переснял на микропленку содержание всех отрывков? — иронически спросил Конопатый.

Я чувствовал себя пойманным на месте преступления.

— Значит, ты все видел? — пробормотал я.

— Видел,— натянуто засмеялся он.— Все время наблюдал за

тобой. Не думай, что я настолько глуп и наивен. Я с самого начала тебя подозревал.

— Я сейчас же при тебе уничтожу пленку.

— Не трудись. Если хочешь, можешь передать своему товарищу эти снимки с приветом от меня. А может, ты записал на пленку весь наш разговор?

— Нет.

— Жаль. Надо было прихватить магнитофон. Было бы готовенькое интервью.

— Но я не собираюсь оглашать содержания нашего разговора.

— Отчего же? Можешь! Если это тебе так уж важно...

В его тоне я почувствовал иронию и не знал, как реагировать на такую странную перемену.

— Не понимаю, почему ты так просто соглашаешься. Ведь если до сих пор не было никаких сообщений о «Маттерхорне», то, по-видимому, это секретные сведения? Если бы ты захотел их огласить, удобных случаев было много...

Мой друг, все еще стоявший передо мной, сел. Снова долго и внимательно он посмотрел мне в глаза, словно хотел прочесть мои мысли.

— Спрашиваешь, почему я не запрещаю тебе опубликовать то, о чем ты тут узнал? — медленно процедил он.— Может быть, ты и прав: это кажется странным, что-то тут не вяжется! Можно поверить, что я единственный член команды «Маттерхорна», вернувшийся на Землю, что эта экспедиция вписала не самую прекрасную страницу в историю развития астронавтики. Можно поверить, хотя, с точки зрения нашей науки, кажется маловероятным, что система Проциона состоит из антивещества. Можно даже как-то объяснить, почему эта история содержится в тайне. Ведь такого рода, мягко выражаясь, скандальный случай не только чрезвычайно неприятен, с точки зрения морали, для нас самих, но может повлечь за собой неисчислимые осложнения. Что скажут жители системы Сириуса, с которыми так удачно складывается сотрудничество? Не станет ли это препятствием в развитии межзвездных отношений? Надо выслать другую экспедицию, которая подробно исследует все на месте. Многое может вызвать сомнения, например, правильно ли поступил один из участников экспедиции, оставив своих товарищей в том мире на верную смерть? И притом, независимо от того, какими соображениями он руководствовался. Все это можно понять и всему поверить. Но ты не можешь понять, почему я так легко соглашаюсь на опубликование этих материалов. А может быть, понять нетрудно? — невесело рассмеялся Конопатый.

— То есть?

— А если все это выдумка?..

Я беспокойно пошевелился. Что могли значить его слова? Я ждал дальнейших объяснений, но он молчал.

— Что... выдумка?

— Скажем, все!

— Но ведь экспедиция «Маттерхорна» действительно достигла системы Проциона. А теперь «Молния»...

— Я не об этом. Ну хотя бы такой небольшой вопрос, будто я принимал участие в экспедиции «Маттерхорна»? — издевался Конопатый.

— Всегда можно проверить по документам.

— А все то, что я рассказывал? У тебя есть хоть какие-нибудь доказательства?..

— Но ты же говорил, что у тебя есть снимки проционидов!

— Верно, говорил. А ты их видел?

— Ну а эти странички? — я указал на исписанные листочки.

— Думаешь, только ты один способен писать повести? — снова рассмеялся он.

— Не верю! Теперь ты врешь! Да и в той комнате...

— А! Если в этом дело...— он встал с дивана и открыл дверь.

Я почувствовал неприятное беспокойство. «А вдруг он сумасшедший?»

— Иди сюда! Смотри! — Он подошел к стоявшему посреди комнаты аппарату и открыл крышку.

Внутри камеры, так же как и прежде, неподвижно в пространстве висел таинственный предмет.

Мой друг взялся за один из нескольких выключателей, расположенных на щитке управления.

— Нет! — я судорожно схватил его за руку.

Он покачал головой.

— Не бойся. Я не самоубийца и тем более не бандит.

Он повернул выключатель. Контрольное окошко осветилось ярким светом. Там, где до этого висела «скульптура», виднелось облачко голубоватого дыма, быстро расплывавшееся по стенкам камеры.

— Что это было? — пораженный, спросил я.

— Копия. Узкоспециализированный автомат воспроизводит записи.

— Копия чего?

Ответа я не дождался. Мой друг взглянул в окно и сказал:

— Светает. Пора браться за работу.

Я понял, что он хочет остаться один. Я сделал несколько шагов к двери и остановился, чувствуя, что мы не можем так расстаться.

— Когда увидимся? — неуверенно спросил я.

— Не знаю. Может быть, снова через двадцать восемь лет.

— Уезжаешь?

— Да. Наверно, уже сегодня.

— На Эрос?

— Может быть,— уклончиво ответил он, провожая меня к выходу.

— Я не стану об этом писать,— сказал я уже в дверях.— Может быть, когда-нибудь потом.

Он положил мне руку на плечо и сильно сжал его, как раньше, в студенческие годы.

Д. МИКУ

ПОБЕДЫ И ПОИСКИ НОВОГО РУМЫНСКОГО РОМАНА

Говоря о современной румынской прозе, нельзя не отметить в первую очередь ее основную особенность: настойчивый интерес к действительности. Обращение к социальной жизни, являющееся сейчас для румынских прозаиков непременным условием творчества, означает в нашей литературе решительную победу реализма над антиреалистическими явлениями. Два десятилетия, разделявшие первую и вторую мировые войны, были для нашей литературы особенно бурными: в те годы резко, как никогда, обозначился конфликт между антифашистским, демократическим направлением и реакционным, фашистским. И, хотя некоторые выдающиеся писатели продолжали развивать в своем творчестве традиции критического реализма, а в произведениях более молодых прозаиков и поэтов появились ростки социалистического реализма, в общем ходе развития литературы, в том числе и в романе, ощущалось влияние модернизма. В области прозы это явление приводило к игнорированию социальных проблем, к проповеди бесплодного самосозерцания, к отказу от действия и героя и, следовательно, к упразднению романа как такового; он заменялся дневником, фиксирующим ощущения самого писателя, или эссе.

Несмотря на то, что модернизм приобрел в тридцатых и сороковых годах довольно большое распространение в румынской литературе, ему, к счастью, не удалось столкнуть ее с главного курса, определившегося в прошлом веке благодаря творчеству крупнейших писателей-реалистов. В прозе реализм продолжал оставаться основным направлением развития.

Румынский роман периода социалистического строительства, связанный с самым лучшим, самым передовым в румынской литературе, отказывается от излишней психологизации и всех декадентских приемов и обращается к традициям реалистической прозы периода, предшествовавшего освобождению,— прозы, имеющей глубокие социальные корни,— стараясь поднять ее на новый, более высокий уровень. Наш новый роман рисует сегодняшний день с боевых позиций рабочего класса, уделяя главное внимание социальным проблемам. Он осмысляет прошлое в свете нового понимания действительности, основанного на марксистско-ленинском мировоззрении.

Тематика румынского романа после освобождения, которая определяется все обновляющейся социальной действительностью, очень широка и разнообразна. Поскольку труд является решающим фактором социального развития, в центре внимания писателей стоит, разумеется, жизнь рабочего класса, руководящего у нас, как и

в других социалистических странах, всем созидательным творчеством, всем ходом жизни в стране. Создание крупных произведений, рассказывающих о жизни заводов, больших строек, шахт и других участков социалистического производства, ознаменовало появление в румынской литературе нового типа романа. Это роман о труде, о жизни и борьбе рабочего класса — детище новой румынской литературы, идущей по пути социалистического реализма. До 23 августа 1944 года завод, рабочая среда были для большинства писателей неизведанной областью. Только таким писателям, как Александру Сахия, Ион Кэлугэру, Иштван Надь, которые принимали участие в борьбе коммунистической партии, удалось запечатлеть в своих очерках и рассказах правдивые эпизоды из жизни пролетариев. Но ни одного романа о рабочих в румынской литературе до освобождения создано не было.

Современные прозаики, продолжая путь, намеченный писателями-коммунистами еще в годы буржуазно-помещичьей власти, стремятся как можно более правдиво и выразительно рассказать в своих романах о героизме освобожденного рабочего класса, о его самоотверженном труде во имя построения нового общества, рассказать о той борьбе, которую он вел многие годы против строя, основанного на эксплуатации. По мере того как писателям удавалось глубже узнавать рабочую среду, характерные черты психологии людей труда, они все ярче раскрывали перед читателем душевное богатство, непостижимое для большинства художников прошлого.

Теперь уже можно говорить о разнообразии типов нового человека в современной румынской прозе.

Героями романов, изображавших действительность первых лет социалистической революции, были главным образом рабочие, поставленные партией на высокие ответственные посты. Эти рабочие превращаются постепенно в подлинных руководителей социалистической экономики. Они — живой пример того, что рабочий класс способен организовать производство, руководить им без буржуазии и делать это несравненно лучше, чем она. Из книг, в центре которых стоят такие герои, следует упомянуть прежде всего «Бэрэган» В. Эм. Галана и «На самом высоком напряжении» Иштвана Надя — румынского писателя, пишущего на венгерском языке.

«Бэрэган» задуман как единый цикл романов, из которого появились пока в свет только два тома (в 1954 году первый и в 1959 году второй). Выходец из Молдовы, Галан пишет в традициях молдовской прозы, поднятой на недосягаемую высоту нашим Михаилом Садовяну. Галан пишет сочно, обыгрывая комические подробности, и поэтому книга его исполнена юмора, красочна и увлекательна (хотя следует отметить не всегда умеренную склонность к живописному — что бросается в глаза особенно во втором томе,— излишнее количество второстепенных эпизодов, замедляющих действие и отвлекающих внимание от основной линии повествования).

Влияние Шолохова, и особенно «Поднятой целины», ясно ощутимое в отдельных сценах «Бэрэгана», способствовало более полному раскрытию таланта румынского писателя, в частности его юмора.

Главный герой книги Галана рабочий-металлург Антон Филип — активист Румынской рабочей партии, направленный, подобно Давыдову, на руководящую работу в деревню. Писатель рассказывает о событиях, на первый взгляд обыкновенных, лишенных эпического величия, и тем не менее ему удается пробудить живой интерес к герою. Дело здесь, следовательно, не столько во внешней, фабульной стороне романа, сколько в умении автора раскрыть характер своего героя. В этом и заключается главное достоинство книги.

Будучи городским жителем, Антон Филип плохо разбирается в вопросах сельского хозяйства, а ферма, которой ему предстоит руководить, судя по сведениям, поступающим к нему, находится в плачевном состоянии. Его положение весьма сложно: он должен очень быстро усвоить ряд неизвестных ему понятий, и все это на ходу, в самом разгаре огромной работы, беспощадной борьбы не только с бесчисленными трудностями, но и с целой армией недоброжелателей, непримиримых врагов дела, за которое он взялся.

Все поведение героя Галана говорит о том, что он человек смелых решений, наделенный острым чувством реальности, человек с железной волей, порывистый, но разумный, непримиримый в борьбе с классовым врагом. Он умелый хозяин и прозорливый политик. Обычно скромный, даже незаметный, Филип загорается, выполняя общественную или партийную работу. Героический порыв является неизменным

спутником его повседневного труда — он совершает замечательные подвиги без шумихи и громких слов.

Многие черты морального облика Букши Кароля — главного героя книги Иштвана Надя «На самом высоком напряжении» (1951 год) роднят его с героем В. Эм. Галана. Однако художественные средства, которыми пользуются эти два писателя, различны. Если Галан повествует неторопливо, любуясь живописными деталями, задерживаясь на интересных эпизодах, наслаждаясь каждой остроумной репликой своих персонажей и забавляясь их похождениями, то Надь Иштван, следуя, возможно, манере Стендаля, рассказывает сухо, отмечая с внешним безучастием события, поступки и мысли героев. В романе «На самом высоком напряжении», как в журналистском очерке, собрано множество фактов, сумма которых создает достоверную атмосферу того важного момента современной истории Румынии (июнь 1948 года), когда были национализированы промышленные предприятия. Мы ощущаем здесь напряжение решающей схватки в борьбе между рабочим классом и буржуазией, между миром эксплуатации и новым, молодым миром труда.

В этой полнокровной, кипучей жизни, которая пробивает себе дорогу, сметая со своего пути препятствия, воздвигаемые враждебными силами, коммунисты являются движущей, мобилизующей силой. Из героев книги наиболее четко обрисован Букши — новый директор национализированного клужского завода. Испытанный борец, закаленный в огне подпольной борьбы, человек, перенесший пытки в фашистских застенках, рабочий, прекрасно владеющий своей профессией, Букши Кароль, как громом, поражен вестью о том, что он назначен руководителем предприятия; он считает себя неподготовленным для выполнения такой важной задачи, и его опасения кажутся вначале обоснованными. Вступив на пост, он сразу сталкивается с трудностями, превышающими, на первый взгляд, его силы. Недостаток специальных знаний ставит его порой в весьма затруднительное положение. Выслушивая доклады подчиненных, он не понимает технических терминов; колонки цифр пляшут у него перед глазами. Иногда его охватывает отчаяние — он думает, что не способен справиться со своими обязанностями, собирается просить партию освободить его от должности, но сразу же отказывается от этой мысли: коммунисту не свойственно отступать перед трудностями. Много лет назад ему удалось — с помощью примитивных инструментов — выточить ось для манометра диаметром меньше одного миллиметра. Упорство, как мы видим, еще одна существенная черта характера героя. Букши сознает, что, согласившись стать директором, он вступает в борьбу, где личная его победа явится также победой выдвинувшего его рабочего класса, а поражение может до некоторой степени отразиться и на деле революции; поэтому он целиком посвящает себя новой работе, неутомимо, страстно трудится, жертвует сном, едой, личной жизнью. Его целиком захватывают заводские дела, учеба, ежеминутная борьба с саботажем, с врагами, которые стараются опорочить клеветой рабочего, ставшего директором.

Успехи не кружат ему голову, он готов честно признаться в своих ошибках, без колебаний выносит на суд коллектива рабочих свою личную жизнь. И мы видим, как Букши постепенно все увереннее проявляет себя руководителем, достойным своего класса.

Романы о рабочих, появившиеся в первые годы социалистического строительства, открыли для румынской прозы неизведанные пути. И сегодня писатели, среди которых много молодых, с увлечением пишут о заводах, о буднях социалистического труда. Все больше появляется рассказов, повестей и романов, сюжеты которых взяты из жизни рабочих коллективов. Конечно, не все эти произведения являются достаточно ценным вкладом в нашу новую литературу. Выходят в свет и посредственные, схематичные книги, которые не обогащают читателя познанием новых черт современного человека, новых сторон жизни; авторы их предпочитают идти по проторенным дорожкам. И все же для румынской прозы последних лет характерны попытки писателей изобразить рабочий мир правдиво и многокрасочно, показать своеобразие и духовную красоту героя наших дней, взять конфликты, специфические для нынешнего этапа развития страны, когда основной ареной классовой борьбы, борьбы между новым и старым, является

идеология. Рассказывая, как постепенно очищается сознание людей от следов буржуазного воспитания, писатели стремятся раскрыть процесс глубокого изменения образа мыслей, происходящий в самых широких слоях народа.

Роман «Молодые годы» — новая книга молодого прозаика Николае Цика, вышедшая в 1961 году,— обладает тем достоинством, что, создавая характер нового героя, автор углубляет наши знания о жизни рабочего класса. Книга «Молодые годы» напоминает репортаж. Здесь описывается несколько месяцев из жизни нефтепромысла. Писатель собирает эпизоды повседневной жизни, портреты многочисленных героев, не заботясь о композиции, о четкой сюжетной линии. Многие герои исчезают одновременно с событием, в котором участвуют. Запоминается в этом романе образ коммуниста Стрихана — человека, который неутомимо стремится к новаторству, неустанно пытается поднять сознательность рабочих на высоту той роли, которую они играют в социальной жизни.

Секретарь партийной организации Стрихан становится душой коллектива благодаря своему подходу к людям, умению завоевать их сердца, заставить их делиться с ним своими мыслями и огорчениями, благодаря умению разглядеть в человеке все самое хорошее, поддержать и поощрить любую ценную мысль. Показывая пример своим поведением, работая со страстным энтузиазмом, принимая немедленные и решительные меры к исправлению ошибок, Стрихан, в тесном контакте с другими коммунистами, помогает превратить стройку не только в образцовое социалистическое предприятие, но и в школу коммунистического воспитания.

Несмотря на неудачную композицию, роман Цика представляет интерес, так как автор пытается исследовать внутренний мир героев, осветить процессы, происходящие в сознании людей. В центре книги — духовная эволюция молодого бурильщика Павла Ониги, в прошлом крестьянина, от идеологии стяжательства к мировоззрению рабочего. Подобный процесс преодоления ошибок и заблуждений очень характерен для нынешнего периода социалистического строительства в нашей стране, и попытки прозаика раскрыть во всех действиях персонажа и в его интимных чувствах победу нового, показать мучительную борьбу и освобождение сознания молодого человека от предрассудков, страха за завтрашний день, недоверия к людям являются, несомненно, достоинством книги.

Читатель с удовлетворением следит за тем, как обновляется и очищается душа этого деятельного и самолюбивого парня и как, прорвав скорлупу индивидуализма, он познает красоту жизни среди открытых, веселых и увлеченных трудом людей, уверенно смотрящих в будущее. В момент, когда его принимают кандидатом в члены партии, он чувствует, какая «огромная ответственность ложится на его плечи — ответственность коммуниста за каждый день, каждое мгновение на целые годы, до самого конца его жизни».

■

Все возрастающий интерес писателей к внутреннему миру своих героев свидетельствует о том, что молодая румынская проза о рабочем классе вступает в период зрелости. Следует все же признать, что она значительно отстает от жизни. Читая многие произведения на эту тему, огорчаешься тому, что писатели, правда по преимуществу молодые, плохо владеют еще профессиональным мастерством, что в их романах мало художественных обобщений, что они уделяют недостаточно внимания раскрытию чувств героев. Интересы многих персонажей ограничены очень узкой сферой и фактически не выходят за пределы рабочего места, а сами романы и рассказы по подходу к действительности мало чем отличаются от репортажа. Великие проблемы, волнующие человека нашей эпохи, проблемы коммунистической этики ставятся довольно робко, умозрительно и редко воплощаются в конкретных и живых человеческих образах. Даже наиболее удавшиеся писателю герои романов (в том числе персонажи книги «Молодые годы») не имеют широкого духовного горизонта. Им не хватает окрыленности, внутреннего побуждения заглянуть дальше своих повседневных обязанностей (само собой разумеется, не пренебрегая ими), способности философски осмыслить проблемы каждодневного труда. Именно по пути художественных обобщений, обогащения философского содержания произведений должны направиться и направляются сейчас усилия румынских прозаиков.

Наиболее «разведанная» нашей литературой область действительности — жизнь румынской деревни, мир крестьянина. С этой темой связаны самые крупные художественные свершения румынской прозы XX века и в первую очередь творчество наших современных выдающихся писателей.

Не кажется ли вам, что тема села уже исчерпана? — спрашивали в 20—40-х годах писателей-реалистов некоторые эстетствующие критики, возмущенные настойчивым интересом этих писателей к социальным проблемам и особенно их заботой о судьбах угнетенного крестьянства. С жаром выступал, например, за «обескрестьянивание» литературы, за ее «урбанизацию» некто Э. Ловинеску. При этом он ратовал за прозу камерно-психологическую, интимную, формалистическую, лишенную социального содержания.

Развитие прозы в наши годы опрокинуло модернистские предписания. Появились такие замечательные произведения, как «Босой» З. Станку и «Семья Моромете» М. Преды, сила и художественная новизна которых полностью опровергают мысль об истощении «сельского материала». Эти романы свидетельствуют о богатстве тем, конфликтов, которые могут найти и сегодня писатели в деревне. Как бы совершенны ни были картины сельской жизни на страницах книг Садовяну, Ребряну или их предшественника Славича, эти произведения не в состоянии охватить всей полноты жизненных явлений в деревне. В прозе прошлого можно найти много отдельных эпизодов, изображающих нищету и унижения, которые приходилось терпеть трудящемуся крестьянству до освобождения. Однако роман, возвысившийся до художественного синтеза жизни деревни, появился лишь в годы народной власти, когда в перспективе огромных исторических преобразований, в свете марксистско-ленинского понимания общественных явлений стало возможно не только отмечать сами факты, но и объяснять их, указывая путь социального прогресса.

Мы говорим о романе «Босой», опубликованном З. Станку первым изданием в 1948 году. В последнем варианте автор расширил свой замысел до десятитомного цикла, три первые тома которого увидели свет в 1961 году.

«Босой» — уникальная книга в румынской литературе. В своеобразии ее структуры как бы запечатлены особенности многогранного дарования Станку — не только прозаика, но и поэта, памфлетиста, журналиста. Написанный от первого лица, роман читается как мемуары. В томах, которые вышли до сих пор, автор рисует детство и начало юности Дарие — сына крестьянина-бедняка из долины Дуная. Однако перед нами не хронологически последовательное изложение. Вспоминая детские годы, Дарие смотрит на происходящее одновременно глазами ребенка и зрелого человека. Лирическая атмосфера пронизывает книгу от начала до конца, и мы не ошибемся, если скажем, что «Босой» — это огромная поэма. Однако лиризм романа Станку отличается от лиризма Садовяну и других румынских писателей. Для стиля Станку характерна нервная напряженность коротких, как удар бича, фраз, повторы, настойчивые возвращения к мысли — лейтмотиву того или иного эпизода. Станку удалось создать потрясающую картину страданий угнетенного румынского крестьянства в начале века. Люди голодают зимой, когда уныло завывает зловещий ветер, голодают летом, когда засуха сжигает поля и измученный скот наполняет воздух жалобным мычаньем.

Крестьяне без конца обивают пороги помещичьих усадеб, предлагая свой труд за меру зерна, и, как правило, уходят с пустыми руками. Старики выстраиваются у железнодорожных путей в надежде, что какой-нибудь пассажир сжалится над ними и бросит им кусок хлеба. Толпа людей всех возрастов ежедневно отправляется в город, но работы нет и там; они просят на улицах подаяние и попадают в тюрьмы.

Редко встречаются книги более мрачные, более гнетущие, чем романы Захария Станку. И все же, прочитав его, отнюдь не испытываешь чувства подавленности. Как бы жестоко ни страдали герои книги, устами которых говорит масса «босых», они не поддаются отчаянию, страху, разочарованию. Во всех их действиях проглядывает здоровый оптимизм, свидетельствующий о несокрушимой жизненной силе. Один из эпизодов романа «Босой» рассказывает о восстании 1907 года и о кровавой расправе над его участниками. Здесь описываются

те же факты, что и в романе Ливиу Ребряну «Восстание». Но подаются они под совсем иным углом зрения. Бесперспективный конец романа Ребряну оставляет в душе читателя лишь глубокое возмущение зверствами поборников буржуазно-помещичьих порядков. Заключительный же эпизод книги Захария Станку вызывает другие чувства. Падая, изрешеченный пулями, старик Уцупэр кричит убийцам:

«Вы расстреливаете нас, вы убьете еще и других. Но вы не сможете расстрелять всю страну... Что мне смерть, если я вынес эту жизнь!» Книга кончается заклинанием матери, обращенным к ребенку, от имени которого ведется рассказ:

«Запомни все, Дарие, ничего не забывай, расскажи своим детям и детям своих детей расскажи! Слышишь, Дарие?.. Не забывай! Не забывай, Дарие...»

В этом призыве — весь смысл книги.

«Семья Моромете» Марина Преды (1955) — наиболее интересный в современной румынской литературе психологический роман о крестьянстве.

Буржуазные критики периода между двумя мировыми войнами утверждали, что нельзя писать психологические романы на сельскую тематику, потому что внутренний мир крестьянина беден и примитивен Опровергая эту «теорию», книга Преды изображает простого человека, духовный мир которого неизмеримо более сложен и интересен, чем мир любого из персонажей психологических романов прошлого. Илие Моромете — герой книги — является первым в румынской литературе цельным художественным образом крестьянина-середняка со всеми характерными для этой социальной категории противоречиями.

Илие Моромете считает, что собственный участок земли не только дает ему возможность жить по-человечески, но и делает его независимым, позволяя равнодушно взирать на окружающее, посмеиваться над всем, даже над речами короля. Он совершенно не стремится к изменению существующего социального строя, его устраивает позиция, промежуточная между бедняком Цугурланом и кулаком Бэлосу. Драма Илие Моромете начинается в тот момент, когда он отдает себе отчет, что все хитроумные планы, с помощью которых он хотел сохранить свое хозяйство и землю, были основаны на иллюзорном убеждении, будто «этот мир сборщиков налогов и жандармов, этот строй, имеющий где-то парламент, газеты и законы, может быть справедливым строем», который — добавим мы — позволяет крестьянину среднего достатка мирно существовать на своем участке земли, спокойно заниматься своими делами, не обращая внимания на то, что творится вокруг. Снижение цен на пшеницу сокрушает хозяйство Моромете; они теряют половину земли. Иллюзия Моромете о незыблемости мелкого крестьянского хозяйства рассыпается в прах, а с нею рушится навсегда бездумный оптимизм стороннего наблюдателя, уступая место потребности к глубокому осмыслению самой сущности жизненных явлений.

Роман «Семья Моромете» интересен и с точки зрения формы. Перед нами, если можно так выразиться, «коварный» прием. Роман открывается фразой: «В Дунайской равнине за несколько лет до начала второй мировой войны время, казалось, очень терпеливо относилось к людям; дни текли здесь тихо, без больших потрясений...» Писатель как будто согласен с этим заявлением: повествование течет лениво, как река по равнине в засушливое время года. Преда словно пишет нечто вроде хроники семейства Моромете и села Силиштя-Гумешть, подробно и тщательно фиксируя мельчайшие события. Но вдруг темп рассказа ускоряется, перед читателем развертываются бурные события, опрокидывающие «заданное» началом представление о стабильности социальных порядков в Румынии кануна второй мировой зойны.

Тема преобразований в жизни современной румынской деревни привлекла внимание писателей самых различных поколений. Огромное значение имеет обращение к современному селу в творчестве Садовяну. Замечательный румынский писатель еще до освобождения мучительно и упорно пытался найти выход, который спас бы от страданий и унижений тех, кто составлял большинство румынского народа. Садовяну восхищался любыми формами борьбы обиженных и угнетенных за достойное, свободное существование. На страницах его книг с симпатией изображены подвиги гайдуков — этих мятежников, анархистов, восставших против несправедливостей бояр; Садовяну воспевал бегство на лоно природы, расценивая его как своего рода социальный протест. Первым героем Садовяну, вступившим в ряды борцов против эксплуататорского строя, стал Митря Кокор, герой одноименной книги, вышедшей в начале 1948 года.

В поэтической повести о жизни Митри писатель прослеживает путь бедного крестьянства от молчаливого протеста и стихийных вспышек возмущения к пониманию решающего значения объединенной и организованной борьбы. Митря побеждает потому, что его действия сливаются с действиями всего крестьянства, выступившего под руководством рабочего класса на битву за освобождение от векового рабства.

Широкую картину движения крестьянских масс, призванных к новой жизни народной революцией, глубокий обобщающий анализ изменений в крестьянской психологии, этике, вызванных аграрной реформой весны 1945 года, дает в романе «Жажда»* (1958) молодой румынский писатель Титус Попович. Книга Поповича построена как роман-эпопея и напоминает в этом отношении «Восстание» Ребряну, чье искусство композиции романа с многоплановым сюжетным развитием во многом обязано влиянию Льва Толстого (что отмечалось уже критикой). Главный герой «Жажды» — крестьянская масса трансильванского села Лунка, духовное развитие которой составляет основное ядро сюжета.

«Жажда»—роман, рассказывающий о раскрепощении тех, кого нищета превратила в рабов,— повествует и о том, как сплотилось крестьянство вокруг партии, как крестьянская масса осознала необходимость присоединения к революции, начатой рабочим классом.

Не бессознательный, интуитивный импульс, не врожденная жажда земли побуждают Митрю Моца вступить в борьбу за землю, а потребность освободиться от нужды, бедности и унижений, потребность в достойной, человеческой жизни, не просто зажиточной, но обеспечивающей право стоять высоко подняв голову перед кем бы то ни было, не унижаться перед богачами. Т. Попович скрыто полемизирует здесь с Ливиу Ребряну, который создал в своем романе «Ион» (1920) образ крестьянина, одержимого почти маниакальной жаждой земли.

Многие книги, посвященные сегодняшнему дню румынской деревни, хотя и не достигли уровня «Босого» или «Семьи Моромете» — книг, достойных занять место рядом с самыми лучшими творениями румынской реалистической прозы прошлого,— интересны, однако, стремлением авторов уловить новое в жизни крестьянства, запечатлеть самый процесс революционных преобразований. Оставляя в стороне некоторые романы, где проявились тенденции грубого упрощения действительности, которые поощрялись различными догматическими тезисами, получившими распространение в период культа личности Сталина, обратимся к прозаическим произведениям, вышедшим в годы создания первых коллективных хозяйств,—таким, как «Разворот» Марина Преды (1952), «Борозды через межи» Хорвата Иштвана (1951), где жизнь села в этот исторический период отражена правдиво и увлекательно. Марину Преде, исследующему в повести «Разворот», как повлияло создание коллективного хозяйства в одной из деревень страны на психологию молодого крестьянина-бедняка, удалось передать самые тонкие оттенки мыслей и чувств героев.

Роман Иштвана Хорвата написан в форме хроники жизни одного из сел, начиная с осени 1948 года. Иштван Хорват показывает, как в огне борьбы формируются деятельные, боеспособные коммунисты, которые благодаря своему умению вести село по пути новой жизни завоевывают уважение и дружбу трудящихся крестьян. Центральный персонаж книги Имре Сербаку — крестьянин-бедняк, избранный секретарем партийной организации. Читатель видит, как обретает этот герой подлинную зрелость, побеждая с помощью коллектива свои анархические и бюрократические наклонности. Из человека неуравновешенного, с замашками диктатора, Имре постепенно превращается в руководителя, способного сплотить крестьянские массы вокруг партийной организации и повести их на осуществление поставленных партией задач.

За последние годы появилось много книг, посвященных новой жизни румынского села. Конечно, не обошлось и без неудач, но в большинстве своем это вещи свежие и оригинальные. Такие романы, как «Сваты» Алеку Ивана Гилия, «Открытая дорога» Шербана Неделку, «Фронт без траншей» Петре Сэлкудяну, появившиеся соответственно в 1959, 1960 и 1961 годах, несмотря на недостаточную психологическую глубину, длинноты и отдельные неудачные эпи-

* Роман опубликован в журнале «Иностранная литература» №№ 11, 12 за 1958 г. под названием «Земля».

зоды, интересны потому, что свидетельствуют об удивительных переменах в жизни румынского села в годы народной власти, о выходе села из состояния чудовищной отсталости, доставшейся в наследство от старого режима, и прежде всего о глубоком проникновении нового в быт и психологию крестьян, о постепенном преодолении мелкособственнической идеологии, об изменении образа мыслей тех, кто еще вчера был так привязан к своему клочку земли.

Одна из особенностей развития румынской прозы последних лет — поиски новых путей художественного воплощения современных тем. Если «Сваты», «Открытая дорога» и «Фронт без траншей» следуют традиционным приемам повествования, то книги некоторых писателей младшего поколения, как, например, «Дни недели» Димитру Раду Попеску и «Семеро в одной телеге» Пауля Ангела, имеют более необычную композицию. В романе «Дни недели» Д. Р. Попеску день за днем наблюдает за сегодняшней жизнью села. Книга состоит из семи глав — по числу дней недели. События обычные и необычные, комические и трагические драматические и идиллические, на первый взгляд, просто фиксируются нейтральным наблюдателем. На самом деле читатель становится свидетелем процесса органического врастания новых социалистических порядков в жизнь села, изменения психологии крестьян.

...Всю жизнь Матей Кэлэрашу ходил оборванный, босой и голодный, спал со всей своей семьей на старой подстилке. Но уже через год после создания коллективного хозяйства дом этого бывшего бедняка выглядел совсем иначе. Матей Кэлэрашу мог, наконец, позволить себе выбросить старую подстилку и сжечь ее в присутствии своих многочисленных детей в знак бесповоротного изгнания нищеты. Глубокие преобразования, вызванные в жизни коллективистов совместным трудом, кладут конец сомнениям нерешительных: бедняки Крецу и Фиримицэ вступают на путь новой жизни, увлекая за собой других крестьян.

Подводя итог обзору романов, посвященных румынской деревне, следует отметить, что, хотя мы находим здесь замечательные произведения, рисующие главным образом сельскую действительность прошлого и интересные опыты молодежи, много еще упреков можно предъявить нашим писателям, работающим над этой проблематикой.

Слабо представлен еще в нашей прозе новейший этап развития румынской деревни, жизнь окрепших коллективных хозяйств.

И тем не менее успехи, достигнутые за последние годы нашими прозаиками, пишущими о деревне, несомненны. Им удалось запечатлеть то принципиально новое в отношении к земле, изменения в психологии, во взглядах румынского крестьянина, что рождено социалистической действительностью.

■

Неизгладимый след в истории, в духовной жизни румынского народа оставила вторая мировая война. Естественно, что эти проблемы продолжают и сегодня волновать наших писателей. Картину мрачных лет насильственного участия румынской армии в позорной агрессии против Советского Союза воскрешают такие романы, как «Мгла» Эусебиу Камилара, «Героика» Лауренциу Фулги, «Выход из Апокалипсиса» Алеку Ивана Гилии, «В рыбачьем порту» Иона Русе. Они клеймят фашизм, беспощадно разоблачают румынскую буржуазию и помещиков, которые, оберегая свои узкоклассовые интересы, обезумев от страха перед собственным народом, не задумываясь втянули страну в подлую, губительную авантюру.

Действие интересного романа Титуса Поповича «Чужой» также происходит в годы преступной антисоветской войны; в центре внимания автора духовная эволюция молодого интеллигента Андрея Сабина. Драма, переживаемая им в течение последнего года войны, соприкосновение с действительностью, со страданиями многих людей вызывают глубокие перемены в сознании юноши, и он в конце концов становится участником антифашистского движения.

Проблему «интеллигент и революция» поднимает в своем интересном романе «Черный секретер» Джордже Кэлинеску (1960). Действие разворачивается одновременно в двух параллельных планах — в 1949—1950 годах и в период между двумя войнами. Главный герой книги архитектор Иоаниде проходит сложный путь от буржуазного индивидуализма к приятию идей революции. Следует сказать, что нашей критикой было предъявлено немало упреков в связи с этим образом. Довольно бледными получились эпизоды, рисующие современную, социалистическую Румынию. Но урод-

ливый старый мир, тупо и бессознательно идущий к неизбежной гибели, описан с удивительной силой. Здесь и румынская буржуазия, вступившая в сговор с фашистами, и аристократия, ленивый, паразитический класс,— общество, по самой своей природе культивирующее все плоское и низменное в человеке.

Темой многих современных романов и повестей является подпольная борьба рабочего класса за свержение буржуазного помещичьего строя. Среди произведений о славном прошлом партии (помимо книг, носящих собственно мемуарный характер, как «Искры во тьме» и «Кипение» А. Вайды, «Доверие» Михая Новикова и др., где об этих годах рассказывают сами участники борьбы, сидевшие в буржуазных тюрьмах и концентрационных лагерях) можно назвать романы, которые, несмотря на недостатки, живо, впечатляюще рисуют некоторые стороны конспиративной партийной деятельности, характеры борцов- коммунистов. Так, в книге «Корни горьки» З. Станку читатель с волнением следит за работой группы партийных активистов на севере Трансильвании в годы, предшествовавшие вступлению Румынии в войну против Советского Союза на стороне фашистской Германии. О подпольной борьбе повествует также роман «На острие ножа» Михая Бенюка, центральными героями которого являются интеллигенты — члены партии или сочувствующие. «Северное шоссе» Эуджена Барбу рассказывает о судьбе нескольких бухарестских рабочих-коммунистов, начиная с 1939 года вплоть до освобождения. Роман «Застава» — автор которого, Теодор Мазилу, разрушает натуралистическую традицию изображения жизни бухарестской окраины— особенно интересен тем, что в нем нарисован живой портрет рабочего, партийного активиста Вицу.

Однако следует отметить, что проблематика, связанная с революционным прошлым народа, не нашла еще такого художественного воплощения, которое по своей силе соответствовало бы ее значению.

Задача создания подлинно высокохудожественных произведений на эти темы и сегодня актуальна для наших писателей. Пример коммунистов, сумевших, несмотря на страшные гонения реакционных буржуазных правительств, преодолеть все трудности, воодушевляет людей молодого поколения и всех трудящихся в их свободном, созидательном труде.

Обращаясь к далекому прошлому Румынии, писатели стремятся запечатлеть наиболее значительные события истории нашего народа — в первую очередь вехи борьбы за его освобождение. Здесь прежде всего следует назвать роман «Никоарэ Подкова» Михаила Садовяну, воскрешающий героический эпизод антитурецкого национально-освободительного движения в Молдове XVI века; трилогию «Человек среди людей» Камила Петреску, с документальной достоверностью повествующую о жизни и деятельности замечательного румынского революционера-демократа Николае Бэлческу, о революционных событиях 1848 года.

Общее, что объединяет романы, посвященные событиям нашего недавнего и далекого прошлого, и что отличает их от произведений, выходивших в Румынии до освобождения,— марксистский взгляд писателя на историю, стремление к объективному раскрытию ее движущих сил.

■

В современной румынской прозе можно отметить явную тенденцию к созданию романа-эпопеи, романа-потока. Делаются многочисленные попытки подробнейшим образом воссоздать картины целых исторических периодов, нарисовать жизнь общества в какой-нибудь узловой момент истории. Отсюда — появление многотомных романов («Корни горьки» З. Станку, «Бэрэган» В. Эм. Галана и т. д.).

Для романов, написанных после освобождения, независимо от темы и времени действия, всегда характерен острый социальный конфликт. Отсюда — динамичность сюжета, острая, увлекательная интрига. Но встречаются также и произведения, где в центре внимания автора стоит психология героя (например, «Семья Моромете» М. Преды), хотя чисто психологический роман не типичен для нашей прозы. В 1961 году на страницах румынской литературной печати развернулись споры по поводу двух приемов построения романа: на основе действия и на основе психологического анализа. Думается, искать однозначного ответа на этот вопрос было бы неверно. Лучшим художественным решением, на мой взгляд, является такое, которое позволяет наиболее вырази-

---

Д. МИКУ
ПОБЕДЫ И ПОИСКИ
НОВОГО РУМЫНСКОГО РОМАНА

тельно передать замысел писателя. Можно судить о правильности того или иного художественного приема, лишь учитывая конкретную задачу, поставленную автором данного произведения. Не делая никаких предсказаний, я думаю, однако, что мы можем с уверенностью заявить: румынский роман всегда будет связан с жизнью народа. Эта связь — основа художественного творчества. Надо полагать, что, продолжая изучение социальной действительности, наша проза будет уделять все больше внимания вопросам морального порядка, внутреннему миру людей, достигая все большей точности в обрисовке мыслей героев, глубоких человеческих чувств и переживаний.

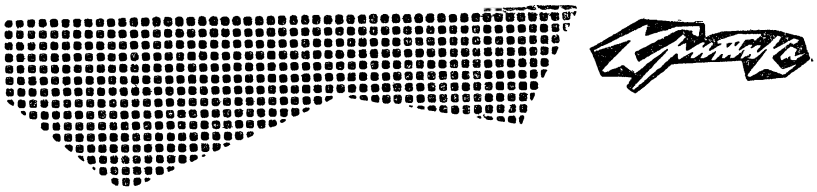
Румынская литература воодушевлена верой в силу человека, в его способность построить жизнь, отвечающую его чаяниям, верой в торжество справедливости, правды, разума, нашедших свое высшее выражение в идеологии коммунизма. Неразрывно связанная с нашей действительностью, она устремлена и в будущее. В этом секрет силы и молодости современной румынской литературы, ее неуклонного движения вперед, ее постоянного обновления.

«Наша действительность,— сказал товарищ Г. Георгиу-Деж в своем выступлении на конференции румынских писателей, происходившей 22—24 января 1962 года,— является живым источником вдохновения, позволяющим создать высокохудожественные литературные произведения. Наши лучшие писатели обязаны своими успехами стремлению лучше познать действительность, глубже проникнуть в психологию трудящихся — строителей социалистического общества».

Современная румынская литература всем своим развитием подтверждает справедливость этих слов первого секретаря Центрального Комитета Румынской рабочей партии.

г. БУХАРЕСТ

ЖЮЛЬ ПЕРАХИМ *(Румыния)* «Освобождение»



Е. КНИПОВИЧ

ЧУВСТВО ИСТОРИИ

(Томас Манн в советской критике)

Я не знаю, дала ли критика за рубежом оценку тем новым работам, посвященным Томасу Манну, которые вышли за последние годы в Советском Союзе. Не исключено, что кто-нибудь бросил авторам этих работ упрек в «подтягивании» творчества великого писателя к советской идеологии. Так некоторые из наших зарубежных оппонентов называют естественное для критика-марксиста стремление понять, какой *объективный* ответ дает все творчество художника на основной вопрос, поставленный временем, как связано оно с прогрессивными тенденциями эпохи. Именно в этом видят свою задачу и В. Адмони, и Т. Сильман, авторы первой советской монографии о Томасе Манне, и Б. Сучков, и В. Днепров, и Н. Вильмонт. Об этом же говорит и К. Федин, который, понимая всю сложность творческого пути Томаса Манна, естественно, выделяет основное направление этого пути:

«Самосознание романиста, место его в современном обществе, назначение поэта и роль искусства в наши дни — эта тема многосторонне исследуется писателем, перекочевывая из его прозы в статьи и обратно, отыскивая себе воплощение в образах, и становится отточенным инструментом для раскрытия несравненно более обширного мира, нежели искусство,— всего мира буржуазной цивилизации. По существу тема поэта и есть подспудная и, мне кажется, заветная тема Томаса Манна. Но так как он смотрит на современность глазами реалиста, то огромное для него содержание понятия «поэт» сталкивается с действительностью и вступает с ней в жестокий конфликт.

Этот конфликт перерастает, собственно, в борьбу поэта за свое место в обществе, превращается в новую, более емкую тему для художника, толкает к познанию самого буржуазного общества, к его разоблачению и, наконец, к протесту против его строя».

Я хочу особо отметить, что в формуле Федина «разоблачению» и «протесту» предшествует *познание.* Это необходимо отметить, потому что сейчас не только за рубежом, но иногда и у нас в ранг «критического реализма» возводится слепой и двусмысленный бунт, весьма далекий от познания.

При всех индивидуальных особенностях разных по объему и целевой установке работ советских литературоведов, все они стремятся найти общие закономерности творческого развития Томаса Манна и объективно исторический смысл его поисков, поражений и побед. И — в самом основном — у всех исследователей, естественно, нет противоречий друг с другом. Развитие Томаса Манна все они определяют как весьма непростой и весьма своеобразный путь к исторически-конкретному пониманию событий и смысла отдельных человеческих судеб. Неразрывная связь этики и эстетики в творчестве Томаса Манна, вера в разум, «аналитическая интеллектуальность», веду-

щая к бесстрашным поискам подлинного содержания эпохи,— все это закономерно сделало Томаса Манна — при всей сложности его пути — последовательным врагом реакционной идеологии, фашизма и войн.

Эта общность исходной позиции, отражающей объективную истину, отнюдь не ведет к однообразию работ советских критиков. В каждой из них отчетливо проявилась индивидуальность автора, в каждой из них с новой стороны показан тот или иной период творчества художника, раскрыты сила и богатства того или иного произведения.

Пожалуй, самая стройная, «концепционная» из работ — это небольшая монография Б. Сучкова, предпосланная в качестве вступительной статьи к вышедшему в Гослитиздате десятитомному собранию сочинений Томаса Манна В ней на равных правах живут «художник, искусство и время»; в ней, тесно связанная с формированием художника, дана широкая картина времени: крупнейшие события истории, крупнейшие явления культуры, борьба реакционных и прогрессивных тенденций, определяющих основное содержание эпохи. Этот «голос истории», который так отчетливо звучит в статье, делает особенно историчной и убедительной нарисованную в ней картину творческого и общественного пути великого художника-гуманиста.

Этой оценкой работы Б. Сучкова я отнюдь не хочу умалить достоинств первой у нас развернутой монографии о творчестве Томаса Манна, написанной В. Адмони и Т. Сильман. Мне уже приходилось давать этой работе высокую оценку в печати. И все же, несмотря на правильность и историчность общей концепции, «история» в ней слишком подчинена «художнику», живет через отражение в его творчестве, а не как огромная «культурнообразующая сила», которая с такой отчетливостью ощущается в работе Б. Сучкова.

Сопоставление оценок того или иного романа или той или иной темы, какими они даны в работах наших литературоведов, неизбежно привело бы к попытке объять необъятное. Поэтому мне хотелось бы сосредоточить основное внимание на том, как истолкованы в нашем литературоведении два «этапных» произведения *зрелого* творчества Томаса Манна — роман «Волшебная гора» и «Доктор Фаустус», о которых обстоятельно говорят все работы последних лет.

Тема судьбы человека не отделима в творчестве Томаса Манна от темы назначения поэта. Конфликт между художником и буржуазной действительностью отражает для него основные закономерности взаимоотношений человеческой личности и капиталистической общественной системы. Вот почему даже романы, герои которых как будто далеки от искусства (например, «Королевское высочество» или «Признания авантюриста Феликса Круля»), по справедливому мнению и самого автора и его критиков, являются своеобразной разработкой все той же темы «назначения поэта». И все же мне кажется, что наиболее мощные опоры, которые несут тему судьбы человеческой личности в капиталистическом обществе,— это «Будденброки», «Волшебная гора» и «Доктор Фаустус» Конечно, каждое из этих произведений окружено большим числом «спутников» — статей, речей, новелл. Конечно, существеннейшим дополнением к этим центральным произведениям творчества Томаса Манна являются его новеллы об искусстве и все его остальные романы, в первую очередь «Лотта в Веймаре» и «Признания авантюриста Феликса Круля». Кстати говоря, «Феликсу Крулю» и «Лотте в Веймаре» посвящены лучшие статьи Н. Вильмонта, а также превосходные по глубине анализа главы в книге В. Адмони и Т. Сильман.

Атмосферу «Будденброков», глубочайшую сущность этого романа наиболее широко и точно определяет Б. Сучков. Ощущение исчерпанности, конца буржуазного мира, эмоционально расшифрованное как ощущение *конца мира,*— вот почва, на которой, по справедливому мнению критика, вырос первый роман Томаса Манна.

Любопытно, что в ту же пору два почти ровесника немецкого писателя — Александр Блок и Андрей Белый — также жили этим ощущением «конца». И лишь 15—18 лет спустя, уже после Октябрьской революции, Блок сказал о своей ошибке, ибо «кончался не мир, а процессы». Впрочем, почти теми же словами определил свою ошибку стареющий Томас Манн.

Глубокий историзм страниц, посвященных «Будденброкам» в статье Б. Сучкова, точный историко-литературный анализ романа в монографии В. Адмони и Т. Сильман — это еще одно свидетельство высоких качеств нашей «томасманниана» последних лет. Но у В. Днепрова есть и еще одна дополнительная заслуга. Он увидел в первом романе художника не только тему конца, но еще

и тему «начала» — начала хождения души западного человека по мытарствам,— впервые возникшую в «Будденброках» (в той главе о Ганно, которую специально помянул Томас Манн, работая над «Доктором Фаустусом») и идущую через «Смерть в Венеции» к «Волшебной горе» и «Доктору Фаустусу».

Кстати, я никак не могу согласиться с той оценкой некоторых положений статьи В. Днепрова «Интеллектуальный роман Томаса Манна», которая дана в статье В. Щербины «Интеллектуальность или отвлеченность?» («Новый мир» № 11, 1961). Если отбросить некоторые терминологические неуклюжести и рассматривать статью В. Днепрова по существу, то речь в ней идет отнюдь не об умалении образа за счет отделенной (как утверждает В. Щербина) от него идеи, а об обостренном чувстве того, какое значение имеют идеи в жизни человека и общества в те переломные моменты истории, когда идеи, зримо овладевая массами, становятся материальной силой.

Безусловно, для самого Томаса Манна и мировой культуры было бы лучше, если бы он обладал великой демократической силой Льва Толстого или пролетарским мировоззрением Максима Горького. Но быть Томасом Манном — также не худшая из участей для художника. И последний из великих писателей буржуазного мира, засвидетельствовавший всем творчеством своим обреченность, «смерть одного мира», гораздо ближе к Горькому, чем к высоколобым интеллектуалам типа Олдоса Хаксли. Для Томаса Манна делом жизни было найти ответ на те достаточно свирепые вопросы, которые ставила перед западным художником-гуманистом европейская действительность первой половины нашего века. Плохо, когда неграмотный техник заново изобретает деревянный трехколесный велосипед, но не всегда бывает плохо, когда художник, еще не способный творчески воспринимать передовую мысль своего времени, пытается по-своему решить главные, уже решенные этой мыслью вопросы. Образное решение всегда богаче чисто логического, и оно неизбежно «хватает дальше» первоначальных намерений художника. Несмотря на все свои сложные блуждания, Томас Манн всю жизнь свою стремился понять основное содержание нашей эпохи.

Вернемся к «Волшебной горе». Роман этот в творчестве Томаса Манна окружен особенно большим количеством работ-спутников. И здесь не только те статьи, на которые указывает сам автор («Гете и Толстой» «Оккультное переживание», «Размышления аполитичного»), и не только лекция о романе, прочитанная студентам Принстонского университета, или статья об «Учении Шпенглера». Томас Манн продолжал ретроспективно осмыслять роман на протяжении всей своей жизни, давая порой некоторым его персонажам и мотивам довольно эксцентричное толкование. Он указал на тесную связь между линией Ганно в «Будденброках», новеллой «Смерть в Венеции», «Волшебной горой» и «Доктором Фаустусом». В. Днепров — один из всех исследователей — поднял это признание и по-своему расшифровал его в статье «Поворот в мировоззрении Томаса Манна». Да, несомненно, В. Днепров прав: герои Томаса Манна — Густав Ашенбах («Смерть в Венеции»), и Ганс Касторп («Волшебная гора»), и Адриан Леверкюн («Доктор Фаустус») — «внутрибуржуазны», и в этом их трагедия. Ибо в действительности пути декадентского преодоления буржуазности «изнутри» конечно же не существует. Более того, В. Днепров прав и в том, что сам Томас Манн не чужд понимания декаданса как особой формы «самоотрицания буржуазности», и это величайшая его ошибка. И все же целиком в плену своих субъективных иллюзий и представлений остаются герои Томаса Манна, но не он сам. Художник — об этом также правильно говорит В. Днепров — видит социальный и исторический смысл глубоко личных трагедий своих героев. Но из этого следует самое главное — их самопознание для автора и читателя становится средством того объективного познания буржуазного общества, о котором говорит в статье своей К. Федин. «Зло», «разрушительное начало» могут быть художественно воплощены в том взрыве «варварских», «беззаконных» инстинктов, которые губят героя «Смерти в Венеции», и в соблазнительной проповеди мракобеса-иезуита Нафты, и, наконец, в новом варианте фаустовского пакта с дьяволом, который определил судьбу Адриана Леверкюна. За всеми этими отдельными, связанными с биографией и характером данного героя «явлениями зла», стоит объективное, исторически-конкретное «зло», рожденное реакционными традициями немецкого национализма и нашедшее свое совре-

менное воплощение в фашизме. Это «зло» проникает во все области человеческой жизни. Та «взаимозависимость» общественного и личного, которую всегда видит и воплощает подлинно большой художник, отчетливо ощущается и в биографии героев Томаса Манна. «Зло», «убожество» поражают самый корень жизни, делают разрушительной силой даже любовь, ту, которая для Данте движет солнцем и другими планетами. Немыслимая, беззаконная страсть Густава Ашенбаха ведет его к гибели. Встреча с «ядовитой бабочкой», «Эсмеральдой» и есть жизненный аспект «пакта с дьяволом», определившего судьбу Адриана Леверкюна.

Но несколько иначе обстоит дело с лукавым героем «Волшебной горы», который с какой-то кошачьей осторожностью прошел сквозь все соблазны «конца века» и не погиб. Исследователи склонны преувеличивать значение его любви к Клавдии Шоша. С этим трудно согласиться. И не потому, что любовь эта лишена «пристойно-приветливого», гуманистически-уравновешенного начала, что она никуда не ведет, никак не «реализуется» в житейском плане. Нет, дело в том, что любовь эта также не становится решающим событием в биографии Ганса, как и все другие его встречи и переживания. Ведь любовь эта как-то незаметно гаснет и уходит в прошлое в той атмосфере глупости и раздражения, которая предшествует «удару грома» — началу империалистической войны. Но даже и в дни самой страстной влюбленности Ганса соперниками Клавдии в деле воспитания героя становятся порой и монументальная «личность» — Мингер Пепперкорн и гуманист-демократ Лодовико Сеттембрини. Ганс Касторп — единственный из героев Томаса Манна, биография которого не кончается вместе с произведением, не укладывается в рамки того мира, смерть которого засвидетельствовал художник. И Ганс Касторп — единственный из героев Томаса Манна, который догадался о том, что косное, слепое тяготение к «национальному» как к единому, имманентному, навсегда данному понятию, в условиях буржуазного общества становится тайным пристрастием к смерти.

И это опять-таки совсем не абстрактный вывод. Ведь для Томаса Манна тяготение к прошлому, косность, а тем самым и служение смерти есть сама сущность реакционных сил немецкой истории, впоследствии воплотившихся в фашизме.

Нет, я не героизирую маленького буржуа Ганса Касторпа и не предсказываю, что из окопа империалистической войны он восстанет в качестве некоего антифашистского феникса. Но я смею утверждать, что «Волшебная гора» — это не только роман воспитания, но и «роман пути», притом такой, в котором не содержится попытки найти облегченное, либерально-утопическое разрешение противоречий капиталистического общества. А этим Томас Манн грешил в романах «Королевское высочество» и «Иосиф Кормилец». Факт этот свидетельствует не о масштабе героя «Волшебной горы», но о величии его автора. И я должна опять присоединиться к тому объяснению, которое дает развязке романа Б. Сучков: «...Если для идеологов буржуазии победа социализма означала крушение и закат собственнической культуры, то для Томаса Манна в социализме начинало видеться спасение цивилизации человечества. Еще не зная реальных путей перехода к новым формам общественных отношений, он не скрывает своего незнания и оставляет Ганса Касторпа наедине с грядущим, бросая его в финальных сценах романа на поле сражения первой мировой войны: Гансу предстоит самому искать дорогу в будущее».

Мне кажется также, что на концепции романа «Доктор Фаустус» отяготели те настроения, которые были свойственны многим выдающимся художникам Германии в военные и первые послевоенные годы. Чувство «вины», «больная совесть» сделали в романе косность и реакцию всесильной, всеподавляющей сущностью немецких национальных традиций. Ведь в этом романе Томас Манн подымает руку уже не только на традиции просвещенного бюргерства. Вырождение, «зло», «дьявольское начало» живут уже в отце Адриана Леверкюна — немецком крестьянине. И не случайно именно этот во многом итоговый роман привлек в последние годы пристальное внимание исследователей.

При частных расхождениях друг с другом, каждый из них с большей или меньшей основательностью исследует ту или иную линию романа. Но, в сущности, водораздел между различными точками зрения определяется ответом на один, как нам кажется, важнейший вопрос, а именно — гениален или не гениален в изображении Томаса Манна великий грешник — немецкий композитор Адриан Леверкюн.

Для начала мне было бы проще всего

сказать о том, что ведь в романе его считает и называет гениальным лишь рассказчик — «милая тень прошлого», буржуазный гуманист доимпериалистической формации Серенус Цейтблом. И более того, в блестящей работе «История создания «Доктора Фаустуса» Томас Манн также ни разу не называет героя своего гениальным. Но такого рода ссылка была бы формальной. Потому что некоторые статьи Томаса Манна, как бы группирующиеся вокруг этого романа («Достоевский, но в меру», «Об одной главе «Будденброков»), вносят в это решение вопроса поправку.

Маленький Ганно Будденброк для стареющего Томаса Манна — «декадент». Но бегство Ганно в музыку, а затем и «бегство в смерть» было формой критики буржуазной действительности. Вот почему, по мнению Томаса Манна, без таких, как он, «декадентов» человечество не двигалось бы вперед и пребывало до сих пор в «допотопном состоянии».

Да, Б. Сучков совершенно прав, в статье «Ницше в свете современного опыта» Томас Манн беспощадно свел счеты с философией одного из учителей своей юности. И все же — и об этом свидетельствует даже эта статья — он не считает путь Ницше бесполезным для человечества. Такую двойственность в отношении к Ницше даже зрелого Томаса Манна отметил Н. Вильмонт в статье «Художник как критик».

И мне уже приходилось говорить о том, насколько органично входит тема «пути сквозь соблазн» во всю концепцию романа «Волшебная гора». В работе «Достоевский, но в меру» Томас Манн прямо отделяет опыт людей масштаба Достоевского и Ницше от нормальных, так сказать, путей культуры. «...Иные взлеты души и познания,— говорит он,— невозможны без болезни, безумия, духовного «преступления», и великие безумцы суть жертвы человечества, распятые во имя его возвышения, роста его чувства и познаний, короче говоря — во имя высшего его здоровья».

Конечно, слова эти выражают *не все* отношение Томаса Манна к декадентскому пути сквозь болезнь. Об этом говорят все исследователи его творчества. В частности, В. Днепров блестяще показывает то недоверие к «священной болезни», то осуждение ее, которое заключено в целом ряде произведений великого писателя. Что же касается вышеприведенного отрывка, то дело здесь даже не в том, что брать Ницше и Достоевского за одну скобку совершенно неправильно, а в том, что Томас Манн не был до конца последователен в отношении своем к Адриану Леверкюну; таким образом, решая этот вопрос, исследователь «Доктора Фаустуса» имеет дело не только с Серенусом Цейтбломом. Впрочем, и вопроса о Ницше и Достоевском обходить не следует. Понятие гениальности включает в себя не только «количественный показатель», то есть степень биологической одаренности, но еще и историческую и социальную «чувствительность» художника к основному содержанию эпохи. «Мы слишком узко понимаем вопрос о влиянии революционной теории,— справедливо говорит В. Днепров,— если принимаем во внимание только прямое ее влияние и пренебрегаем влиянием *косвенным*, особенно важным как раз для литературы. Достоевский был противником революции, но его творчество испытало сильнейшее косвенное влияние атмосферы, созданной вторжением революционных идей в духовную жизнь России». И более того, потребность поставить и решить важные вопросы в творчестве Достоевского была вызвана острейшим ощущением безмерных страданий всех униженных и оскорбленных царской крепостной России. Именно потому он и гениален.

Ни Фридрих Ницше, ни Адриан Леверкюн не могли быть гениальны, какова бы ни была их «количественная» одаренность. И Б. Сучков не входит в противоречие с Томасом Манном, когда он точно и четко вскрывает объективный смысл того «выбора пути», который сделал его герой. «...Композитор понимал, что существование целостного и здорового искусства возможно в том случае и при тех условиях, если оно свяжет свою судьбу с народом, который способен изменить существующие общественные отношения. Но Леверкюн не захотел быть с народом и, замкнувшись в своем индивидуализме, пришел к выводу, что никогда не настанет торжество «благого и благородного... того, во имя чего боролись людские поколения и сокрушити твердыни самовластия, того, что так пылко возвещалось вдохновенными умами. Оно не сбудется. Я от него отрекаюсь».

Интереснейшее определение исторических причин этой антинародности творчества Леверкюна (что и исключает возможность на-

звать и считать его гениальным) дает в статье «Интеллектуальный роман Томаса Манна» В. Днепров. Горьковский тезис о великом искусстве классического реализма, которое создано «блудными сыновьями буржуазного общества», получает здесь свое дальнейшее развитие. Субъективная честность Адриана, его бескорыстие, его подвижническое служение искусству не могут снять с него ответственности за то, что он предал традиции своих великих предшественников, впустил «иссушающий принцип капиталистического варварства в святая святых искусства», ограничил свой внешне грандиозный бунт камерным, внутрибуржуазным выворачиванием наизнанку отцовских верований. В его творчестве эгоистический индивидуализм проник в сферу эстетического. И это закономерно. Потому что буржуазное искусство эпохи империализма «впервые становится в *собственном смысле* буржуазным в момент своей гибели».

Вот в этой констатации полной исчерпанности творческих сил буржуазии как класса и заключается объективный вывод, к которому приходит не только читатель романа, но и создавший его художник.

И, вместе с тем, вполне понятно то чувство человеческой жалости к герою, которое заставляет В. Адмони и Т. Сильман, так же как и Н. Вильмонта, перекладывать ответственность за выбор Адриана на историю, время.

Доля истины в этом есть, но только доля. Адриан «жертва эпохи»? Да, конечно, *и* жертва. Но считать его *только* жертвой можно лишь в случае полного исключения из истории и жизни вопроса о субъективной ответственности человека за себя и за историю.

Время делает человека, но и человек делает время. Субъективное бескорыстие и субъективные страдания художника, почитавшего своим долгом отнять у людей веру в «благое и благородное», не смогут искупить того зла, которое он впустил в мир. Вот почему я думаю, что Томас Манн более справедлив в оценке своего героя, чем некоторые его исследователи.

Адриан Леверкюн на сорок лет младше своего прообраза — Фридриха Ницше. По возрасту (если говорить о писателях) он ровесник или почти ровесник Пруста и Джойса, Кафки, Андре Жида, Андрея Белого и Федора Сологуба. Но не надо забывать и о том, что это же поколение интеллигенции Европы дало миру самого Томаса Манна и брата его Генриха, Роллана, Дю Гара, Александра Блока. Путь художника, причастного соблазнам индивидуализма, разрушительной иронии, противопоставлению искусства и жизни, мог быть и бывал противоположным. Причем в обоих случаях для этого были и объективные и субъективные причины.

Все исследователи, естественно, говорят о роковом значении в судьбе Леверкюна той среды, в которой он вырос, маленького городка Кайзерсашерн, как бы воплощающего в себе всю реакционную косность национальных традиций Германии. В. Адмони и Т. Сильман отмечают также, что родился Адриан в семье зажиточного крестьянина, что отец его, лицом напоминающий гравюры Гольбейна или изваяния Рименшнейдера, занимался странными опытами, в которых неорганическая химия как бы смыкалась с биологией и которые честный Серенус Цейтблом прямо называет «чертовщиной». Никто из исследователей, однако, не обратил внимания на то, что именно эти опыты вызывали у Адриана те приступы странного, изнурительного смеха, который впоследствии обращается в разрушительную иронию его произведений. И второе — никто не обратил внимания на то, что в работе «Возникновение «Доктора Фаустуса» сам Томас Манн говорит, что с опытов отца и реакции на них Адриана-ребенка и начинается в романе тема «зла», «дьявола», которому продал свой творческий дар грешный музыкант.

В 1908 году, в ту пору, когда двадцатитрехлетний Адриан Леверкюн в первых набросках оперы на сюжет комедии Шекспира, в странных песнях на слова Вильяма Блейка лишь примеривался к иронической и пародийной трактовке всех областей человеческого разума и чувства, двадцативосьмилетний и уже прославленный русский поэт Александр Блок среди других статей острого общественного звучания написал одну, озаглавленную «Ирония».

«Самые живые, самые чуткие дети нашего века поражены болезнью, не знакомой телесным и духовным врачам. Эта болезнь — сродни душевным недугам и может быть названа «иронией». Ее проявления — приступы изнурительного смеха, который начинается с дьявольски-издевательской, провокаторской улыбки, кончается — буйством и кощунством». И далее Блок говорит о том, что в кругу художников всех родов оружия все чаще видны лица, «судорожно дергающиеся от внутреннего смеха, который го-

тов затопить всю душу человеческую, все ее благие порывы, смести человека, уничтожить его, мы видим людей, одержимых *разлагающим* смехом, в котором топят они, как в водке, свою радость и свое отчаяние, себя и близких своих, свое творчество, свою жизнь и, наконец, свою смерть».

Мне кажется, что эти строки, несомненно, можно назвать чем-то вроде «краткого либретто романа «Доктор Фаустус». Но недаром автор «Иронии» был наследником великих традиций той священной, достойной преклонения русской литературы, перед которой благоговел не только Тонио Крёгер, но и сам Томас Манн. Вот почему ироническому «буйству и кощунству» одинокого индивидуалиста Блок противопоставляет священную формулу отречения личности от эгоизма и индивидуализма во имя любви к родине и ее будущему. «Ирония», лежащая в основе творчества Адриана Леверкюна, отнюдь не адекватна той иронии, о которой Томас Манн говорит в статье «Искусство романа» как об основе эпоса. Шекспировская и гетевская «ирония сердца» никак не связана с равнодушием и холодом: она, по слову Томаса Манна, исполнена любви — «это величие, питающее нежность к малому».

Ирония такого рода — это, например, в «Волшебной горе» основа отношения величественного мингера Пепперкорна к маленькому Гансу Касторпу.

Совсем иначе обстоит дело в «Докторе Фаустусе». Тема иронии, изнурительного, разрушающего все ценности смеха тесно связана в романе с темой «холода», отнятого у художника права на любовь, дружбу, все теплые человеческие чувства, также и на то органическое тепло «вдохновения», которое выражает связь художника с миром. Кульминация двух этих взаимосвязанных тем — это диалог Адриана Леверкюна с дьяволом, в котором как бы осмысляется выбор, сделанный «великим грешником».

Разумеется, в диалоге этом нет ни капли мистики, дьявол Леверкюна — галлюцинация, порождение его больного сознания. Он олицетворяет все темное, злое, реакционное, что существует в современном «адоподобном буржуазном мире». Именно поэтому мне кажется, что диалог Леверкюна с дьяволом заслуживает большего внимания, чем то, которое ему уделили исследователи романа.

В статье Томаса Манна «Возникновение «Доктора Фаустуса» интересны, на мой взгляд, не столько даже прямые высказывания автора о своем произведении, сколько вся атмосфера тех лет, когда оно было создано, а также круг авторского чтения — очень широкий и разнообразный. У истоков замысла Томас Манн, по собственному своему признанию, читал три книги — «Римские деяния», свод довольно ироничных рассказов двенадцатого века, затем монографию «Ницше и женщины» и, наконец, замечательный рассказ Стивенсона «История доктора Джекиля и мистера Хайда». Какое место нашла в романе память о двух первых книгах, увидеть довольно просто. О том, что прообраз Адриана Леверкюна это Фридрих Ницше, многократно говорил сам Томас Манн. Что касается «Римских деяний», то из книги этой почерпнута тема одного из самых ироничных и дьявольски простодушных созданий грешного композитора. Ну а как же обстоит дело с рассказом Стивенсона? Я думаю, что от него идет прямая нить к беседе между Адрианом Леверкюном и дьяволом.

Величественный герой поэмы Мильтона и даже странствующий схоласт «Фауста» Гете претерпел ко второй половине девятнадцатого века серьезные изменения. Уже Ивану Карамазову он явился в виде «облезлого барина» — обедневшего помещика средней руки. В рассказе же Стивенсона «зло», искусственно выделенное из своей души «добрым буржуа» доктором Джекилем, выступает в облике еще более нам знакомом по некоторым произведениям последних двадцати лет. Мистер Хайд поразил друга Джекиля, от лица которого ведется повествование, своей незначительностью. «Зло» приняло облик существа малорослого, какого-то помятого, невыразительного, стертого. О сути его позволяет догадаться лишь ощущение невозможности «сосуществовать» с ним, которое он вызывает в нормальном человеке.

Я думаю, что в ближайшем родстве с мистером Хайдом состоит не только малорослый, небритый, обутый в нечищеные ботинки и излучающий ледяной холод собеседник Адриана Леверкюна, но также и другие воплощения «зла» в современной литературе от «Дракона» Евгения Шварца до... «Убийцы по призванию» Эжена Ионеско. В этом воплощении «зла», сочетающем пошлость, мизерность с властью над людьми, отражена память о победах фашизма, о

социальной демагогии, о национал-социалистской «защите» интересов «маленького человека», мелких буржуа от капитала, банков и универсальных магазинов. Потомки мистера Хайда в современной литературе — это как бы оборотная сторона «маленького человека», некий «анти-Чаплин», мелкий буржуа, взбесившийся в атмосфере социальной демагогии империализма. И если Стивенсон ставил вопрос о том, что сидит в душе доброго гражданина капиталистического общества, в плоскости моральной, то образ «дьявола» у Томаса Манна имеет и несомненный социальный смысл, воплощает последовательную ненависть художника не к «злу» вообще, а к силам реакции и фашизма.

Н. Вильмонт решительно настаивает на превосходстве «дьявола» в «Докторе Фаустусе» над чертом, с которым беседовал Иван Карамазов. Однако превзойти Достоевского не так-то просто. И собеседник Адриана Леверкюна не несет в романе функции, подобной той, какая дана собеседнику Ивана Карамазова. Черт Ивана Карамазова появляется в момент острейшего кризиса, который переживает герой. В дрянненьких силлогизмах его «сила низости карамазовской», хищная любовь к себе, а также к «деньгам и прелести женской», которая пытается задушить все то человеческое и благородное, что живет в сознании Ивана. Там «черт» активен, он искуситель, пытающийся повлиять на выбор героя.

В. Адмони и Т. Сильман справедливо говорят о том, что пакт Адриана с дьяволом — это сознательное подчинение своего творческого дара болезни. Но из этого следует, что дьявол в романе Томаса Манна лишь констатирует уже давно совершившееся грехопадение. Он не искуситель, а всего лишь комментатор. И сюжетно он нужен Томасу Манну потому, что всякая словесная исповедь перед кем бы то ни было нарушила бы психологическую достоверность образа Адриана — «замороженного» в своих одиноких страданиях и одиноких восторгах.

В заключение мне хотелось бы сказать, что литературоведение наше, уже внесшее немалый вклад в научно-критическую литературу о творчестве Томаса Манна, почти не разработало еще важнейшую тему — «Томас Манн и мировая литература».

Да, несомненно, в книге В. Адмони и Т. Сильман есть немало сопоставлений той или иной работы Томаса Манна с творчеством его современников. Более того, в таких сопоставлениях есть своя историко-литературная закономерность. Все дело, однако, в том, что Томас Манн настолько «перерос» Гофмансталя или Германа Банга, что говорить о нем следует преимущественно в других «рядах». Необходимо осветить вопрос о том, как соотнесено творчество Томаса Манна с творчеством его великих современников — таких, как Роллан, Шоу. И — это уже прямой долг советских исследователей — настоятельно необходима разработка темы «Томас Манн и русская культура». И одним девятнадцатым веком здесь ограничиваться не следует.

Н. Вильмонт в статье «Художник как критик» говорит о том, что Томас Манн в работе «Гете и Толстой» широко использует знаменитую книгу М. Горького о великом русском писателе. Я думаю, что не надо уходить и от вопроса об объективной соотнесенности «досоциалистического гуманиста» Томаса Манна с социалистическим гуманизмом М. Горького. Речь здесь, как мне думается, должна пойти не только о прямых высказываниях Томаса Манна, связанных с его пониманием мирового значения русской литературы, но и о воздействии этой литературы на творчество самого Томаса Манна.

Более того, я думаю, что Томас Манн не так уж много знал о русских символистах, быть может, и не слышал имени Александра Блока. И все же тема «холода», «ледяных пространств» и связанная с этим тема «иронии», разрушающей для художника образ мира, проходит сквозь творчество обоих писателей, порождая нередко мотивы, до странности близкие.

Я думаю, что именно советское, марксистско-ленинское литературоведение лучше всего вооружено для того, чтобы исследовать самые сложные вопросы, связанные с творчеством крупнейших художников двадцатого века.

Р. ОРЛОВА

ДЕНЬГИ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ

(Заметки о творчестве Джона Стейнбека)

Роман Джона Стейнбека «Зима тревоги нашей» (1961) заставил американских критиков вновь определить свое отношение к давно уже сложившемуся писателю. Оценки этого романа чрезвычайно противоречивы.

«Замечательный роман, лучший со времен «Гроздьев гнева»,— пишет Уильям Хоган в газете «Сан-Франциско кроникл». «Моральная проблематика его нового романа возвращает нас к настроениям и идеям «Гроздьев гнева»,— замечает Эдвард Уикс в журнале «Атлантик».

Серьезность проблематики романа отмечается всеми, кто писал о нем.

Серьезность и правдивость. Вирджилия Петерсон, которая относится к книге весьма критически, вынуждена, однако, отметить в «Лайвли артс энд букс ревью»: «Тот, кто хоть раз окунулся в волны нашего процветающего общества, едва ли станет отрицать, что воды этого общества заполнены акулами... Даже сами акулы вряд ли будут оспаривать то, что честность в Америке сегодня теряет свою репутацию». Но установив эти бесспорные истины, рецензент словно спохватывается и начинает находить в романе бездну недостатков: схематизм... персонажи — не живые люди... верный сам по себе авторский замысел не получил полного художественного разрешения.

Статья обозревателя «Сэтердей ревью» Гренвила Хикса представляет собой настоящий разгром книги: «Не убедительно ни как беллетристика, ни как проповедь... Роман, осуждающий наш низкий моральный уровень, должен, мне кажется, иметь дело с типичным героем в типичной ситуации». Приговор критика: «Автор не разрешает тех проблем, которые ставит».

За этими критическими боями стоят проблемы чрезвычайно серьезные, глубоко социальные по своему характеру. Речь идет не о разнице вкусов. Спор идет и о наследии тридцатых годов, спор идет о судьбах американского реализма.

Джон Стейнбек — глубоко противоречивый писатель, противоречивый, как и формировавшая его действительность Создатель страниц высокой прозы и страниц третьесортного чтива, автор глубоких, правдивых книг, хозяин поэтической вселенной — «Гроздьев гнева» и слабый переводчик философской разноголосицы XX века на язык беллетристики в романе «К востоку от рая», вдумчивый социальный критик и автор легковесных «розовых» однодневок. В различной мере эти противоречия проявляются во всех книгах писателя.

Подобно фермеру — и столь же тщетно,— он стремится удержать свои владения, где он полновластный хозяин, независимый от чужой и чуждой злой воли. Стейнбек хочет создать и удержать свой мир, независимый и замкнутый мир неискалеченной

человечности, населенный необычными и прекрасными именно в своеобычности людьми. Но его стремления в конечном счете бесплодны — такого патриархального мира простых человеческих связей в Америке давно уже нет. Стейнбек изображает не только результат, но и процесс неумолимого уничтожения своих идеалов. В этом источник трагичности и вместе с тем источник гуманизма его творчества; он не принимает существующий, устоявшийся общественный порядок.

Деньги против человечности — вот основа нового романа, старая и не стареющая коллизия американской действительности и американской литературы. Старая и не стареющая тема, лейтмотив творчества Джона Стейнбека.

Не сразу возникла эта тема в книгах писателя, он пробивался к ней ощупью, отходил от нее и возвращался к ней, он поразному решал ее, но с ней, именно с ней связаны самые яркие художественные свершения Стейнбека.

■

Джону Стейнбеку в феврале 1962 года исполнилось 60 лет. Около 30 лет он печатается. Шестнадцать романов, сборник рассказов, две пьесы, киносценарий, публицистические книги. Его произведения переведены на десятки языков, его имя обычно называют среди крупнейших писателей США. Его творчеству посвящены статьи, монографии, диссертации.

Стейнбек начал писать на оборотах бухгалтерских счетов: его отец, поселившийся в Калифорнии вскоре после гражданской войны, был казначеем округа Монтере. Мать преподавала в местной школе. Мальчик очень много читал, писал для школьной газеты «Эль Габилан», играл в баскетбол. После окончания школы год работал химиком-лаборантом и поступил в Стэндфордский университет, однако диплома не получил. Он часто прерывал учебу — работал то на сборе фруктов, то на починке дорог, то смотрел за лошадьми.

Первые стихи и рассказы печатал еще в университетских журналах. В 1926 году приехал в Нью-Йорк с твердым намерением стать писателем, но потерпел неудачу: рассказов нигде не принимали, денег не было, и пришлось возвращаться в Калифорнию, нанявшись палубным рабочим.

Общий тираж первых трех романов «Чаша господня» (1929), «Райские пастбища» (1932), «Незнаемому богу» (1933) был меньше трех тысяч экземпляров. В 1935 году издается книга «Жилье Тортиллы» (после того как ее отклонили одиннадцать издательств).

Ею заканчиваются ученические годы писателя. Роман «О мышах и людях» (1937) принес признание, славу, премии, возможность профессионально заниматься литературой.

ДОБРЫЕ ЛЮДИ В ЖЕСТОКОМ МИРЕ

Двое рабочих бродят по Калифорнии, предлагая свой труд. Умственно недоразвитый гигант Лэнни и его маленький приятель — бойкий, смышленый Джордж. У двух друзей есть мечта, она родилась у Джорджа, но принята Лэнни, глубоко овладела всеми его примитивными инстинктами, мечта очень простая и весьма американская — скопить немного денег, перестать скитаться, купить маленький домик, обрабатывать свой клочок земли, разводить кроликов. Быть хозяевами своего дома и своей судьбы. Лэнни без конца умоляет друга повторять как заклятие — «домик, садик, кролики».

Читатель чувствует, что не дано этой мечте осуществиться, чувствует потому, что часто повторяется в книге слово «doom» («обреченность»), чувствует по тому неуловимому внутреннему ритму книги, где все нарастают трагические ноты.

Лэнни, сам того не желая, убил жену хозяйского сына. Ему грозит суд Линча. И здесь Джордж остается истинным другом, он избавляет Лэнни от мучительной смерти, он сам стреляет ему в затылок. Последние слова, которые слышит ничего не подозревающий Лэнни,— те же, уже автоматически, наизусть произносимые приметы мечты: «клочок земли, свой сад, кролики».

Патологичен герой книги Лэнни. Патологична сама ситуация — обреченность на гибель всего, к чему прикасается Лэнни. А вместе с тем в его истории — и правдивое воплощение судеб людей вполне нормальных. Почему эти люди обречены на горе? Ведь они хотели только хорошего. Джордж верил в исполнение своей мечты. Лэнни, боготворивший Джорджа, не хотел никого убивать, был далек от зла и ненависти. Однако добрые намерения превратились в свою противоположность, превратились в

злые поступки. Эта ситуация и впоследствии много раз повторяется в романах Стейнбека. Так запечатлена в его книгах неестественность моральных критериев буржуазного общества.

Лэнни и Джордж, их человеческие отношения, их мечта противостоят миру, в котором властвуют богачи, вроде хозяйского сынка Керли, жадного негодяя, которого дружно ненавидят все рабочие. Стейнбек изображает его, как и всех представителей мира имущих, с отвращением и ненавистью.

Чудаки, странные и добрые, незадачливые, ущербные существа, о которых с такой щемящей нежностью писал Шервуд Андерсон, появились в творчестве Стейнбека еще в романе «Райские пастбища» и многократно впоследствии возвращались на страницы его книг, в частности в своеобразную дилогию о Консервном ряде — так называется окраина Монтере и первый роман (1944), написанный по возвращении с фронта; вторая часть называется «Благостный четверг» (1954).

На фронте писатель увидел, что несут людям фашизм и война, увидел кровь, горе, слезы, смерть. Ему стало казаться — вот итог цивилизации, вот к чему пришло человечество. А можно ведь жить и по-другому.

Герои обеих книг, Мак и его друзья,— люмпены, бродяги, люди без определенных занятий. Они ленивы, добры, не очень любопытны, не стремятся ни к чему, кроме развлечений, живут в трущобах. Они ненавидят собственников и собственничество, не признают его законов.

Ребята очень любят Дока (персонаж явно автобиографический) — владельца лаборатории морской фауны, благодарны за его безотказную и бескорыстную помощь каждому, кто в беде, хотят как-то выразить свою любовь и благодарность. И устраивают в его честь вечеринку, с участием местных проституток, в его доме. При этом они перепиваются и учиняют страшнейший погром лаборатории — все оборудование разбито, гибнут ценнейшие коллекции. Добрые намерения снова ведут к дурным поступкам.

Герои «Консервного ряда» и «Благостного четверга» брезгливо отстраняются от грязной политической игры и всего, что с ней связано. Один заявил, что не хочет быть президентом США, другой отказался подписать присягу о лояльности, которую потребовали от всех членов местного клуба,— он сказал, что, если ему захочется сжечь Капитолий, он оставляет за собой право это сделать.

Стейнбека постоянно занимают проблемы оценок человеческих поступков, относительность общепринятых, то есть буржуазных критериев добра и зла. Устами Дока он утверждает: «Мне всегда казалось странным, что вещи, которыми мы восхищаемся в людях: доброта и благородство, открытость души, честность, понимание других людей, способность чувствовать,— все это, при нашей системе, синонимы неудач. А те черты, которые мы ненавидим: жадность, хватка, низость, эгоизм, себялюбие,— все это признаки успеха. Люди восхищаются качествами первого ряда, но любят результаты второго».

Именно и только у бродяг и проституток находит Стейнбек истинную человечность. В Консервном ряду царит дух товарищества — и беда и радость как бы разлиты в воздухе и переживаются сообща. Однако в изображении людей и событий здесь есть умиленность, благолепие.

«Благостный четверг» — неудача писателя. В романе сильны элементы дешевой мелодрамы. Стейнбек ходит здесь по самой грани «розовой» псевдолитературы, которая столь популярна в Америке.

Жизнь обитателей Консервного ряда нарочито замкнута, никак не связана с событиями, происходящими в большом мире. Казалось, что писателю захотелось уйти в одну из найденных и описанных им раковин.

Шум моря слышался и в раковине, но приглушенный, а то и фантастически измененный. Недаром Доку часто грустно и даже тяжко на душе. Док-Стейнбек не может не понимать, что от решения важнейших жизненных проблем он уходит.

«Жилье Тортиллы» и «О мышах и людях», «Консервный ряд» и «Благостный четверг» содержат критику буржуазной цивилизации, хотя и противоречивую. Герои этих книг взывают к сочувствию, к пониманию, к состраданию. Эти книги — крик о добрых, хороших людях, которые никому не нужны, которые обречены на гибель в жестоком мире. Это книги о неестественности, ненормальности доброты в обществе практичных, богатых, злых людей.

Р. ОРЛОВА
ДЕНЬГИ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ

О ТЕХ, КТО ВНИЗУ

Для писателей, которые были на несколько лет старше Стейнбека, для Хемингуэя, для Фолкнера, для Дос-Пассоса, главным юношеским впечатлением бытия стала первая мировая война. И они вошли в литературу книгами о войне, о потерянном поколении.

Стейнбеку было шестнадцать лет, когда война кончилась. Его мироощущение формировалось прежде всего страшными контрастами богатства и бедности, калифорнийского «рая» и голода, бездомности, униженности рабочих, приходящих туда на сбор фруктов. В Калифорнии эти противоречия проявлялись с большей обнаженностью, чем где-либо в США.

В тридцатые годы происходило, по выражению Майкла Голда, «второе открытие Америки», своеобразное «хождение в народ»; в потрясенной, перевернутой кризисом стране обнаруживались тысячи трагедий, и эти трагедии хлынули в романы и пьесы, в поэмы и киносценарии.

Значительно усилилась роль прогрессивной печати; манифест «Культура и кризис» (1932), подписанный крупнейшими писателями, художниками, режиссерами, призывал деятелей искусств запечатлеть происходящее, вмешаться, помочь словом, холстами, спектаклем. На двух съездах американских писателей (в 1935 и 1937 гг.) бурно обсуждались перспективы развития прогрессивной литературы в США.

К непосредственно социальной теме обратились многие американские писатели. Угнетение трудящихся и забастовки, голодные походы, изображение борьбы классов занимает прочное место в литературе. Об одной только стачке гастонских текстильщиков было написано шесть романов.

Эрнест Хемингуэй выступает с гневным памфлетом «Кто убил ветеранов во Флориде» и начинает роман «Иметь и не иметь», Шервуд Андерсон пишет «По ту сторону желания», Уолдо Фрэнк — «Смерть и рождение Дэвида Марканда», Майкл Голд — «Еврейскую бедноту», Лилиан Хеллман — пьесу «Настанет день». Во всех этих произведениях социальная борьба определяет мысли и чувства героев, характеры, ситуации, конфликты.

Линкольн Стеффенс издает свою «Автобиографию», в которой рассказывает о сложном и противоречивом пути американского интеллигента к революции, к коммунистической партии.

Социальные критерии впервые в истории американской литературы применяются в оценках произведений. Социальная критика побеждает критику эстетскую.

Джон Стейнбек складывался как писатель именно в этот период. Он литератор тридцатых годов. Лучшая созданная им книга «Гроздья гнева» есть вместе с тем одна из художественных вершин десятилетия.

В отличие от многих своих коллег Стейнбек не принимал почти никакого участия в демонстрациях и съездах, не вступал ни в какие организации, не подписывал никаких манифестов. Но то, что происходило, он видел снизу, глазами голодных, неимущих, оборванных.

Стейнбек в тридцатые годы близко познакомился с несколькими коммунистическими организаторами, в том числе с Томом Коллинзом, который возглавлял лагерь для безработных в Сэлинас-вэлли. Рассказы Коллинза помогли Стейнбеку глубже проникнуть в мир обездоленных.

В 1936 году был опубликован роман «В сомнительной схватке», рассказывающий о стачке сборщиков фруктов. Для помощи забастовщикам приезжают два коммуниста: Мак и его молодой товарищ Джим.

Забастовка возникает естественно, иначе и не могут поступить доведенные до крайней степени отчаяния люди. Образ представителя хозяев Болтера написан с яростью и презрением. Эту великолепную ярость к сытым писатель сохранил на всю жизнь.

Против неквалифицированных, сезонных, то есть чужих друг другу, не составляющих никакого коллектива, неорганизованных рабочих власти двинули мощную, хорошо налаженную государственную машину, машину насилия.

Книга с силой передает владеющее писателем ощущение хаоса, гибели, конца. Дальше так жить невозможно. А кто и как может изменить положение вещей?

Людей, которые жили бы не для себя, способных отдать «душу свою за други своя», бескорыстных, стремящихся к большой цели, в середине тридцатых годов писатель находит среди коммунистов. Когда полицейские убивают юношу коммуниста Джоя, Мак говорит: «Я не знаю, почему мы говорим «бедный парень». Вовсе он не был «бедным». Он был больше самого себя». Об

этом же говорит и Джим: «Ничего не остановится. Я — только маленькая частица того, что будет развиваться и развиваться... Я — это нечто большее, чем моя личность».

Все это — не просто слова. Это основное ощущение книги. Но в изображении Мака и Джима запечатлены также и определенные антикоммунистические предрассудки автора, которые и впоследствии проявлялись в выступлениях Стейнбека. Мак и Джим в его изображении — люди крайне рассудочные, лишенные непосредственных эмоциональных реакций. Когда они ночью приезжают в лагерь забастовщиков, Мак принимает роды у дочери вожака рабочих и говорит, что сделал это не для того, чтобы помочь женщине, а чтобы завоевать популярность.

Творческий путь Стейнбека развивается не линейно. Разные, противоречивые, порою и взаимоисключающие потоки в его творчестве сосуществуют, борются. Это подтверждает и хронологический ряд: «В сомнительной схватке» — 1936, «О мышах и людях» — 1937, «Гроздья гнева» — 1939.

Примеры таких резких сдвигов, перерывов постепенности мы находим и в последующем творчестве писателя.

■

Роман «Гроздья гнева» посвящен «Кэрол, которая стремилась к этому, и Тому, который это пережил». Последние слова посвящения можно было бы отнести к самому автору. Его захватил водоворот классовой борьбы. Он отправился в Оклахому, присоединился к группе кочующих рабочих, проделал с ними весь путь до Калифорнии. В одном из его писем сказано: «Я вынужден писать, сидя в канаве. Я работаю — вероятно, отправлюсь на юг собирать хлопок. Рабочие движутся на юг, и я к ним, наверно, присоединюсь». Он хочет раздать 1000 долларов, которые должен получить (за право экранизации романа «О мышах и людях») своим голодающим товарищам. Когда журнал «Лайф» предложил ему написать очерки о том, что он видел и испытал, Стейнбек сообщает, что не может принять гонорар: «Мне очень жаль, но я не могу зарабатывать деньги на этих людях... страдания слишком велики, чтобы я мог наживаться на них».

Уже начав работу над романом, он пишет своим издателям: «Я должен отправиться в калифорнийские долины. Там пять тысяч семей умирают с голоду, не просто голодают, а именно умирают от голода... Я уже слишком связан со всем этим, и я должен поехать туда и посмотреть, смогу ли я сделать что-нибудь, чтобы дать убийцам по голове... Голодная смерть детей в наших долинах потрясает... Я сделаю все, что смогу... Какими маленькими и мелкими становятся книги перед лицом таких трагедий...» Он действительно сделал все, что мог. И книга его не была ни маленькой, ни мелкой.

Книга выросла из возмущения, негодования честного человека, который не мог спокойно видеть голод и несправедливость. Его будущие герои были сначала товарищами по койке и бараку, по канавам и палаточным городкам. Так появилась лучшая книга писателя и один из самых замечательных американских романов XX века.

«Гроздья гнева» вызвали бурную полемику. Стражи порядка, естественно, обвинили писателя в клевете.

Конгрессмен от Оклахомы Лил Борен заявил: «Я не могу допустить, чтобы это грязное, лживое, отвратительное сочинение не получило достойного отпора... Я здесь стою перед вами как сын фермера, заклейменного Джоном Стейнбеком прозвищем Оки. От своего имени, от имени моего отца и матери, чьи волосы уже посеребрены честным служением штату Оклахома, я заявляю вам и каждому честному, здравомыслящему читателю в Америке, что изображенное Стейнбеком в его книге — это ложь, черное, дьявольское порождение смутьянского ума».

В штате Канзас «Гроздья гнева» были запрещены в библиотеках. Судья из Буффало заявил: «Эта книга опаснее динамита». В городе Сент-Луис три экземпляра были торжественно сожжены.

Тем временем бастующие рабочие носили плакаты со словами «Стейнбек сказал правду».

Книга стала бестселлером. Стейнбеку была присуждена высшая литературная награда в США — Пулитцеровская премия. Роман далеко перешагнул границы Калифорнии и границы Соединенных Штатов Америки.

А между тем, это книга об оклахомцах в Калифорнии в середине тридцатых годов, в разгар мирового экономического кризиса, книга, настолько «прикрепленная» к месту

Р. ОРЛОВА
ДЕНЬГИ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ

тысячами неповторимых нитей, что ее в американской критике часто рассматривали как пример региональной, областнической литературы. Она выросла из журналистики — еще в 1936 году Стейнбек опубликовал в «Сан-Франциско кроникл» статьи о сезонных рабочих в Калифорнии.

Эта книга прикреплена и ко времени, книга лепилась из неостывшей лавы, из того, что было газетными полосами, из того, что было у всех на устах, из того, что было тогдашней болью.

Джоуды стремились к тому же, к чему стремились тысячи американцев: домик, садик, свой кусочек земли, вся семья вместе и вдоволь еды. Для Ма Джоуд эта мечта такое же заклинание, как и для бездомных бродяг Лэнни и Джорджа. Мечта столь же естественная, скромная, сколь и неосуществимая.

И эти простые, грубые люди, показанные во всей обычности и обыденности своего существования, овеяны подлинным трагическим величием, величием саги, героической эпопеи.

Писатель говорит о том, как распрямляется человек, как исполняется высшим смыслом его жизнь, как постигается истина служения другим людям. По-разному воплощается это в характерах Ма и Тома Джоудов и бывшего проповедника Кейси.

Для Ма наука человеческого общежития, спокойного самоотречения и твердости как бы от века постигнута, родилась вместе с ней. Ма не развивается, а раскрывается в романе. Хорошая, домовитая хозяйка, она проявляет недюжинную выносливость, силу духа, мужество. Несколько часов она едет рядом с трупом родной матери — молча и безропотно несет свое горе, ни на кого не перекладывая ни грана тяжести: надо въехать в Калифорнию, а с покойницей не пустят, значит, надо молчать и терпеть. Надо не для нее, Ма,— надо для всей семьи. Ма никого не попрекает, она никому не приносит жертв, она поступает так, а не иначе потому, что иначе она и не может.

Ма Джоуд — прямой потомок тех суровых людей, которые осваивали девственный континент, прорубали проходы в чащах, охотились, шили, стряпали, мыли. Она все делает и несет тот удивительный свет семьи, который не замечают, когда он есть, и которого так мучительно не хватает, когда он гаснет...

Ма — добрый человек, она хранит доброту как высшее семейное достояние. После возвращения Тома из тюрьмы она строго спрашивает его, не озлобился ли он. Когда семья проходит один за другим несколько кругов переселенческого ада, Ма больше всего опасается, как бы ее близкие не превратились в тех двуногих зверей, с которыми ей так часто приходилось сталкиваться. Но доброта матери — вовсе не смирение. При безграничной широте своей души, она человек очень гордый: «Мы Джоуды. Мы ни перед кем на задних лапках не ходили. Дед нашего деда сражался во время революции».

Том изменяется в ходе тех бедствий, которые приходится претерпевать. Вернувшись из тюрьмы, он, сын своей матери, добрый по натуре человек, стремился только к покою, к мирному, дотюремному замкнутому существованию.

Ему трудно думать, он к этому не привык, но он не может не задавать вопросов, не может не искать ответов. Том становится борцом не потому, что ищет борьбы, а потому, что без борьбы нельзя оставаться человеком.

Среди многих недругов Стейнбека были и церковники. Их очень рассердил образ проповедника Кейси, который понял лицемерие своей прежней профессии и отказался от нее. Самоотверженная борьба Кейси, ставшего одним из организаторов забастовки и убитого полицейским, окончательно помогла Тому — и не только Тому — выбрать свой путь. «...Поднимутся голодные на борьбу за кусок хлеба, я буду с ними. Где полисмен замахнется дубинкой, там буду я... Ребятишки проголодаются, прибегут домой, и я буду смеяться вместе с ними — радоваться, что ужин готов. И когда наш народ будет есть хлеб, который сам же посеял, будет жить в домах, которые сам же выстроил, там буду и я...» — говорит Том.

Главное препятствие на пути к тому истинно человечьему общежитию, к которому стремятся и Ма, и Том, и Кейси,— буржуазный строй. Именно строй, система. «Гроздья гнева» — пламенно и последовательно антикапиталистическая книга. Речь идет в ней не о частных недостатках, речь идет об основах строя. Автор говорит: «Если б вам, владельцам жизненных благ, удалось понять это, вы смогли бы удержаться на поверхности. Если б вам удалось отделить причины от следствий, если б вам удалось понять, что Пэйн, Маркс, Джефферсон, Ленин были следствием, а не причи-

ной, вы смогли бы уцелеть. Но вы не понимаете этого. Ибо собственничество сковывает ваше «я» и навсегда отгораживает его от «мы».

Стейнбек писал о народе во всех своих книгах. Он изображал наивных и легкомысленных, бесшабашных гуляк, пьяниц, бабников. Эти черты есть в Джоудах. Он изображал народ, массу стачечников в романе «В сомнительной схватке» как людей, доведенных до отчаяния, разгневанных, вынужденных обороняться против власти (любопытно, что сам образ «гроздьев гнева» впервые появляется на страницах романа «В сомнительной схватке»). И эти черты есть в Джоудах. Он видел людей, которые работали на вольном воздухе, людей, слитых с землей, горланящих и сквернословящих. И эти черты есть в Джоудах.

Сравнительно легко найти в романе «Гроздья гнева» то, что связывает этот роман с предшествующим творчеством Стейнбека. Гораздо труднее понять чудо скачка, то таинственное, чем Джоуды отличаются от других созданных автором персонажей. Эта книга будет жить, пока в Джоудах видят свою судьбу сегодняшние американские безработные, пока в мире есть еще голод, пока есть страны, где народ сгоняют с земли, обманывают хитрые политиканы, пока в самой Америке и за ее пределами жива еще эксплуатация человека человеком.

Но «Гроздья гнева» живут и будут жить и тем активным, глубинным гуманизмом, который выражен в этой книге сильнее, чем в других произведениях писателя: «Конечная, ясная функция человека — работать, созидать, и не только себе одному на пользу,— это и есть человек». А такое представление останется живым и тогда, когда «народ будет есть хлеб, который сам же посеял, будет жить в домах, которые сам выстроил...»

Конкретно-историческое и общечеловеческое проявляются и в построении и в стиле романа.

«Гроздья гнева» — рассказ о мытарствах семьи Джоудов: захват их земли банком, покупка грузовика, дорога в Калифорнию, безуспешные поиски работы, распад семьи; этот рассказ перебивается главами, не имеющими прямого отношения к сюжету,— размышлениями писателя, его наблюдениями, описанием засухи в Оклахоме или изображением шоссе № 66, по которому мчатся богатые и сытые: это увидено глазами Джоудов, но и непосредственно глазами автора (описание шоссе очень близко и по содержанию и по стилю к гневным страницам Хемингуэя о яхтовладельцах в романе «Иметь и не иметь»). Эти главы уже не только про Джоудов. Это про американцев. Про людей, про жизнь человека на земле.

Разумеется, исторически-конкретное в романе не исчерпывается судьбой Джоудов, оно и во вставных главах; с другой стороны, именно и прежде всего в Джоудах — общечеловеческое величие.

Это проявляется и в языке «Гроздьев гнева». Стейнбека немало критиковали за жаргон, то есть за малопонятную вне Оклахомы диалектную речь героев, за ругательства, которыми пестрит роман. Его герои говорят на языке деклассированных фермеров Оклахомы середины тридцатых годов. Но развитие образов и идеи книги требуют и другого. И рядом с «низким» возникает второй — «высокий» стиль книги. Разумеется, эти два стиля не отделены, а соединены множеством сложных и противоречивых связей.

Высокий стиль книги восходит к библии. Библия — единственная книга, которую читали многие американцы в течение полутора столетий, тогда, когда складывался национальный характер, когда были заложены основы национальной культуры.

Библейские одежды были в Англии и в Америке национальными одеждами революционной борьбы.

Воздействие библии испытало и испытывает большинство американских писателей.

Стейнбек художественно преобразовал язык библии, и он стал частью того органического сплава, который называется «Гроздья гнева».

■

И снова сложными путями движется творческое развитие Стейнбека: после антифашистской аллегории «Луна зашла» (1943) — «Консервный ряд» (1944). Но писатель продолжал жить в стихии «Гроздьев гнева» и позже, его продолжали глубоко волновать социальные проблемы.

Писатель ищет новых и новых художественных путей воплощения своей основной темы. И в 1945 г родилась «Жемчужина».

Эта повесть — своеобразная попытка художественного синтеза той линии творчества, которая представлена романами «О

мышах и людях», дилогией «Консервный ряд» и непосредственно социальными произведениями «В сомнительной схватке», «Гроздья гнева», «Луна зашла».

Распространенный фольклорный сюжет — нежданно свалившееся сокровище, которое должно круто изменить судьбу бедняка, героя повести, мексиканца Кино. Но это сокровище не облегчает его жизнь, а становится источником страшных бедствий.

В отличие от Мака и других персонажей «Консервного ряда», Кино — сын патриархальной общины, «дар единения с миром он получил от своего народа».

Снова в мире простых людей, в мире простых, примитивных связей ищет писатель добро и красоту.

Необычайно человечны, одухотворены отношения в семье Кино, взаимная любовь супругов, их нежность к ребенку. В эту жизнь, в которой сохраняется своеобразная поэзия, вторгается большая жемчужина — и с ней проклятие собственничества, приводящее к преступлениям, к убийству.

В соответствии со стилем и жанром повести в жемчужине как бы символически олицетворяется идея собственничества. В книге есть и реалистическая сатира. Образы ростовщиков и жадного врача — это, пожалуй, не портреты — графические рисунки, эскизы, точные и злые.

Пережив гибель ребенка, побывав на краю смерти, Кино и Хуана избавляются от проклятия—бросают жемчужину в море.

Стейнбек пишет во введении к «Жемчужине»: «И как и во всех историях, рассказанных и пересказанных много раз и запавших в человеческое сердце, в ней есть только хорошее и дурное, только черное и белое и никаких полутонов».

Художественный «секрет» «Жемчужины» состоит отчасти и в том, что так писать можно только о мире простых и относительно ясных человеческих связей, а Кино живет именно в таком мире, где силы наивной человечности и бесчеловечного колониализма противостоят друг другу, как «черное и белое».

В ПОПЫТКАХ ОБЪЯСНИТЬ МИР

Но Стейнбек стремился и к другому виду повествования. В романах «Заблудившийся автобус» (1947) и в особенности «К востоку от рая» (1952) он хотел, выделив людей и события из социальных связей, отделяя, порою чрезвычайно искусственно, философское от социального, объяснить все усложняющийся мир, в котором жили его герои.

Маленькое дорожное приключение задерживает автобус, и пассажиры оказываются на несколько часов в необычной обстановке. Эта необычность дает возможность автору показать в своих героях то, что в каждодневной жизни обнаружить в них трудно.

Среди персонажей романа «Заблудившийся автобус» глава крупной фирмы бизнесмен Причард с женой и дочерью Милдред — семейство Причардов — едет в Мексику на каникулы.

Вразрез с призывами американской печати, требующей «реабилитировать» финансовых королей, Стейнбек, продолжая одну из наиболее плодотворных линий своего творчества, создает образ сатирический. Причард — Бэббит пятидесятых годов. Он глуп, невежествен, ненавидит и презирает все народы мира. Он поразительно бесплоден и стандартен, полностью лишен индивидуальности, «где бы он ни бывал, он был не личностью, а частицей, частицей корпорации, или клуба, или ложи, или церкви, или политической партии». Во время поломки автобуса и выясняется, что вне группы, вне социальных покровов собственно человеческая ценность Причарда равна нулю.

Писатель на этот раз подчеркивает не столько яростное собственничество, звериный эгоизм правящей элиты, сколько ее пустоту, ничтожество.

Шофер автобуса Хуан, красивый, сильный, умудренный жизненным опытом, прекрасный механик, золотые руки,— само воплощение мужественности. Однако Хуан глубоко неудовлетворен жизнью. Существование Хуана в противоречии с его характером, с его возможностями — так же буднично, так же убого, как и всех остальных. Его представления об иной, лучшей, более достойной жизни связаны с Мексикой, страной его юности, где, как ему кажется, живут вольные люди, где чувства и страсти еще не обстрижены буржуазными стандартами. Как только появляется предлог, Хуан бросает автобус.

Милдред Причард отправилась вслед за Хуаном, нашла его дремавшим в сарае. Связь между ними была предопределена с самого начала романа. Хуан смеется над вопросом Милдред, не возьмет ли он ее с собой в Мексику. Высказанная ее устами мечта о бегстве и свободе кажется ему смешной.

Крах попытки Хуана изменить свою жизнь в наибольшей степени порождает то ощущение безнадежности, безысходности, которым проникнута эта грустная книга. В наибольшей степени потому, что Хуан — единственный, пожалуй, из героев, который внушает читателю симпатию.

Так же безнадежны, обречены и мечты других персонажей.

В «Заблудившемся автобусе» нет или почти нет той сердечной теплоты, с которой были показаны семья Кино, Джоуды и даже жители Консервного ряда. Здесь очень наглядно проявляется холодное, бесстрастное отношение ученого, рассматривающего под микроскопом особи человеческие и констатирующего без возмущения и любви: они в таких-то обстоятельствах ведут себя так... Не люди, каждый своей неповторимой, трепетной судьбы, а стандартные «продукты» и «образцы» современной американской цивилизации.

Все без исключения персонажи во власти комплексов, эмоций и наиболее сильной из них — подавленной сексуальной страсти. Это роднит и бизнесмена Причарда со всеми другими.

Герои романа способны преимущественно к ощущениям. Думали мало и в других романах Стейнбека. Сложнейшая и интереснейшая духовная история человека двадцатого века — за пределами творческой палитры художника (исключение составляет, пожалуй, последний роман). Что же — весьма значительная часть человечества живет вне мира идей, зачастую и не подозревая об его существовании. О них-то и пишет Стейнбек, и это его право художника. Но когда творческой задачей становится объяснение мира, а сюжетом — символическое путешествие рода человеческого, тогда антиинтеллектуализм вырастает в препятствие чисто художественное.

И все же автобус из грязи вытаскивает Хуан Чикой; надежды на спасение человечества Стейнбек по-прежнему возлагает на сильных, стойких, мужественных простых людей Америки.

Еще более универсальный характер носит другая попытка писателя создать поэтическую вселенную — в романе «К востоку от рая».

История двух семей, Гамильтонов и Трасков в трех поколениях,— история двух переселенческих родов в Сэлинас-вэлли. И вместе с тем история рода человеческого, убийство Каином Авеля, изгнание первых людей из рая.

Размышления писателя на самые разные темы, не относящиеся к сюжету, занимают столько места, что порою книга становится похожей на трактат социолога, философа, теолога, и трактат этот — отнюдь не на уровне современной мысли. Есть в романе фразы, которые обидно читать. Обидно за писателя-гуманиста. Например, фразы об индейцах, исполненные шовинистического высокомерия. Но дело не только в отдельных фразах.

Если в «Гроздьях гнева» органическое слияние идеи и сюжета вело к гармоническому сочетанию глав, в которых рассказывается история Джоудов, и глав-раздумий, глав-вопросов, глав-панегириков и глав-инвектив, то в книге «К востоку от рая» развитие сюжета и развитие идей обособленны друг от друга.

В этом — лишь одно из частных выражений глубоких противоречий, присущих творчеству писателя и проявившихся в романе «К востоку от рая» с особой силой и наглядностью.

Один из центральных морально-философских споров в романе посвящен тому месту из библии, где бог, изгоняя Каина из рая, говорит ему: «Ты можешь одолеть грех».

Герои книги толкуют эти слова так: в мире есть полюс добра и полюс зла. Эти полюса неизменны так же, как неизменны в основном моральные нормы. Хоть человек и произошел от Каина, он не обречен на зло, у него есть возможность выбора.

Полюс зла воплощен в красавице Кэт. Писатель замечает, что в старину Кэт назвали бы дьявольским отродьем, да и в его описании ее сила — сила мрачная, иррациональная, стихийная, неуправляемая, находящаяся за пределами сознания. Нигде в своем творчестве Стейнбек не подошел так близко к декадентскому взгляду на человека-животное, находящееся во власти темных, низменных инстинктов, как создавая образ Кэт.

Думается, однако, что в образе Кэт сказались не только заблуждения крупного художника, его растерянность, неумение понять и объяснить многое в мире. В его изображение зла проникала и определенная логика, основанная на том, что узнали люди о фашизме.

Р. ОРЛОВА
ДЕНЬГИ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ

В самом деле, если двуногое существо, внешне напоминающее обыкновенного человека, может сжигать в печах детей и вести аккуратный учет детской обуви, уничтожать женщин, больных, стариков, значит, молодая девушка может хладнокровно и расчетливо сжечь своих собственных родителей, бросить своих собственных грудных детей и бежать в публичный дом.

Однако не только во вчерашнем немецком фашизме, но и в сегодняшней Америке писатель видел все больше и больше отвратительного. Видел самые чудовищные преступления, свершенные молодыми людьми. Видел лицемерие и подлость.

Почему твой вчерашний приятель, даже друг, становится предателем? Почему твои хорошие, добрые поступки выворачиваются наизнанку, приобретают совершенно иное значение? Почему вообще твоя частная жизнь становится достоянием чужих и чуждых людей? Почему ты должен отвечать на вопросы самые интимные, касающиеся только тебя одного, в присутственных местах Вашингтона, в больших залах, под лучами юпитеров, перед телекамерами?

Выступая в связи с процессом Миллера, Стейнбек заявил: «...опасность угрожает не столько Миллеру, сколько всему нашему изменяющемуся образу жизни... От любого человека, предающего своих друзей — а именно этого требовал конгресс от Миллера, заставляя его стать осведомителем,— нельзя ожидать преданности родине. Мораль неделима. И наши добродетели начинаются в собственном доме».

В страшном, хаотическом мире, исполненном зла и несправедливости, писатель видит одну-единственную опору — сердце человеческое.

В отличие от своих произведений тридцатых годов Стейнбек славит человека-индивидуалиста. Характер этого прославления, как и вообще характер современного американского индивидуализма, двойствен. С одной стороны, Стейнбек выступает здесь против массовых народных движений, против движений Джоудов. Но, с другой стороны, он выступает против буржуазного конформизма, против массовых психозов, против «охоты за ведьмами», против той стандартизации человека, которая столь характерна именно для американского образа жизни.

В «Заблудившемся автобусе» и «К востоку от рая» есть талантливые, порою блестящие страницы, есть неизменное отвращение автора к буржуазной цивилизации и неизменная любовь к трудовому человеку — пусть даже маленькому, забитому. Запечатлены в этих книгах и мучительные раздумья автора над самыми насущными проблемами современной жизни. Однако задачи, поставленные им в этих книгах, особенно в романе «К востоку от рая», были чуждыми характеру его дарования. Писатель отошел от самого животворного источника своего творчества, и это не могло не отомстить за себя.

ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧИЛ БОГАТСТВО

Как было уже сказано в начале статьи, некоторые американские критики полагают, что Стейнбек не создал в романе «Зима тревоги нашей» типичного героя в типичных обстоятельствах. Думается, что такие суждения не верны.

Герой романа Итен Хоули и впрямь странный человек, добрый, нежный, чудаковатый, наивно-честный, доверчивый.

Но, отличаясь от других, Итен стремится быть как все. Приказчик бакалейной лавки хочет разбогатеть. Что же может быть более массовидным, более традиционно американским? Он все время задает себе вопрос Раскольникова, перекроенный на современный американский лад: могу ли я приспособиться, принять господствующие — волчьи законы?

Когда в начале романа Итен, пытаясь еще сопротивляться искушениям, возражает своему хозяину, не хочет выжимать деньги из клиентов, Марулло поучает его — все так поступают.

Аллен, сын Итена, получил общенациональную премию как автор лучшего школьного сочинения на тему «Я люблю Америку». Но оказывается, что он просто списал это сочинение. В ответ на укоры возмущенного отца Аллен спокойно возражает: «Подумаешь! Все так делают...»

Итен Хоули поступил «как все», в надежде, что можно где-то остановиться на пути зла, «...это только первый раз трудно. Но нужно пройти через это. В делах и в политике человек должен силой и жестокостью прокладывать себе путь через гущу людскую... Потом он может быть милостивым и великодушным, но прежде всего надо первым добраться до вершины».

Стейнбек правдиво раскрывает неумолимую логику действительности: нельзя сна-

чала делать подлости, надеясь, что потом — когда достигнешь богатства — станешь хорошим.

Итен достиг своей цели, получил богатство, к которому так стремился. Получил ценою подлости и сам покарал себя за содеянное. Но ведь американские бакалейщики, как правило, не терзаются комплексами вины. Не нарушает ли здесь Стейнбек типичности характера? Отнюдь нет. Человек не только формируется обстоятельствами, но и может бороться против них. Человек — не жалкая игрушка в руках беспощадной, автоматически действующей судьбы.

Итен Хоули — характер, развивающийся по своим законам, верный себе, но вовсе не схематичный, как утверждает Вирджилия Петерсон.

Почему же Итен Хоули совершает подлость? Снова и снова возвращается писатель к проблеме, которая так мучила его в романе «К востоку от рая». Но если преступления Кэт были чудовищны и иррациональны, непостижимы, то подлые поступки Итена Хоули находят в романе «Зима тревоги нашей» социальное объяснение. Он совершил подлость под давлением обстоятельств, под воздействием окружающей среды. Он слаб, а в мире, в котором он живет, царят продажность, подкуп, война всех против всех. Развитие романа показывает, куда толкает человека господствующая в обществе мораль. Конечно, бывают люди, которые выламываются из рамок, противостоят окружающей среде. Всегда были и есть кристально чистые, мужественные люди, сопротивлявшиеся давлению реакции и в самые мрачные периоды истории. И все же основной, главный критерий характера общественной системы — это ответ на вопрос, какой человеческий *тип* вырабатывается данным строем.

В «Зиме тревоги нашей», создав типический характер в типических обстоятельствах, Стейнбек обличает капиталистическую систему, вскрывает связь социального строя и человеческого поведения. Именно потому его роман художественно убедителен. Итену Хоули подлость чужда и отвратительна, но он уступает подлости потому, что слаб, а в конце не может перенести последствий своих поступков и пытается покарать себя потому, что все-таки добр и честен.

Однако «Зима тревоги нашей» отнюдь не книга традиционного критического реализма. И дело здесь не только в том, что действие ее происходит в 1960 году.

Есть в романе сквозной, многозначный образ-понятие, связанный и с основными идеями и с сюжетом книги. Это образ моря, глубоких, непознаваемых вод с таинственными ключами на дне. Нью-Бэйтаун—приморский город. У Итена есть Убежище — приморский грот на дальнем заброшенном побережье. В грот он приходит всякий раз, когда надо принять какое-либо важное решение, когда у него большая радость или большое горе. Туда же приходит он в конце романа, чтобы осудить себя.

Море — вечный символ свободной стихии, противостоящей угнетенному, униженному человеку,— соотносится в романе и с глубинами души. Итен говорит, что каждый его поступок решается своеобразным судом присяжных, который заседает где-то в глубинах его совести, «ниже мыслительного уровня». Решения этого суда почти не контролируются разумом, подчас даже не осознаются. Стейнбек и в прежних книгах часто сопоставлял законы животного царства и человеческого общества. Часто пытался найти в человеке простейшую биологическую первооснову и ею объяснять всю сложность поступков и мыслей, а иной раз и вовсе снять сложность. В какой-то степени он и на этот раз снимает с Итена ответственность за его поступки, погружая их причины и следствия в пучины неизведанных вод. Этот иррационализм, проявляющийся и в образе дочери Итена, сосуществует с вполне реалистическими мотивировками поступков героя и в то же время противоречит им.

Вместе с тем в этой книге больше, чем где-либо раньше, господствует разум. Герой не только чувствует, ощущает, действует, но и постоянно взвешивает, оценивает свои ощущения и поступки. Это сказывается даже в некоторой перегруженности книги эрудицией, в самом характере напряженно-интеллектуального диалога.

Противоречия действительности «снимаются» или художественно осваиваются в романе и введением юмора, игры, иронии.

Ироничны ситуации романа. Итен безупречно честен по отношению к Марулло, он педантично записывает каждый фунт сахару или масла, взятый в лавке для своей семьи, хотя проверять его и некому. Марулло — отталкивающий тип, жадный, мелочный, ленивый. Однако *подлость* совершает *хороший* Итен.

Р. ОРЛОВА
ДЕНЬГИ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ

В этой иронии художественно воплощается извращенность моральных критериев, та вывернутость понятий, которая присуща буржуазной действительности. Глубоко иронична и основная фабульная ситуация книги. Приказчик бакалейной лавки достигает богатства, но оказывается, что оно ему совсем не нужно, а нужно другое. Нужно вернуться к себе самому, вернуться к человеку.

Здесь и проявляется глубокая и очень горькая ирония писателя и глубокое, бескомпромиссное осуждение буржуазной морали самим изображением ее бессмысленности. Это ирония человека и писателя, который вполне ясно видит зло, грустно констатирует зло, но не убежден, что зло можно побороть.

В респектабельном американском городке богатство оказывается таким же проклятьем, каким оно было и в мексиканской рыбачьей деревне, в семье ловца жемчуга Кино. И Стейнбек говорит об этом: в «Гроздьях гнева» — со страстной ненавистью, в «Жемчужине» — романтически-сказочно, в «Зиме тревоги нашей» — с реалистической иронией, но во всех лучших книгах изображает проклятие, античеловечность богатства.

■

В последнем романе «Зима тревоги нашей» Стейнбек снова выступил свидетелем обвинения.

Много раз писали критики о том, что штюрмерская молодость Стейнбека сменилась благоразумным спокойствием и уходом от острых социальных тем. Иной раз и, правда, могло показаться, что действовавший в тридцатые годы вулкан погас, и только отдельные искры убеждали — огонь еще теплится...

«Зима тревоги нашей» свидетельствует, что яростная, громокипящая лава «Гроздьев гнева» сменилась в этой книге иным — сильным, ровным огнем, огнем ненависти к собственничеству, ко всему, что уродует человека.

Профессор ЮЛИУС ДОЛАНСКИЙ

ЧЕХИ СЛЫШАЛИ «КОЛОКОЛ»

В условиях общеевропейского революционного подъема деятельность Герцена, который, по словам Ленина, в сороковых годах XIX века «сумел подняться на такую высоту, что встал в уровень с величайшими мыслителями своего времени», становится явлением всемирно-исторического масштаба.

Герценовский материализм, демократические и социалистические идеи, его практическая революционная деятельность оставили след в тысячах умов, в истории.

Искандер больше, чем кто-либо из русских писателей, был связан с общественными деятелями Запада. В известном смысле он «открывает» для них Россию, ее героев, ее литературу, блистательно представляя лучшее, что выработано ее мыслью.

Появление переводов на европейские языки «С того берега», «О развитии революционных идей в России», «Былого и дум» вызвало изумление и восхищение передовых людей того времени, которым открылся новый, почти неизвестный мир и огромный талант Герцена.

Виктор Гюго видел в широчайшем распространении изданий Вольной русской типографии прообраз исключительной роли «универсальной литературы будущего».

Гарибальди и Кошут, Маццини и Линтон, Саффи, Ворцель и другие выдающиеся представители европейской демократии были близкими друзьями Герцена, считали его представителем свободной России, глубоко уважали его дело, его талант.

«Собственно, по блеску таланта в Европе нет публициста, равного Герцену»,— сказал однажды Н. Г. Чернышевский.

Со дня рождения Герцена прошло 150 лет — срок кажется неправдоподобно большим, ибо Герцен молод и современен.

В публикуемой ниже статье профессор Юлиус Доланский рассказывает о том, какой огромный отклик имела деятельность Герцена на чешской земле.

Имя Герцена давно и прочно вошло в чешскую культурно-политическую жизнь. Его узнали у нас в середине прошлого столетия, когда с развитием капитализма в центральной Европе закончился процесс формирования небольших буржуазных наций, порабощенных габсбургской монархией, и, следовательно, было уже завершено и так называемое чешское национальное Возрождение. Правда, после поражения революционного движения 1848—1849 годов новая волна реакции захлестнула чешские земли. И на чешскую жизнь тогда «пала темная ночь», как писал в свое время Герцен о царской России. Но у нас тоже среди этой темной ночи засветилась «Полярная звезда» Герцена. И сразу же вслед за ней прозвучал его «Колокол», «призывая живое» («vivos voco») к более радостному будущему.

Это было время расцвета общественно-политической деятельности и художественного творчества Герцена. Чешской жизнью, так же как и судьбой других славянских народов, он интересовался с молодых лет. Многочисленные свидетельства тому можно найти в книге воспоминаний «Былое и думы».

Герцен более всего ценил в чешской истории революционные традиции гуситов и таборитов. В Яне Гусе он видел пример борца за правду, справедливость и права народа. Подобно Шевченко, воспевшему в середине сороковых годов чешского «еретика», Герцен в 1847 году в своих «Вариациях на старые темы» писал о Гусе, которого правящее общество покарало смертью потому, что он боролся за правду и справедливость. В статье «Старый мир и Россия» русский революционер отмечал, что чехи «первые вступили во вражду с папизмом, их борьба с тем вместе имела в себе характер глубоко социальный (табориты)». Напротив, «завоеванная и покоренная католицизмом Богемия сломилась». Герцен и позже с удовлетворением говорил о том, что «страна таборитов, родина Гуса и Иеронима Пражского, вряд имеет ли большую нежность к папе и его во Христе опричникам-иезуитам».

Русский революционный демократ, почитатель Гуса и таборитов знал, таким образом, о чехах раньше, чем чехи узнали о нем. Для большинства общественных деятелей, которые способствовали в тридцатые и сороковые годы завершению нашего национального возрождения, молодой русский публицист стоял на «том берегу», куда в те времена их собственные интересы еще не простирались. Но после тяжелого опыта поражения революции 1848—1849 годов обстановка на чешских землях стала быстро изменяться. Помимо либеральной буржуазии и в противовес ей, приобретала все большее значение прогрессивная интеллигенция, настроенная радикально, демократически. В лице своих лучших представителей она давно уже завязала связь с прогрессивным движением всей «молодой Европы». Даже в России она не обращалась, как прежде, к славянофилам, но выступала с острой критикой царизма и верила в победу русской революции.

■

Вполне естественно, что от внимания чешской радикальной интеллигенции не ускользнул и Герцен-Искандер, тогда уже известный во всем прогрессивном мире.

Отношению чехов к Герцену посвящено много исследований, созданных за последние годы на основе материалов, хранящихся в пражских архивах, особенно в архиве Национального музея, частной переписки, мемуаров и т. д.

Начиная со второй половины пятидесятых годов выдающимся русским революционером интересовались главным образом чешские радикальные демократы, видевшие в нем самого яркого представителя нового идейно-политического движения в России. Герцен, подобно Гарибальди, был в их глазах воплощением идеала революционера. Они ссылались на его авторитет не только в борьбе за чешскую национальную свободу. Редактор «Колокола» покорял их как провозвестник социализма и демократии. В течение всего бурного периода шестидесятых годов Герцен принадлежал к числу самых любимых учителей чешской прогрессивной общественности.

Поэтому не удивительно, что на его поддержку надеялся молодой революционер Йозеф Вацлав Фрич. Еще будучи студентом, Фрич участвовал в революционных событиях 1848—1849 годов в Праге, за что несколько лет сидел в венгерской тюрьме; потом он был временно освобожден, но в 1858 году пражская полиция вновь арестовала его и сослала в Венгрию. Сразу же после ареста Фрич принял твердое решение, «что бы с ним ни случилось, пробраться к Герцену в Лондон». Фрич надеялся, что в «Колоколе» он сможет подробно написать «понятным для всего славянского мира языком об отчаянном положении нашем». Он уже тогда решил «предложить Герцену свое сотрудничество» и организовать издание чешского печатного органа за границей.

Вскоре после этого Фричу удалось эмигрировать, и он немедленно направился в Лондон, где в мае 1859 года разыскал Герцена. Опытный русский революционер вел себя с молодым чешским бунтарем осторожно. Он обещал ему, как пишет Фрич, «поддерживать нашу пропаганду», хотя не верил, что чехи уже созрели для крупных политических действий международного значения. Герцен не захотел печатать и статьи Фрича против Австрии, зато сам после знакомства с Фричем поместил в «Колоколе» 1 июня 1859 года статью «Война», где, говоря об австро-итало-французской войне, страстно нападал на габсбургскую монархию, называя ее Бастилией народов и требовал ее уничтожения. Он писал: «Как Австрия специально образовывала, мы знаем по Богемии. Она употребила два столетия на систематическое забивание всего независимого и национального в этом народе; она совершала там злодейства, перед которыми бледнеют дела протестантской Англии в Ирландии, казни, конфискации, гонения продолжались поколения, под руководством иезуитов и бюрократов, в распоряжении которых состояла развратная, наемная, скотски-свирепая солдатеска, хранившая в памяти предания валленштейновских времен и тридцатилетнего разбоя. Вешали, секли, морили в тюрьме, жгли людей, жгли книги, грабили, выселяли и дошли до того, что аристократическая помесь и часть мещан сделались немцами, а народ остался чешским; и в первую минуту, как потерявшийся палач приподнял свою руку и дал жертве немного вздохнуть, в начале нашего века, явилась целая чешская литература».

Конечно, не случайно через несколько дней после знакомства с молодым чешским

революционером Фричем Герцен написал эти правдивые слова о страданиях чешского народа под австрийским игом. И не может быть сомнений в том, что этот номер «Колокола» нелегально проник в Прагу. Чешские радикальные демократы — и среди них в первую очередь Карел Сабина — знали о Герцене также из немецких прогрессивных журналов. Об этом свидетельствуют статьи Сабины в органе чешской радикальной демократии «Ясон» 1859 года. Как глубоко благодарна была чешская прогрессивная общественность Герцену за его неустрашимую борьбу против Австрии, видно из стремления популяризировать его имя у нас. Сообщения о нем были, например, опубликованы в следующем, 1860 году даже в музыкальном журнале «Далибор».

В том же 1860 году Фрич в эмиграции усиленно готовился к основанию свободного чешского журнала по образцу «Колокола». Фрич не переставал изучать Герцена. В августе того же года он получил от своего русского друга в Париже книгу Герцена «С того берега». В письме к Герцену он признавался, как важна ему для выпуска задуманного журнала помощь Герцена. Герцен, вероятно, исполнил его просьбу и «участвовал в осуществлении этого плана», разрешив Фричу воспользоваться для распространения задуманного чешского журнала тайной сетью сотрудников, которые доставляли «Колокол» в Россию.

В январе 1861 года в Женеве был издан первый номер известного журнала Фрича «Чех» — органа «свободного, открытого всем нашим стремлениям и скорбям». Французский подзаголовок напоминал, что это «La voix libre de Bohême» («Свободный голос Чехии»). На первой же странице в открывающей журнал статье Фрич называл Герцена своим учителем и печатал выдержку из его предисловия к письмам «С того берега». Фрич восклицал вместе с Герценом: «Хочу все отдать за достоинство человека и за свободу слова».

На долю журнала Фрича «Чех» выпала, таким образом, почетная историческая заслуга опубликовать еще в начале 1861 года в чешском переводе небольшой отрывок из произведений Герцена. Однако еще важнее то, что духом Герцена были проникнуты все двенадцать номеров журнала «Чех». К сожалению, из-за недостатка финансовых средств журнал издавался только до 1862 года. Но и в течение этого сравнительно короткого промежутка времени Фрич много сделал для укрепления популярности Герцена среди передовой чешской общественности.

Фрич восхищался Герценом как деятелем, стремящимся к благу всех славянских народов. На всем протяжении шестидесятых годов Фрич выступал в защиту угнетенных поляков. Радикально-демократический «Глас», вслед за Герценом, призывал к преобразованию Российской империи в свободную Россию, где все народы получат независимость: «Свободная Россия — это то же, что свободная Европа, свободная Европа — то же, что свободный мир. Под сенью русской свободы тогда вырастут мощные деревья свободы тех славянских и европейских народов, которые страдают и стонут под ярмом угнетателей». Столь же велико было влияние Герцена на чешское прогрессивное общественное мнение и во время польского восстания в январе 1863 года; урок Польши содействовал формированию политических взглядов чешской общественности.

Вполне естественно, что чешская общественность интересовалась непосредственно личностью Герцена, его жизнью и творчеством. В 1862 году, когда великому русскому революционеру исполнилось пятьдесят лет, в Чехии появились о нем три интересные статьи. Выдающийся чешский поэт Ян Неруда напечатал в своем журнале «Образи живота» («Картины жизни») содержательную статью о Герцене, автором которой был молодой Эмануэл Вавра. Подробная статья под названием «Александр Герцен» появилась в популярном календаре Кобера «Посел з Праги на рок 1863». И хотя она не была подписана, можно с уверенностью сказать, что ее автором был Карел Сабина, один из самых прогрессивных писателей того времени. Герцен оценивался в статье как передовой деятель не только русского, но и европейского революционного движения. При этом автор подчеркивал мировое значение русской революционной мысли.

В начале шестидесятых годов Герцен был особенно популярен в Чехии. Как сообщалось в журнале «Лада», в пражских магазинах можно было купить его портреты. Передовая чешская молодежь читала его произведения. Известный чешский писатель Антал Сташек, отец Ивана Ольбрахта *, вспоминал впоследствии, как в шестидесятые годы, еще будучи студентом, он «знал многие статьи славного публициста Герцена», и радовался, что уже тогда ему удалось получить от побывавших в Праге русских революционеров-эмигрантов некоторые его книги.

С другой стороны, у Герцена также не угасал интерес к Чехии и чешской проблематике. Он познакомился с несколькими выдающимися деятелями культуры Чехии. Среди них — известный чешский художник Ярослав Чермак, этнограф Войта Напрстек, музыканты Л. Янса и Франт, Прокеш и другие.

Почти до конца жизни Герцен откликался на общественные события в чешских землях. Он поддерживал своим авторитетом самые передовые слои чешского общества и в период, когда у нас еще не было организованного рабочего движения, помогал им в их борьбе против либеральной буржуазии. Фрич, начавший с 1868 года издавать

* Иван Ольбрахт (1882—1952) — выдающийся чехословацкий писатель, один из основоположников социалистического реализма в Чехословакии.

ЮЛИУС ДОЛАНСКИЙ

ЧЕХИ СЛЫШАЛИ «КОЛОКОЛ»

в эмиграции в Берлине свой новый журнал «Бланик», снова выступил в нем как сторонник Герцена. Герцен помогал чешской культуре и политике наладить более широкие связи со всем революционным движением в Европе. Он учил чешских русофилов критически относиться к царской России. Он готовил почву для сотрудничества чешского пролетариата с русским революционным движением.

■

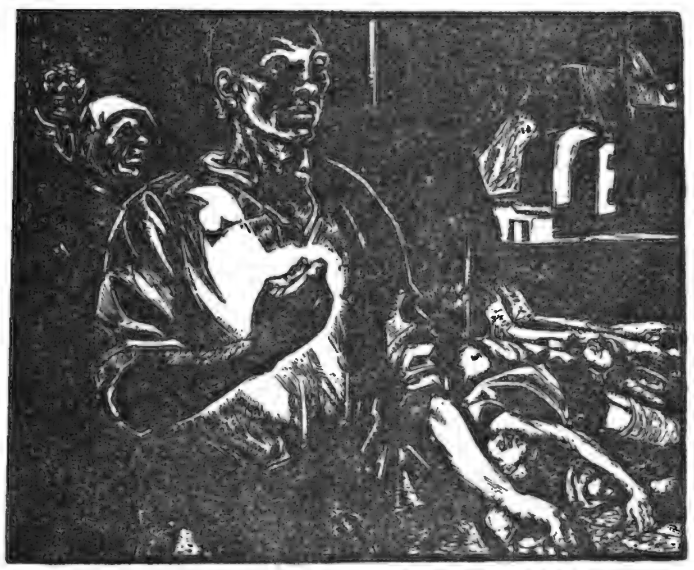
После смерти А. И. Герцена вокруг его наследия возникла у нас полемика, свидетельствующая о том, что творчество гениального русского революционера продолжало быть актуальным для культурно-политической жизни Чехии. После Великой Октябрьской социалистической революции, в период между двумя мировыми войнами Герцен, как и прежде, способствовал дифференциации реакционной и прогрессивной культур в Чехии.

Правдивый образ Герцена создал Зденек Неедлы в книге о Ленине, написанной с позиций марксизма-ленинизма. Он видел в Герцене героя русской революции, одного из самых оригинальных в мире журналистов и непримиримого социалиста, произведения которого продолжают пламенеть тем же огнем, каким горел сам Герцен.

После памятного мая 1945 года, когда чехословацкий народ в результате славной победы Советской Армии над фашизмом добился свободы, Герцен снова прочно занял подобающее ему место в чешской культуре. Его произведения издаются в новых переводах и изучаются в многочисленных специальных научно-исследовательских трудах. Особенно радует интерес к Герцену молодых исследователей, историков и литературоведов: Карел Косик, Ружена Гребенчикова, Й. Зумр, Карел Цвейн, Йоз Карола, Теодор Силлаба, Ант. Даня, Ружена Николаева и другие провели большую работу, чтобы всесторонне исследовать значение Герцена для чешской культуры.

В дни славного герценовского юбилея в Национальном музее в Праге открывается большая выставка, где собраны важнейшие документы, относящиеся не только к Герцену, но и ко всем передовым представителям русской революционной демократии, влиявшим на чешскую культурно-политическую жизнь. Этим мы воздаем должное памяти тех, кто своим творчеством помог нам прийти к радостной современности, к верной дружбе с Советской Россией.

г. ПРАГА.



ВИНСЕНТ ХЛОЖНИК
(Чехословакия)
«Проклятие и клятва»
(Из цикла «Война»)

БЕРНАРД ШОУ

СТОПРОЦЕНТНАЯ АМЕРИКА

Речь, произнесенная 11 апреля 1933 года перед Академией политических наук в зале «Метрополитен опера» в Нью-Йорке.

Эта блестящая и столь необычная речь была произнесена 77-летним Бернардом Шоу во время его поездки за океан. Она обращена к американцам и касается главным образом проблем американской действительности. Но в ней подняты и вопросы, важные для всего мира.

Энгельс назвал молодого Шоу «парадоксальным беллетристом». И эта речь поражает каскадом парадоксов, противопоставляемых буржуазному «здравому смыслу» и фальши громких фраз. Но в парадоксальной форме выражены в ней глубокие и современные мысли, и потому-то, произнесенная почти 30 лет назад, она и поныне не утратила своей свежести.

Вы, американцы, гордитесь своей конституцией, считаете ее гарантией законности и порядка. Но разве эта конституция — не хартия анархизма? — спрашивает Шоу. Иначе говоря, разве буржуазный закон не прикрывает беззаконие и беспорядок? Ведь стоило родиться буржуазному обществу, и «вы оказались безнадежно во власти своих собственных «рэкетиров» от скромного бандита до крупного финансового магната, которые действуют на свой страх и риск и для которых не существует ни юридических ограничений, ни таких понятий, как ответственность перед страной или уважение к согражданам и к правительственным учреждениям».

Апологеты пресловутого американского образа жизни прославляют Америку как «страну свободы». Но разве не иллюзорна эта свобода, если ее на каждом шагу сводит на нет фактическое диктаторство «сильных мира сего» и их приказчиков, как бы они ни назывались? «В своем страхе перед диктаторами,— говорит Шоу,— вы установили такой общественный строй, при котором каждый политический босс квартала — диктатор, каждый финансист — диктатор, каждый частный работодатель — диктатор; от их милости зависит существование трудящихся, и они не несут никакой ответственности перед обществом». А с каким сарказмом говорит Шоу об американской двухпартийной системе, якобы представляющей гарантию против «тоталитаризма», а на деле лишь набрасывающей демократический флер на всевластие капитала! Как осмеивает он «потрясающее красноречие» американских политиканов, которые не скупятся на широковещательные декларации, посулы и заклинания, но в действительности «производят лишь сотрясение воздуха»! Как он клеймит «постыдные и отвратительные представления, «позорище», «псевдодемократический спектакль», каким являются американские предвыборные кампании, да и сами выборы!

Речь Шоу была произнесена в 1933 году, в разгар экономического кризиса, с невиданной силой обнажившего врожденные пороки и глубо-

чайшие противоречия буржуазного общества. И в этой речи автор «Неприятных пьес» не только показывает банкротство капитализма, но и поднимается до понимания его исторической обреченности. Когда миллионы людей лишены работы, а следовательно, и средств к существованию, «то это значит,— говорит Шоу,— что капиталистическая система разваливается и вам необходимо как можно скорее подыскать взамен нее другую, лучшую».

Речь Шоу исполнена критического пафоса. Но писатель воздает должное «общественному инстинкту» американцев и обращается к их здравому смыслу. Он верил, что реальная оценка мировой ситуации поможет им найти новые пути в политике.

В высшей степени современно предупреждение Шоу: антикоммунизм — нелепое и безнадежное дело. Он не устает повторять: американцам нечего враждовать с Советской Россией. Более того, направляя оружие парадокса против общих мест реакционной пропаганды, которая тогда — как и теперь — изображала коммунизм «угрозой для Запада» и выступала за «спасение России от коммунизма», Шоу заявляет, что именно в общественном строе Советской России — гарантия ее мирной политики: «К счастью, провидение, которое неплохо относится к Америке, сделало Россию коммунистическим государством, и до тех пор, пока в ней сохранится этот строй, вам нечего ее бояться».

Конечно, в речи Бернарда Шоу есть и утверждения, с которыми нельзя согласиться. Так, например, он явно неправ, когда говорит о предреволюционной России, как о стране, все население которой составляло забитое, темное крестьянство. Это прежде всего несправедливо по отношению к русскому крестьянству, которое на Западе по старинке считали «нетронутым цивилизацией» и «политически девственным», но которое в ходе трех революций в значительной мере преодолело вековую отсталость и доказало свои творческие возможности. Это неверно и потому, что помимо крестьян в России, разумеется, был промышленный пролетариат — иначе была бы невозможна Октябрьская революция,— уже не говоря о русской интеллигенции, лучшая часть которой отдала свои силы и знания строительству новой жизни.

В другом месте Шоу говорит, что американцы... «спасли Россию», так как без помощи американских специалистов будто бы невозможно было построить современную промышленность в разоренной и голодающей стране.

Нет надобности доказывать, что и здесь Шоу грешит против исторической правды: индустриализация нашей страны осуществлялась, конечно, не руками американских инженеров, хотя они действительно оказали нам определенную помощь, кстати сказать, отнюдь не бескорыстную. К тому же эту помощь едва ли не перевешивало прямое и косвенное участие американского империализма в интервенции и в экономической блокаде Советской России. Сам же Шоу говорит в этой речи: «Русские вытянули страну, потому что дружно тянули все вместе».

Но суть речи — не в тех или иных парадоксально заостренных формулировках. Шоу обратился к американцам с призывом: «Если вы не можете оценить преимущества, которые дал бы вам коммунизм в Америке, научитесь, по крайней мере, ценить ту пользу, которую приносит Америке существование других коммунистических стран». Одним из первых на Западе он выступил в поддержку мирных отношений между капиталистическими государствами и страною социализма. Это придает особую актуальность его выступлению в дни, когда только мирное сосуществование может избавить человечество от угрозы атомной войны.

Ниже мы печатаем с сокращениями речь Бернарда Шоу в Академии политических наук США.

Господин председатель, господа!

Оказавшись в зале оперного театра перед такой блестящей и благодарной аудиторией, я испытываю непреодолимый соблазн запеть. Боюсь, однако, что мой злосчастный возраст исключает выступления такого рода.

Я недаром упоминаю о своем возрасте — это имеет прямое отношение к тому, о чем я собираюсь сегодня говорить. Я, разумеется, прекрасно знаю, что старики обычно пытаются выдать свое умственное расстройство и все остальные старческие недостатки за ценные качества, обладание которыми придает им особый вес. Не верьте им, господа! Возраст придает нам вес только в одном отношении. Мое единственное преимущество перед большинством присутствующих заключается в том, что я видел собственными глазами жизнь трех поколений рода человеческого.

Я помню, например, что представлял собой американец в 1861 году. Я тогда уже умел читать и ежедневно видел в газетах заголовки: «ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В АМЕРИКЕ».

Американец того времени был, слава богу, совершенно не похож на нынешнего американца. Я полагаю, что все вы, молодые люди, бываете слегка озадачены, встречая время от времени на ваших политических карикатурах изображение некоего странного существа. Я имею в виду дядюшку Джонатана. Вот уже несколько дней, как я нахожусь в Соединенных Штатах, но еще не встретил ни одного человека, хотя бы отдаленно напоминающего дядюшку Джонатана.

Дядюшка Джонатан умер. Его больше нет. Но во времена моего детства он действительно существовал. Тогда американцы еще вовсе и не были американцами. Это были эмигранты, провинциалы, люди, которые привезли с собой в Америку обычаи и традиции своей страны — все обычаи, плохие и хорошие. Они начинали свою жизнь за океаном как новая, с иголочки, нация в старом поношенном платье, и болезненное чувство неуверенности в себе делало их до смешного чувствительными к любому замечанию иностранца по их адресу.

Вот этот-то провинциальный британский изгнанник, человек, в котором не было ничего типично американского, за исключением прозвища янки, этот сельский житель, имеющий примерно такое же образование, какое дается негритянским детям в миссионерских школах, и соответственно примитивный культурный уровень,— это и был американец прошлого, американец, которого можно было встретить 75 лет назад.

В течение долгого времени он пытался во всем подражать Европе, что, кстати сказать, получалось у него очень плохо, хотя обычно обходилось крайне дорого. Но в конце концов появился новый тип американца, удивительно не похожий ни на дядюшку Джонатана, ни вообще на кого бы то ни было. Прежде всего он был малый куда более плотный, чем его предшественник, а в остальном его не так-то просто описать.

Это была грандиозная личность, личность поистине величественная и подавляюще внушительная. При встрече с ним вы чувствовали — вот человек, в котором что-то есть. Но извлечь из него это «что-то» было совершенно невозможно. Он был непревзойденный говорун, мастер на великолепные обороты и блестящие периоды, он громогласно ораторствовал на митингах и с видом первосвященника, наставляющего на истинный путь свою паству, произносил пространные речи за банкетным столом. Но он еще никогда ничего не сказал. Это было красноречие в чистом виде, риторика ради риторики, своего рода искусство для искусства. Вы поощряли его восторженными криками и ждали, что вот сейчас наконец что-то произойдет. Ничего не происходило.

Это был цельнодутый человек, если вы разрешите воспользоваться выдуманным словом. Он был монументален, но в то же время до такой степени лишен каких-либо новых или отличительных черт, что нас, европейцев, всякий раз поражали его внешняя импозантность и его полное ничтожество.

Мы спрашивали себя: в чем же секрет этого потрясающего человека, который так великолепно говорит и которому нечего сказать, человека, у которого напряженная работа мысли дает такие же результаты, как если бы он обходился без всякой работы мысли, ибо он никогда не приходит к выводам, имеющим хоть какое-нибудь значение. Он всегда находится в состоянии крикливого возбуждения по поводу самых обыденных вещей. Он громко цитирует поэтов для подтверждения какой-либо чепухи.

Я испытываю искушение назвать вам одного известного американца, теперь уже покойного, который отвечает моему описанию. Но это, пожалуй, излишне, потому что все вы — во всяком случае те, кто постарше,— можете подыскать какое-нибудь известное вам имя. Вы скажете: «Ну, конечно, он имеет в виду такого-то» — сенатора такого-то, или конгрессмена такого-то, или какой-нибудь монумент, еще никуда не избранный.

Так вот, основной недостаток такого человека заключался в том, что он не обладал координатами мышления. У него не было американской теории американского общества. Пользуясь выражением моего друга профессора математики Арчибальда Гендерсона, у него не было эталона. У него не было какого-либо научного постулата. Все его построения висели в воздухе, и потому он, естественно, производил лишь сотрясение воздуха, правда, могучее сотрясение.

Таким был — и таков поныне — этот человеческий феномен, отпрыск старого дядюшки Джонатана, поразивший мир Стопроцентный Американец. Он был единственным в своем роде. Я много путешествовал, но никогда ни в какой другой стране не встречал ничего подобного.

Он предстал перед Европой как догматический политик и именно как догматический политик потерпел полный крах. Дело в том, что у него не было политической конституции, отвечающей его догмам.

Однако, услышав это, он упал бы в обморок, если бы только монументы могли падать в обморок. Он заявил бы: «Как! У нас нет политической конституции? В Америке нет конституции? Вы с ума сошли! Как раз Америка и обладает конституцией par excellence! Америка все время говорит о своей конституции».

На что англичанин, если бы он был человеком бестактным, ответил бы: «Америка все время говорит о своей конституции, но так как она все время вносит в нее поправки, то похоже, что эта конституция не так совершенна, как вы, по-видимому, предполагаете».

Если вы внимательно изучите американскую конституцию, то обнаружите, что это вовсе не конституция, а хартия анархизма. Это не орудие управления, а гарантия, данная всей американской нации, что ею вообще не будут управлять. И это как раз то, к чему стремятся американцы.

Обыкновенный человек — надо признаться, что это так же относится к среднему англичанину, как и к среднему американцу,— по сути своей анархист. Он хочет делать то, что ему нравится. Он не прочь, чтобы управляли его соседом, но не хочет, чтобы управляли им самим. Он смертельно боится государственных чиновников и полицейских. Он питает отвращение к сборщикам налогов. Он избегает давать кому бы то ни было какие-либо официальные полномочия. Этот анархизм действует на земле со времен зарождения цивилизации, и его высочайшим достижением и является американская конституция.

Это фундаментальный документ, в котором все положения изложены ясно и четко, черным по белому. У нас в Англии есть британская конституция, но никто не знает, что это такое: она нигде не записана, и поправки в нее можно вносить с таким же успехом, как в направление восточного ветра. Но в Соединенных Штатах перед вами настоящий, осязаемый, удобочитаемый документ! Каждое его предложение прочно сколочено.

К чему сводится этот документ? Это решительный протест против тирании законности и порядка. Это заключительный манифест, порожденный столетиями революционного анархизма, столетиями борьбы против власти как таковой, против власти феодальных баронов, самодержцев-королей, римского папы и его кардиналов, против парламентов, постепенно вытеснивших все эти власти, каждая из которых в свое время использовалась для разрушения предыдущих во имя того, что называлось свободой. И вот наконец, когда власть королей была уничтожена, власть баронов уничтожена, власть церкви уничтожена, а фактически и власть парламентов уничтожена, вы оказались целиком во власти своих собственных «рэкетиров» — от скромного бандита до крупного финансового магната,— которые действуют за свой страх и риск и для которых не существует ни юридических ограничений, ни таких понятий, как ответственность перед страной или уважение к согражданам и к правительственным учреждениям.

Вы создали конституцию, являющуюся не чем иным, как сводом запретов, призванных защитить вашу жизнь, благополучие и свободу — свободу, свободу и еще раз свободу — от посягательства всех тех государственных установлений, которые на самом деле служат истинной гарантией вашей свободы, так как только они могут предотвратить анархию. А для подкрепления вашей конституции вы учредили Верховный суд, издающий опять-таки запреты, и систему политических партий, которая так замечательно устроена, что, поручая одной группе лиц управлять страной, вы одновременно поручаете другой группе всячески препятствовать первой. В своем страхе перед диктаторами вы установили такой общественный строй, при котором каждый политический босс квартала — диктатор, каждый финансист — диктатор, каждый частный работодатель — диктатор; от их милости зависит существование трудящихся, и они не несут никакой ответственности перед обществом.

А в качестве символа такого устройства, такого краха государственной власти вы водрузили в порту Нью-Йорка чудовищного идола, которого назвали «Свободой». Для завершения этого монумента осталось только высечь на его цоколе слова, начертанные на вратах дантевского ада: «Оставь надежду, всяк сюда входящий».

Однако я не в праве вас упрекать: ведь вы можете мне напомнить, что ваш анархизм — парламент, двухпартийная система, вторая палата и прочее — заимствован из Англии и что как нация мы тоже не способны ни на что иное, кроме разговоров, бесконечных разговоров.

Я хочу упрекнуть вас лишь в одном — чисто американском способе пропаганды анархизма, который приводит к самым серьезным последствиям во всем мире.

Раньше вы не имели возможности серьезно влиять на общественную мораль и общественное сознание по ту сторону океана. Но теперь у вас появилось орудие, называемое кинематографом, и центр кинематографии, называемый Голливудом, бла-

годаря которым общественная нравственность и нравственность отдельных лиц повсюду подпали под ваше влияние.

Вчера я получил письмо от одного известного американца, имени которого я не хочу называть. Он пишет: «Не судите о Соединенных Штатах по их двум источникам заразы — Голливуду и Нью-Йорку».

,Я не был удивлен. Голливуд — самое безнравственное место на земле. Однако вы не отдаете себе в этом отчета, потому что при слове «безнравственный» каждый американец начинает думать о дамском белье. Поймите меня правильно, я вовсе не имею в виду такую необходимую вещь, как «сексапил», использование которого в театре и в кино крайне желательно, при условии, если это хорошо сделано и если «сексапил» подается в воспитательном аспекте, что вполне возможно.

Нет, доктрина, посредством которой Голливуд развращает мир,— это доктрина анархизма. Голливуд демонстрирует своим юным зрителям бесконечную вереницу увенчанных славой молодых героев, каждый из которых убежденный и ярый анархист. Его единственный ответ на все, что ему не по нраву или что как-нибудь затрагивает его страну, его родителей, его девушку или его личный кодекс мужской чести,— это «заехать в зубы» обидчику.

Почему вы не преследуете свои кинокорпорации за подстрекательство молодежи к нарушению порядка? Почему вы аплодируете этим героям экрана, которые либо целуются с героиней, либо раздают зуботычины? Это же уголовное преступление — дать гражданину в зубы. Когда же мы увидим сделанный в Голливуде фильм, в котором герой ведет себя, как цивилизованный человек, и, вместо того чтобы давать кому-то в зубы, зовет полицейского?

Я замечаю, что вы холодно принимаете эту мысль. Вероятно, вы думаете, что полицейский нагонит на вас тоску. Но даже в самом худшем случае, уважаемые дамы и господа, он не сможет нагнать на вас такую тоску, какую нагоняют на меня и на каждого цивилизованного человека эти вечные зуботычины. Попытайтесь избавиться от них. А главное, попытайтесь избавиться от того невежественного анархизма, который лежит в их основе, избавиться от представления о нравственном законе, как о чем-то, что каждый человек может взять в свои руки, выступая одновременно в качестве судьи, присяжного и истца и приводя приговор в исполнение при помощи собственного кулака.

К тому же, мои наблюдения заставляют меня думать, что в подобных случаях побеждают не самые добродетельные: ведь они, как известно, не сильны в раздаче зуботычин, а провидение, которое всегда на стороне сильного, склонно отдавать предпочтение тому, кто лучше дерется.

Но вернемся к американской конституции. Многие уже начинают понимать, что она собой представляет. Стопроцентного американца постепенно сменяет американец, стоящий на более высокой ступени развития. Он худее и мускулистее стопроцентного. У него та же внушительная внешность, тот же дар слова, та же жизненная хватка, то же чувство собственного достоинства, та же энергия. Но чувство собственного достоинства не переходит у него в напыщенность, а его энергия расходуется на дела, а не на поэтические цитаты и старомодное красноречие.

Я надеюсь, что господин Франклин Рузвельт может служить образцом этого нового типа американца, и я полагаю, что мой друг, господин Уильям Рандольф Херст, предвосхитил этот тип много лет назад. Как бы то ни было, я упоминаю этих двух джентльменов не только для пояснения своей мысли, но и потому, что они оба решительно настроены против конституции, а это — свидетельство больших перемен. В настоящее время президент Рузвельт призывает вас избавиться от вашей проклятой конституции и предоставить ему право управлять страной. Он надеется, что сумеет ею управлять. Но он знает, что неизбежно потерпит неудачу, если конгресс будет по-прежнему мешать ему.

Вы уже имели возможность убедиться в том, что такое конституционный президент. Вы уже неоднократно имели эту возможность. У вас был господин Гувер. Господин Гувер, ведавший во время войны вопросами снабжения, зарекомендовал себя способным и практичным человеком. На этом основании вы его и избрали. Вам нужен был практичный человек. Вы были настроены весьма практично.

Оказалось, что как президент он никуда не годится. Он сразу же перестал быть практичным человеком. Конгресс не давал ему возможности быть практичным человеком. Конституция не была практичной. Все вылилось в разговоры, бесконечные разговоры. Тогда же, во время его правления, у вас наступил серьезный экономический кризис. Ваша политическая, социальная и экономическая система регистрировала подземные толчки, предвещавшие сильнейшее землетрясение, а когда конституция не дала возможности господину Гуверу вас спасти, вы отомстили ему, выгнав его вон. Полагаю, я не должен говорить, что вы дали ему пинка, но, во всяком случае, вы жестоко провалили его на выборах. И тогда вы обратились к господину Рузвельту. Почему? Потому что, когда практичное настроение, в котором вы находились, избирая господина Гувера, принесло вам разочарование, вы впали в сентиментальность. Как раз в это время по счастливой случайности господин Рузвельт сфотографировался с младенцем на руках.

Младенец имел громадный успех; господин Рузвельт проследовал в Белый дом в его объятиях. Я не знаю, там ли младенец сейчас, но я знаю, что вы возлагаете большие надежды на господина Франклина Рузвельта. Так вот, вы ничего от него не дождетесь, если он будет вынужден действовать, согласно конституции, через посредство обычной процедуры дебатов в конгрессе. Четырехлетний срок его правления неизбежно закончится таким же разочарованием, как и правление господина Гувера.

Тем временем господин Гувер вернулся к практической деловой жизни, где принято доводить до конца каждое начинание, и снова оказался практичным, преуспевающим человеком.

Я выступаю здесь сегодня по просьбе Академии политических наук (кстати сказать, она не несет никакой ответственности за то, что я говорю). Какова первая и самая неотложная задача этой организации? Покончить с американской конституцией. Избавиться от нее любой ценой.

По-моему, это не так уж сложно — ведь ваша конституция в течение долгого времени шаг за шагом, путем бесконечных поправок избавлялась от себя самой. Но она не может быть полностью отброшена до тех пор, пока Академия не совершит значительно более трудного дела — не создаст новой конституции. Именно для этого и нужна Академия. Иной цели у нее нет. И мне бы очень хотелось, чтобы вы рассказали всем своим друзьям, что такая вещь, как политическая наука, действительно существует, потому что большинство из них этого не знает. Они знают, что существует предвыборная кампания, и, возможно, время от времени принимают участие в одном из тех постыдных и отвратительных представлений, именуемых предвыборными митингами, на которых нормальные и трезвые люди так громко и бессмысленно орут, что, глядя на них, любой беспристрастный наблюдатель решит, что он попал в палату буйных помешанных.

Я полагаю, все вы хотите, чтобы такое позорище стало невозможным ни в вашей, ни в какой бы то ни было другой стране. Я говорю об этом на основании собственного опыта и с сознанием собственной вины. Я сам стоял на трибунах предвыборных собраний, я произносил речи, после которых публика вскакивала с мест и принималась восторженно распевать «А ведь он замечательный парень!».

После моей сегодняшней речи вы не станете этого делать, потому что вы, американцы, не знаете мотива песни. Можете не сожалеть об этом — в большинстве случаев мои кандидаты проваливались.

Но независимо от того, проваливались они или нет, я никогда не мог выступать или присутствовать на предвыборных собраниях без чувства стыда за весь этот псевдодемократический спектакль. Чем старше я становлюсь, тем больше убеждаюсь, что подобные представления совершенно недопустимы в серьезном деле управления страной и оскорбительны для человеческого достоинства и общественных приличий.

Я прислушиваюсь к многозначительной тишине, свидетельствующей о том, что, хотя вы готовы со мной согласиться, вы все же не вполне уверены в моей правоте. (Аплодисменты). Ну вот, наконец-то!

Если эти аплодисменты выражают ваши истинные чувства, то, может быть, для Академии политических наук не все потеряно. Но должен вас предупредить, что еще весьма сомнительно, можно ли считать человека действительно политическим животным, способным создать хорошую, разумную, основательную, эффективную политическую конституцию. Надо признаться, что это открытый вопрос. Все говорит скорее об обратном.

За время моей жизни наши исторические познания значительно расширились. Раньше нас учили, что история древнего мира — это история Римской империи, поглотившей греческие города-государства, а все остальное оставалось окутанным туманом, сквозь который вырисовывались лишь египетские пирамиды, равнодушно взиравшие на завоевания римлян, Иерусалим и толпища вавилонских идолопоклонников. И мы были убеждены, что современная цивилизация представляет собой громадный шаг вперед по сравнению с теми варварскими временами и что все люди белой расы неуклонно совершенствовались, освобождаясь от суеверий и предрассудков и становясь все более цивилизованными, все более просвещенными, пока наконец не была достигнута вершина, которую представляем мы сами.

Теперь, когда мы приобрели более глубокие познания в области истории и наше прежнее представление о прошлом оказалось ошибочным, мы начинаем уже сомневаться в том, действительно ли мы являемся столь примечательным и беспримерным образцом политической просвещенности.

Мы знаем теперь, в значительной мере благодаря исследованиям профессора Флиндерса Петри, что существовало пять или шесть точно таких же, как наша, древних цивилизаций, которые развивались теми же путями и достигли тех же вершин в области искусства, капиталистического накопления, демократии и феминизма,— и все они погибли. На определенном этапе развития они неизбежно разваливались, потому что у них не было внутренней устойчивости.

Когда население этих государств разрасталось и скапливалось в больших городах, где оно было по-прежнему разделено классовым и имущественным неравенством, противоречия, вызываемые этим неравенством, в конце концов взрывали государ-

ство изнутри, а на обломках погибшей цивилизации вновь возникало первобытное общество.

Все это существенно меняет наше умонастроение по сравнению с образом мыслей наших отцов и дедов, так как мы не можем не считаться с тем фактом, что мы тоже подошли к краю пропасти, в которую рухнули, разбившись вдребезги, все цивилизации прошлого.

Ситуация не оставляет сомнений: налицо те же симптомы, те же трудности, а возможности мгновенного уничтожения значительно возросли. Сумеем ли мы перебросить мост через пропасть или беспомощно свалимся в нее? Сумеем ли мы, если мне разрешат употребить еще одно сравнение, провести свой корабль мимо рифа, о который в древние времена разбивались все кормчие?

Я не знаю, уважаемые дамы и господа, сумеем ли мы это сделать, но, как я уже не раз говорил, я считаю, что это не имеет решающего значения, потому что если мы и потерпим неудачу, то на земле появятся новые люди, которые продолжат дело, оказавшееся нам не под силу. В отличие от фундаменталистов, я не верю, что четыре тысячи лет назад после недели тяжких трудов прекратилось всякое созидание. Процесс созидания непрерывен.

Я уверен, что если человечество снова — по имеющимся у нас историческим данным, уже в пятый или шестой раз — докажет свою полную политическую несостоятельность, то та же сила, которая создала нас, создаст новую расу людей, способных обойти все рифы и привести Америку к политическому процветанию.

Однако мы не должны, да и не можем исходить из того, что все наши усилия обречены на неудачу. Отдавая себе отчет в собственных слабостях и недостатках, мы все же обязаны попытаться обогнуть рифы, встретившиеся на нашем пути. Академия политических наук создана именно для того, чтобы определить, как это сделать. Почему же мы до сих пор не справились с этой задачей? В чем наша ошибка? И если мы сумеем найти эту ошибку, хватит ли у нас силы воли, чтобы исправить ее?

Все эти вопросы возвращают меня к стопроцентному американцу. В известном смысле он мой любимец. Он всегда мне нравился, у него есть весьма многообещающие черты характера. Так, например, он безгранично гостеприимен. Прежде я относил за счет своих личных качеств те удивительные проявления добросердечного гостеприимства, которыми меня осыпали американцы. Но, убедившись, насколько широки масштабы этого гостеприимства, я понял, что оно определяется не достоинствами гостя, а скорее характером хозяина. В Америке гостеприимны даже женщины. Можно подумать, что американка только и стремится к тому, чтобы принимать у себя в доме как можно больше гостей, даже если ей приходится самой на всех готовить. Когда я поближе познакомился с американским гостеприимством, я сказал себе: «Это не признание моих особых заслуг. Но это и не просто мания. За этим кроется нечто большее. По-видимому, в основе такого радушия лежат высокоразвитые общественные инстинкты, не находящие иного применения».

Другим отличительным свойством американцев является их страсть к публичным мероприятиям. У американца нет стремления отгородить свою жизнь от посторонних. Он даже не знает, что это такое. Подобные представления попросту отсутствуют в его стране. У англичан, напротив, это чувство развито очень сильно. Англичанин нередко терпит неудачу там, где американец преуспел бы, потому что, открыв магазин, гостиницу или какое-либо другое коммерческое заведение, англичанин, вместо того чтобы радоваться каждому клиенту, невольно встречает его как незваного гостя, который явился к хозяину, не будучи даже официально представлен ему.

Американец настроен совсем иначе. В нем сильны социальные инстинкты, чувство общности с другими людьми. Это проявляется не только в его гостеприимстве, но и в любви к публичным лекциям и собраниям, после которых он всегда готов вступить в беседу и обменяться рукопожатием с любым незнакомцем.

Вот вы, дамы и господа, только что пожертвовали некоторой суммой, довольно значительной в условиях сегодняшнего кризиса. Для чего? Чтобы послушать мое выступление. Вы не знали, о чем я буду говорить. Вы догадывались, что я не стану расточать вам традиционных комплиментов. Но вы любите речи, потому что в них есть что-то общественное. В них есть залог общественных действий. Наблюдая в течение своей долгой жизни это ваше пристрастие к публичным выступлениям, я пришел к выводу, что в соединении с умом и знаниями оно может превратиться в могучую политическую силу.

Если бы только Америка обрела положительную конституцию, если бы она нашла верные координаты мышления, если бы она могла выработать (я снова пользуюсь математическим термином) соответствующий эталон, возможно, Америка еще сумела бы спасти человечество, решив серьезные политические проблемы, оказывавшиеся до сих пор камнем преткновения, о который разбивались все попытки добиться непрерывного развития цивилизации. Я не теряю надежды на это, потому что, как я уже говорил, американцы обладают несокрушимым социальным инстинктом, этим удивительным ферментом, который нигде больше не вызывает такого сильного брожения. Поможет ли это вам? Справитесь ли вы с такой задачей? Или у вас кишка тонка, как я сказал бы, если бы меня не предупредили, что в Америке я должен выражаться деликатнее?

Если вы обратитесь к американской истории — только не к учебникам, так как почти все учебники американской истории до последнего времени были не чем иным, как мусорными ящиками, в которые сваливались отбросы пошлой и лживой журналистики, а к настоящей истории Америки,— вам станет стыдно, потому что она так же позорна, как история всего человечества. Однако отдельные ее эпизоды все же внушают надежду. Интересно, знаком ли кто-нибудь из вас с историей мормонов — святых последних дней? Это одна из удивительнейших страниц в истории белой расы. Вам следовало бы заинтересоваться этим.

Если бы в Англии произошло нечто подобное, и по тем причинам, исходя из которых действовали в данном случае американцы, я был бы крайне удивлен.

Когда-то мормонов было так мало, что им грозила серьезная опасность погибнуть от руки благочестивых соседей, так как взгляды мормонов не пользовались популярностью. Но мормоны и сами были очень благочестивы. Они были воспитаны в духе строжайших традиционных понятий об отношениях между полами и о святости брака — под браком, конечно, подразумевался моногамный союз, принятый на христианском западе.

И вот вождь этих благочестивых людей пришел к ним и сказал: «Я хочу, чтобы вы приняли многобрачие. Я хочу, чтобы каждый из мужчин взял себе столько жен, сколько он сможет содержать».

Подумайте, как ужасно было это требование для таких людей! Я никогда не читал ничего более трогательного, чем воспоминания Брайама Йанга, в которых он рассказывает, как после этого страшного приказа он возвращался домой и, встретив похоронную процессию, позавидовал покойнику, хотя и понимал, что это смертный грех. И вот, несмотря на все это, Брайам Йанг подчинился приказу. Он имел, по нашим понятиям, очень много жен — тридцать с чем-то — и вошел в историю как американский Моисей, который провел свой народ через пустынный край в необетованную землю, где он заложил огромный город. В этом городе полигамия была основным законом.

Было бы неверно и в высшей степени легкомысленно думать, что многоженство мормонов в какой бы то ни было мере выражало распущенность нравов. Если бы Джозеф Смит предложил святым последних дней безнравственный образ жизни, они, вероятно, набросились бы на него и опередили своих правоверных соседей, которые вскоре его застрелили. Я хочу подчеркнуть, что обоснование, которое Смит привел, убеждая своих единоверцев, носило чисто политический характер. Он сказал: «Если мы не приумножим род свой, мы погибнем. А сделать это достаточно быстро мы можем только путем многоженства. Следовательно, если мы хотим спасти веру святых последних дней от уничтожения превосходящими нас по числу врагами, мы должны, не считаясь ни со своими моральными убеждениями, ни со своими чувствами, принять многоженство».

Так они и сделали. И в этом характерная особенность американцев. Группа людей оказалась способной изменить свой образ жизни и отбросить все прочно укоренившиеся представления исключительно в политических целях!

Я вижу, что некоторые из вас смеются. Я очень рад. Всякий раз, когда, пытаясь вскрыть суть вопроса, я наконец попадаю в точку, это сперва вызывает смех. Но в свете необходимости создания новой конституции Соединенных Штатов приведенный мною пример, доказывающий способность американцев к политическим действиям, является наиболее важным из всего, о чем я собираюсь сегодня говорить. Я питаю надежду — кажется, до сих пор ни один человек на земле не разделял со мной этой надежды, но, может быть, после моей сегодняшней речи вы подойдете к вопросу по-иному,— я питаю надежду на то, что, несмотря на все чудачества прошлого, несмотря на вашего устаревшего дядюшку Джонатана, несмотря на вашего смехотворного стопроцентного американца, вы все же сумеете возглавить политическую мысль и политические действия и поможете спасти мир.

Я согласен, что ваше теперешнее положение не слишком обнадеживающе. Ваш пролетариат безработен. А это означает крах вашей капиталистической системы, ибо, как вам объяснит любой специалист по политической экономии, единственным оправданием системы частного присвоения капитала и земли могла бы быть гарантия того, что, хотя одним из результатов такой системы является возникновение малочисленного, но чрезвычайно богатого класса собственников, который не трудится и живет за счет неимущих масс, получающих только прожиточный минимум, этот прожиточный минимум всегда будет обеспечен, как это хитроумно доказывают на бумаге буржуазные экономисты. Таким образом, всегда должна существовать возможность получить работу, и за свой труд рабочий всегда должен получать оплату, обеспечивающую его существование.

Когда это условие нарушено (а оно не выполнялось полностью нигде и никогда), когда ваши безработные составляют многомиллионную армию, а не какие-то обычные 5 процентов для одной профессии, 8 процентов для другой, 2 процента для третьей, это значит, что капиталистическая система разваливается и вам необходимо как можно скорее подыскать взамен нее другую, лучшую.

Но оставим ваш голодающий пролетариат. Как обстоят дела у ваших фермеров? Ваши фермеры разорены, и они восстают с оружием в руках. Вы можете узнать об

этом даже из газет, если будете читать их внимательно, хотя в наше время во всех цивилизованных странах газеты существуют лишь для того, чтобы скрывать правду в таких вопросах.

А как обстоит дело с вашими предпринимателями? Во времена моей молодости американский предприниматель был хозяином положения в промышленности. Он нанимал рабочих за собственный счет и для собственной выгоды. Он использовал землю помещика и платил ему за это ренту. Он использовал капитал капиталистов и платил им за это проценты. Все, что оставалось, принадлежало ему.

Таким образом, вся деловая жизнь страны была в его руках, он был главной персоной во всех отраслях промышленности. И любой человек, умеющий читать, писать и считать, мог стать предпринимателем, если он обладал достаточными деловыми способностями и имел в своем распоряжении небольшой капитал, который он скопил или взял в долг у друзей или родных. Теперь средний предприниматель сам принадлежит к пролетариату. Он всего лишь управляющий, который работает по найму и получает жалованье, иногда с процентной надбавкой, чтобы он работал на других с таким же рвением, с каким прежде работал на себя.

Научные открытия привели к новым способам производства материальных ценностей, способам, требующим гигантских заводов, которые поглощают огромные капиталовложения. В прежние времена, если предприниматель располагал капиталом в пять тысяч долларов, он был уже весьма значительной фигурой. Теперь капитал, необходимый для крупного предприятия, исчисляется сотнями миллионов, и среднему предпринимателю не под силу ни найти такую сумму, ни помешать более крупному предприятию проглотить его.

Таким образом, он целиком попадает во власть людей, чьей профессией является изыскание миллионов, то есть во власть финансистов. В наше время хозяева положения — финансисты. Они управляют вашей страной. Правда, управляемая ими страна вот-вот сойдет с рельсов, но вы по-прежнему позволяете им оставаться у руля.

Чтобы убедить вас в том, какой опасностью чревато положение страны, управляемой частными финансистами, разрешите показать вам, что представляет собой частный финансист. Финансист — это прямая противоположность государственному деятелю. Финансиста больше всего интересует, что может сделать, если пожелает, человек, имеющий деньги, в благоприятный для него момент. Государственному деятелю приходится решать вопрос о том, что можно с помощью закона заставить ежедневно делать миллионы людей, с деньгами и без денег, независимо от того, желают ли они этого или нет. Таким образом, в сознании финансиста создаются устойчивые навыки, не позволяющие ему оценивать явления с точки зрения государственного деятеля, который на каждом шагу вынужден напоминать себе: «Если я возведу это в закон, его должны будут одновременно выполнять все — и бедные, и богатые».

Вот вам один из примеров того, что в любое время может сделать один человек и никогда не могут сделать все люди одновременно. Допустим, вы получаете маленькую ренту — для простоты, скажем, пять долларов в год. Вы говорите себе: «Эта рента в пять долларов — мелочь. Пожалуй, лучше всего было бы хорошенько кутнуть и забыть о ней. А то можно вложить эти деньги в небольшое дело». И вы отправляетесь к обычному среднему финансисту, называемому биржевым маклером, и говорите ему: «Послушайте, у меня есть ежегодный доход в пять долларов, но я хочу получить сто долларов сразу. Можете вы достать мне сто долларов взамен моих пяти долларов в год?» Маклер отвечает: «Разумеется. Это очень легко. Я подыщу человека, у которого на сто долларов больше, чем ему нужно, и который захочет обменять эту сумму на дополнительные 5 долларов годового дохода. Нет ничего проще. Это делается каждый день».

Уолл-стрит, Лондонская фондовая биржа и Парижская биржа — это попросту большие рынки, на которых люди, имеющие доходы, обменивают их подобным образом на наличные деньги. Одни на лишние деньги покупают дополнительный доход, а другие обменивают свой доход на звонкую монету. Подавляющее же большинство людей, у которых нет ни доходов, ни свободных денег, не имеет к этому никакого отношения и совершенно не принимается во внимание.

Профессиональный финансист, который все время занимается такими сделками, все помыслы и чувства которого принадлежат Уолл-стриту и Фондовой бирже, приобретает устойчивую привычку мысленно увеличивать все ресурсы страны в двадцать раз. И это понятно. Ведь для него каждый человек, имеющий ежегодный доход в 5 долларов, «стоит» 100 долларов. Он в этом абсолютно уверен, так как знает, что в любую минуту может получить на денежном рынке сто долларов наличными в обмен на годовой доход в пять долларов. Он знает также, что пятью двадцать — сто. Вот и весь расчет!

Что же происходит, когда вы делаете ваших финансистов государственными деятелями? Их первая обязанность заключается в том, чтобы выяснить, какую сумму налогов вы можете платить. Для этого они должны узнать, какое богатство, подлежащее обложению налогом, сосредоточено в ваших руках. Они приказывают чиновнику подсчитать все богатства Соединенных Штатов. Исходя из данных подоходного налога, чиновник тотчас же устанавливает сумму доходов всей страны, умножает ее на два-

дцать и вручает финансисту результат подсчета как сумму всех богатств Соединенных Штатов, подлежащих немедленному обложению налогами.

Не обладая умом государственного деятеля, финансист забывает, что если бы все люди, имеющие доходы, должны были, согласно закону, одновременно продать их, то Уолл-стрит превратился бы в рынок, состоящий только из продавцов, без единого покупателя, и стоимость всех ценных бумаг была бы сведена к нулю. Иначе говоря, финансисты живут в мире иллюзий. Они рассчитывают на нечто, что они называют капиталом страны и чего в действительности не существует. Каждые пять долларов они считают за сто, а это означает, что каждый финансист, каждый банкир, каждый биржевой маклер на 95 процентов сумасшедший. И таким сумасшедшим вы вверяете судьбу своей страны!

К тому же, вы наделяете их еще скрытой властью, которая сильнее официальной политической власти и которая существует во всяком большом и богатом торгово-промышленном обществе. Эта власть коренится в самом существе банковского дела. Каким образом она возникает? Очень просто. В деревне человек может запрятать свои деньги — если они у него есть — в старый чулок или закопать их у себя в саду. Но в городах людям часто приходится иметь дело с большими суммами, и они хотят хранить их в надежном месте, откуда они могли бы их получать по мере необходимости. Началось с того, что деньги отдавали на хранение золотых дел мастерам, которые охотно соглашались на это и по первому требованию выплачивали владельцу нужную ему сумму. Дело в том, что ювелиры, вовсе не в силу особой проницательности, а просто на основании опыта установили, что если большое число людей дает им на хранение свои деньги и никогда не забирает их все целиком, оставляя, как мы говорим, сальдо, то у них на руках оказывается много чужих денег, которыми они могут распоряжаться по своему усмотрению. Возьмем хотя бы меня. Я всего лишь человек свободной профессии. Однако для ведения моих дел и хозяйства мне нужно, чтобы на моем банковском счету всегда было не меньше 5000 долларов. Как только эта сумма уменьшается, я немедленно пополняю ее. В результате в распоряжении моего банкира постоянно находятся принадлежащие мне 5000 долларов. Если вы теперь добавите к моим жалким пяти тысячам те громадные сальдо, которые необходимы большим промышленным компаниям, и множество более скромных вкладов мелких организаций и частных лиц, вы поймете, каким образом золотых дел мастера, став банкирами, обнаружили, что большая часть денег, отдаваемых им на хранение, постоянно находится в их руках и что это дает им возможность заняться самым доходным делом — давать в долг чужие деньги. При этом они рисковали только одним: если бы всех вкладчиков охватила паника и они одновременно бросились бы снимать деньги со своих счетов, то оказалось бы, что денег нет. И банк лопнул бы, как это недавно и произошло с Английским банком.

Однако это случается так редко, что риск ничтожно мал. К тому же, поскольку Английский банк все же способен выплачивать двенадцать или тринадцать шиллингов за фунт, его банкротство вежливо называют отклонением от золотого стандарта.

И вот вполне закономерное открытие, некогда превратившее золотых дел мастеров в банкиров, в крупных государствах, подобных вашему, неизбежно приводит к возникновению такой несокрушимой власти денег, что финансисты становятся могучей силой в области промышленности, политики и едва ли не религии.

Народ, который оставляет эту власть в руках безответственных частных лиц, использующих ее для собственного обогащения, либо политически невежествен, либо безумен.

Вы аплодируете. Но ведь именно это у вас и происходит. Даже самое поверхностное знакомство с политическими науками подскажет вам: первое, что вы должны сделать, чтобы выпутаться из создавшегося положения,— это национализировать банки. Так почему бы вам не провести их национализацию, вместо того чтобы просто мне аплодировать?

Все советы в области политики, которые давали после войны финансисты, оказывались, как вы знаете, никуда не годными. В банковском мире был только один великий человек — Монтэгю Норман, президент Английского банка. Ему принадлежит высказывание, которое подытоживает все рассуждения банкиров о проблеме денег. Он сказал: «Я не понимаю этой проблемы». И не удивительно, потому что никакой проблемы на самом деле не существует. Деньги — это деньги, вот и все.

Я должен указать и на некоторые другие заблуждения, присущие финансистам. Если вы читаете финансовые статьи в газетах, то вы должны были заметить, что в наше время благосостояние страны измеряется количеством денег, которые она получает от своего экспорта. «Активный торговый баланс» — вот чего хором требуют финансисты, а под активным балансом подразумевается преобладание экспорта над импортом. Людям, которые мыслят денежными категориями, такое требование кажется разумным, но для людей, мыслящих категориями товара,— это сущий вздор. Внешняя торговля есть не что иное, как обмен, осуществляемый при помощи денег, и утверждать, что чем больше вы отдаете и чем меньше получаете, тем вы богаче, может только кандидат в сумасшедший дом. Однако в Америке и в Англии подобные утверждения делают вас кандидатом в члены правительства.

Финансист не способен мыслить понятиями «хлеб и масло», «кирпич и цемент» —

он мыслит цифрами. Он никогда не бывал на заводе, в шахте или на ферме. Вывоз товаров означает для него лишь возможность поступления денег. Его идеал — это страна, экспортирующая все, что она производит, в обмен на ценные бумаги, то есть на право получения золота, которого у вас в Америке и так уже слишком много.

Эта страсть ввозить в страну деньги приводит к тому, что финансист стремится помещать капитал за границей. Прежде всего он зарабатывает солидные суммы на заграничных займах, а непосредственным результатом таких займов является увеличение экспорта. Однако в конечном счете это приводит к уничтожению экспорта вообще, так как создается такое положение, при котором государство живет на доходы, поступающие из-за рубежа в виде процентов с этих займов, и не вывозит ничего взамен. Финансист попадает в свою собственную западню, а вместе с ним в западне оказываетесь и вы. Финансисту нужно увеличение экспорта, увеличение экспорта и еще раз увеличение экспорта. Чтобы стимулировать экспорт, он расширяет заграничные капиталовложения, а это означает увеличение импорта, увеличение импорта и еще раз увеличение импорта. Таким образом, финансист одновременно проводит политику, при которой все производится и все вывозится, и политику, при которой все ввозится и ничего не производится.

В результате борьбы этих двух противоположных тенденций финансист, перед которым вы благоговеете, как перед всеведущим повелителем финансов, в действительности превратился в азартного игрока с расстроенными нервами и опасными привычками. Если бы он постоянно не уничтожал левой рукой то, что творит правой, он давно уже разорил бы вас.

В чем же опасность такой политики, при которой всячески поощряется экспорт и благосостояние страны измеряется исключительно преобладанием вывоза над ввозом? Опасность заключается в том, что подобная политика создает угрозу как всеобщему миру, так и дальнейшему процветанию данной страны. Иностранная конкуренция постоянно стремится отнять у вас внешние рынки, и в конце концов это приводит к войне. Если вы теряете прежние рынки, вам необходимо обеспечить себе новые, а это ведет к вторжению в чужие страны и захвату чужих земель. Кроме того, расширение внешней торговли ставит ваших рабочих в условия конкуренции с наиболее низко оплачиваемыми зарубежными рабочими. Кули, получающий два цента в день, определяет жизненный уровень вашего собственного пролетариата, а это приводит к забастовкам, вооруженным столкновениям и гражданской войне.

Таковы опасности, таящиеся в политике экспорта. Как же обстоит дело с импортом? Допустим, что, послушавшись совета своих финансистов, вы вывезете все свои капиталы за пределы Соединенных Штатов, разместите их там, где дешевле рабочие руки, и станете жить на проценты со своих заграничных вложений, прекратив не только производство промышленных товаров, но даже и производство продуктов для собственного пропитания. Не правда ли, какая заманчивая перспектива! Вся Америка уподобилась бы огромному Атлантик-сити. Все побережье превратилось бы в блистательный Майами-Бич. Музыка, танцы, ночные рестораны, шикарно одетые девушки. Вы бы жили в гостиницах, где за обедом вас развлекали бы джазом и эстрадными представлениями; вы плавали бы вокруг света на роскошных лайнерах, и над вами неизменно сверкало бы солнце. Сущий рай! По крайней мере, так думают многие. Лично мне это не подошло бы, но ведь я печально известен своей эксцентричностью.

Итак, есть ли опасность в таком положении и если есть, то какая? Опасность эта весьма серьезна. Другие страны могут, например, отказаться выплачивать проценты, на которые вы живете. Это может произойти в результате революции, как это было в России, но вполне вероятно и без революции, как это случилось во Франции, когда она преспокойно отказалась от уплаты 80 процентов своего военного займа. А что вы скажете о вежливой форме отказа от своих обязательств, известной под названием подоходного налога на иностранные капиталовложения? Каждая страна имеет неограниченное право облагать налогом дивиденды, получаемые с ее промышленных предприятий. Она может наложить налог в 100 центов на каждый выплачиваемый ею доллар. Вы, не краснея, взимали налог с моих облигаций Займа Свободы и до сих пор облагаете налогом все мои авторские гонорары, заработанные тяжелым трудом, под тем предлогом, что они заработаны трудом ваших актеров и ваших наборщиков. Не исключена также и опасность войны, которая перечеркнет все обязательства. Страны, обеспечивающие ваше существование, могут решить, что им дешевле начать с вами войну, чтобы избавиться таким образом от этого бремени, а в случае удачи и получить возможность самим жить за ваш счет, чем продолжать кормить вас. В каком же положении вы окажетесь? Ваша страна стала похожа на роскошный ночной ресторан, но нет ничего более беспомощного и жалкого, чем ночной ресторан, отданный на разграбление.

И все-таки ваши финансисты упорно толкают вас по этому пути, в то же время и с тем же упорством продолжая толкать вас и в прямо противоположном направлении. В обоих случаях они подвергают вас страшной опасности, которая в конце концов может погубить вас. Но не вините их. Они, несомненно, честные и патриотичные люди. Они предлагают вам тот способ, которым они сами пользуются — и весьма успешно — для ведения своих личных дел, и они полагают, что его можно с тем же успехом применить и для общего дела. Вот почему вы должны воспитывать государ-

ственных деятелей, которые вытеснят финансистов и поставят их снова на их настоящее, сугубо частное место.

Позвольте мне привести один превосходный пример. У нас в Европе была война, и под гарантию Англии вы дали нам в долг около пяти миллиардов долларов. Что вы за это получили? Вы получили крушение трех европейских империй и замену монархии республиканским устройством на американский лад в качестве типичного образа правления в Европе. Большинство европейских королей стали теперь изгнанниками и париями. Остальные превратились в так называемых конституционных монархов, то есть они вовсе не монархи и ведут весьма приятный и беспечный образ жизни. Я позволю себе утверждать, что вы не продешевили в этой сделке. Но это еще не все, вы получили и нечто более ценное и к тому же имеющее огромное значение для будущего: вам удалось спасти Россию. Судя по вашим аплодисментам, я наконец встретил американцев, которые понимают, что они спасли Россию.

Когда царизм пал, Россия попыталась ввести у себя ваш образ правления. Она установила так называемую буржуазную республику. Необходимо было срочно приниматься за восстановление разрушенного хозяйства, а буржуазная республика не была способна ни на что, кроме разговоров, точь-в-точь как конгресс, и рухнула, как только большевики взяли дело в свои руки и создали в разоренной, голодающей стране настоящее, полновластное правительство. Это правительство оказалось перед невероятно трудной задачей. Население России состояло из 160 миллионов невежественных, полудиких крестьян, не имевших ни малейшего представления о современном развитии техники и об обращении с промышленным оборудованием. Немногие промышленные предприятия, существовавшие в России до войны, находились в руках англичан, бельгийцев, итальянцев и немцев. Но когда новому русскому правительству нужно было спасти население своей огромной страны от голода, дикости, невежества, грязи и рабства и добиться этого можно было, только создав в России любой ценой современную промышленность, хотя, как это сделать, никто не знал, обратилось ли это правительство за помощью к своим прежним эксплуататорам — англичанам, бельгийцам, итальянцам и немцам? Нет, по счастливому вдохновению, оно обратилось к Америке. И Америка пришла ему на помощь. Американские специалисты согласились дать русским свои советы и указания. Они не постеснялись сказать им правду. Они приехали, поглядели и заявили: «Ваше положение ужасно. Ваши попытки создать современную промышленность совершенно беспомощны. Кажется, вы уже никогда не выберетесь изо всей этой неразберихи. Мы можем вам сказать, что нужно делать, но смогут ли ваши ничему не обученные крестьяне это сделать — вопрос другой». И они сказали, что нужно делать.

Я встречался с американцем, который отвозил в Москву этот замечательный доклад, содержавший необходимые сведения. По пути в Россию он заезжал в Лондон и ознакомил с докладом английских специалистов. Английские специалисты внесли ряд ценных предложений, но при этом сказали: «Неужели вы думаете, что русские потерпят, чтобы их слабости подобным образом выставлялись напоказ? Вы вручите им этот доклад, и на следующий же день они переправят вас обратно через границу. Доклад положат под сукно, никто никогда о нем больше не услышит». На что ваш соотечественник, представлявший солидную американскую фирму, ответил: «Нас это не касается. Русские заплатили за доклад, и они его получат, а потом они могут делать с ним все, что им заблагорассудится. Они могут положить его под сукно, как это сделало бы на их месте английское или американское правительство, но, во всяком случае, они получат то, за что заплатили, и получат сполна».

Английские эксперты ошиблись. Через сорок восемь часов после получения доклада русские напечатали и выпустили его тиражом в десять тысяч экземпляров. Громкоговорители по всей стране передавали выводы из доклада; при этом рабочим указывали на необходимость покончить с бесхозяйственностью, расхлябанностью и призывали их учиться управлять своими машинами и ухаживать за ними. В Россию пригласили американских рабочих — обучать русских заводским специальностям и американских администраторов — обучать новых руководителей искусству управления заводами. И вот, как вы знаете, Россия справилась со своей задачей, хотя ее американские учителя и говорили, что на это едва ли можно надеяться.

Дело в том, что русские были свободны от тех обусловливаемых конкуренцией конфликтов, на которые расходуется столько энергии в наших странах, где каждое предприятие борется за прибыли со всеми другими, да к тому же еще вынуждено преодолевать внутренние классовые противоречия. Русские вытянули страну, потому что дружно тянули все вместе. И теперь благодаря Америке это одна из крупнейших промышленных держав в мире.

Некоторые из вас, боясь погрешить против совести, могут сказать: «Все это очень приятно слышать, но разве мы в самом деле к этому стремились?» Что ж, может быть, и нет, но разве нельзя допустить, что слепой политический инстинкт, который, как я уже говорил, присущ вам, вопреки вашей воле, толкнул вас на правильный путь? Во всяком случае, вы помогли установить коммунизм в России, и теперь для вас очень важно, чтобы коммунизм в России продолжал существовать. Задумывались ли вы над тем, господа, в каком положении вы оказались бы, если бы Россия со всеми ее новыми возможностями вернулась в лоно империалистического капитализма?

В дни моей молодости мы все смертельно боялись России. Мы говорили о завещании Петра Великого. Господин Редьярд Киплинг стяжал славу патриотического барда, изображая в своих стихах Россию как огромного белого медведя, готовящегося запустить когти в Индию и подмять под себя всю Азию, а затем и весь мир.

Я спрашиваю вас, о чем думают те безрассудно злобствующие близорукие господа, которые ополчаются в американских газетах против России, сочиняют о ней всякие небылицы и утверждают, будто русский коммунизм обанкротился и народ голодает? Чего они хотят? Возвращения царизма? Не хотят ли они, чтобы русский капитализм — с царем или без царя — вступил в борьбу за рынки с английским и американским капитализмом? Может быть, они хотят вырыть из могилы и вновь оживить уничтоженного коммунистами белого медведя, забывая о том, что теперь его когти будут в десять раз острее?

Провидение позаботилось об Америке, сделав Россию коммунистическим государством, и до тех пор, пока в России сохранится этот строй, вам нечего ее бояться. Единственное, что может еще внушать вам опасения, это судьба Китая. Желая вам добра, я искренне надеюсь, что Китай наведет наконец у себя порядок, распространив существующий там пока только в зародыше коммунизм на всю свою территорию. Когда Китай, как и Россия, будет коммунистической державой, каждый американец сможет спокойно сидеть в тени своей виноградной лозы или фигового дерева и ничего не бояться. Если вы не можете оценить преимущества, которые дал бы вам коммунизм в Америке, научитесь, по крайней мере, ценить ту пользу, которую приносит Америке существование других коммунистических стран. Подумайте, что было бы с Соединенными Штатами, если бы не только Япония, но и Россия и Китай были капиталистическими странами! Тут уж действительно содрогнешься!

Но вернемся к военному долгу. Вы хотели бы получить свои деньги обратно. Французы вам немало должны. Но, следуя примеру других европейских государств, они говорят, что вы можете убираться ко всем чертям, они и не подумают платить. Как же вам быть? Существует обычный в таких случаях способ — оккупация и секвестр. Вы можете послать армию Соединенных Штатов оккупировать Францию и собрать с населения причитающуюся вам сумму. Но если Франция будет возражать, она может выставить против вас 15 миллионов негритянских солдат, не рискуя жизнью ни одного француза. Не ахти какой способ возмещения убытков, не так ли? Вам остается только признать тот бесспорный факт, что Франция м о ж е т вам заплатить, но не хочет. Я полагаю, Франция будет настолько любезна, что подкинет вам, чтобы от вас отделаться, несколько миллионов франков (стоимость франка — четыре цента). И вам придется не моргнув глазом принять эти деньги.

Надо сказать, что Англия должна вам еще больше, чем Франция. Но Англия не отказывается платить. Она так же платежеспособна, как Франция, и вы это знаете. Но, пытаясь получить с нее деньги, вы сплошь и рядом прибегаете к очень слабой аргументации. Вы говорите: «Если вы, англичане, можете расходовать пятьсот миллионов долларов в год на флот и армию, то вы вполне можете отдать нам долг». На это мы отвечаем: «Послушай-ка, дядюшка Сэм, ведь ты сам ежегодно тратишь на армию и флот шестьсот миллионов долларов, так почему же и нам не делать того же?» Вы говорите: «Бросьте играть в солдатики, и тогда мы, может быть, простим вам ваш долг». Но, допустим, мы бы сказали: «Бросьте рэкет, и тогда, может быть, мы вам заплатим. Какой смысл платить вам, если все эти деньги пойдут рэкетирам?» Мне бы очень хотелось назвать вам сумму, в которую, по подсчетам одного из ваших общественных деятелей, ежегодно обходится рэкет в вашей стране. Но я воздержусь, потому что я приехал сюда с твердым намерением не говорить ничего, что могло бы показаться хоть в малейшей степени обидным кому-нибудь из американцев.

Я бы мог вам сказать, что у нас в Англии сумма, которая ежегодно выплачивается в виде нетрудовых доходов, даже если из них вычесть то, что мы получаем обратно путем налогообложения, вдвое превышает затраты на вооружение. Но это деликатный вопрос и для вас и для нас. Вам не следует добиваться, чтобы мы выплатили вам долг, прежде всего потому, что мы не можем этого сделать, не разорив вас. Вспомните, в какое затруднительное положение попали мы сами, когда пытались заставить платить Германию. Немцы сказали: «Вы знаете, что у нас нет золота, чтобы расплатиться с вами. Что вы возьмете взамен?»

И мы им ответили: «Платите кораблями. Стройте корабли. Нам нужны корабли».

И вот они начали платить кораблями. Вскоре наш премьер-министр обнаружил, что все верфи на Тисе, Тайне и Клайде прекратили работу. Их заказы были переданы немцам. Хозяева верфей и судостроительные рабочие запротестовали. Премьер-министр сказал: «Это надо прекратить. Не нужно платить нам кораблями». Немцы сказали: «Хорошо, чем же вам платить? Хотите, мы будем платить сталью?»

Премьер-министр сказал: «Да, сталь, пожалуй, подойдет». Но английские сталевары сказали: «Нет, сталь не подойдет. Мы не позволим ввозить немецкую сталь и разорять нас».

Тогда премьер-министр сказал своим сотрудникам: «Будьте добры, подскажите мне, чего же потребовать от этих людей в счет уплаты их долга? Надо придумать что-то такое, чего мы сами не производим». Сотрудники ответили: «Поташ». И премьер-министр сказал немцам: «Вы должны платить поташем».

Представьте себе, что государству предлагают оплатить поташем стоимость европейской войны! Представьте себе Британские острова, погребенные под горами поташа! Чтобы не погубить ни одной отрасли промышленности, нам оставалось потребовать от Германии только одного — золота. Немцы должны были достать золото любым путем. И тут все финансисты сказали: «Великолепно! Мы дадим им золото взаймы». Это было типичное для финансистов решение: обложить колоссальной данью побежденный и нищий народ и доказать его платежеспособность, ссудив ему деньги для выплаты этой дани! К чему же это привело? Все золотые запасы мира потекли через Германию в Англию и через Англию в Соединенные Штаты, которым они вовсе не были нужны. Сами не понимая того, что делаете, вы захватили все мировое золото и вызвали крах Английского банка. Никто в Европе не мог больше достать золота. Оно все было у вас, за исключением того, что удалось удержать Франции. И если вы убедите Францию уплатить вам хоть часть ее долга, она даст вам еще золота. Какая вам будет от этого польза? Спросите вашу армию безработных.

Неужели вы не понимаете, что, чем больше золота мы вам посылаем, тем больше мы разоряем вас. Мы способствуем, таким образом, вашему превращению в страну, которая представляет собой комбинацию Атлантик-сити и Майами-Бич. Я серьезно советую вам списать долги и удовлетвориться тем, что вы избавились от трех империй и установили коммунизм в России. Это неплохое приобретение за ваши деньги.

Итак, что же вы думаете предпринять? Не кажется ли вам теперь, когда я так подробно разобрал все эти вопросы, что Академия политических наук вам совершенно необходима? И это должна быть американская, а не подержанная европейская академия. Лет пятьдесят назад я и несколько моих друзей — все они, кстати говоря, посмертно доказали свою честность и недюжинные способности — основали политическое учение, известное в Англии как фабианский социализм. Это учение было английским от начала до конца. Мы знали все о Фердинанде Лассале, и о Карле Марксе, и о социал-демократах. Мы знали о Фурье, Прудоне и Бланки во Франции. Мы знали о Бакунине в России. Но когда мы предложили свое учение англичанам, в нем не было ни слова о Карле Марксе или о ком-либо другом из иностранных социалистов. Фабианский социализм от начала до конца был разработан английскими мыслителями, на английских фактах, согласно английским принципам.

Я настоятельно советую вам, если вы решите поддержать Академию политических наук и помочь ей в создании новой конституции, сделать эту конституцию от начала до конца американской.

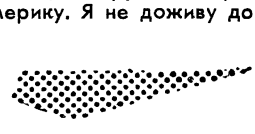
Так вот, дамы и господа, даже выступление Бернарда Шоу должно иметь конец. Я хочу лишь добавить, что нахожусь здесь сегодня, чтобы отдать Америке свой старый долг. В молодости я был в оппозиции к фундаментализму и боролся за то, чтобы современная наука и современчая мысль развивались в противоположном ему направлении. Я усиленно изучал теорию эволюции, астрофизику и историю искусств. Но я ничего не знал об экономических основах общества и об их значении для истории и политической науки. Для меня наука вообще находилась вне политики. Я даже не знал, что существует такая вещь, как политическая наука.

Однажды в Лондоне я случайно зашел на какое-то собрание и услышал оратора, речь которого изменила весь ход моей жизни. Это был американец Генри Джордж. Его родина — Сан-Франциско. Он видел, как из палаточных лагерей вырастали огромные богатые города, такие как Сан-Франциско, и он заметил, что, чем больше они богатели, тем беднее становились. Каким-то образом они все попадали в этот тупик — рост богатства Америки, ее успехи на пути так называемой цивилизации сопровождались ужасающим снижением уровня жизни народа. Повсюду «прогресс» означал нищету.

Итак, Генри Джордж направил меня по экономической стезе, по стезе политических наук. Вскоре после этого я прочел Карла Маркса и все книги по политической экономии других ученых того времени. Но именно американец Генри Джордж побудил меня это сделать. И поскольку с этого началась моя общественная деятельность, я решил теперь, когда эта деятельность близится к концу, приехать в Америку и попытаться, в свою очередь, дать вашей политической мысли такой же толчок, какой Генри Джордж дал мне.

У меня есть и другие долги Америке. На протяжении некоторого времени даже у нас, в Англии, никто не мог понять, что я за человек, потому что, не удовлетворившись одной репутацией, я создал их себе штук пятнадцать, и те, кто знали одну из них, не знали других. Таким образом, казалось, что Бернард Шоу — это десяток разных лиц. Я оставался загадкой до тех пор, пока один американский джентльмен, профессор математики, о котором я уже упоминал, Арчибальд Гендерсон, не дал мне всестороннего и исчерпывающего определения. В Англии это имело для меня самые благоприятные последствия. И я поздравил себя с тем, что смог послужить развлечением для математика и, вместившись в математическую формулу, стал реальным человеком.

Теперь вы понимаете, почему я избрал именно эту организацию, Академию политических наук, хотя почти все общества в Америке просили меня выступить. В настоящее время это самая важная организация в Америке. Работа, которую она проделает, спасет Америку, если вообще что-либо может спасти Америку. Я не доживу до этого, но я надеюсь, что мои предсказания сбудутся.



ПУБЛИЦИСТИКА

ВОЛЬФГАНГ ЙОХО

К НОВЫМ ВЕРШИНАМ

(Заметки писателя)

Величие нашей эпохи определяется не только знаменательными событиями, но также ее идеалами. События и идеалы взаимосвязаны, и облик эпохи, облик ее людей характеризуются именно этой взаимосвязью. Осуществляя наши идеалы, мы закладываем фундамент будущего. Каждый исторический период знает немало выдающихся достижений, но если они не подчинены своего рода генеральному плану, не вызваны к жизни мечтой о светлом завтра, то это движение без цели, развитие без перспективы. С другой стороны, мечта может быть сама по себе прекрасной и возвышенной, однако, если она не опирается на твердую почву реальности, ей суждено превратиться в бесплодную заумь. Добиться некоторых успехов может также и загнивающий, отмирающий общественный строй, однако он не в состоянии дать человечеству положительные идеалы, открыть перед ним широкую перспективу общественного прогресса. Это может сделать лишь тот общественный класс, которому принадлежит будущее. На него работает время, и лишь у него есть силы и возможности претворить завтра в жизнь то, о чем он сегодня мечтает.

В Москве, на прочной основе великих достижений социализма провозглашена Программа построения коммунизма. Десятки поколений мечтали о коммунистическом обществе, но их мечты оставались утопией. И даже для наших современников, изучавших в свое время идеи Маркса и Ленина и оказавшихся в октябре 1917 года свидетелями начала их осуществления, эти мечты были хотя и не утопией, но все же далеким будущим. И вот наступило время, когда наши отцы и деды и вместе с ними мы, их дети и внуки, стали очевидцами реальных фактов, благодаря которым уже видны черты приближающегося коммунизма.

Представьте себе, что на далекую вершину подымается колонна альпинистов. Нелегкий участок пути уже позади, но предстоит еще немало пройти. Они взбирались по извилистым горным тропам, по крутым перевалам, порою сгибаясь под тяжестью своей ноши, а иногда и теряя силы. Но неотступно набирали они высоту, и вот теперь их взорам открылась во всем великолепии картина горного массива, его сверкающие на солнце вершины. Альпинисты мечтали о них, стремились во что бы то ни стало до них добраться, но эти вершины из-за различных преград на пути не были раньше видны.

Альпинисты взбирались по кручам и осыпям, переходили ущелья и теснины, шли временами по краю пропасти. Дальнейший их путь также будет нелегким. От них потребуется немало усилий, мужества и стойкости, а этими качествами обладает лишь тот, кто ясно видит перед собой конечную цель и уверен в том, что ее достигнет.

Они идут трудной дорогой, не все участники похода опытные альпинисты, и тем более не все герои. У одних уже побаливают ноги, другие страдают одышкой. Есть среди них и малодушные люди, и скептики, и лодыри, и трусы. Это — неизбежное зло во всяком большом деле. Некоторые из-за камней не видят вершины, для них каждый камешек на пути — непреодолимая гора, каждый ручеек — стремительный поток, каж-

дая щель — пропасть. Эти люди ничего не видят дальше собственного носа. А иные жалуются на усталость или плохую обувь и вдруг, ни с того ни с сего, усаживаются в укромное местечко, дожидаясь, пока другие спутники, смелые и выносливые, не дойдут до вершины и не проложат туда автомобильную или канатную дорогу, по которой можно без труда добраться. Есть в походной колонне и те, кто, улучив момент, незаметно повернулись на сто восемьдесят градусов и спускаются в низину. Они убеждают и дают убедить себя в том, что, дескать, в гору лезть незачем, не то, чего доброго, сорвешься и костей не соберешь. К тому же, рассуждают они, никто, мол, не знает, как на самом деле выглядит та хваленая страна, которая находится по ту сторону гор. Есть и такие, которые считают себя самыми смелыми и самыми опытными покорителями горных вершин и, разражаясь громкими фразами о законах диалектики, возвещают о том, что кратчайший и потому быстрейший и единственно верный путь от подножия до вершины — некая прямая, проходящая сквозь все преграды. Эти люди вопят об измене общему делу, когда колонна вместо того, чтобы взбираться по голым отвесным скалам, идет обходными путями. Есть наконец в альпинистской колонне и незадачливые горе-оптимисты, путающие трудный поход с легкой воскресной прогулкой. По их мнению, в такой поход можно идти в легкой обуви и одежде, напевая веселую песенку и ничего с собой не неся, кроме небольшого портфельчика.

Почему же при всей трудности и сложности поставленной задачи, когда некоторых участников похода одолевают порой отчаяние, сомнение, неверие в собственные силы, почему все же основная часть колонны, преодолевая одну преграду за другой, упорно поднимается в гору и к вечеру оказывается уже на несколько метров выше, чем утром, а на следующий день — еще выше, чем накануне? Дело в том, что основное ядро, так сказать, авангард колонны, состоит из людей с богатым жизненным опытом и горячим сердцем. Люди авангарда несут с собой — и это самое ценное в их багаже — несокрушимую веру в то, что их сегодняшняя мечта завтра станет действительностью. Поход будет успешным, он увенчается победой альпинистов, ибо они совершают восхождение не одни, уже отовсюду к той же самой вершине тянутся другие колонны альпинистов. Все они друг другу помогают, друг друга подбадривают. Альпинисты победят еще и потому, что среди многочисленных отрядов есть один, который, выступив раньше всех остальных, находится в настоящий момент ближе всех к вершине. Будучи опытнее других, он указывает путь, предостерегает от грозящих опасностей и с высоты своего сторожевого поста, находящегося уже недалеко от цели, оповещает поднимающиеся колонны об особенностях оставшегося пути.

Не нужно обладать особой поэтической фантазией, чтобы понять, какие конкретные обстоятельства нашего времени имеет в виду эта развернутая метафора. Но правильно интерпретировать ее, как и выражать свой восторг по поводу великих дел, свидетелями и участниками которых мы являемся, или славословить тех, кто в трудной борьбе поднялся выше всех, дело нехитрое. Гораздо сложнее, не упуская ни на миг из виду конечную цель, критически оценивать свою собственную оснащенность, свое морально-физическое состояние, а также определять задачи предстоящего этапа пути. А это — дело каждой колонны, каждого отряда, каждого участника похода в отдельности. Следует развеять иллюзорные представления о том, что большое расстояние, скажем, в тысячу шагов, можно преодолеть за один скачок.

Мы, писатели Германской Демократической Республики, один из отрядов этих альпинистских колонн, и у нас та же конечная цель. Но все мы, хотя и приобщаемся к их силе, вере и победам, в большей или меньшей степени страдаем теми же слабостями и недостатками, которые еще наблюдаются среди некоторой части описанных мною альпинистов. И вот сегодня нам следует спросить себя: какую роль мы играем и должны играть среди миллионов наших соратников? Этот вопрос распадается на множество других. Являемся ли мы теми, кто в настоящий момент находится выше основной массы колонны и помогает ей прокладывать путь? Или же мы арьергард, прибывающий к определенному пункту лишь через некоторое время после всех остальных отрядов? Являемся ли мы в походе особым отрядом репортеров и корреспондентов, который,

непосредственно не участвуя в покорении вершины, лишь рассказывает о том, как это происходит? Или, быть может, мы вроде тех певцов в древнем Египте, которые своим пением подбадривали трудившихся в поте лица феллахов, а сами даже не прикасались к кирке и лопате?

Мы должны увидеть перспективу и конечную цель нашего движения, заглянуть на несколько лет вперед и со всей прямотой ответить на этот вопрос. Иначе мы не сможем со спокойной совестью заниматься своей работой. То, что мы делаем, окажется тогда никому не нужным.

Естественно, мы не лишены тщеславия и самолюбия, свойственных людям нашей профессии. Из-за этого мы зачастую недооцениваем роль миллионов, вместе с которыми шагаем в одном строю. Писательское тщеславие и самолюбие создают у нас иногда представление о том, что мы, работники пера, ушли далеко вперед от основной массы нашей колонны и относимся к ее головному отряду. Если бы это было так! Если бы мы только могли представить в доказательство достаточное количество произведений, в которых на должном художественном уровне отражено великое восхождение нашей альпинистской колонны и приоткрыта завеса над будущим. Ведь, когда мы узнаем о достижениях советских рабочих, ученых, инженеров и о том, что́ они обязались осуществить в течение предстоящего двадцатилетия, когда мы видим и осязаем то, что́ у нас каждодневно совершают миллионы «безымянных» людей, дабы всех нас приблизить к заветной вершине, когда мы обо всем этом который раз читаем и слышим, нам приходится признать, что мы еще не являемся головным отрядом колонны и так же, как наши собратья художники, скульпторы и композиторы, не идем еще в своем творчестве в ногу с теми, кто проложил нам путь. И хотя прошли мы уже немало, все же мы еще немного отстаем.

Может быть, это суждение покажется пессимистическим. Однако мы должны были его высказать, и вряд ли можно утешаться тем, что в настоящее время в области литературы мы больше успели, чем, скажем, десять лет назад. Ни для кого не секрет, что мы в литературе все еще не дошли до уровня, достигнутого в других областях деятельности. А суть-то именно в этом уровне. Когда читаешь, например, статью, восхваляющую ту или иную пьесу, нередко, как это ни горько, создается впечатление полной самоуспокоенности нашей критики. Между тем, часто приходится убеждаться, что восхваляемое творение не выдерживает сравнения ни с достижениями нашего общества в других областях, ни с литературными образцами прошлого.

Михаил Шолохов (вот кто шагает в головной колонне!) говорил на XXII съезде КПСС о том, что хороших книг «до обидного мало». Коснувшись проблем литературного творчества в своей стране, М. Шолохов сказал, что «совершается закономерный разрыв: низкое качество продукции и высокая требовательность читателя». За этот разрыв он подверг советских писателей суровой критике.

В оценке наших произведений мы ни в коей мере не можем быть менее строгими и требовательными. Хотя нас нередко увенчивают лаврами, все же, по правде говоря, мы их не очень-то заслужили. Пусть грудь твою украсила медаль лауреата Национальной премии, но, если ты перечтешь какое-либо произведение Льва Толстого, вряд ли после этого ты будешь гордиться своими творениями. А если ты прочтешь о бесчисленных достижениях на производстве, благодаря которым и осуществляется покорение заветной вершины, то уже не станешь полагать, что идешь впереди масс. Об этом у нас часто и вполне справедливо говорят. Ныне, когда перед нами открылась величественная перспектива построения коммунистического общества и уже явственно видна заветная цель, мы особенно остро ощущаем несоответствие между количеством и значимостью поставленных творческих задач и степенью их выполнения...

Литература — не самоцель, а средство к достижению цели. Все дело в том, как это средство используется. У нас в литературе, да и в других областях культуры, практикуется подчас система дозированного распределения тем. Она удовлетворяет лишь тех, кто ее осуществляет, но на деле нередко приводит к весьма сомнительным результатам. Эти распределители считают, что если такая-то актуальная тема отражена в таком-то стихотворении, в такой-то повести, театральной или телевизионной постановке, то уже можно спать спокойно — их руководящая совесть чиста. Для них важно лишь «что» и «для чего», но их совершенно не интересует «как». А ведь без

этого «как» не воздействуешь на умы, не тронешь сердца, не разбудишь души. Вот так у нас в общем подчас и получается. Бывает иногда, что от наших писаний никому, как говорится, ни холодно, ни жарко, а мы убеждены, что исполняем свой писательский долг. Бумага все терпит. Правда, к чести писателей и, главным образом, читателей, следует сказать: и те и другие не удовлетворены скороспелыми плодами нашей писательской деятельности.

Не мудрено, что при таком состоянии литературы у нас в последнее время вновь всплыла концепция двух видов искусства — «чистого» и, так сказать, «утилитарного». Это абсурдная и по своим возможным последствиям вредная концепция. Конечно, для ее авторов и распространителей она имеет свои преимущества. Их не тревожит мысль о том, что они не откликаются на животрепещущие проблемы современности, у них есть благовидное оправдание, они, видите ли, поборники «чистого» искусства, которые создают свои творения годами, в отличие от представителей искусства «утилитарного», низведенного до уровня искусства на злобу дня. Апологеты такой концепции хорошо знают, что все великие поэты и писатели от Софокла до Маяковского и вообще подлинные художники всех времен и народов отображали свою эпоху, каждодневно откликались на события, свидетелями которых они были. Однако об этом умалчивается. Ныне непрерывно растет число читателей, у которых наше социалистическое общество воспитывает высокий эстетический вкус. Эти читатели, не говоря уже о специалистах-литераторах, понимают, что в действительности нет и никогда не существовало ни «чистого», ни «утилитарного» искусства, а всегда было лишь плохое искусство и хорошее искусство, или точнее — искусство и неискусство. Однако некоторые наши писатели, откликаясь на животрепещущие проблемы современности, то есть занимаясь так называемым «утилитарным» творчеством, создают малохудожественные произведения, которые никого не волнуют и ни в коей мере не влияют на нашу жизнь. Этим они не только оскорбляют и запутывают читателя, но и подрывают престиж нашей литературы, престиж современной тематики.

Итак, нам надлежит улучшить нашу литературную работу. Это значит, мы должны повысить художественный уровень произведений, дабы они отвечали возросшим эстетическим требованиям и вкусу читателей. Сделать это, казалось бы, не так трудно. У нас в стране и в других странах социалистического мира совершаются великие события, приближающие нашу цель, и тем для писателя хоть отбавляй. Но улучшить нашу продукцию не так-то просто. Задумав написать пьесу, эпическое произведение или героическую эпопею о наших современниках, участниках великого похода, писатель не может и не смеет надеяться, что величия и значительности избранной темы достаточно для создания значительного произведения. Такая работа обязывает, она требует особых усилий, особого мастерства. Ведь наше восхождение не прогулка. Если же писатель, взявшийся за такую работу, не создаст подлинно художественного, значительного произведения, он тем самым не только подорвет свою репутацию, что общество ему, в крайнем случае, простит, но и нанесет вред тому делу, которое он воспевает, а этого ему уже никто простить не сможет.

Тот, кто считает себя идущим в авангарде писателей, в авангарде всей нашей колонны лишь потому, что умеет быстро и по-деловому использовать актуальный материал, но в действительности выпускает из-под своего пера незрелые, поверхностные произведения, тот подрывает авторитет всей нашей колонны и на самом деле не в авангарде шагает, а в хвосте плетется.

В связи с выступлениями на XXII съезде КПСС по вопросам литературы и искусства перед нами, писателями ГДР, возникает вопрос: можем ли мы в нашем великом походе быть лишь репортерами и корреспондентами, лишь певцами, подбадривающими своим пением тех, кто трудится, или же мы должны стать непосредственными, активными участниками нашего общего дела? Это вопрос о сущности и роли художественного творчества вообще.

В последнее время нам пришлось подвергнуть подробному критическому разбору некоторые литературные и иные произведения. По различным причинам они не только не удовлетворяют требованиям, предъявляемым сегодня к художественному произведению, но даже вредят нашему общему делу, уводят в сторону от него. При всей разнотипности этих произведений, при всем различии дарований их авторов можно, если

вникнуть в их сущность, установить по крайней мере две общие причины их слабости. Во-первых, в этих произведениях не чувствуется подлинного понимания автором людей, которых он изображает, времени, в котором он живет, и, во-вторых, таким образом, как правило, недостает конкретных знаний описываемой ими обстановки. Это заставляет глубже задуматься над ролью писателя, художника, скульптора, композитора в нашем обществе. Некоторые писатели, причем отнюдь не только те, кого мы в последнее время критиковали, видят свое призвание лишь в том, чтобы описывать наше великое общее дело издалека, активно в нем не участвуя, выполняя роль хладнокровного наблюдателя и якобы объективного летописца. Они кичатся своей равнодушной обособленностью, гордятся тем, что от их критического взора не скроется ни единый промах, ни малейшая ошибка активных участников нашего великого похода. Они не усвоили одной простой истины: чтобы быть писателем, нужно не только владеть пером, не только обладать хорошим слогом, но также и прежде всего знать и понимать людей, знать описываемую обстановку и выражать в своем произведении собственную позицию.

Нужно стать ближе к нашей действительности, нужно любить ее — вот что на XXII съезде КПСС в Москве требовали от людей, занимающихся художественным творчеством, Шолохов и другие советские писатели. Разве может писатель, который довольствуется ролью наблюдателя или равнодушного летописца, который отсиживается в своем кабинете и лишь изредка, когда это крайне необходимо для написания очередной главы или сцены, куда-либо выезжает, удостаивая прототипов своих героев кратким интервью,— разве может такой писатель, оторванный от жизни, рассказать людям о нашем времени с жизненной достоверностью и проникновением в сущность явлений? Разве может писатель, сколь бы ни был он талантлив, каким бы гением ни считал себя, писать о трактористах, о прокатчиках или о жизни в деревне, если не знает действительности, если не живет заботами и радостями тех, кто водит трактор или работает на прокатном стане? Разве может поэт зажечь сердца людей огнем трудового энтузиазма, если в его собственном сердце нет такого огня? Разве может он создавать литературу, достойную участников нашего великого восхождения, увековечивающую их героические дела, если он вместо того, чтобы непосредственно участвовать в походе, докучает им своими безыдейными или путаными писаниями, отражающими лишь сумбур, который царит в его голове?

В своем выступлении на XXII съезде КПСС Н. Грибачев сказал: «Стоп-сигнал мелкотемью и регистраторству и зеленый свет произведениям, в которых в полный накал живет, творит, борется, любит и ненавидит новый человек наш».

В этих словах Грибачева ответ на наш вопрос, имеем мы или не имеем права довольствоваться ролью беспристрастных наблюдателей, описывающих наше время с холодным равнодушием летописца. Если мы останемся такими наблюдателями, если не превратимся в непосредственных участников нашего великого восхождения, если в нас, как сказал Шолохов, не будет «клокотать горячая кровь», то люди, подымающиеся к вершине, пройдут мимо нас, не заметят нас. И, когда они дойдут до вершины, нам нечего будет сказать людям, мы не сможем достоверно описать последние бои на подступах к нашей заветной цели, ибо мы в них не участвовали. Если мы не готовы шагать на каждом этапе пути в самой гуще нашей колонны и временами даже преодолевать жестокие преграды, не испустив ни единого стона боли или проклятия, то наши книги, наши песни и стихи будут бескрылыми, они не тронут ничьих сердец и тем более не воодушевят людей на еще более великие дела. Если мы не будем шагать в ногу со всей нашей альпинистской колонной, мы уподобимся жалкой группке туристов, сидящих в стороне, в укромном местечке, пока отважные скалолазы не проведут к вершине канатную дорогу.

г. **БЕРЛИН**

ДЖОН ПИТТМАН

ЛОГИКА ОДНОЙ ЖИЗНИ

У людей пишущих нельзя, кажется, определить, в каком возрасте приходит успех. Может быть, и найдется какой-нибудь статистик, который подсчитает «среднюю продолжительность» жизни нескольких тысяч писателей и ученых и потом выведет «средний» возраст, достигнув которого большинство из них создали наиболее крупные свои произведения. И, однако, любые выводы такого рода, как оказывается, на деле теряют всякий смысл, столько из этих правил будет исключений. Пушкин умер 37 лет, Шелли — 30 лет, Китс — 26. Л. Толстой написал «Воскресение», когда ему уже минуло 72 года, Гюго создал «Торквемаду» в 80 лет, а Гете закончил вторую часть «Фауста» на восемьдесят третьем, последнем году своей жизни. У людей действия, не связанных с литературой, дело обстоит по-другому. Деяния исключительные, подвиги беспримерной личной отваги, все свершения героев обычно ассоциируются с молодостью. Справедливо, что при социализме, когда так процветает наука и когда на деле стираются грани между трудом умственным и физическим, для подвигов не существует возрастных пределов. И все же в большинстве стран почти никогда люди пишущие не создавали самые крупные свои произведения после 80 лет. Еще реже встречаются случаи, когда люди действия проявляют беспримерную отвагу уже на склоне лет: ведь и энергия и силы физические уже давно не те, что в годы юности.

Но не всегда это так. Одно из блестящих исключений из этого правила — жизнь и деятельность американца, снискавшего мировую известность, видного ученого и публициста Уильяма Юджина Бургхарда Дюбуа.

Ему было 89 лет, когда вышел в свет первый том его романа «Черное пламя», последнюю, третью книгу которого Дюбуа опубликовал на 93 году своей жизни. Роман посвящен жизни американских негров в пятидесятые годы нашего века и исторической обстановке, в которой они борются за свои права. Опубликовав в 1961 году последнюю часть романа, Дюбуа стал готовить к печати энциклопедию «Африкана», над которой он работал, правда с перерывами, уже более 25 лет. И тогда же, в возрасте 93 лет, в дни, когда самые реакционные силы Америки, тщетно пытаясь задушить компартию США, развернули новую кампанию против демократических прав простых американцев и начали еще одно наступление на жизненный уровень американского народа, именно в эти дни Дюбуа подал заявление о вступлении в компартию США и был принят в ее ряды.

Простое перечисление этих фактов не дает представления об их значительности. Чтобы понять их по-настоящему, нужно знать условия и осознать мотивы, которые руководили Уильямом Дюбуа.

Уильям Дюбуа родился 23 февраля 1868 года в городке Грейт Баррингтон в штате Массачусетс. Среди его предков были негры, голландцы и французы. Рано узнал мальчик, что такое голод, хотя он работал — продавал газеты и выполнял различные поручения, чтобы хоть как-то помочь семье. Живой ум и недюжинные способности помогли ему, при содействии родственников, получить образование сначала в общеобразовательных школах Массачусетса, затем в негритянском Фисском университете в городе Нэшвилле. Дюбуа неизменно удостаивался права на стипендию и, с материальной помощью родителей, сумел завершить свое образование в Гарвардском университете. В 1895 году Уильям Дюбуа получил звание доктора философии (первый негр, удостоившийся этого звания). Затем Дюбуа поступил в Берлинский уни-

верситет, ныне университет имени Гумбольдта. Так, благодаря своим выдающимся природным способностям и тому, что он не переставал учиться и совершенствоваться, Дюбуа добился высокой квалификации и в сфере преподавания и в сфере научных исследований и получал сравнительно большое для негра жалованье.

Однажды в беседе с друзьями Дюбуа рассказал, чем он объясняет свое долголетие. Дюбуа сказал, что с детства привык к довольно умеренному режиму в еде и питье: это объяснялось тогда скудным бюджетом семьи. Больше того, всю свою долгую жизнь он ни разу не отступил от твердо заведенного правила уделять достаточно времени сну. Совершенно очевидно, какая для такого режима нужна самодисциплина. Но не столь очевидна другая черта его характера. О ней поведал мне не сам Дюбуа, а его жена, писательница Шерли Грэхем. Она добавила еще одну важную составную часть в формулу ученого о долголетии. Это — умение сохранять душевное равновесие и ясность ума.

«Душевное равновесие» — что же это такое? И можно ли считать, что оно противодействует процессу функционального истощения коры головного мозга, как называл этот процесс Павлов? Ведь считают, что именно истощение коры головного мозга влияет на старение всего организма человека. Может быть, на эти вопросы гораздо лучше нас ответят философы и невропатологи. Меня лично больше интересует, как объяснить душевное равновесие в характере такого человека, как Уильям Дюбуа, потому что вся его жизнь — это кипучий поток энергии, острые конфликты и жаркие споры, ни на минуту не прекращающаяся борьба против самых влиятельных сил внутри страны, которые, к тому же, в течение доброй половины жизни Дюбуа оказывали влияние и на мировую политику. За свою долгую жизнь Дюбуа был свидетелем того, как капитализм превращался в империализм и как горстка империалистических держав делила между собой мир. Каких только преступлений против человечества не привелось ему увидеть, каких страданий, жестокостей, унижения человеческого достоинства! Сколько видел он трусости, подлости, злобы и других проявлений бесчеловечного отношения людей друг к другу. И все это порождалось чудовищной эксплуататорской системой империализма.

Но вот свершилась Октябрьская революция в России. «Я приветствовал русскую революцию 1917 года, хотя противоречивые известия, доходившие сюда из России, иногда ставили меня в тупик»,— писал Дюбуа 1 октября 1961 года в своем письме Гэсу Холлу, генеральному секретарю компартии США. В этом письме Дюбуа просил принять его в ряды коммунистической партии. «Я ездил в Советский Союз,— писал он,— в 1926, 1936, 1949 и в 1959 году. Я видел, что страна растет и развивается. Я был в Восточной Германии, в Чехословакии и в Польше. Я провел десять недель в Китае и изъездил всю страну. И наконец этим летом я целый месяц отдыхал в Румынии». Случилось так, что во второй половине своей жизни Дюбуа стал очевидцем великих преобразований в мире и в отношениях между странами, преобразований целого человеческого общества. На его глазах менялось отношение человека к человеку. И все это возвестили залпы «Авроры» в октябре 1917 года. Я думаю, что предоставившаяся Дюбуа возможность воочию увидеть рождение и созревание нового общества, а главное, желание и умение правильно понять увиденное, именно это сыграло решающую роль в формировании той черты в духовном облике Дюбуа, которую Шерли Грэхем называет «душевным равновесием».

Рассказывая о себе, Юрий Гагарин вспоминает, как много труда положили инструкторы в летной школе, чтобы все курсанты поняли, что такое «железные нервы». Назовите это свойство характера «железными нервами», «душевным равновесием» или «нравственной силой», назовите, как хотите, но ясно одно: это качество — источник вдохновенных успехов и дерзновенных свершений, и в наши дни оно одинаково важно как для писателя и художника, так и для людей действия. Оно необходимо и государственным деятелям, и космонавтам.

Не менее важен тот факт, что Дюбуа довелось лично наблюдать первые признаки рождения нового общества. И то, что он видел, явилось подтверждением правильности идей, которые в его стране весьма громко и авторитетно объявляли предосудительными и даже недопустимыми. Я говорю сейчас о 1906 годе, о периоде, начавшемся через несколько месяцев после русской революции 1905 года и через семь лет после боксерского восстания в Китае. В то время империализм еще яростно подавлял народные массы. В эти годы Дюбуа написал свое «Обращение к стране, где появилось Ниагарское движение*». В этом труде он выразил стремления и боевой дух негров Америки. «Уже над горами забрезжило утро,— писал Дюбуа.— Смелее, братья! Битва за человечество не проиграна и не будет проиграна! Уже поднимается в своем могуществе славянин, узнают вкус свободы миллионы желтых, пробиваются к свету сыны черной Африки, и трудящийся люд открывает повсюду врата к миру и созиданию».

* Движение, получившее свое название от городка близ Ниагарского водопада в штате Нью-Йорк, где негритянские лидеры объединились в организацию для руководства борьбой американских негров.

ДЖОН ПИТТМАН
ЛОГИКА ОДНОЙ ЖИЗНИ

Уильям Дюбуа — плоть от плоти своего угнетенного народа, составляющего расовое и национальное меньшинство в Соединенных Штатах, в стране, которая родилась в революции и уцелела благодаря войне за уничтожение рабства. О том, какое огромное влияние оказала эта органичная связь Дюбуа со своим народом на формирование его личности, как глубоко определила она все его мысли и поступки, лучше всего сказать его собственными словами. Выступая в Пекинском университете в день, когда ему исполнился 91 год, Дюбуа говорил: «Я выступаю здесь отнюдь не как лицо, облеченное властью,— я не считаю, что мое положение и возраст дают мне особые права. У меня нет ни высоких постов, ни богатства. У меня есть лишь одна собственность. Это моя душа. И эту собственность у меня не могут отнять даже в моей стране, где уже около века я для всех не более чем черномазый».

Сколько горечи и гнева в этих словах! О каких страданиях, унижениях, оскорблениях говорят они, о каком позорном пренебрежении к человеческой личности, о скольких неизлечимых душевных ранах! Представьте себе, что должен был чувствовать маленький мальчик в городке Грейт Баррингтон, когда вдруг из реплики случайного прохожего или знакомого он впервые узнал, что он не ровня остальным детишкам, что его, как дикого зверя в клетке или как уродливое чудовище, хотят отгородить от всех других, заклеймить особым клеймом, чтобы все вокруг пялили на него глаза, потешались и издевались над ним. И все это из-за того, что кожа у него темнее, чем у других детей, оттого, что среди его предков были негры! Пойдите теперь вместе с этим уже повзрослевшим юношей в школу, где благодаря незаурядному острому уму он выдвинулся на первое место среди своих одноклассников. Последуйте за ним в Фисский университет в Теннесси, университет только для негров, побудьте возле молодого Дюбуа, когда он отправляется в расположенные недалеко от университета деревни и учит там запуганных, вечно голодных и нищих негритянских детей, учит их читать и писать. В самом деле, попробуйте хотя бы мысленно прожить с ним всю его жизнь, жизнь человека, наделенного большим дарованием и способностями, который ни разу, ни на один час не мог избавиться от сознания, что в стране, где он родился, его считают представителем так называемой «низшей расы», которая не имеет никаких прав.

Попробуйте представить себе, что все это значило для человека с такой чуткой душой, как Уильям Дюбуа, что значит это для любого негра в Америке и по сегодняшний день. Расизм в литературе и в политической философии связывается, главным образом, с физическим и материальным угнетением. Но мне кажется, что защитники подобной точки зрения проходят мимо глумления над личностью, над духовным «я» человека. Что это значило для Дюбуа, можно уяснить себе хотя бы из того факта, что все им написанное, все его публичные обращения, все его мысли и сама его жизнь посвящались и посвящаются борьбе против расизма и против силы, его породившей,— против империализма. Эта борьба — главная тема всех его произведений.

Дюбуа не только выдающийся ученый и общественный деятель, он крупный писатель, один из основоположников негритянской литературы в США. Его романы и пьесы, в частности недавно законченная трилогия «Черное пламя»,— неотъемлемая часть реалистической американской литературы. Произведения Дюбуа с большой художественной силой и предельной достоверностью воспроизводят жизнь и борьбу негров за свои права.

Герой его трилогии Мануэль Мэнсарт, пытаясь найти ответ на вопрос о том, как бороться, каким путем идти, читает «Коммунистический манифест». В какой-то мере этот красноречивый эпизод отражает и тот путь, которым шел сам Дюбуа.

■

В 1893 году, когда Дюбуа исполнилось 25 лет, он учился в Берлинском университете. В этом году он как бы привел в порядок все свои планы и идеи, написав своего рода дневник с обширными комментариями. К счастью, записки эти сохранились и сейчас включены в книгу Герберта Аптекера «Документальная история негритянского народа в Соединенных Штатах». Записки Дюбуа являются ярким свидетельством того, какое огромное влияние оказало угнетенное положение негров на его формирование и течение всей его жизни. Молодой Дюбуа пишет: «Я стараюсь сделать свою жизнь такой, какой только может быть настоящая жизнь. И стремления свои я ограничиваю только потому, что они несовместимы с возможностями других моих братьев и сестер, которые не могут жить в таких же условиях, как я. Расплывчатые планы трудиться во имя всеобщего блага слишком быстро становятся слезливой сентиментальностью. Потому-то я принимаю мир таким, какой он есть. Я тружусь во имя того, чтобы поднялся негритянский народ, утверждая, как нечто само собой разумеющееся, что успехи моего народа будут означать и успехи всех народов мира. Вот мои планы: добиться признания в науке, добиться признания в литературе и тем самым поднять престиж моей расы... Чего я достигну? Кто знает?»

Именно в Берлинском университете Дюбуа впервые познакомился с марксизмом, правда, к сожалению, лишь с чужих слов. «Я много слышал о тех мыслителях, которые принимали теорию Маркса, но мы не изучали того, что говорил

сам Маркс»,— писал Дюбуа в письме Гэсу Холлу, добавляя, что «...тем не менее я посещал собрания социалистической партии и считал себя социалистом». Лишь через два десятилетия Дюбуа сам непосредственно обратился к марксизму.

Вернувшись в Соединенные Штаты, Дюбуа погрузился в преподавательскую и научную работу. Эта работа, так же как журналистика, стала делом всей его жизни. Дюбуа был сначала профессором латыни и греческого языка в Уильбефэрском университете, потом ассистентом профессора социологии в Пенсильванском университете, затем профессором экономики и истории в Атлантском университете. Но отдать всего себя только преподаванию и библиотеке Дюбуа не мог. Неукротимая потребность быть активным участником борьбы своего народа и весь ход истории не позволяли ему ограничиться только этим. То были годы прихода к власти американских «баронов-грабителей» — рокфеллеров, карнеги, морганов, период быстрого подъема американской промышленности, возникновения гигантских трестов, хищнических войн, сначала против индейцев и мексиканцев, потом против Испании, народов Латинской Америки и Филиппин. И по мере того как рос и стремился к господству американский империализм, все отвратительнее становился расизм и все более ухудшалось положение угнетенных негров.

Американцы негритянского происхождения не стали безропотно подчиняться насилию. Они выступили против попыток империалистов лишить их тех прав, которые они завоевали в Гражданской войне 1860—1865 годов и которые формально охраняются тринадцатой, четырнадцатой и пятнадцатой поправками к Конституции США и Законами о Гражданских Правах. В меру своих сил и возможностей негры отражали натиск империалистов, и Дюбуа оказался в самой гуще этой борьбы. В марте 1897 года он стал одним из создателей Академии негров Америки, одной из целей которой была и «защита негров от злонамеренных действий против них». Дюбуа принимал участие в борьбе негров штата Джорджия и в 1899 году стал автором петиции к парламенту штата, в которой негры протестовали против лишения их гражданских прав. Дюбуа выступил инициатором пан-африканских конгрессов и бессменно оставался одним из ведущих руководителей их деятельности. Первый конгресс собрался в Лондоне в 1900 году. Дюбуа стал душой Ниагарского движения, возникшего в 1905 году. Организация «Ниагарское движение» явилась предшественницей «Национальной ассоциации содействия прогрессу цветных народов», которая с момента ее появления стала самой сильной организацией американских негров, хотя деятельность ее и контролируется буржуазией, а политика носит нередко реформистский характер. Вот почему некоторые не без оснований называют Уильяма Дюбуа отцом современного освободительного движения негров.

Как пишет Дюбуа Гэсу Холлу, он исследовал теорию социализма и изучил организованную общественную жизнь негров Америки. «И все-таки я мало слышал и читал о марксизме. Как официальный представитель новой Ассоциации (Национальная ассоциация содействия прогрессу цветных народов) и как редактор журнала «Крайсис мэгэзин», я поехал в Нью-Йорк. Наша Ассоциация ориентировалась на капиталистов и рассчитывала на помощь богатых филантропов. Но среди ее руководителей сильно чувствовалось влияние и социалистических элементов... Следуя их совету, в 1911 году я вступил в социалистическую партию. Тогда я еще ничего не знал о политической деятельности социалистов. И когда началась выборная кампания 1912 года, я не захотел голосовать за платформу социалистов и призвал негров отдать свои голоса за Вильсона *. Это противоречило уставу социалистической партии, и, следовательно, я покинул ее ряды».

Но что же принимал Дюбуа за «теорию социализма», если он «мало слышал и читал о марксизме»? В поисках ответа на этот вопрос мы находим ключ к пониманию того, почему этот выдающийся борец за мир и национальное освобождение, за демократию и человеческое достоинство окончательно пришел к полному принятию марксизма-ленинизма только на 93 году своей жизни. «Долго и медленно шел я к этому выводу»,— пишет Дюбуа Гэсу Холлу. Но почему же так много времени потребовалось Дюбуа, чтобы принять это решение? Почему, если вся логика его жизни, если вся жизнь подсказывала ему этот шаг? Вот как объясняет это Дюбуа в своем письме: «Еще раньше я был твердо убежден, что социализм — это прекрасная форма общественного устройства, но, казалось мне, достигнуть социализма можно различными методами». Дюбуа полагал, что к социализму идут Скандинавия, Англия, Франция, Германия и даже Соединенные Штаты. Его представления изменились только после того, как наступили годы депрессии, и особенно после второй мировой войны. Таково объяснение самого Дюбуа, но я, однако, считаю его не совсем исчерпывающим.

Сыграли роль и относительно благоприятные материальные условия его воспитания, и то обстоятельство, что он был сравнительно обеспечен; в какой-то мере оказала влияние и надклассовая эклектика бужуазно-научной социологии, кото-

* Вудро Вильсон был президентом США с 1913 по 1921 год.

рой он себя посвятил. Кроме того, трудно преувеличить удушающее воздействие на Дюбуа постоянной сегрегации, похожей на условия в гетто, в которой вынуждены жить американские негры, ибо их сознательно держат в стороне от стремительного течения идей и событий. Не менее важным фактором, определившим решение Дюбуа, был и тот, что он убедился в коррупции профсоюзных лидеров, в их шовинизме и оппортунизме. Помимо этого, надо иметь в виду, что социалистическое движение Америки объединяло не только марксистов, но и тех, кто верил в утопические прожекты христианских социалистов, а также утопистов, фабианцев, приверженцев Генри Джорджа, аграрных реформистов и последователей других учений, рекламируемых как панацея от всех болезней общества. Среди этих деятелей, равно как и среди многих профсоюзных лидеров, необходимость борьбы против белого шовинизма рассматривалась лишь в гуманистическом аспекте, а не так, как понимал ее Маркс и позднее на практике применил Ленин, считавшие, что борьба против любых проявлений шовинизма — насущная необходимость прежде всего для самих белых рабочих. Вот почему эти чисто гуманные призывы нередко использовались в корыстных целях, и немало социалистических лидеров, желая завоевать на свою сторону белое население южных штатов, соглашалось на сегрегацию негров. «Я обвинял социалистов, когда они хотели выделить в отдельную южную группу членов партии — негров»,— пишет Дюбуа.

Влияние всех этих факторов проявляется во многих трудах Дюбуа, в которых ясно ощущается слабое знание основ научного социализма. На протяжении некоторого времени, в годы его работы в университете Атланты, Дюбуа проповедовал и защищал теорию возможности освобождения негров путем создания «талантливых 10 процентов», то есть через развитие личности и таланта у одной десятой всего негритянского населения, у тех 10 процентов, которые имели официальное право и доступ к высшему образованию. Дюбуа думал, что эта народная интеллигенция своими связями с самыми одаренными представителями белого большинства и путем логического убеждения сумеет радикально изменить положение негров. Уже позже, но все еще не вникнув как следует в идеи марксизма, Дюбуа разработал доктрину, которую можно было бы назвать «цветной теорией исторического детерминизма». Дюбуа считал тогда, что главный антагонизм в человеческом обществе порождается различной пигментацией человеческой кожи. И отказался он от этих своих ошибочных убеждений только после того, как прочитал труды Маркса, после того, как тщательно изучил коммунистическую литературу, и сам пережил разочарования, вызванные кризисом и второй мировой войной. Он отказался от этой теории только тогда, когда сам воочию увидел рождение и развитие социалистического мира. В своей книге «В битве за мир» Дюбуа пишет: «Вторая мировая война разбила в прах все мои формулировки. Никоим образом нельзя вести за собой мир, если руководствоваться только внутренними проблемами какой-нибудь одной группы общества, пусть даже проблемы эти самые насущные и самые острые. Я начал постепенно вникать в восприятие мира с точки зрения прогресса всего человечества, вникать в мировоззрение, где в центре всего стоит труд рабочего класса и его оплата».

Несмотря на ошибочные «формулировки», несмотря на многочисленные его блуждания по тупикам и обочинам теории, выбраться из которых было не так-то просто, он всю свою жизнь оставался убежденным борцом за национальное освобождение, яростным противником империализма и войны. Заслуги его на поприще борьбы за мир получили всеобщее признание. В 1952 году Уильям Дюбуа был удостоен Международной Премии Мира, а в 1959 году стал лауреатом Ленинской премии «За укрепление мира между народами». Есть немало документов, свидетельствующих о том, что его деятельность в защиту мира и активное участие в борьбе против сил войны всегда были и остаются главной целью и основным содержанием всей жизни Дюбуа. В известном смысле он — вдохновитель многих африканских лидеров в их борьбе против колониализма и империализма. Будучи руководителем панафриканского конгресса, Дюбуа установил личные, близкие связи со многими молодыми деятелями борющейся Африки, которые ныне стоят во главе новых африканских государств. Среди них был и доктор Кваме Нкрума, президент республики Ганы. Дюбуа живет сейчас в Аккре, где является директором секретариата Ганы по вопросам издания африканской энциклопедии.

Деятельность Дюбуа в защиту мира вызывает яростный гнев у империалистов, стала объектом их злобных атак. В 1950 году правительство США предъявило Дюбуа, который возглавлял тогда Американский информационный центр движения за мир, обвинение в том, что он отказался зарегистрироваться как иностранный агент. Этот Информационный центр собирал у простых американцев миллионы подписей под петициями, призывавшими к запрещению ядерного оружия. Арест Дюбуа и вся постыдная процедура с наручниками и снятием отпечатков пальцев вызвали возмущение общественности, как одна из самых грязных провокаций, подстроенных реакционерами США. Позже, во время развернувшейся по всей стране кампании за освобождение Дюбуа, в результате которой правительство было в конце концов вынуждено снять с него свое голословное обвинение, он так говорил о своей деятельности и

своих убеждениях: «В те годы, когда я начинал свою сознательную трудовую жизнь, мне казалось естественным считать, что главная причина войны — это стремление к прибыли. Я тогда полагал, что наилучший тому пример — порабощение негров, а корни этого порабощения я видел в расовой ненависти. Но вместо того, чтобы начать с понимания причин эксплуатации белыми труда других белых людей, как это правильно поняли многие другие мыслители моего времени, я, в силу особых обстоятельств моей жизни и образования, начал с поисков причин, определивших подчинение людей с темной кожей людям белой расы. В этом господстве белых над черными видел я и причину существования эксплуатации белых белыми и, следовательно, главный источник войны.

Как только я уяснил себе свою ошибку, я не стал ждать 1949 года, чтобы вступить в борьбу за мир. Я начал эту борьбу еще на пороге нынешнего века. В наш двадцатый век война принимает новое обличие.

Это огромное и страшное чудовище, которое может уничтожить нашу цивилизацию. Поначалу кажется, что приверженцами войны движет лишь безумие и врожденная злоба. Но если разобраться глубже и внимательнее, станет очевидно, что они стремятся во что бы то ни стало взять в свои руки контроль над богатствами земли, добиться мирового господства. Совершенно ясно, что в наши дни война — это воплощение зла, против которого мы все должны бороться в едином строю, чтобы проложить новые пути, спасти человечество и сделать возможным будущий его прогресс. Вот почему с самого начала второй мировой войны я отдаю всю свою энергию, все свои помыслы делу мира. И на этом поприще я непреклонен, пусть грозит мне перспектива отмечать мой следующий день рождения в тюрьме... Перспектива не из приятных. И все-таки я не устану утверждать, что, защищая мир во всем мире, я не предаю своей родины; что, являясь сторонником движения за мир, я никогда не был агентом иностранных держав; что, борясь за мир, я не насаждаю в своей стране враждебных ей идей; что законы моей страны давали в прошлом и дают мне в будущем право бороться за мир».

В 1951 году суд был вынужден снять с Дюбуа все незаконно предъявленные ему обвинения. После этого процесса начался новый период в жизни Дюбуа, приведший его к полному принятию марксизма-ленинизма. Но еще в 1950 году, когда Дюбуа ждал суда, он говорил о том, в каком направлении идут его идейные поиски. В тот год Дюбуа выставил свою кандидатуру на пост сенатора от штата Нью-Йорк от американской рабочей партии. В предвыборной речи Дюбуа заявил: «Почему происходит так, что при всем богатстве нашей планеты, при всем нашем совершенном подчинении себе сил природы и чудес техники, при наличии нашей прекрасно развитой торговли, которая опоясала сетью коммуникаций весь земной шар, когда ломятся от товаров наши магазины, корабли и склады, почему получается, что, несмотря на все это, большая часть человечества умирает с голоду или гибнет от болезней, которые можно было бы излечить? Люди слишком забиты и невежественны и до сих пор не знают, в чем же причина их бедствий. И в то же время незначительное меньшинство человечества живет настолько богато, что просто не знает, куда девать свои доходы. Вот какая проблема стоит перед миром. Девятнадцатый век считал, что изменить положение нельзя, что таким оно останется навсегда, ибо отсутствие равенства между людьми — состояние естественное и вызвано неполноценностью большинства человечества. Двадцатый век понял, что это не так. Двадцатый век утверждает, что на земле всем хватит пищи, что можно всех обеспечить кровом и одеждой, что большинство болезней излечимо и что преобладающая масса людей может получить образование. Двадцатый век считает, что духовная жизнь, здоровье и достойные людей удобства не только вещь возможная, но их должны иметь все и об этом следует заботиться **всем** государствам, за улучшение этих условий должны решительно выступать **все** избиратели на **всех** выборах...»

От этих суждений было уже недалеко до окончательного выбора, который Дюбуа сделал впоследствии. О нем он писал в письме к Гэсу Холлу. «Капитализм не в силах излечить себя, он обречен на самоуничтожение. Себялюбие, возведенное в государственную систему, не может создать благоденствие для всего общества. Коммунизм — а это значит стремление дать людям все, что им требуется, в обмен на то лучшее, что они в состоянии дать обществу,— вот единственный путь прогресса человечества. Путь к этой цели труден. На этом пути совершались и будут совершаться ошибки. Но уже сегодня коммунизм добился триумфальных успехов в науке и в образовании, в жилищном строительстве и в создании изобилия продуктов питания, с каждым днем он дает все больше духовной свободы; все решительнее разбивает устаревшие догмы. Коммунизм восторжествует в конечном счете, и я хочу в меру своих сил приблизить его триумф».

Да, путь Дюбуа был действительно сложен и труден. Но, как сказал Гэс Холл, Уильям Дюбуа, вступив в ряды коммунистической партии, сделал конечный шаг к цели, подсказанной ему всей логикой его жизни.

А. БЕЛЬСКАЯ

ПРОТИВ БЕЗУМИЯ ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ

(О книге Нормана Казенса)

Маленький городок одноэтажной Америки. Тихой размеренной жизнью живут Райсоны — муж, жена, их маленькая дочь. Так, верно, жили еще их деды. Все непривычное, даже появление новых соседей, не по душе им. Но и в этот тихий, узкий мирок проникает страх перед ядерной войной. Военная истерия, которая сопутствует гонке ядерных вооружений, лишает американцев спокойствия, калечит их психику.

Айрен Райсон — героиня рассказа талантливого американского писателя Джона Чивера — скрывает от всех, даже от мужа, что ей часто снится один и тот же страшный сон: среди ночи она узнает о взрыве водородной бомбы. Взрыв произошел не над этим городом, но взрывная волна и смертельная радиация достигли их жилья. Айрен открывает глаза — мужа почему-то нет рядом. В потолке над головой зияет огромная дыра, а сквозь нее видно серое, блеклое небо, окрашенное легким розовым сиянием. По реке, на которую выходят окна дома Райсонов, плывут лодки — десятки, сотни лодок. Люди бегут к берегу, сбивая друг друга с ног: они надеются спастись от радиации. Первая мысль Айрен — о дочери, маленькой Долли. Она вспоминает, что в аптечке есть одна-единственная таблетка яда. Мать хочет избавить дочь от мучительной медленной смерти, пусть она уснет сразу, без страданий. Дрожащими руками хватает Айрен таблетку, но роняет ее в темную, отравленную воду, которой залит пол. Все кончено...

Этот рассказ очень типичен для современной американской литературы. Он перекликается с действительностью.

В статье Нормана Казенса «Дети и бомба», опубликованной в декабрьском номере редактируемого им журнала «Сэтердей ревью», автор приводит случаи из жизни.

Маленький мальчик в городке Норуок (штат Коннектикут) наслушался разговоров взрослых и чуть не задохнулся ночью, навалив на себя гору подушек и одеял для защиты от атомной радиации. В Чикаго брат хотел задушить сестренку: он слышал, что в противоатомном убежище, которое строит отец, может не хватить места для их большой семьи. «Чуть ли не в каждой семье происходят подобные случаи,— пишет Казенс.— Этому способствует бурно распространившаяся мания строительства противоатомных укрытий... Теперь уже не движущиеся изображения на экранах телевизоров, не вымыслы, а сама реальность воздействует на детей. Имя нынешней игре — жестокость».

Но дело не только в детях. Миллионы людей живут в тревоге — удастся ли избежать ядерной войны? Сможет ли человечество выбрать разумный путь, обеспечить мир нашему и грядущим поколениям?

Широкие круги общественности Запада протестуют против гонки ядерных вооружений, настаивают на прекращении испытаний атомных и водородных бомб. Новая книга Нормана Казенса «Вместо безумия»* — одно из ярких проявлений такого протеста.

Норман Казенс — председатель «Национального комитета за разумную ядерную политику» — предупреждает об опасности политики западных держав, настаивает на прекращении ядерных испытаний, поддерживает резолюцию ООН о всеобщем разоружении. Казенс — сторонник переговоров между Советским Союзом и Соединенными Штатами, он участвовал во встречах советских и американских общественных деятелей в США и в нашей стране.

Говоря об устрашающей мощи ядерного, химического и бактериологического оружия,

* Norman Cousins. In Place of Folly. New-York, Harpers and Brothers, Publishers, 1961.

Казенс разоблачает чудовищные планы подготовки войны, создающие грозную опасность для народов. «Человеческая жизнь — редчайшая и величайшая из всех ценностей вселенной. И эту ценность в настоящее время умаляют и отвергают сами люди,— пишет Казенс.—...Цель моей книги — убедить людей, что можно сделать так, чтобы ничто на земле не угрожало человеку гибелью. Он может жить в мире; он может быть свободным; он может развиваться. Место безумия могут занять здравомыслие и целеустремленность».

Автор нарочито спокойно, бесстрастно, даже сухо рассказывает о том огромном вреде, который причиняет человечеству ядерное оружие. И это, пожалуй, самая сильная часть книги. Она впечатляет и убеждает фактами.

Однако Казенс не отвечает на вопрос, кто повинен в том, что до сих пор не заключено соглашение о прекращении опытных взрывов. Он уклоняется от анализа позиции Советского Союза, США и Великобритании, хотя именно это помогло бы ему увидеть правильные пути борьбы за ядерное разоружение.

Напомним, что советское правительство весной 1958 года после длительных попыток добиться прекращения опытных взрывов в знак доброй воли односторонне прекратило испытания. Советский Союз надеялся, что другие атомные державы последуют его примеру, и это позволит ускорить соглашение.

Но США и Англия ответили на миролюбивый шаг Советского Союза интенсивной серией ядерных испытаний. Франция, союзник западных держав по НАТО, начала к этому времени опытные взрывы в Сахаре, игнорируя происходившие в Женеве переговоры представителей трех держав. США и Англия, конечно, могли бы воздействовать на французские правящие круги. Но они не сделали этого и отказались пригласить представителей Франции в Женеву: их, как видно, устраивало, что атомное оружие продолжают совершенствовать в интересах НАТО.

Наконец осенью 1961 года западные державы усилили военные приготовления в Европе, стали искусственно создавать кризис в берлинском вопросе, пригрозили военными действиями, если Советский Союз заключит мирный договор с Германией.

В этих условиях советское правительство было вынуждено принять меры по укреплению обороноспособности своей страны. Осенью прошлого года СССР возобновил испытания термоядерного оружия. Но, проведя серию опытных взрывов, Советский Союз подтвердил свою готовность безотлагательно заключить соглашение, которое запретило бы навсегда все виды испытаний и подготовило бы окончательный запрет оружия массового уничтожения.

28 ноября 1961 года в Женеве возобновились переговоры между СССР, США и Великобританией о прекращении испытаний. Советский Союз внес новые конструктивные предложения. Они предусматривают немедленное запрещение испытаний в атмосфере, под водой и в космическом пространстве, то есть там, где контроль не представляет технических трудностей; обязательство со стороны ядерных держав не проводить опытных взрывов под землей, пока не будет согласована система контроля; отказ от всяких испытаний, пока ведутся женевские переговоры. Советский Союз вновь предложил привлечь Францию к участию в обсуждении это важнейшей проблемы.

Западные державы, однако, не проявляют желания содействовать разрешению проблемы, волнующей человечество. Они не только сознательно осложняют и затягивают переговоры, но и демонстративно проводят испытания водородных бомб большой мощности под землей. Недавно президент Кеннеди заявил о намерении США начать опытные взрывы бомб в атмосфере.

Норман Казенс безоговорочно за запрещение испытаний. Он полемизирует с теми, кто ссылается на невозможность установить контроль над выполнением соглашения. При современном развитии техники, подчеркивает он, трудно скрыть ядерный взрыв, даже если он проведен под землей.

Но, отмечает Казенс, вредное воздействие атомной радиации в результате испытаний — ничто по сравнению с той катастрофой, какой оказалась бы современная война. Автор убедительно показывает это. Он приводит данные и о новейших видах ядерного оружия, и об их доставке, и о химических, бактериологических и иных средствах массового уничтожения, которые разрабатывают в Пентагоне.

Кто же повинен в гонке ядерных вооружений, кто начал ее? Казенс честно отвечает на этот вопрос. Он возлагает ответственность на правительство своей страны. Бомбардировка Хиросимы и Нагасаки американцами была чудовищной политической спекуляцией. Она не вызывалась соображениями военной необходимости — разгромленная Япония и без того была готова рухнуть под ударами Советской Армии. Правительство Соединенных Штатов во имя эгоистических, узкокорыстных интересов пошло на чудовищное преступление, стоившее жизни миллионам японцев. Так было положено начало американской политике устрашения, которая впоследствии, когда США потеряли монополию в ядерном оружии, была заменена теорией «сдерживания» и «массированного возмездия».

Политика «сдерживания» провалилась с самого начала. Она привела лишь к гонке ядерных вооружений. И если ядерное оружие не поставить вне закона, отмечает Казенс, то каждый из противников будет стараться и впредь обогнать своего потенциального соперника. Новые страны включаются в это соревнование, последствия которого пагубны для всего человечества.

Книга «Вместо безумия» разоблачает по-

А. БЕЛЬСКАЯ
ПРОТИВ БЕЗУМИЯ ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ

пытки западной пропаганды поставить человечество перед выбором — ядерная война или рабство. Автор признает, что «угроза коммунизма», на которую ссылаются реакционные круги США,— миф. Очень осторожно, избегая самого термина «мирное сосуществование», он ставит вопрос о сближении стран с различным социальным строем. Он оспаривает утверждение, будто разоружение неизбежно приведет к депрессии и экономическому кризису. Казенс видит широкие возможности для развития мирных отраслей промышленности, усиления помощи слаборазвитым странам, расширения торговли между Востоком и Западом.

Автор книги — в этом ее главное достоинство — глубоко и искренне убежден в недопустимости ядерной войны. Он призывает мобилизовать все силы на борьбу за мир.

«Наличие термоядерного, а также химического, бактериологического и радиологического оружия должно вызывать не только отвращение, но и решимость мобилизовать всю нашу энергию против войны,— пишет Казенс.— Ибо если разразится война, то вопрос о том, умрет ли человек от энцефалита, вызванного бактериологическим оружием, или от апластической анемии, вызванной радиацией, будет носить чисто академический характер».

Конечно, нельзя бороться за мир только показом того, сколь страшна и отвратительна современная война. «Мы не можем отвечать на угрозу ядерной войны лишь размышлениями о ее аморальности, опустошительности и ужасах,— пишет автор книги.— Большинство людей уже не приходится убеждать в зловещем и тотальном характере такой войны. Они хотят знать, как ее предупредить. Весь поэтический пыл мира, если его направить против милитаризма, не уничтожит войну, пока люди не поймут, как возникают войны и как сохранить мир... Никогда в истории не было такой грандиозной кампании по посвящению людей в ужасы войны, как в нашей стране с 1919 по 1939 годы. Произведения Хемингуэя, Дос Пассоса и Ремарка — лишь отдельные примеры стремления писателей показать, что есть возможность помешать войне...»

Западная литература писала об ужасах войны, была проникнута духом пацифизма, а правящие круги США и Англии накануне второй мировой войны помогали возрождению германского милитаризма, попустительствовали гитлеровской агрессии.

То же самое происходит и сейчас.

Казалось бы, Казенс придет к логическому выводу — необходима активная борьба против темных сил агрессии, разоблачение милитаристов, готовящих новую бойню. Надо в первую очередь разрешить спорные международные вопросы, создающие наибольшую угрозу миру: преградить путь западногерманскому милитаризму, не только запретить испытания ядерного оружия, но и поставить вне закона это оружие, провести всеобщее и полное разоружение. Средства борьбы против ядерного оружия есть, они реальны и доступны.

Но в той части книги, где Казенс пытается ответить на вопрос, как избежать войны, проявляется его основная слабость. Автор искренне обеспокоен судьбами человечества. Но в поисках альтернативы безумию, Казенс исходит из идеалистических, субъективистских представлений о международных отношениях, которые и заводят его в тупик. Ему кажется, что война — нечто стихийное, неизбежное, связанное с самой природой людей, склонных с детских лет к ссорам и дракам. С этой меркой он подходит и к государствам — независимо от их общественного строя и классовой сущности, они якобы склонны к войнам...

Казенс возвращается к своей излюбленной идее создания мирового правительства через Организацию объединенных наций. В книге «Кто выступает за человека» он писал: «Мировое правительство неизбежно потому, что мир стал единым и сильным и существует средство и стремление к созданию такого правительства».

Нынешний мир, считает Казенс,— это царство анархии, где отсутствует международный закон и нет эффективного международного права, способного защитить человека. И для того, чтобы устранить источник войн, по мнению автора, страны должны отказаться от того, что он называет «абсолютным суверенитетом». Стереть границы, установить единые законы (социалистические или капиталистические? Скорее, последние.— *А. Б.*), и все будет решено, выход найден, войны исчезнут сами собой.

Эта утопическая, реакционная идея «мирового правительства» не нова. Одним из авторов проекта Соединенных Штатов Европы на подобной основе был в свое время Уинстон Черчилль. К этой мысли неоднократно возвращались многие буржуазные социологи.

Справедливости ради надо сказать, Норман Казенс не проповедует «Pax Americana», не говорит о руководящей роли США в «мировом правительстве». Но логика развития событий в наши дни не оставляет сомнений, что такое буржуазное правительство превратилось бы сразу же в организацию под контролем Соединенных Штатов Америки.

И не случайно атаки на национальный суверенитет малых стран исходят, как правило, от экспансионистских кругов США. На попрании независимости народов основаны разнообразные американские «планы», «доктрины», «программы помощи» и «пакты» послевоенного времени.

Способы предупреждения войны, предложенные автором книги «Вместо безумия»,— отражение того глубокого идеологического кризиса, который переживает буржуазная интеллигенция Запада. В поисках выхода Казенс вступает в противоречие с теми благородными задачами, во имя которых он борется против ядерной угрозы.

ОБОЗРЕНИЕ ЗАРУБЕЖНОЙ ПРЕССЫ

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ

Иной раз бывает полезно сделать как бы моментальный снимок с литературы целого континента, чтобы затем, исследуя полученную «панораму», хотя бы с приближенной точностью определить явления, находящиеся в центре внимания критики, печати и читателей. Попробуем рассмотреть такой «снимок», на котором отображена сегодняшняя литература стран Латинской Америки.

Вот новая книга виднейшего буржуазного писателя **Аргентины Эдуардо Мальеа — «История одной аргентинской страсти».** Мальеа известен своими реакционными политическими взглядами (в частности, по отношению к Кубе); в области же литературы он выступает как глашатай и проводник идей декаданса. Любопытно хотя бы мельком взглянуть, о чем идет речь в этом произведении, уже отмеченном буржуазной критикой и представляющем, по отзывам той же критики, нечто среднее между обычным романом и философским трактатом.

Как уверяет критик мексиканского журнала **«Куадернос американос»,** книга Мальеа

> «содержит в себе целую теорию, которая... не только способствует пониманию аргентинской действительности, но и охватывает все исторические задачи, стоящие перед человеком Испанской Америки... Книга Мальеа научит этого человека познать самого себя, даст ему конкретную программу действий на каждый день...»

Однако приведенный в статье довольно подробный пересказ содержания этого произведения непреложно свидетельствует о том, что «целая теория» является на деле довольно стандартной попыткой идеализации сельской жизни в плане этакой реакционно-утопической идиллии. По уверению самого Мальеа, его идеалом является некий «внеклассовый» аргентинец — не помещик, но и не крестьянин или гаучо,— который тесно связан с природой, чувствует себя в бескрайней степи-пампе совсем как дома и совершенно свободен от «растлевающего» влияния больших городов. Судя по всему, видеть во всей этой куда как не новой «философии» просто одну из разновидностей неоруссоизма означало бы просто попасться на удочку авторского замысла. Дело здесь куда более сложное. Не случайно среди идеологов, о которых сам Мальеа отзывается с большой симпатией, упоминается имя ультрареакционного философа графа Кайзерлинга, чьи псевдосоциальные мистические идеи были в свое время разоблачены А. М. Горьким. Не случайно также «теория», пропагандируемая в философском романе Мальеа, явно перекликается с теорией «руралиэации» — возврата в деревню,— которую широко пропагандировал итальянский фашизм, тоже боявшийся «растлевающего» влияния больших городов с их индустрией и, следовательно, наличием значительного по численности рабочего населения.

Если последний роман аргентинца Мальеа в общелитературной панораме Латинской Америки привлечет наше внимание как факт со знаком минус, то в **Чили** мы сможем сегодня обнаружить явление, которое, судя по многим признакам, следовало бы отметить знаком плюс Мы говорим о молодом чилийском поэте Эфраине Баркеро. Его творчеству посвятил большую статью в уругвайском еженедельнике **«Марча»** крупный чилийский писатель **Рикардо Латчам.**

Оговоримся: не со всеми утверждениями, содержащимися в статье Латчама, можно согласиться. Тем не менее, как нам представляется, нельзя пройти мимо той характеристики, какую он дает стихам Эфраина Баркеро, называя его «народным поэтом Чили».

> «Социальная поэзия в настоящее время кажется кое-кому исчерпавшей себя, и многие критики уже торопятся с поминками,— пишет Латчам.— Однако социальное в поэзии не умерло: оно возрождается всякий раз, когда появляется настоящий поэт из народа или поэт, постигший его нужды».

Рикардо Латчам считает, что сейчас в Латинской Америке таким поэтом является Эфраин Баркеро.

По мнению автора статьи, стихи Баркеро отличаются простотой и жизненностью со-

держания при строгой пластичности и яркой выразительности формы.

«Баркеро идет по дороге, параллельной дороге Неруды, но и отличной от нее,— читаем мы в статье.— Он вышел непосредственно из народа и обладает собственными чертами, которые недоступны снобам, но которые отличают поэзию во все времена... Он поет песнь надежды и веры в человека, проникнутую оптимизмом и страстью. Те, кто считал свое познание Чили исчерпанным, удивятся, читая Баркеро.

...Имеется определенное различие,— говорится далее,— между Баркеро и другими поэтами, которые, как сказал кто-то, спускаются к народу или снисходят до него. Некоторые при этом теряют направление, перестают понимать, что такое истинная народность. Но Баркеро приближается к биению народного пульса, к изначальному источнику жизненности и оптимизма...»

Остается добавить, что Пабло Неруда также очень высоко оценивает творчество Баркеро. По словам Латчама, после выхода первой книги Баркеро «Камень народа» «он приветствовал молодого поэта как сына народа, представителя крестьянства».

В кубинской газете **«Нотисиас де ой»** помещена беседа с известным **венесуэльским** поэтом **Карлосом Аугусто Леоном,** в которой он кратко обрисовал положение деятелей культуры в этой стране, находящейся под железной пятой американских монополий. В результате тяжелого политического и экономического кризиса, переживаемого страной, «с каждым днем все более углубляется пропасть между народом и правительством; оппозиция самоопределяется и растет». А значит, растет и авторитет компартии Венесуэлы. Тем не менее напряженность положения в стране, террористические методы управления, применяемые властями, тяжело отзываются на состоянии литературы и искусства.

«...Наша литературная и художественная продукция сократилась,— сказал Леон.— К числу положительных фактов последнего времени можно причислить не так давно состоявшийся фестиваль национального театра, где было показано такое произведение, как изумительная политическая сатира Романа Чальбо «Святой и распутник», запрещенная правительством несмотря на то, что она с успехом шла в течение целого месяца.

...Во главе Ассоциации писателей Венесуэлы,— сообщил Леон,— стоит поэт Хосе Рамон Медина, человек демократических убеждений, пользующийся поддержкой прогрессивных писателей В помещении этой Ассоциации сравнительно недавно была организована большая выставка живописи в честь Кубы, в которой приняли участие более семидесяти художников, представляющих самые различные направления»

Важным событием в культурной жизни Венесуэлы явился, по мнению Леона, второй национальный пленум ЦК компартии, в котором самое активное участие приняли деятели культуры и представители интеллигенции. Для участников пленума исполнялись такие произведения, как пьеса Романа Чальбо и «Кантата в честь Чиринос» (Чиринос — негр, герой национально-освободительного движения в Венесуэле).

О своем собственном творчестве Карлос Аугусто Леон сказал:

«Сейчас для художника нет ничего важнее, чем исполнить свой долг человека, гражданина, революционера. Этим я, как всегда, и занимаюсь. За последнее время написал немного... Я надеюсь, что придет еще время, когда можно будет вернуться к творчеству».

Под этими словами могли бы, бесспорно, подписаться и другие прогрессивные писатели Венесуэлы.

Обращение к народу, поиски массового читателя и стремление опереться на него в своем творчестве — вот что сейчас характерно для многих писателей такого поистине «вулканического континента», каким является в наши дни Латинская Америка. По-видимому, именно об этом свидетельствует и любопытный эксперимент, о котором сообщает журнал **«Американас»** в обзоре литературной жизни современной **Колумбии.**

«Шесть авторов, причем ни один из них не завоевал еще подлинной известности, превратились в издателей собственных произведений,— говорится в сообщении.— Латиноамериканским авторам, по крайней мере в начальный период их деятельности, вообще приходится пускаться на разные хитрости. Издательств, готовых открывать новые таланты, не существует».

Так появились на свет божий эти шесть книг, и среди них — роман и повесть, сборник рассказов и трагикомедия. Следует ли, однако, расценить инициативу молодых колумбийских писателей только как хитрость? Вряд ли. Ведь тот же журнал «Американас» не может не отметить:

«Цель всего предприятия состоит в том, чтобы продавать эти шесть книг по частям и вместе с тем по очень невысокой цене и, таким образом, завоевать читателей из народа».

Читатели из народа — такова цель!

Карлос Луис Фальяс, писатель из **Коста-Рики,** находясь на Кубе, выступил с докладом в Национальной библиотеке Гаваны.

«Сегодня народы Латинской Америки,— сказал он,— пишут самую прекрасную из всех книг, книгу своего освобождения от ига империализма. Куба уже написала первую главу этой книги, а остальные народы нашей Америки напишут остальные главы...»

Даже из самого беглого знакомства с положением литературы в странах Латинской

Америки можно убедиться, что слова Карлоса Луиса Фальяса нисколько не расходятся с действительностью, а еще точнее — продиктованы ею!

КАК ДЕЛАЮТСЯ «БОЕВИКИ»

Даже человека, более или менее привыкшего к откровенным оценкам современного и — надо сказать прямо — невеселого положения французской буржуазной литературы, не могло не удивить такое заглавие, появившееся над обзором новинок в **«Фигаро литтерэр»**: «Истории, рассказанные идиотами».

Что дало основание обозревателю этого солидного буржуазного еженедельника **Роберу Кантерсу** выразиться столь непочтительным образом? Вот как он сам это объясняет:

> «Видеть мир глазами поэта или романиста — что может быть банальнее? Но видеть мир глазами идиота — что за тонкое удовольствие! Проникнутое печалью и разочарованием признание Макбета гласит: «Жизнь — сказка в пересказе глупца. Она полна трескучих слов и ничего не значит». Эта фраза и легла в основу литературы».

В тех случаях, когда речь идет о стремлении писателей типа Фолкнера воплотить в своем творчестве «истинный крик горести и разочарования», это еще может дать читателю, по мнению Роберта Кантерса,

> «величественно мрачные и хватающие за душу страницы». Но современная французская литература в своей массе, в своем беллетристическом обличии лишена и этой возможности. Остается только «в недоумении остановиться перед нескончаемыми описаниями мрачных и замкнутых личностей, чье случайное тявканье выдается за вполне законченные образцы мировой скорби».

Возникает вопрос: как чувствует себя читающая публика, очутившись лицом к лицу с подобного рода книгами? Обозреватель «Фигаро литтерэр» полагает, что она чувствует себя весьма неважно:

> «Когда на протяжении множества страниц читателю в подробностях излагают пустопорожние рассуждения глупых людей, невольно хочется себя спросить: а нам-то какое до всего этого дело, нам, не психологам по профессии, к чему все это мрачное выворачивание наизнанку?»

Тем не менее такого рода литература во Франции существует. Ее издают, ее рекламируют. Ее навязывают, ею торгуют и, видимо, далеко не бесприбыльно. «Случайное тявканье или пустопорожние рассуждения глупых людей» кое-где и для кое-кого становятся ходким товаром. О том, каким путем этого добиваются, рассказывает молодой писатель **Франсуа Нурисье** в статье, посвященной «механике» подготовки и присуждения литературных премий. Статья его напечатана в еженедельнике **«Франс обсерватёр»** и полуиронически озаглавлена **«Приход»** (имеется в виду приход новых имен в литературу), причем, слово это взято автором в кавычки, поскольку речь должна идти — как явствует из той же статьи — о процессе проталкивания издателями премированных новинок на литературный рынок.

Статья в «Франс обсерватёр» свидетельствует не только об осведомленности автора, но и о том чувстве настоящей горечи, подспудного возмущения, какое он испытывает.

> «Подлинно художественное произведение не может быть насильно навязано публике,— заявляет он.— Литературная поделка — да. Литературное произведение — нет. Читатели не падают с неба. Их надо удостоиться».

Таков лейтмотив статьи. А содержание ее — в раскрытии деятельности крупнейших буржуазных издательств, которые не только навязывают поделки от литературы читателям, но и пытаются, с помощью рекламы и услужливой критики, выдать их за настоящую литературу. Здесь-то издателям и приходят на помощь всякого рода литературные премии.

Сезон подготовки к присуждению премий длится во Франции примерно полтора месяца — с конца августа и до середины октября (сами премии присуждаются позднее). За это время, сообщает Нурисье, издатели «выстреливают» примерно сто пятьдесят романов, принадлежащих «молодым романистам».

> «К этой категории,— поясняет автор статьи,— относятся все писатели, не лишенные воображения и амбиции, в возрасте от 18 до 60 лет, если они еще не издавали книг вообще или если они не достигли сколько-нибудь широкой известности».

По словам Нурисье, крупный издатель, выпуская в свет к «сезону премий» два-три десятка романов «на авось», участвует в своеобразной лотерее, где на каждую книгу, как на счастливый билет, может выпасть «главный выигрыш». Таковыми считаются премия Гонкуров и премия «Фемина», сразу позволяющие издать удостоенную «лавров» книгу тиражом в 150—200 тысяч экземпляров.

> «В этой осенней горячке, в искусственной рыночной суетне появляется множество поспешно написанных, незрелых произведений»,— констатирует Нурисье.

Вместе с тем наивно было бы предполагать, что крупные издатели, участвующие в ежегодной «литературной лотерее», руководствуются принципом «laisser faire, laisser passer», иначе говоря, сидят сложа перья и руки и покорно ждут результатов присуждения премий. На деле все обстоит сов-

сем не так, о чем тоже говорится в статье. Издатели ведут политику активного вмешательства в литературный процесс. «Любое влиятельное и мощное издательство,— читаем мы в статье,— настойчиво и терпеливо ведет эту тайную борьбу». Сезон присуждения премий, как выражается Нурисье, это «великий период подпольных интриг» Сплошь и рядом издатель стремится включить в состав жюри «возможно большее количество своих друзей, авторов, которые обязаны ему чем-либо или находятся в материальной зависимости от него». Бывают и такие ситуации, когда жюри, считающееся независимым, все же в результате предварительной подготовки, проведенной издательством, относится к его ставленнику, как «хорошо воспитанный дядя или дедушка относится к молодому отпрыску из собственной семьи, едва вступающему в жизнь»

И хотя все то, о чем сообщает Франсуа Нурисье, в общем и целом сейчас не является секретом в литературных и издательских кругах Франции, что-то не слышно голосов протеста против всех этих, мягко говоря, ненормальностей И вот почему:

> «Ведь надо жить, надо уметь выжить,— пишет Нурисье,— и поскольку эта игра принята почти повсеместно, хочешь не хочешь, а она становится правилом поведения. Среди нескольких сот романов, которые сегодня выходят, многие уже изданы и еще будут изданы благодаря фатальности такого рода законов».

Ну, а читатель, спросите вы, как ведет себя читатель во Франции? Неужели он покорно дает водить себя за нос и, послушно принимая все на веру, платит с трудом заработанные новые франки за то, что даже буржуазная критика откровенно именует «литературой идиотов»?

Что думает по данному поводу сам Нурисье? А вот что:

> «Для читателя очередное присуждение премий превращается в своеобразное ограбление со взломом, в ежегодное насилие над его вкусами и его привычками. «Но ведь он может от всего этого отвернуться»,— скажете вы. Конечно же, это верно, но, с другой стороны, как может читатель отважиться взять под сомнение всю *совокупность* средств информации, которая питает его всякого рода сплетнями, держит его в постоянном напряжении, в состоянии смехотворной и неотвязной неосведомленности? И примирение со всем этим особенно легко простить, поскольку оно происходит неосознанно».

Откровенная и весьма реалистическая картина быта и нравов современной литературной Франции, нарисованная в статье Нурисье, помогает, в частности, понять, каким путем «истории, рассказанные идиотами», превращаются в книги, рекламируются издательствами и находят своих читателей, причем нередко — в большом количестве.

Выход? Автор заканчивает свою статью полуироническим замечанием-советом: можно на протяжении всего «сезона премий» во Франции намеренно и сознательно вести разговор о литературе так, как если бы «все происходило на Венере».

Но такого рода «выход», как нам кажется, может быть продиктован только сознанием безвыходности создавшегося положения. А в то, что оно безвыходно, судя по его статье, не очень верит и сам Франсуа Нурисье.

ПРОБЛЕМЫ МАСТЕРСТВА И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА В КИТАЕ

Литературная общественность Китая, писатели страны уделяют сейчас немало внимания проблеме художественного мастерства, необходимости повысить уровень профессиональной культуры литераторов. Популярная китайская поговорка гласит: «Сердца людей столь же различны, как неодинаковы их лица». И ни один писатель не может стать подлинным «сердцеведом», если он не овладеет в совершенстве всем арсеналом средств художественного, эстетического, а следовательно, и социально-психологического воздействия на читателя.

В ходе обсуждения проблемы мастерства в целом на первом плане оказался вопрос о путях развития китайской литературы, национальной по форме и социалистической по содержанию. В связи с этим журнал **«Чайниз литерачер»** поместил беседу с известным китайским романистом **Лян Бинем**, чьи книги сегодня весьма популярны в стране.

> «Вопрос о литературе, национальной по форме, меня самого всегда очень интересовал,— сказал Лян Бинь.— Чем больше развивается наша литература, социалистическая по содержанию, тем острее встает вопрос о ее формах и жанрах».

Одним из важнейших компонентов любого художественного произведения Лян Бинь считает его язык: без умения писать ярким, красочным, выразительным языком нельзя, по мнению Лян Биня, вообще создать подлинно национальное по форме художественное произведение.

> «Язык романа или повести должен быть поистине народным. Если герои не говорят языком народных масс — простым, живым, сочным и колоритным,— значит, произведение не будет читаться с интересом, и о высоких литературных достоинствах романа не может быть и речи».

Известен афоризм: «Человек — это стиль» Не менее верно будет, однако, утверждать, что и писатель — это стиль. Касаясь, так

сказать, шлифовки собственного стиля и обогащения языка, Лян Бинь пишет:

> «Я обращаю серьезное внимание на изучение современного языка и языка наших предков. Я часто бываю на заводах, фабриках, шахтах и рудниках, где беседую с рабочими, узнаю, что их волнует, какими радостями они живут, какие заботы их тревожат. Естественно, что живое общение с массами помогает мне постигать народный язык, характерные его особенности. Именно на этом языке я и пишу свои произведения о жизни рабочих и крестьян. Что же касается классики, то я и ее не забываю. У меня есть отдельный блокнот, куда я записываю множество старинных выражений, интересных афоризмов, сравнений, которые не утратили своей силы и своего значения и в наши дни».

Вместе с тем, когда речь заходит о языке и стиле, следует всегда помнить, что эти важные вопросы не могут решаться обособленно, вне связи, в частности, и с жанром литературного произведения, вне зависимости — и это, конечно, главное — от его идейной направленности. Вот почему Лян Бинь совершенно справедливо подчеркивает, что стиль произведения, язык его персонажей определяются «в процессе познания жизни писателем, в наблюдении трудовой практики рабочих и крестьян, ученых и солдат».

В несколько ином аспекте той же проблеме художественного мастерства посвящена коллективная **статья членов гуандунского филиала Союза китайских писателей**, напечатанная в журнале **«Веньи бао»** под заглавием **«Против упрощенчества»**. Авторы статьи в первую очередь останавливаются на таких понятиях, как «типичность» и «схожесть».

> «Зачастую в произведениях китайских писателей,— говорится в статье,— вместо типических характеров, рожденных самой жизнью и проверенных различными обстоятельствами, появляются герои, которые далеко не отражают многообразия и сложности нашей действительности. Такие герои не типичны, а лишь похожи на своих прототипов, по ним нельзя равняться, хотя некоторые критики и призывают к этому.
>
> ...Основной закон литературы социалистического реализма,— читаем мы в той же статье,— состоит в том, чтобы показывать героев такими, какими они бывают в жизни, и в то же время не копировать их, а синтезировать в художественной форме все их положительные и отрицательные качества».

Многие критики, говорится далее в статье,

> «ссылаются на то, что писатель, создавая свое произведение, должен придерживаться строго установленных различными социальными науками взглядов на классовую борьбу, на закономерности развития социалистического общества... Бесспорно, социальные науки об обществе содержат достаточно богатый материал. Но это совсем не означает, что писателя нужно заставлять попросту отражать в творчестве эти теоретические выводы».

По мнению авторов статьи, опубликованной в «Веньи бао», каждый писатель должен считаться с объективными закономерностями жизни. В противном случае он не сможет правдиво отразить жизнь и учесть диалектические закономерности ее развития. Но мастерство писателя, чуткость художника как раз и состоят в том, чтобы на основе своего опыта и своих наблюдений, почерпнутых из самой гущи жизни, правильно отразить эти закономерности, творчески прокомментировать их.

Заканчивая статью, ее авторы призывают деятелей культуры и искусства овладеть в совершенстве художественным мастерством, глубоко изучать жизнь народа и, изображая ее, никогда не упускать из виду законы развития общества и объективные жизненные закономерности. Обращаясь к критике, они призывают ее не подходить упрощенчески к оценке литературных произведений, особенно романов и повестей сложных, требующих глубокого и всестороннего анализа.

> «Упрощенчество,— заключают авторы,— серьезно вредит делу развития художественной прозы, наносит моральный ущерб многим крупным художникам слова».

В Китае говорят: «Изобразив дракона, не забудь нарисовать глаза». Смысл этих слов применительно к творчеству писателя можно сформулировать так: сила воздействия литературы заключается во внимании как к общему, так и к частному. Причем общее и частное следует изображать, в одинаковой мере используя все краски на палитре художника.

О соотношении общего и частного, целого и детали, как и о других проблемах мастерства, высказался видный писатель и драматург **Ся Янь**, выступая на всекитайском совещании работников кино.

> «Немало зрителей считают,— говорит Ся Янь,— что характер героев наших кинокартин все еще зачастую неясен и неярок. Зритель и критика постоянно указывают на узость сюжетов в наших фильмах».

По мнению драматурга, все это объясняется узостью жизненного кругозора писателей, недостаточно высоким уровнем их мастерства. В результате — даже при верной идейной направленности — нередко выходят на экран фильмы, слабые по своему художественному качеству.

> «Нам предстоит и впредь писать о социалистической революции, о построе-

нии социализма, о новых людях и делах нашей современности... Поэтому мы должны преисполниться решимости еще лучше изучать человека для того, чтобы сделать более многообразным наше художественное творчество, повысить его качество» — заключает Ся Янь.

Из всего сказанного можно сделать по меньшей мере один бесспорный вывод: проблемы мастерства и художественного уровня литературы поставлены сейчас в Китае на повестку дня как неотложные.

КРАХ ОДНОЙ ИДИЛЛИИ

Гнев, как известно, плохой советчик. А уж если гнев овладевает человеком, который то и дело стремится «превратить карася в поросят»,— где уж тут говорить о трезвой оценке действительности, о возможности глядеть правде и фактам прямо в лицо.

Это лишний раз доказал на страницах английского еженедельника **«Лиснер»**, лейборгана Би-би-си, английский литератор мистер **Фитцгиббон**, опубликовавший передовую статью под выразительным названием **«Тоска и презрение»**. Статья эта являет собой образчик пренебрежительного отношения к современной английской литературе, для пущей убедительности сдобренный дежурными антикоммунистическими выпадами. Вместе с тем она — откровенный, хотя и своеобразный обвинительный акт против английской интеллигенции, которая, если верить Фитцгиббону, прямо-таки с жиру бесится, сама не знает, чего хочет, и платит «старой доброй Англии» черной неблагодарностью.

Мистер Фитцгиббон, выдвигая свои весьма серьезные обвинения, при всем том не хочет быть — упаси боже! — голословным. Одна беда: от гнева и возмущения у него в зобу дыханье спирает. Не удивительно, что все его попытки обрисовать современное положение в Англии в виде этакой олеографической идиллии безнадежно проваливаются. Гнев — налицо, а идиллии не получается. Впрочем если бы темпераментному мистеру Фитцгиббону даже и удалось сохранить ледяное спокойствие,— судьба предпринятой им попытки оказалась бы столь же плачевной.

В поведении современной английской буржуазной интеллигенции, в том числе писателей, художников, композиторов, мистера Фитцгиббона не устраивает очень многое. Но он великодушен и готов не обращать внимания на частности. Ему важно то, что он называет «общим звучанием хора голосов».

> «Задумайтесь на минуту над тем, что вы слышите в этой музыке. Разве это не погребальное пение, панихида или плач по умершим, гнев и даже отчаянье?» — рассерженно и почти возмущенно вопрошает мистер Фитцгиббон.
>
> «...Что вы слышите и видите вокруг,— продолжает автор статьи в «Лиснере»,— на страницах немногих еще существующих журналов, на сцене современных театров, в романах, которые критика приветствует по воскресеньям? Если это музыка надежды, веселья, сочувствия и уважения, иронии и любви — тогда у кого-то из нас поврежден слух. Я слышу тоску и жалобы, отвращение и презрение, жестокость и ненависть, и лишь изредка песню леса или отзвук чудесного царства... Нас уверяют, что Англия страна прогнившая, умирающая, пошлая, унылая и ничтожная; что наша деревня — это трущоба, город—куча мусора... памятник Маммоне; что наши основные чувства — это снобизм, алчность, похоть; что наши избранные лидеры—грубияны; что в будущем нас ждет насильственная смерть или распад — словом, Британии приходит конец!»

Между тем, мистер Фитцгиббон решительно не согласен с такого рода точкой зрения. Он считает, что Англия сегодня — некая разновидность земли обетованной, где «люди совершенно избавились от нищеты» и где у них «много досуга и средств для того, чтобы им наслаждаться». «Любое поколение наших предков назвало бы наше время золотым веком»,— заверяет мистер Фитцгиббон.

Но, как говорится, если все так хорошо, то почему же все так плохо? Если Темза течет медом и млеком, откуда, спрашивается, тоска и жалобы, отвращение, презрение и даже ненависть, о которых доверительно сообщает сам мистер Фитцгиббон?

Во всем этом, видите ли, повинны, оказывается, эти «капризные и жадные интеллигенты», которые жалуются на то, что «они получают мало уважения» и что у них «очень немного истинно высоких целей».

Впрочем, как выясняется из дальнейшего хода мыслей автора статьи, интеллигенты, в том числе и английские писатели, относятся к своей профессии, «как к ремеслу, которое дает им деньги. А получают они мало. Это приводит их в состояние отчаяния, и они, так сказать, отчуждаются от общества».

Позвольте, спросите вы, значит, в счастливой британской Великоаркадии, где давно, как уверяет мистер Фитцгиббон, и начисто покончено с нищетой, есть все же люди, которые «получают мало», и даже настолько мало, что это способно привести их в отчаянье? Вот тебе и райское житье!

На это мистер Фитцгиббон тоже заранее заготовил в своей статье ответ. По его мнению, «интеллигенция в Англии никогда не обладала престижем, не говоря уже о власти...» Такова, по его мнению, первопричина ее «нытья и брюзжания», а также, следовательно, и объяснение того, почему она получает мало уважения и мало денег. Иначе говоря в современной Англии много уважения и много денег получают те, кто обладает престижем и особенно властью. Что и требовалось доказать.

Верно ли, однако, что в стране Диккенса и Дарвина, Шекспира и Бернса, Чаплина и

Оливье, Шоу и Бриттена интеллигенция совершенно не обладает никаким престижем? Не правильнее ли будет предположить, что подлинная английская творческая интеллигенция лишь в глазах мистера Фитцгиббона не пользуется уважением? Если это так, то тем хуже для мистера Фитцгиббона и его — будем надеяться — немногочисленных единомышленников.

Продолжая живописать прелести жизни и быта современной Англии (в том числе и могучую силу телевидения), мистер Фитцгиббон вещает: «Телевидение дает возможность миллионам людей спастись от скуки, этого проклятия тех, кто лишен воображения». С чего бы, однако, в современной и столь рекламируемой мистером Фитцгиббоном Англии миллионы людей обуреваемы скукой и вдобавок поражены отсутствием воображения? На этот невольно возникающий вопрос мистер Фитцгиббон ответа не дает.

Но особенно недоволен он современными английскими драматургами, поскольку те отваживаются в своих пьесах нарушать идиллию, с таким трудом нарисованную мистером Фитцгиббоном. «Их герои обычно отчаявшиеся пролетарии, которые борются с буржуазией». По мнению мистера Фитцгиббона, эти пьесы не привлекают внимания рабочей аудитории. Что касается буржуа, то здесь дело обстоит так: они смотрят подобного рода пьесы всегда с тем же чувством, с каким «наблюдают в зоопарке за гориллой, когда она трясет прутья своей клетки»(!!!).

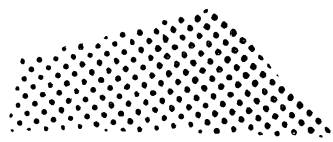
Не станем здесь опровергать эти столь же бестактные, сколь и неверные утверждения ссылкой на подлинный успех драматургии Уэскера и Боулта, Осборна и Делани, причем отнюдь не только в театрах рабочих кварталов: зачем ломиться в открытую дверь? Не лучше ли будет обратить внимание на допущенное мистером Фитцгиббоном образное сравнение «отчаявшегося пролетария» с «гориллой, трясущей прутья своей клетки»! Теперь духовная и политическая физиономия самого мистера Фитцгиббона становится до конца отчетливо ясной.

Впрочем, до конца ли? Было бы непростительным промахом, если бы мы не коснулись здесь взглядов мистера Фитцгиббона на подготовку атомной войны и, следовательно, на борьбу за мир. Мистер Фитцгиббон утверждает, что вся угроза войны и ядерного уничтожения попросту выдумана перепуганными интеллигентами, в том числе теми из писателей, у которых пошаливают нервы. Что касается спокойно проживающих в Великоаркадии настоящих англичан, «не обладающих классовым сознанием», то они, мол, преспокойнейшим образом «продолжают заниматься делами, смотрят телевизор и раздумывают над тем, какую машину купить: «форд» или «остин».

Даже наличие американских атомных баз в Англии и превращение ее в американский авианосец, даже высадка немецких войск на родине м-ра Фитцгиббона не способны помешать ему упрямо твердить, что он «наслаждается миром». Правда, за истекшие шестнадцать лет Англия вела колониальную войну в Корее и ряд, как выражается автор статьи, «малых войн типа Суэца, Кипра и Кении». Но и это не должно нарушать сконструированную мистером Фитцгиббоном консервативную идиллию, хотя каждая из упомянутых им войн стоила жизни немалому числу англичан и могла превратиться в пожар большой войны. Как тут не вспомнить «девиз» человека из подполья, описанного Достоевским: пусть весь мир провалится, а я чай пить буду!

Нет, не сходятся концы с концами у мистера Фитцгиббона — Мальбрук, собравшийся в поход против «брюзжащей интеллигенции», не стяжал себе лавров! Нарисованная им идиллия, что называется, трещит по всем швам.

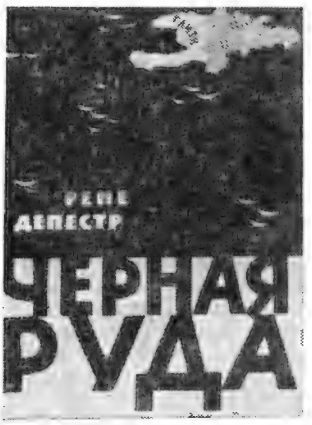
И чем больше старается мистер Фитцгиббон приукрасить современную Англию, тем сильнее овладевает вами ощущение того, о чем сказано еще у Шекспира: не ладно что-то в королевстве датском!



ИЗДАНО В СССР

ПОЭЗИЯ ГОРЕЧИ И НАДЕЖДЫ

Рене Депестр. Черная руда. Стихи. Перевод с французского и послесловие Павла Антокольского. Москва, Издательство иностранной литературы, 1961. 66 стр.



Вот парень, сын
израненной страны,
В ненастный вечер
середины века
Является к вам
с юношеским солнцем.
В его поэме будущее
ваше.
Откройте окна и
услышьте голос.
Откройте двери, пусть
войдет весна,
Придвинет стул и сядет
за столом...

Так с подкупающей прямотой обращается к своим читателям молодой гаитянский поэт Рене Депестр, чье открытое, жизнерадостно улыбающееся лицо смотрит на нас с фронтисписа сборника его стихов «Черная руда».

Удивительным дружелюбием, доверчивостью, юношеским задором дышит это лицо. Однако за плечами молодого поэта и работа в подполье, и тюремное заключение, и несколько лет вынужденной разлуки с родиной. А за плечами его поэзии — вся многострадальная судьба гаитянского народа. Населенная потомками вывезенных с африканского континента рабов, эта маленькая островная страна — бывшая французская колония и первая в истории негритянская республика, добившаяся независимости еще в 1804 году,— изведала за полтора столетия всю вопиющую несправедливость беспощадного экономического порабощения.

Поэзия горечи и надежды... Пожалуй, именно так лучше всего определить эмоциональный мир этих стихов. Рене Депестр — поэт исключительно яркого, образного мышления, пылкого темперамента, находящего выход в стремительной смене самых неожиданных метафор:

Эти люди хотят, чтобы
сердце в рубцах от бича
Превратилось в мясистые губы и пело
их песни.
Чтобы я целовал этот
факел, пока он не
сжег
Черный ром моей жизни,
хотят, чтобы шея моя
В ожиданье повешенья
вплетала в веревку
цветы...

Буйной тропической зарослью кажутся эти стихи, чьи причудливые образы, словно гибкие лианы, перекидываются из строки в строку. Но корни зарослей глубоко уходят в горькие пласты памяти, в незабытые и непрошеные унижения и муки, которые и по сей день терпят соплеменники поэта по обе стороны океана.

Но в том-то и сила Депестра, что он ни на мгновенье не отрывается от вскормившей его почвы, и как бы горьки ни были ее соки, для него они все равно животворны:

Так получил я слово от
лица
Всех сотен тысяч
осужденных на смерть.
Так я сбираю жатву всех
сокровищ
В глубинных недрах
памяти моей.

С большим теплом и сочувствием пишет Рене Депестр о простых тружениках — гаитянских крестьянах и рыбаках. Он предоставляет слово крестьянину Манюэлю, чтобы тот сам поведал о своей судьбе. И этот незатейливый, печальный рассказ наполняет горьким и трепетным ощущением жизни весь обобщенный образ маленькой беззастенчиво ограбленной страны:

О Родина в лохмотьях,
негритянка
С повязкой на глазах,
с ядром чугунным,
Привязанным к ногам...

Но поэт видит не только горести и нищету, он видит и силу народа. И в этом —

источник его надежды, его гордости за свою родину, которая никогда не примирится с положением «независимой» рабыни:

Ты в наручниках. Ты на коленях.
Но в распахнутом пламени черных очей твоих
Вновь трепещет и блещет зеленая роща свободы.

Иногда Рене Депестра можно упрекнуть в некоторой отвлеченности образов, как, например, в стихотворении «Свобода рассказывает свою жизнь» Чем конкретней, тем человечней его стихи. И даже, на первый взгляд, нарочито усложненное стихотворение «Кинематограф негритенка», в котором поэт распутывает тончайшие нити своих самых неуловимых и прихотливых детских воспоминаний, проникнуто удивительной нежностью и теплотой

...Мне вспоминается ослепительное, жгучее утро, густо-синяя полоса моря, наплывающий берег в растрепанных пальмах и железных жирафах портовых кранов, торчащие над темными купами листвы белые термитники отелей и контор — пестрая, захватывающая панорама Дакара.

А слева по борту — невзрачный, горбатый, ныряющий в белых гребнях прибрежных волн островок, название которого звучит зловеще, как будто перекликаясь с русским словом «горе»: Горэ—«остров слез». Недоброй славою овеян этот бесплодный скалистый островок. Несколько веков служил он опорным пунктом для хищников-работорговцев. До сих пор сохранились здесь остатки старинной крепости, мощенная грубыми камнями площадь невольничьего рынка да развалины казематов, где некогда томились черные невольники в ожидании отправки к далеким берегам рабства.

Услыхала земля, как вгрызаются сверла
В плоть и кровь моей расы,
В мускулистые залежи черной породы.
Миновали столетья, и длится и длится добыча
Чернокожих этих сокровищ.

Так говорит Рене Депестр о незабываемой трагедии своего народа.

Не случайно вспомнились мне африканские берега, когда я читал эти стихи. Даже теперь, давно породнившись с землей своего изгнания, сохраняют потомки черных пленников кровную, глубинную связь со своей древней отчизной.

Чем был бы ты без Африки далекой?
Стволом древесным, вырванным с корнями...

И это не просто чувство родства: сегодня оно помножено на сознание общности борьбы, на революционную солидарность. Как о своем собственном горе, повествует поэт о «павших на поле правды» — о жестоко подавленной забастовке шахтеров Нигерии, как о заветной надежде, страстно пророчествует он о солнечном будущем пробужденного Черного Континента:

...ты изумишь грядущее гуденьем
своих рабочих ульев,
будет день — и миллионами
изжаждавшихся рук
своих ты вылепишь свободу на
гончарном круге
африканских полдней.

В сознании поэта судьбы его соплеменников на обоих побережьях Атлантики неразделимы. Ибо это — та часть человечества, развитие которой в продолжение веков насильственно сдерживалось белыми «цивилизаторами»; тот гигантский, еще почти не початый людской резерв, который лишь теперь по-настоящему приходит в движение и скоро обогатит человечество расцветом новой культуры; та «черная руда», из которой теперь в раскаленном тигле борьбы выплавляется новая сила, сметающая последние устои колониального рабства:

Никто не осмелится дула направить и золото сыпать
На расплавленный паводок черного гнева!

В мрачный музей превратился островок Горэ, вдоль и поперек общелканный фотокамерами бесчисленных туристов. Старомодные литографии прошлого столетия, на которых косматые, звероподобные работорговцы замахиваются длинными бичами на коленопреклоненных черных невольников, сейчас перепечатываются многими западными журналами: и они, мол, с возмущением вспоминают о «чрезмерной жестокости» тех, кто положил когда-то начало «освоению» Африки. Но, увы, до сих пор еще не стал восковой куклой кунсткамеры уродливый тип современного расиста.

Об этом лютом враге своего народа Рене Депестр говорит сухо и отрывисто, словно стиснув зубы от ненависти Его определения становятся краткими, почти деловитыми, как диагноз опасной болезни Тридцать строк его баллады «Ночь линчевателя» — словно отточенные дротики, с размаху вонзенные в живучую «белую змею расизма» Взор поэта ясно различает и новую, недавно возникшую на земле разновидность двуногих хищников — атомных маньяков, замахнувшихся на все человечество. В дни, когда «довольно искры, чтобы дотла сгорело наше завтра», Рене Депестр с предельной остротой осознает призвание поэта. «Стих, твое место в уличной толпе»,— повелевает он своей поэзии. «Чему служить, как не защите жизни?» — вопрошает он свою совесть. «Стань тамтамом, зовущим в атаку»,— обращается он к своему сердцу. Поэт не склонен преуменьшать грозящей миру опасности, и все же он верит в конечную победу добра и разума:

И кажется, одним слепорожденным
Не виден отсвет завтрашнего полдня,
Когда уран на службу жизни выйдет
И, зелень мира музыкой наполнив,
Свое богатство человек увидит.

Свежо и впечатляюще звучат стихи Рене Депестра в переводе П. Антокольского. А перевод этого небольшого сборника был отнюдь не простой задачей Пестрая, прихотливая, зачастую держащаяся на отдален-

ных ассоциативных связях образная ткань, широкий диапазон интонаций — то ораторских, то по-будничному разговорных, многообразие ритмов — от четкого рифмованного стиха до ритмизованной прозы — все это требовало от переводчика исключительной гибкости, богатого поэтического арсенала. Но чувствуется, что стихи молодого гаитянца пришлись по душе большому мастеру советской поэзии. При всей несхожести их роднит по-юношески пылкое и свежее восприятие жизни, темпераментность образного мышления. Если можно так выразиться, у обоих поэтов оказалась одна группа «поэтической крови», и переливание ее дало отличный результат.

Я назвал творчество Рене Депестра поэзией горечи и надежды. Именно такой предстает она в наиболее характерных стихах этого сборника. Их напряженные, порою нарочито противоречивые образы как бы воспроизводят муки мятущегося сознания, ищущего путь к надежде. И поэт находит этот путь. Не в расплывчатых обещаниях буржуазного гуманизма, а в самой конкретной и действенной, единственно бесспорной истине нашей эпохи:

Но вот вчера
в вечерний час,
Усталый от своей
собачьей жизни,
Я встретил Ленина.
. . . . . : :
Я говорю: Товарищ
Ленин!
Я говорю, что предстоит
борьба
С тюремщиками
древними моими
На жизнь и на смерть.

Сегодня мы видим Рене Депестра в рядах строителей новой Кубы; поэт посвящает свою жизнь и поэзию борьбе за то,

Чтоб завтра
человечество сияло
Счастливой дружбой,
Чтоб завтра забродило
по вселенной
Людского братства
красное вино.

СЕРГЕЙ СЕВЕРЦЕВ

НЕЛЬЗЯ УНИЧТОЖИТЬ...

Анна Зегерс. Транзит. Перевод с немецкого Л. Лунгиной. Предисловие Л. Копелева. Москва. Гослитиздат, 1961. 278 стр.

Ужасы фашизма... Написано об этом много. Подчас с потрясающей силой. Омерзительный облик «коричневой чумы» воссоздан в художественных произведениях, дневниках, письмах, документах.

Казалось бы, посвященный периоду вторжения фашистов во Францию и опубликованный у нас в 1961 году роман Анны Зегерс «Транзит» едва ли внесет нечто новое в эту кровавотраурную летопись.

Однако писательнице такого яркого и проникновенного дарования, как Анна Зегерс, удалось раскрыть новые стороны, обнаружить новые грани человеческих бед и страданий в черные годы фашистского нашествия.

Уже само название романа «Транзит» говорит о его содержании. Речь идет о беглецах, о беженцах, которые пытаются спасти себя от гестаповского режима, перебравшись в далекие от фашистских полчищ края.

Из оккупированной Франции, через последний, еще «свободный», марсельский порт рвутся в Мексику, Америку, Португалию, Африку, Кубу самые разнообразные люди. Среди них и немцы-антифашисты, и вольнолюбивые французы, и испанцы-антифашисты, и чехи, поляки, евреи... Смешение национальностей, возрастов, профессий.

Перед лицом смертельной опасности все эти люди охвачены «манией бегства». Их треплет «транзитная» лихорадка, они в отчаянной погоне за спасительными визами.

С зоркостью большого художника, с впечатляющим реализмом автор «Транзита» раскрывает необычную картину жизни и быта этих «бегущих в никуда» людей.

Вот тысячи и тысячи беженцев, изнемогающих от лишений, бездомности и страха, осаждают здание иностранного консульства: лишь бы добиться выезда, лишь бы оторваться от опасной земли...

Судьба, жизнь каждого из них в руках равнодушных, подчас откровенно скучающих чиновников, многие из которых умышленно чинят препятствия, многие корыстны...

Один из них, зевая прямо в искаженные отчаянием лица, меланхолично ковыряет карандашом в ухе; другой из трагического зрелища человеческой борьбы за жизнь извлекает нечто вроде забавы. А у письменных столов, где восседают чиновники, так и шныряют

их помощницы — «очкастые дьяволицы... вытаскивая лапками с красными полированными коготками бесчисленные досье».

Такими яркими, выразительными штрихами рисует писательница своеобразный бюрократически бездумный мирок властителей виз. Таков и оригинальный фон повествования, которое ведется от лица главного героя романа, молодого немца Зайдлера, бежавшего во Францию из немецкого концлагеря.

Страшен и быт беженцев. До отказа набитые гостиницы — неотапливаемые, загрязненные,— жизнь впроголодь, давящее одиночество и постоянная опасность доноса. Ведь и эта маленькая часть Франции свободна лишь относительно...

Творческой манере Зегерс чужды сентиментальность, желание подсластить, приукрасить действительность. Писательница показывает всю разномастность, всю пестроту человеческого потока. Порой зарисовки ее гротескны. Запоминается крикливо одетая, молодящаяся особа, которой выдают визу на въезд в США только потому, что богатая американская чета поручила ей доставить двух породистых псов. Жалок старичок дирижер, потерявший всех своих близких, но маниакально рвущийся за океан, лишь бы там еще раз «помахать своей палочкой».

Тем отчетливей, ярче выступают в романе фигуры истинных борцов с фашизмом, таких, как немецкий коммунист Гейнц, чудом бежавший из концлагеря. Гейнцу приходилось особенно трудно. Он инвалид, потерял ногу, воюя с франкистами в Испании. Но стойкость, бодрость, своеобразный мужественный юмор не оставляют его даже в самые тяжелые минуты.

В романе Гейнцу отведено не так уж много места, но *идейное* значение его велико. Всем своим моральным обликом и поведением Гейнц влияет на Зайдлера. Еще неустоявшийся «средний» человек, в прошлом скромный радиотехник, Зайдлер, по собственному его признанию, до конца не осилил ни одной книги и, как он говорит, мог бы быть «не слишком мужественным и не слишком слабым». Но это по-своему честный, искренний человек. В фашистский концлагерь он попадает лишь потому, что «не мог равнодушно глядеть на свинство». А смелый побег во Францию Зайдлер совершает, полагая, что «если уж суждено подохнуть, то лучше, чтобы это случилось не за колючей проволокой». Но ближе узнав таких людей, как Гейнц, Зайдлер приходит к бесповоротной и уже глубоко осознанной борьбе с фашизмом. Писательница убедительно показывает, как этап за этапом в этом, по ее замыслу *«среднем»*, человеке рождается человек *настоящий*. В последний момент Зайдлер отказывается от билета на спасительный корабль.

Народ Франции, честные труженики этой прекрасной земли, такие как Мишель, Жорж, члены семейства Биннке, — вот вновь обретенная им родина.

«Я хочу делить со своими друзьями и радость и горе, подвергаться вместе с ними преследованиям и искать убежища. А как только патриоты организуют сопротивление, мы с Мишелем возьмем в руки винтовки. И даже если меня убьют, я думаю, им не удастся меня уничтожить... когда истечешь кровью на земле, которая стала для тебя родной, ты не можешь исчезнуть бесследно». Такова новая жизненная позиция Зайдлера.

Символично, что корабль, от билета на который он отказался, погибает.

Весь роман приводит читателя к мысли— фашизму не удалось сломить, уничтожить силы народные... И как блистательно подтвердила это сама жизнь!

Сравнительно небольшая, но чрезвычайно емкая книга А. Зегерс, своеобразие которой хорошо раскрыто в предисловии Л. Копелева,— многогранна и, если можно так выразиться, многоцветна. Мы видим на ее страницах и искрящуюся синь моря у марсельской набережной, и «красные, полированные коготки» канцелярских дьяволиц.

Вместе с измученным беглецом Зайдлером мы радуемся наконец приютившим его «узеньким уличкам» Марселя, где «уже сгустились сумерки, и от этого еще ярче пылали багрянцем и золотом фрукты на лотках. Я услышал аромат, которого прежде никогда не знал. Я искал глазами фрукт, от которого он исходил, но так и не нашел».

Зайдлер «не нашел» источник чуть экзотического аромата марсельских базаров, но чудесный запах доходит до читателя и волнует его.

Зегерс заставляет думать и чувствовать вместе с героем, повторяем, художественные средства ее богаты и разнообразны. Краткие, но яркие описания природы юга Франции сменяются близкими к карикатуре острыми зарисовками, а романтическая, неразделенная любовь Зайдлера, тонко выписанная в «Транзите», придает произведению лирическое звучание.

Роман читается с неослабевающим интересом еще и потому, что писательнице удалось сочетать острую психологическую наблюдательность с динамическим, почти кинематографически развертывающимся сюжетом.

Но при этом, конечно, не «приключенческая» — если можно приложить этот термин к роману Зегерс — сторона «Транзита» оставляет глубокий след в сознании читателя.

Книга писательницы-коммунистки заставляет нас еще раз с гневом и отвращением заглянуть в звериное лицо фашизма и с любовью и благодарностью вспомнить о всех тех, кто, не щадя своей жизни, вступил в смертный бой с коричневым чудовищем и одержал над ним величайшую историческую победу.

ВАЛЕРИЯ ГЕРАСИМОВА

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ ПУ СУН-ЛИНА

Пу Сун-лин. Новеллы. Перевод с китайского П. Устина и А. Файнгара под редакцией Л. Позднеевой. Предисловие П. Устина. Москва, Гослитиздат, 1961. 383 стр.

Три столетия назад великий рассказчик Китая Пу Сун-лин создал книгу «Рассказы о необычайном». За свою долгую жизнь (1640—1715) он написал множество прозаических произведений, стихов, собирал народные песни и анекдоты. Но славен и велик Пу Сун-лин именно благодаря «Рассказам о необычайном». В предисловии к своему сборнику он писал «...я любил и собирал волшебные сказки... Каждый раз, услышав такую сказку, я записывал ее и позднее использовал этот материал, когда работал над своими новеллами. Кроме того, в течение долгого времени мои друзья посылали мне из различных мест страны записи сказок, таким образом моя коллекция все время пополнялась».

Ни один китайский прозаик не знает такого разнообразия форм короткого рассказа, как Пу Сун-лин: иногда это сказка или легенда, иногда притча или прибаутка, иногда пересказ древней истории или новеллы.

Пу Сун-лин — знаток народного творчества, более того, влюбленный в него «чудак»: ведь устная литература народа (повествовательная) испокон веков считалась достоянием неграмотных мужиков, лодочников, рыбаков. Вместе с тем великий рассказчик до мельчайших деталей — едва ли не наизусть — знал все, что было создано до него мастерами новеллы.

В свое время некоторые литературоведы буржуазного толка — как китайские, так и западноевропейские,— считали Пу Сун-лина только эпигоном, который ничем не обогатил китайскую литературу. Конечно, это неверное и предвзятое истолкование творчества писателя. Виртуозные парафразы Пу Сун-лина на темы древних авторов (в заимствовании тем он не стеснялся) могут привести в смущение лишь унылых педантов. Ведь никому из современных литературоведов не придет в голову причислять к эпигонам Пушкина, Байрона, Блока за их гениальные вариации на тему о Дон Жуане.

Новеллу Пу Сун-лина не спутаешь с новеллой другого автора. И хотя язык писателя чрезвычайно сложен, тем не менее произведения его были притягательны для людей самых разных званий и сословий. Многие рассказы Пу Сун-лина вошли в репертуар народных рассказчиков — шошуды и донесены ими до наших дней. Несколько лет назад скончался знаменитый шошуды Чэнь Ши-хэ, который всю жизнь посвятил популяризации творчества Пу Сун-лина.

Персонажи новелл Пу Сун-лина — порой самые фантастические и неожиданные: лисы-оборотни, монахи-волшебники, небожители и привидения, звери и птицы, гады и насекомые, цветы — прекрасные и ядовитые. Рядом с ними легко уживаются и существуют персонажи самые земные — торгаши и чиновники, мужики и высокопоставленные правители, солдаты и ученые мужи, молодые парни разных сословий и прелестные женщины и многие другие обитатели подлунного мира.

Новеллы Пу Сун-лина откровенно назидательны. Некоторые из них имеют своеобразное заключение, в нем писатель раскрывает свое отношение к рассказанному, поучает читателя.

Изучению творчества Пу Сун-лина и переводу его новелл у нас в стране много сил отдал покойный академик В. М. Алексеев. Он перевел и снабдил подробнейшим комментарием около ста пятидесяти новелл.

В сборник новелл Пу Сун-лина, выпущенный Гослитиздатом, вошли произведения, еще не появлявшиеся на русском языке.

Перевод выполнен молодыми китаистами П. Устиным и А. Файнгаром. Заслуживает похвалы дерзость молодых людей, не убоявшихся головоломных текстов мудрого и ехидного старца. Смелый выбор предполагает и обостренное чувство ответственности за эту трудную, но увлекательную работу.

Перевод новелл Пу Сун-лина — первая серьезная работа П. Устина, и хотя в целом она заслуживает положительной оценки, нельзя не сказать о многочисленных языковых, стилистических огрехах, неточностях и ошибках. Не могут украсить перевод древнего текста такие выражения, как «работал в области образования», «жаркий костер заменял освещение», «одним духом осушал десять больших чар», «резко подпрыгнул», «как воркуют утка с селезнем» и т. п.

Переводчику (и редактору Л. Позднеевой) следовало бы знать, что слово «одолжить» означает «дать взаймы», а не взять в долг; что в старинном китайском тексте неуместны выражения «поехал в область», «капитал», «экипаж», «гетера», «чиновник особых поручений», «стакан воды» и многое другое. Иногда переводчик щеголяет словами, которые мало кому ведомы (например, многим ли известно слово «геоманты»?).

Переводы А. Файнгара представляются более профессиональными. В них гораздо реже можно встретить неловкие выражения, не-

точные слова, корявые фразы.

Есть в переводах и пропуски, нигде к тому же не оговоренные.

Пространное предисловие, написанное П. Устиным, содержит слишком много пересказов новелл. Трудно согласиться с оценкой авторских заключений, которая дается в нем. Концовки у Пу Сун-лина начинаются обязательными словами «Рассказчик этой небылицы добавит...», и П. Устин утверждает: «Такой фразой он как бы отрицает и собственное авторство и серьезное значение рассказов, подает их как досужую выдумку. Эта концовка, сходная с русской «Сказка вся, больше врать нельзя», придает многим произведениям иронический оттенок». Подобная точка зрения неверна, в чем легко убедиться, перечитав то послесловие Пу Сун-лина на стр. 116, в котором автор, не прибегая ни к какому эзоповскому языку, называет вещи своими именами.

Неудачно и сравнение с приведенной выше концовкой русских сказок. Здесь была бы более уместна другая параллель: «Сказка — ложь, да в ней намек, добрым молодцам — урок»

Удивительно, что в большом предисловии нашлась только одна фраза, в которой говорится о трудах академика В. М. Алексеева, ученого с мировым именем. Василий Михайлович Алексеев многие годы своей жизни посвятил изучению творчества Пу Сун-лина и переводу его произведений.

Хорошо, что к сборнику новелл Пу Сун-лина приложен портрет писателя, написанный его современником, известным художником Чжу Сян-линем и недавно найденный. Пу Сун-лин изображен в возрасте 74 лет. Жаль только, что в книге об этом ничего не сказано.

В целом же сборник удачно оформлен художником Л. Сушилиным.

А. ТИШКОВ

СОКРОВИЩНИЦА СКАЗОК

Аура Поку. Мифы, сказки, легенды, басни, пословицы и загадки народа бауле. Собраны д-ром Г. Химмельхебером в этнографической экспедиции на Берег Слоновой Кости. Перевод с немецкого Г. Пермякова. Редакция и предисловие Д. Ольдерогге. Москва, Издательство восточной литературы, 1960. 247 стр.

Книга «Аура Поку» знакомит читателя с фольклором народа бауле, населяющего одно из государств Западной Африки, ныне независимую республику Берег Слоновой Кости.

Бауле живут в стране легендарной царицы Ауры Поку — стране необыкновенной красоты. В южной части — первобытные леса, перевитые исполинскими лианами, а в междуречье Нзи и Бандамы — живописная саванна.

Бауле большие мастера песни и танца и славятся богато развитым поэтическим творчеством Вся их домашняя утварь украшена тонким орнаментом.

Богатый фольклорный материал, вошедший в эту книгу, собран известным исследователем Африки, этнографом и искусствоведом Химмельхебером.

У африканских сказок совершенно другие мотивы, другие приемы композиции, чем у сказок европейских народов. Главенствующая роль принадлежит здесь сказкам о животных, за которыми скрываются, как вообще во всех сказках,— люди, их отношения.

Но если у народов Юго-Западной Африки, бушменов, сказки по своей форме напоминают скорее басни или мифы и главным действующим лицом в них чаще всего выступает кузнечик, а в животном эпосе, скажем, готтентотского фольклора мы встречаем могучего, но глупого льва и коварного шакала, то у бауле героем сказок является паук — аллегория маленького человека, слабого, некрасивого, даже уродливого, но необычайно мудрого и смышленого.

Первый цикл сборника «Аура Поку» — мифы и сказки о Ньямье, боге неба, его жене Асии и его брате Анангаме.

Другой цикл составляют сказки о пауке Ндиа Кендеуа, его жене Мо Акору и отце паука Агбафри.

Много общего у этих сказок со сказаниями о хитрой лисоньке у европейских народов. Основой их сюжетной линии является победа разума над грубой силой.

Сказки «Как паук прогнал леопарда в лес», «Хитрость надо применять умеючи» и другие рассказывают, как маленький паук превосходит своим разумом гиену и легко справляется с леопардом.

Полна юмора сказка о сороконожке, которая торговала ногами и, не сумев распродать свой товар, вынуждена была взять себе все сорок ног. Сколько фантазии, тончайшего лиризма в сказке — жемчужине народной мудрости — «Как двое возлюбленных испытывали друг друга»

Велико художественное достоинство представленных в сборнике сказок. Они разнообразны, поэтичны. Исторические предания, собранные здесь, ценны многочисленными подробностями, которые помогают читателю познать историю этого высокоодаренного народа Интересны пословицы бауле. Вот некоторые из них: «Легок груз, если его несут другие», «Бревно, хоть и попадает в реку, все равно не станет крокодилом». «Газель, даже когда она пьяна, чует леопарда».

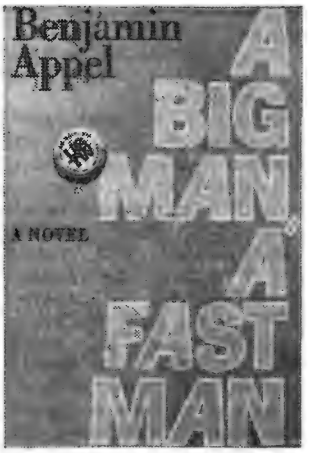
Душевностью, лиризмом, подлинно фольклорным юмором полон сборник «Аура Поку», показывающий нам одну из страниц древней культуры африканских народов.

В. ДИКОВСКАЯ

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

ИСПОВЕДЬ УИЛЬЯМА ЛЛОЙДА

Benjamin Appel. A Big Man, a Fast Man. New York, William Morrow and Company, 1961.



Глава одного из крупнейших в США профсоюзных объединений Уильям Ллойд обращается в рекламное агентство. Этому предшествовали два трагических эпизода: у себя на квартире был убит вице-председатель профсоюза Джим Тукер и почти сейчас же после этого покончил с собой прежний его председатель Арт Кинселл. Всем ясно, что убийство одного и самоубийство другого тесно связаны между собой — руководству профсоюза предстоял отчет в Вашингтоне перед специальной комиссией по расследованию дел, касающихся злоупотреблений. Джим Тукер был назначен выступать на этом следствии как свидетель со стороны профсоюза. А он был известен не только как человек неподкупной честности, но и как непримиримый противник Кинселла.

Продажный политикан Кинселл захватил в свои цепкие руки не только кассу профсоюза, которой он и его клика распоряжались, как хотели. С его помощью честный человек, попадая в эту атмосферу, либо развращался и продавался, либо вышвыривался вон. Тукера же не удалось ни подкупить, ни запугать. От него ждали страшных разоблачений. И Кинселл с сообщниками послали к нему наемных убийц. После убийства Кинселл увидел, что очутился во власти шантажистов,— нервы не выдержали...

Причастность Ллойда к делу Тукера—Кинселла очевидна: ведь он во всем был заодно с Кинселлом, был посвящен в его тайны. И хотя в судебных инстанциях Ллойду удалось оправдаться, на его дотоле безупречную репутацию брошена тень. Поэтому-то Уильям Ллойд и обратился в специальное рекламное посредническое агентство. Ему нечего скрывать, заявляет Ллойд, он хочет, чтобы все факты, связанные с делом Тукера—Кинселла, вся его жизнь были преданы широкой гласности.

Уполномоченный рекламного агентства намечает программу записей рассказа Ллойда о себе. Включается магнитофон. Уильям Ллойд приступает к своему жизнеописанию... Так начинается новый роман американского писателя Бенджамена Аппела «Большой человек, большой ловкач».*

Роман написан в форме распадающегося на ряд частей монолога героя. Каждая глава — это отдельный «сеанс» записи его рассказа на магнитофоне, после чего следуют докладные записки шефу агента, «работающего» с Ллойдом,— своего рода ремарки к драме героя. Монолог Уильяма Ллойда — на первый взгляд, совершенно беспорядочные обрывки его истории, лихорадочно-бессвязные, хронологически непоследовательные. Это, так сказать, еще сырые заготовки, материал, из которого затем опытные руки ловко выкроят сценарий-боевик для телевидения, бойко написанные статьи с броскими заголовками, книгу-бестеллер. Писатель же, избирая такую форму повествования, словно бы подчеркивает свое пренебрежение дешевыми эффектами этих жанров.

С точки зрения рекламного агентства, материал, данный Уильямом Ллойдом, коммерчески беспроигрышен: здесь и история с элементами детектива, здесь и разоблачения коррупции в правых профсоюзах — вопрос, давно наболевший в США и волнующий многих. Сенсация, таким образом, обеспечена. И коррупция, царящая в атмосфере бизнес-юнионизма, действительно разоблачается в книге Аппела зло, беспощадно. Но главная тема романа все-таки сложней и лежит гораздо глубже.

Уильям Ллойд — лицо во многом типичное в системе сегодняшнего профсоюзного движения США, фигура по-своему драматическая. Б. Аппел расследует в романе своем не «дело Ллойда», для выяснения которого достаточно простого уточнения ряда фактов и обстоятельств, а «проблему Ллойда». Для этого же нужно заглянуть в самую душу героя, в ее глубины.

...Все началось около полувека назад, когда в шахтерском городке Шенненду, в шахтерской семье Ллойдов родился мальчик, которого впоследствии, когда он вырос, звали чаще всего «дружище Билл», «молодчина Билл», «Билл— душа нараспашку». После страшной гибели отца во время обвала в шахте мать Билла мечтала лишь об одном — только бы сын не стал шахтером. Он

* Рецензию на роман Б. Аппела «Крепость среди рисовых полей» (Москва, Издательство иностранной литературы, 1961 г.) см. в «Иностранной литературе» № 6, 1961 г.

стал сталеваром. Этот грубоватый, резкий парень был нежным сыном, прекрасным товарищем. Он вступил в профсоюз, быстро выдвинулся благодаря своей энергии, хватке, в нем раскрылся талантливый организатор. Перед Ллойдом лежал трудный, но благородный путь великой борьбы пролетариата. Он вступил на этот путь без сомнений, готовый на самопожертвование.

И вот через двадцать с лишним лет перед нами уверенный в себе, выхоленный, хотя и порядком потрепанный жизнью человек. Внушительность его облика с первого взгляда поразила даже видавшего виды агента рекламного бюро, привыкшего одинаково равнодушно смотреть на кинозвезд и миллионеров, генералов и знаменитых преступников, на государственных мужей, на плутов и чудаков, правдоискателей и всякого рода шарлатанов. И этот человек, Билл Ллойд, говорит, говорит, говорит...

Рассказывая о себе, он то хитрит, то путает, то начинает позировать, то вдруг старается перещеголять в цинизме своего интервьюера, то «играет на обаяние», то, обозлившись, грубит или упрямо отказывается отвечать на вопросы. Но во всей этой пестрой смене тонов и регистров беседы все ощутимей нарастает внутренняя тревога, растерянность Билла Ллойда.

Автор мастерски использовал одно свойство своего героя: Билл — прирожденный и к тому же очень опытный оратор, с большим полемическим темпераментом, он привык к широкой, бурно реагирующей на его речь аудитории. А здесь, перед вежливо слушающим и бесстрастно задающим вопросы агентом, ему не с кем спорить. И чем подробней Билл рассказывает о себе, тем глубже, помимо воли, он вынужден заглядывать в глубь своей жизни, самого себя. Поэтому он и сам не заметил, как после неудачных попыток втянуть в спор своего «режиссера» начал спорить с самим собой И вот монолог перерастает в монодраму.

У американских шахтеров есть свой памятный «день Джонни Митчелла», посвященный памяти основателя первого в США шахтерского профсоюза. В дни горячей молодости Билл мечтал, что со временем будет и «день Билла Ллойда». При всем честолюбии Билла мечта эта была чиста. В бурные тридцатые годы он выдвинулся как один из лучших в стране организаторов забастовок. Его имя пестрело в газетных заголовках. И эта слава была тоже чиста, честно заработанная боевая слава пролетарского борца.

Теперь же, оглядываясь на себя, он с горечью видит только преуспевшего в жизни бизнесмена, у которого деньги, дом с длинной анфиладой обставленных модной шведской мебелью комнат и многое другое. Но дом пуст. Одиноко бродит по комнатам жена. Ллойд часто напивается, тяжело, мрачно, с людьми, которых не любит и не уважает, с женщинами, которые потом вспоминаются, как дурной сон. Он умеет бравировать этим — «мужчина есть мужчина!» — и зло вышучивать свои похождения. Но этого ли он хотел от жизни и этого ли мог бы добиться? Лучше и не задумываться.

Рассказ Ллойда спланирован рекламным агентством по пунктам, ставшим классическими для американского «паблисити»: ваш путь к успеху (побольше подробностей), ваши принципы (в самых общих чертах), женщины в вашей жизни (как можно больше подробностей). Но, говоря о себе, Билл Ллойд, сам того не замечая, ломает эту схему, невольно стараясь нащупать основной «нерв» своей жизни, своей драмы. Положение, которого он достиг, рабочему в Америке достичь более чем трудно. Так почему же это оказалось все-таки проще и легче, чем стать вторым Джонни Митчеллом, героем *своего класса?*

Ллойд — не простак, знает жизнь и сам кого хочешь обведет вокруг пальца Его, старого пикетчика, не запугаешь, и его не запутаешь в сложных лабиринтах американского тред-юнионизма, где он знает все ходы и выходы. А если его попытаться подкупить, то он швырнет деньги в лицо. И все-таки он сбился с пути и мало-помалу, незаметно для себя, продался. Как же это случилось?

Уже в конце тридцатых годов, во времена кризиса и жарких схваток, Ллойд из боевых линий рабочих пикетов попал в правление огромного профсоюза, во главе которого стоял Арт Кинселл. Отсюда, утверждает Ллойд, и началось его падение.

Мечта стать вторым Джонни Митчеллом уже в молодости сливалась в душе Ллойда со стремлением преуспеть в жизни. Когда же тридцатые годы отшумели, Билл решил, что боевые времена прошли и пора подумать о карьере. И с той поры вера только в свою звезду заменила ему прежнюю веру в себя и товарищей, в себя и свой класс. Он все так же остро чувствовал нужды своего класса, его трудности, но в его способность *победить* — уже не верил. И поэтому Ллойд так легко поверил в миф о наступлении «классовой гармонии» в капиталистической Америке. Ллойд превратился из бойца в парламентера, из парламентера в участника сделок с врагом за спиной товарищей по классу.

Нет, Билл Ллойд не поглупел, и эта пресловутая «классовая гармония» не нравилась ему. Не случайно воплощением ее для Билла становится консультант профсоюза адвокат Шейфер, которого сам он называет «штрейкбрехером в шелковых перчатках». Но, видимо, уж такова жизнь, таковы времена, твердит он себе. При виде «скэба» — штрейкбрехера у Билла попрежнему чешутся руки, но над его совестью уже довлеет формула — бизнес есть бизнес. Может ли он при этом протестовать, боротьс

ся, когда видит, что его профсоюз стал уже не пролетарской организацией, а чисто буржуазным предприятием большого масштаба, своего рода трестом, «делающим деньги» на посредничестве между трудом и капиталом?

Таков закат Билла Ллойда. И он уже не думает спасать старого друга Джима Тукера, когда того собрались убрать: Джим стал опасен и для него самого...

Драма Билла Ллойда потрясла даже цинически равнодушного ко всему на свете агента, «режиссирующего» записи этой исповеди, и в конце своей последней докладной записки шефу тот вместо обычного для него чисто делового и гаерски бездумного замечания неожиданно пишет: «Почему это так всегда — когда мы молоды, то и Америка у нас другая?» Но на этот вопрос Билл Ллойд по существу уже ответил — от молодости человек сохраняет только то, чему остается верен до конца.

В. НЕДЕЛИН

ГОРОСКОП ДЖ. Б. ПРИСТЛИ

J. B. Priestley. Saturn over the Water. London, Heinemann, 1961.

Джон Бойнтон Пристли считает себя прежде всего мастером динамичного сюжета, прежде всего рассказчиком. С этим трудно не согласиться. Мы помним мастерски «закрученные» пьесы Пристли. Мы читали его увлекательные романы, где действие и вправду динамично и держит читателя в постоянном напряжении.

В одном из своих недавних интервью корреспонденту английского журнала «Букс энд букмен» Пристли заметил, что всегда рассматривал увлекательный сюжет как средство раскрытия определенной идеи, прежде всего идеи социальной. Что ж, и это верно. Достаточно вспомнить книги Пристли, написанные в годы войны, антифашистские по духу, рассказывающие о том, как боролся английский народ за победу над гитлеризмом.

Итак, гуманная идея, мастерски раскрытая в сюжете,— видимо, это и есть идеал, к которому, как считает Пристли, он по меньшей мере приблизился в своем новом романе «Сатурн над водами». О том, насколько это верно, мы и хотим поговорить.

«Сатурн над водами» по своему жанру — детективный роман. Впрочем, будем справедливы: определение «детективный» настолько скомпрометировано кровавокриминальными «творениями» американца Микки Спиллейна и ему подобных, что мы ощущаем известную неловкость, употребляя его в связи с книгой серьезного писателя. Примем лучше определение самого Пристли — это приключенческий «плутовской» роман; действие его происходит в наши дни.

Английский художник Тим Бедфорд обещает своей смертельно больной родственнице отыскать ее мужа, ученого-физика Джо Фарна, который в свое время согласился работать в научно-исследовательском институте где-то в Латинской Америке и вскоре пропал без вести. До своего исчезновения Фарн успел прислать жене странное письмо с перечнем каких-то фамилий, географических пунктов и с изображением цифры восемь, нависающей над волнистой линией. Этот документ в сочетании с множеством в разной степени убедительных совпадений приводит Бедфорда в США, Перу, а затем в Австралию. По ходу действия он находит пропавшего родственника, встречается с прелестной девушкой и женится на ней, разоблачает международную организацию заговорщиков, задумавших уничтожить человечество с помощью ядерного оружия, и раскрывает смысл таинственной восьмерки над волнистыми водами.

Рассказывая о приключениях Тима Бедфорда, Пристли с присущей ему наблюдательностью и едким сарказмом рисует образы бывших нацистов, изобличает и высмеивает пороки американизированной псевдокультуры: модернистское искусство, рекламу, голливудские супербоевики. Его меткие и запоминающиеся характеристики, остроумная и ироничная манера письма вызывают в памяти публицистические выступления писателя в английской периодической печати, снискавшие ему славу желчного и нелицеприятного критика.

Как будто в новом романе Пристли налицо все компоненты интересного и значительного произведения: важная и актуальная тема плюс занимательный сюжет. Но, к сожалению, так кажется только на первый взгляд. С нашей точки зрения, «Сатурн над водами» — неудача писателя.

Действие в книге строится на том, что герой раскрывает человеконенавистнический заговор реакционных сил, готовящих новую ядерную войну ради завоевания мирового господства. Трудно найти тему более животрепещущую, да еще если за нее берется такой автор, как Пристли, принимающий в послевоенные годы участие в движении за ядерное разоружение. Но чем дальше читаешь, тем больше убеждаешься, что эта тема только трамплин для какой-то иной идеи. Пристли сознательно подменяет реально существующий в жизни конфликт между силами войны и стремлением огромного большинства человечества отстоять мир абстрактным столкновением извечно существующих начал — добра и зла. Доброе начало связано с эмоциями, с иррациональным мышлением, присущим людям искусства, и воплощено в образе анг-

личанина, художника Бедфорда. Злое ассоциируется с бездушным, машинизированным рационалистическим образом мыслей и персонифицировано в заговорщиках, и прежде всего в бывших нацистах. Хотя фон Эммерику и другим отрицательным персонажам приданы реальные черты гитлеровских заправил, они все же остаются не более чем удачно сработанными типажами, ибо мыслят и действуют, не исходя из закономерностей жизни и даже не по законам развития художественных образов в произведении, а по прихоти автора. Их поступки никак не связаны с реальными событиями и конфликтами эпохи, в которую они живут.

Все они — условные фигуры, иллюстрирующие авторскую идею. В качестве такой же абстракции предстает и «советский дипломат» Мельников, неизвестно почему угодивший в компанию заговорщиков. Он никак не действует, а лишь несколько раз мельком упоминается. Тем не менее Пристли ввел его в книгу. Не ветром ли «холодной войны» занесло Мельникова на страницы романа? Не отголосок ли этот персонаж некоторых антисоветских выступлений Пристли?

Итак, центральный конфликт у Пристли — столкновение доброго и злого начал. Но автор не в состоянии решить этот конфликт на материале самого произведения, так как построил его, исходя из надуманных абстрактных схем. И вот в поисках выхода Пристли, писатель-реалист, стоящий обеими ногами на земле, вынужден обратиться к мистике. В качестве греческого «бога из машины» он вводит в роман Старого Астролога. «В миру» это пьянчуга-ирландец, который предсказывает судьбу в ярмарочном балагане в одном из городков Австралии. А в момент экстаза — это титан, раскрывающий перед героями картины будущего. Он разит заговорщиков невидимыми лучами своего интеллекта и тем (на время) предотвращает угрозу атомной войны и решает исход схватки между силами добра и зла. Старик несет еще и «дополнительную нагрузку» — его устами Пристли раскрывает смысл сложной символики романа. Мы узнаем, что восьмерка — это знак Сатурна, а Сатурн над водами — символ господства «элиты», создателей совершенной в техническом отношении, но бездушной цивилизации над обращенным в рабство человечеством. Спасенье, по словам Астролога, следует искать под знаком благожелательного Урана, покровителя гуманных и эмоциональных людей искусства.

Такова идея, ради которой написан роман.

Читатель остается в полном недоумении. Но если все так просто, если силы зла столь нематериальны, зачем же было огород городить? Зачем Пристли активно выступает против ядерного вооружения, призывая к действию целый народ, если достаточно одного старика под знаком Урана... Впрочем, что думает читатель, видимо, не интересует автора. Как сказал сам Пристли, за всю свою жизнь он и пяти минут не думал о читателях и пишет «для собственного удовольствия». На этот раз удовольствие оказалось несколько испорченным, ибо отсутствие ясной и правомерной идеи, почерпнутой из жизни, привело к неудаче и в той сфере, где Пристли считает себя особенно неуязвимым,— к слабости сюжетного построения. Слишком уж много в романе неоправданных совпадений, фантастических спасений, непонятных встреч именно с теми людьми, которых ищет герой. И, наконец, слишком уж выпирают из сюжетной конструкции мистический старик и его приятельница, ясновидящая дама ближнего действия, которая творит мелкие чудеса и помогает героям, вопреки всякому правдоподобию, найти друг друга на ферме, затерявшейся в просторах Австралии. Такого не позволяют себе даже профессиональные мастера пресловутого «худанита», получившего свое название от разговорного английского выражения «whodunit?» — «кто же совершил преступление?»

Вот невеселый итог раздумий над новым романом Пристли. Жаль, что приходится во многом согласиться с автором статьи о Пристли в одном из выпусков литературного приложения к «Таймс»: «...Да, конечно, он мастер рассказывать. Но ему не хватает настоящей заинтересованности в судьбах людей, о которых он рассказывает, и подлинного понимания того, чем они живут».

И. КУЛАКОВСКАЯ

ПАРАДОКСЫ ЭПИГОНСТВА

Jules Romains. Un grand honnête homme. Paris, Flammarion, 1961.

Обыватель смотрит на мир исподлобья. Жизнь — схватка. Все люди — враги. Филистерская ненависть к человеку ищет своего утоления даже в искусстве. А спрос, известно, рождает предложение. Во Франции немало утешителей и развлекателей рантьерской публики. Иные зубоскалят без претензии. Других стесняет скоморошеский наряд. Им хочется и зрителям потрафить и все приличия соблюсти. А для сего удобна

маска реалиста: лик лукавый она прикроет и обяжет поверить голой правде.

Вот Жюль Ромен — ну чем он ныне не Бальзак? Ведь в прошлом, право, их что-то роднило. И отвращение Ромена к буржуазной прозе, порыв к гуманности — в начале века — и его дерзкие новеллы о бастующих пролетариях (сборник «Белое вино из Ля Виллет»), и протестующие песни в эпоху первой мировой войны, и отблеск «Человеческой комедии» на безбрежном полотне «Людей доброй воли».

Но симпатии к фашистской, «сильной» власти в тридцатых годах, бегство за океан в сороковом, чванливое презрение к «человеку с улицы» в 1945 году, исповедание американского стиля жизни в 1960 году преобразили былого апостола «вселенского единодушия». Продолжатель «вырос» в эпигона. Формально повторяя классиков, он пародирует лишь самого себя.

Писал, например, Бальзак о мире куртизанок. Жюль Ромен тоже выпускает четырехтомный цикл о загадочной авантюристке. У Бальзака, помним, прекрасная Эстер — трагическая жертва паучьего мира чудовищных нюсенгенов. Жюль Ромен в своей «эпопее» совершает «новаторский» шаг. Обольстительная мадам Шеврей — ликуйте, мещане! — не кто иная, как тайная «рука Москвы». В ее сетях запутался не один министр и дипломат. Бедняги!

В огромном мире своих героев Бальзак особо выделил врача Бьяншона и поверенного Дервиля, причастных к исповеди души и тела своих клиентов. И у Жюля Ромена в его последней книге «Наипорядочный человек» появился свой поверенный в делах — месье Амбар. Бальзаковский Дервиль поведал немало трагических историй. Месье Амбар — не выдумщик и не фантаст. На суд читателя выносит он достоверные события, случаи из практики. За рассказами Дервиля вырисовывались мощные характеры, просвечивали контуры бесчеловечной системы чистогана, где личность гибла под ударами этой всепожирающей страсти. К каким прозрениям влечет нас повествование Амбара о судьбе порядочного человека?

Сюжет «Наипорядочного человека» по-бальзаковски традиционен: охота за наследством, респектабельный брак, преступление, ценой которого утверждается карьера столичной знаменитости. Роль хищника и честолюбца играет некий Брюньо, врач в Сен-Жерменском предместье. Он женится на провинциалке. Год спустя она внезапно умирает. Завладев наследством покойной, он отправляет ее мать — мадам Ле Гаре — в частную психиатрическую клинику. Брюньо немедля вступает в брак с аристократкой. Но мадам Ле Гаре не без помощи вездесущего Амбара выходит на свободу. Стоит только ей обратиться в полицию — и всплывет дело о таинственной смерти первой жены доктора, насильственном заточении тещи и о грязных махинациях вокруг их богатства.

Какой «разоблачительный» сюжет! Писатель, кажется, и впрямь решил совсем в духе Бальзака вскрыть механику растиньяковского успеха, выведя на чистую воду юного честолюбца двадцатого века, готового любой ценой покорить фешенебельный Париж. Но не торопитесь с выводами. В интригу вмешивается всеведущий Амбар — духовный двойник автора; и действие романа тотчас поворачивает в несколько неожиданное русло. Вот тут-то и обнажилось различие между Амбаром и Дервилем. Точнее, оно достигло своего кульминационного выражения. Дервилю был чужд мир грязных сделок, его симпатии на стороне обиженных. Для Амбара — все друг друга стоят. Он-то и посоветовал истице пойти на попятный — дочь все равно не вернешь, да и само дело-то темное, а именитому ответчику следует раскошелиться. И была заключена сделка. Довольная мадам Ле Гаре с тугой мошной укатила в провинцию, но на этом не успокоилась. Некоторое время спустя доктор Брюньо стал получать анонимные пакеты с газетными вырезками об убийствах и отравлениях. Доведенный до отчаяния, он пожаловался полицейскому комиссару. Страж порядка поделился тревогами с месье Амбаром.

Брюньо, лукаво усмехаясь, молвил тот, конечно, препорядочная сволочь, но и не больше, чем все остальные.

И он написал предостерегающее письмо в провинцию: сделка есть сделка, ее законы нужно уважать.

Наивно думать, что Жюль Ромен сознательно «списывает» у Бальзака. Напротив, он убежден, что и Золя и Бальзак ныне безнадежно устарели, а их идея воссоздания социальных типов давно обветшала. «Я хочу,— декларирует Ромен в книге «Воспоминания и признания писателя» (1958 г.),— совершенно противоположного: яркого изображения частного».

Ну, а если в своем рвении эстетизировать патологию частной жизни буржуа Жюль Ромен повторил старые сюжетные ситуации и создал бледные копии могучих характеров — не его вина. Такова участь эпигонов.

В. БАЛАШОВ

Из путевого альбома

Лондон. У собора святого Павла.

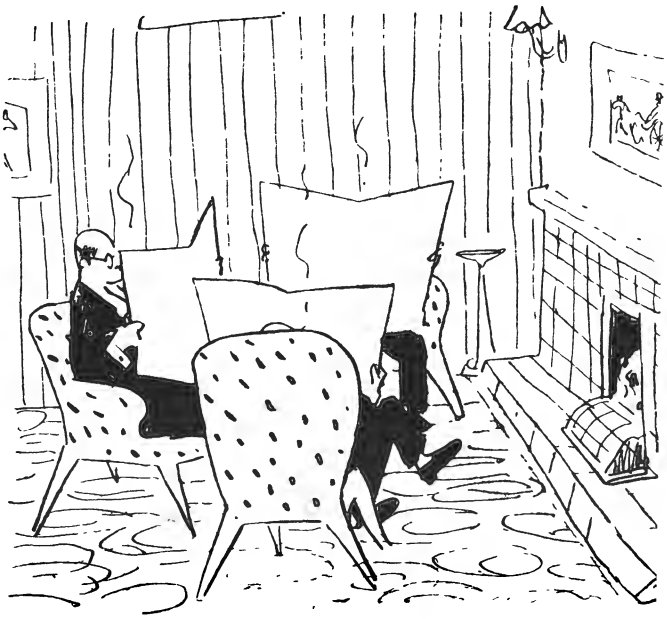
А. КОКОРИН

ПО АНГЛИИ И ШОТЛАНДИИ

Две недели туристской поездки по Англии и Шотландии — это непрерывная смена впечатлений. Многое здесь поражает: и старинная церемония смены караула у Букингемского дворца, и лондонский Ист-энд, рабочий район, безнадежно печальный, унылый и бедный, и Мужской клуб художников в Глазго, куда вход женщинам запрещен, и бесконечные надписи «прайват», из-за которых идущие по шоссе машины не могут никуда свернуть, ибо каждый такой клочок земли, как гласит эта надпись,— частная собственность.

Но о своих впечатлениях художнику проще всего рассказать рисунками, которыми он заполнил свой путевой альбом. Эти рисунки я и предлагаю вниманию читателей.

Бобби — так называют в Англии полицейских.



У камина.

Лондон. Гайд-Парк. Свежая, зеленая трава, вековые деревья, свежий воздух. И все это в самом центре грохочущей, пропахшей бензином громадины.

Дождь. Он не удивляет, потому что знаешь, куда поехал; не раздражает, ибо вся жизнь здесь к нему приспособлена.

центре Эдинбурга.

Уличный музыкант.

Лондон. Сити. В пять часов многотысячная армия клерков спешит домой.

Продавец газет.

Старая леди.

Трафальгар-сквер. Уличный художник рисует на тротуаре.

Шотландия. Длинношерстные шотландские овечки аккуратно расставлены на участках, огороженных камнями, и коровки тоже

Портовый рабочий Глазго.

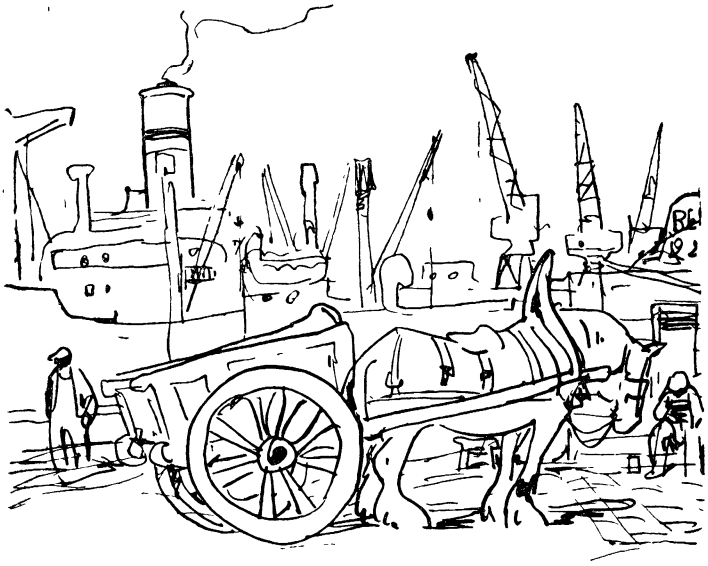
Деревня Аллоуэй В этом домике под соломенной крышей родился великий поэт Шотландии Роберт Бернс.

Эдинбург. На главной улице города.

Глазго. Порт пересекает город. Всюду видны трубы и мачты кораблей.

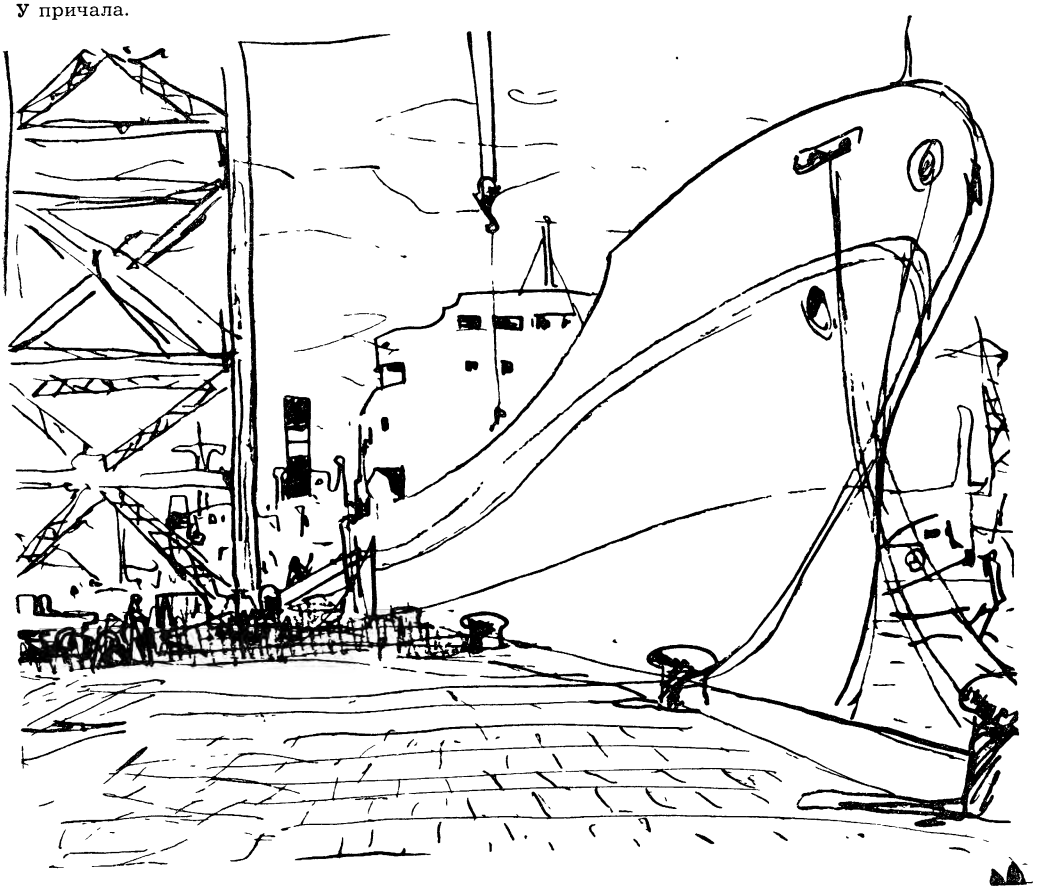
После 55 лет американки становятся заядлыми туристками. В Англии их больше чем нужно.

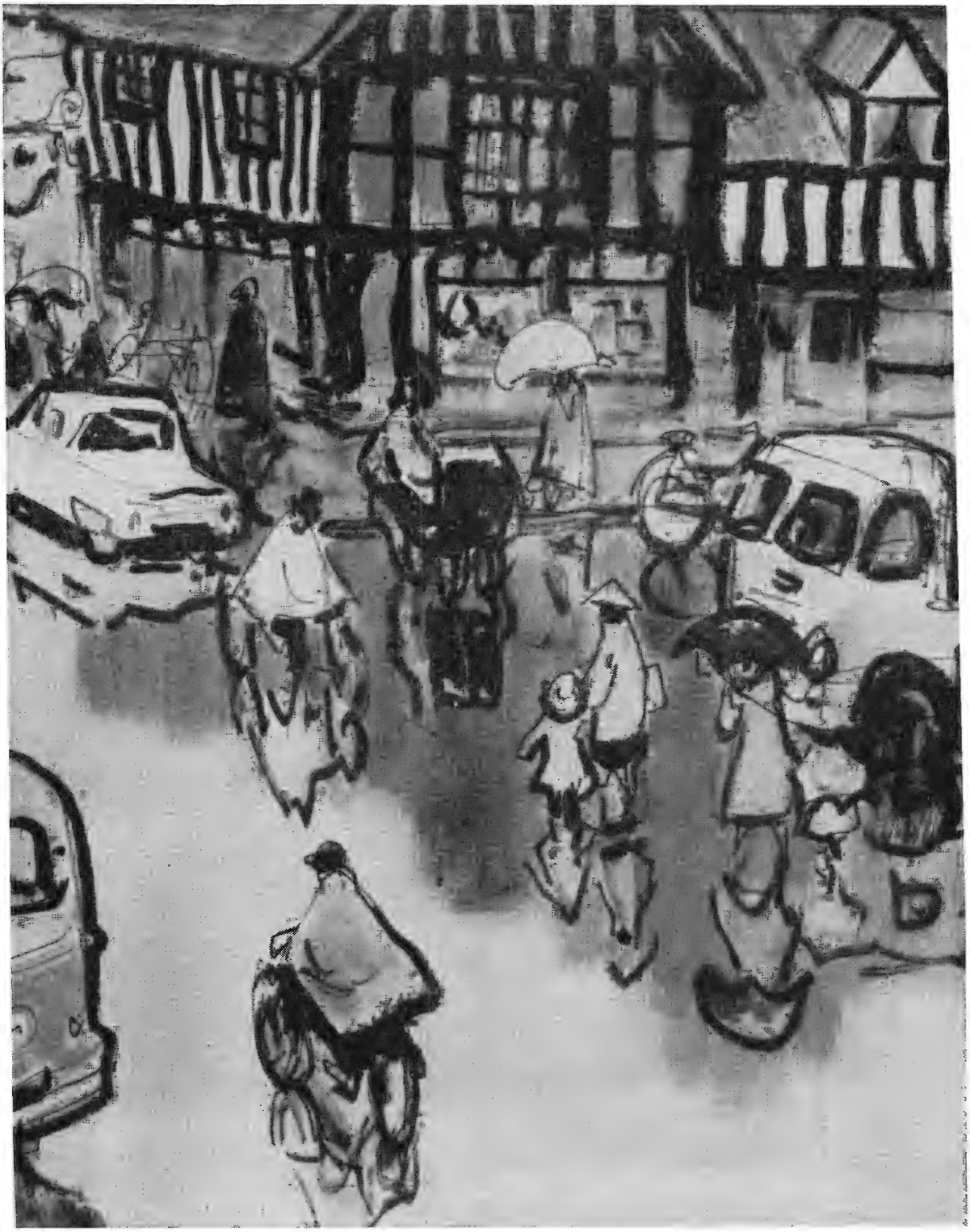
Дорожный рабочий.



В порту Глазго.

У причала.





Стрэдфорд-на-Эйвоне. Родина Шекспира.

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ

Вышедший в английском издательстве «Макмиллан» сборник «Зимние рассказы. О современной России», в который включены произведения М. Шолохова, А. Твардовского, К. Паустовского, Н. Евдокимова, В. Тендрякова и С. Залыгина, положительно оценен критиком лондонского еженедельника «Таймс литерари сапплмент».

«Паустовский, Шолохов и Твардовский,— пишет критик,— еще жили в царской России, что же касается остальных трех, то они являются детьми нового государственного строя в России. Однако одно качество роднит их всех: они отличаются чудесной непосредственностью и отсутствием претенциозности. Это действует освежающим образом на нашего читателя, которому порядком надоели напряженные конвульсии, свойственные многим западным литераторам».

Критик отмечает, что в рассказах советских писателей звучат и юмор, и ирония, и сатира в сочетании с теплотой и человечностью. По его словам, «вряд ли такие произведения могли бы появиться в обществе, не способном подтрунить над своими недостатками и посмеяться над ними».

«В целом,— подчеркивает рецензент,— это исключительно интересный и насыщенный сборник. Редакторы перебросили многообещающий мост в Россию, и мы надеемся, что по нему вскоре пройдут в переводе на английский язык и другие произведения советских писателей».

Болгарский Народный театр имени Кр. Сарафова поставил инсценировку по роману Галины Николаевой «Битва в пути». На снимке: Исполнители главных ролей В. Бахчеваноза и Г. Раданов.

(Журнал «Театр»)

В адрес тех горе-критиков, которые пытаются утверждать, что русская литература после Октябрьской революции якобы «замерла», рецензент «Таймс литерари сапплмент» говорит: «Зимние рассказы» наглядно демонстрируют, что русская литература отнюдь «не кончилась на Чехове».

Сборник вышел под редакцией известных английских писателей Чарлза П. Сноу и Памелы Хэнсфорд Джонсон, которые этим изданием сделали свой первый и важный шаг в деле ознакомления английского читателя с советской литературой.

Стокгольмское издательство «Тиден» выпустило в переводе на шведский язык сборник рассказов Михаила Шолохова под названием «Лазоревая степь».

«Неподкупный реализм, гуманизм, неприкрашенное воспроизведение жизни, огромная сила изображения, лаконизм диалога— вот основные черты этих шолоховских рассказов»,— пишет литературный обозреватель шведской газеты «Ню даг».

В шведском издательстве «Фрёлеенс» вышли в свет роман К. Федина «Первые радости», повесть К. Паустовского «Кара-Бугаз» и повесть Э. Казакевича «Звезда».

Китайский журнал «Шицзе вэньсюе» опубликовал главы из романа украинского писателя Михаила Стельмаха «Кровь людская — не водица». Публикации предшествует введение, в котором охарактеризованы романы Стельмаха «Хлеб и соль», «Большая семья» и другие. «Кровь людская — не водица», по оценке журнала,— «волнующий роман, в котором показаны важные события эпохи».

Рецензент американского журнала «Букс эброд» пишет, что поэма А. Твардовского «За далью—даль» «...несомненно, является наиболее значительным произведением советской литературы со времен второй мировой войны». В статье отмечается монументальный характер поэзии Твардовского, его «замечательный язык, близкий к фольклорному», умение поэта «на незначительных, на первый взгляд, деталях раскрывать очень глубоко характер людей и суть событий».

Откликаясь на выход в парижском издательстве «Жюллиар» в переводе на французский язык романа К. Симонова «Живые и мертвые», литературный обозреватель газеты «Монд» особо подчеркивает суровую правду и патриотизм этого произведения. Напоминая, что писатель сам был на фронте, работал военным корреспондентом, обозреватель отмечает, что в романе встречаются незабываемые образы.

Роман К. Симонова, по сообщению будапештского бюллетеня «Тайекоштато», вышел и в Венгрии. Как отмечает обозреватель бюллетеня, роман представляет интерес для венгерского читателя, правдиво воссоздавая картины первого, особенно трудного периода Отечественной войны.

Сценарий фильма «Броненосец «Потемкин» Сергея Эйзенштейна, как сообщает «Швейцер бух», выпустило швейцарское издательство «Архе» в переводе на немецкий язык Рут Гелингхауз и Ренаты Георги.

Роман Веры Кетлинской «Мужество» в переводе Эрнста Буссе, по сообщению «Дейче националь-библиографи», вышел пятым изданием в берлинском издательстве «Нейес лебен» (ГДР).

«Алые паруса» А. Грина опубликовало западногерманское издательство «Инзель» во Франкфурте-на-Майне.

Западногерманская газета «Дейче фольксцейтунг» напечатала большую рецензию на «Сентиментальный роман» В. Пановой, выпущенный мюнхенским издательством «Ланген-Мюллер».

«До сих пор литературная жизнь в Западной Германии была в известной степени однобокой,— пишет рецензент.— Читателю в изобилии преподносилась американская и английская литература, но он был совсем незнаком с произведениями советских писателей. Сейчас издательства, правда еще очень медленно, начинают издавать советскую литературу».

Автор статьи кратко характеризует творческий путь В. Пановой и опровергает клевету тех западногерманских критиков, которые пытались представить писательницу в ложном свете в связи с тем, что ее роман в Советском Союзе вызвал дискуссию. «Эти критики доказали тем самым абсолютное непонимание как литературной жизни Советского Союза, так и произведения писательницы,— пишет он.— В действительности в книгах Пановой нет ни одной фразы, которая свидетельствовала бы о том, что она в чем-то не приемлет советскую действительность, и ее творчество невозможно представить себе вне социалистического реализма».

Называя В. Панову выдающейся советской писательницей, рецензент отмечает, что выпуск ее романа в ФРГ является большой заслугой издательства. «В мире, разделенном на лагери, которые тем не менее вынуждены жить рядом,— пишет он,— необходимо как можно больше знать друг о друге».

Софийское издательство «Народна култура» выпустило роман Олеся Гончара «Человек и оружие» в переводе на болгарский язык Атанаса Далчева и Емилия Прохаскова. Послесловие к роману написал Д. Добрев.

«Капля росы», повесть В. Солоухина, вышла в мюнхенском издательстве А. Пустет (ФРГ).

Венгерское издательство «Магвете» опубликовало повесть Юрия Бондарева «Последние залпы».

В будапештском журнале «Надьвилаг» напечатана повесть Анатолия Кузнецова «Биение жизни».

Итальянское издательство «Эдитори риунити» выпустило сборник пьес советских драматургов, в который включены «Иркутская история» А. Арбузова, «Друг мой, Колька» А. Хмелика, «Фабричная девчонка» А. Володина и «В поисках радости» В. Розова. Эти произведения уже знакомы итальянцам по телевизионным спектаклям. По сообщению газеты «Унита», все пьесы были отобраны как пользующиеся наибольшим успехом у советского зрителя. На итальянской сцене из этих пьес идет «Иркутская история», поставленная туринским театром «Оффичина».

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ
Хроника

АВСТРИЯ

НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ ПРОФЕССОРА ШРЕЙФОГЛЯ

Недавно австрийские писатели и журналисты собрались в Вене, чтобы обсудить «тяжелое положение свободных писателей в условиях австрийской экономики и налоговой системы».

Доклад на эту печальную для большинства австрийских писателей тему взялся сделать драматург профессор Фридрих Шрейфогль, он же — довольно крупный книготорговец, издатель и член дирекции столичного театра «Бургтеатер».

Конечно, то, о чем говорил обеспеченный книготорговец, пишет корреспондент газеты «Фольксштимме», не было понятно так называемым «свободным» писателям, живущим только литературным трудом и платящим непосильные налоги, в том числе налоги за издание своих произведений.

Предложение Шрейфогля о том, чтобы на «свободных» писателей распространить действие «закона об уменьшенных налогах с изобретателей в области техники», по словам корреспондента, было сочтено по меньшей мере странным, поскольку вопрос о снижении налогов с изобретателей решают экономические органы, а не культурные учреждения. Ссылка докладчика

К 80-летию со дня рождения Стефана Цвейга австрийское общество имени Альберта Швейцера установило мемориальную доску на стене дома в Вене, где родился писатель. Как известно много летняя дружба связывала Стефана Цвейга с выдающимся философом литератором и борцом за мир Альбертом Швейцером

(Газета «Фольксштимме»)

на то, что и в других капиталистических странах писатели не могут прожить лишь одним своим творчеством, также никого не утешила. Упомянув статью из западноберлинского журнала «Цейт», опубликованную под названием «Как сегодня живут писатели?», в которой откровенно сказано, что «без радио не было бы ныне немецкой литературы», профессор Шрейфогль рекомендовал австрийским писателям... заботиться о получении гонораров от радио и телевидения.

«Хороший совет. Но это отнюдь не решение проблемы»,— заключает корреспондент «Фольксштимме».

«ПРИЗРАК СМЕРТИ» НАД ВЕНСКОЙ ОПЕРОЙ

«Еще один призрак смерти над театральным искусством. На этот раз он угрожает «Народной опере» (Фолькс-опер)»,— сообщает газета «Фольксштимме», призывая австрийскую общественность предотвратить разрушение здания театра, воспитавшего плеяду известных всему миру певцов, постановщиков, дирижеров, целых ансамблей. Этот театр посещают самые широкие слои зрителей. Второй оперный театр Вены — «Государственная опера» — рассчитан на богатого зрителя, в нем редко идут национальные оперы и оперетты.

Быть может, «Народная опера» не нужна Вене? Нет, нужна, отвечает газета, это единственный венский театр, в котором сохранено национальное оперное искусство и где для широкого зрителя и в самом лучшем исполнении идут оперетты знаменитых венских композиторов.

«Народная опера» нужна Вене, если она не хочет остаться позади таких крупных музыкальных центров,

как Москва, Париж, Прага, Будапешт, Берлин, в каждом из которых действует по меньшей мере два оперных театра, пишет газета. В Австрии много говорят о культуре с большой буквы, но не расходится ли в данном случае слово с делом?

АНГЛИЯ

РОМАН-ФАНТАЗИЯ ПРИСТЛИ

«Тридцать первое июня»— таково название нового произведения Дж. Б. Пристли, названного «фантазией» в рецензии, опубликованной еженедельником «Таймс литерари сапплмент». Эта «фантазия» по сути является и басней с моралью. Мораль сводится к тому, что в буржуазном мире современный человек — это запуганное и невежественное существо, слабое и психически неуравновешенное, чрезвычайно невыгодно отличающееся от своих здоровых и прямолинейных предков, скажем, времен короля Артура и рыцарей круглого стола.

Каким же образом сравнить современника с предками? Очень просто. Чтобы разобраться во всем этом, надо дождаться 31 июня, и именно в этот день волшебники (!) легко переносят вас ко двору короля Артура или в наше время.

Поэтому и оказался возможным «роман» между нашим современником Сэмом Пэнти, работающим в рекламной фирме «Уоллоуби, Диммок, Пэли энд Тукс», и принцессой Мелисентой, жившей во времена короля Артура.

Используя этот идиллический и романтический фон— историю двух влюбленных, разделенных многими веками, что, однако, не явилось для них препятствием,— Дж. Б. Пристли написал сатирическое произведение на современную тему.

«Все-таки,— заключает рецензент еженедельника,— книга занимательна, и читающий ее будет признателен автору».

«ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ЗАГОРЕЛАСЬ...»

Тема термоядерной войны не впервые поднимается в кинематографии. До сих пор самым сильным произведением в этом плане считался фильм режиссера Крамера «На берегу».

Английские авторы и постановщики фильма «День, когда земля загорелась...» также выбрали тему всеобщей гибели в результате ядерных взрывов чудовищной силы и подали ее в плане научной фантастики.

Фильм начинается со сценки в помещении редакции газеты «Дейли экспресс». Сотрудники редакции обсуждают вопрос, как комментировать для читателя странные и непонятные перемены в погоде. Повсюду — наводнения, жители Британских островов вынуждены переходить улицы вброд, но внезапно все резко изменилось. На небе появляется солнце, температура поднимается все выше и выше, становится все жарче и жарче...

Англия стала тропической страной, Нью-Йорк превращается в какой-то арктический район, Сахара покрылась водой. Что же случилось? Через девушку-телефонистку, работающую на коммутаторе одного из правительственных учреждений, дошлый репортер «Дейли экспресс» Эдвард Джадд случайно узнает причину катастрофы. Под величайшим секретом она рассказывает ему, что как-то подслушала разговор, в котором было упомянуто об одновременном взрыве двух ядерных устройств колоссальной силы, изменившем на одиннадцать градусов направление земной оси и орбиту нашей планеты. Земля, которую «столкнули» с ее оси, теперь мчится по направлению к солнцу, жить нашей планете осталось лишь четыре месяца.

Но что такое мировая катастрофа по сравнению с нравами буржуазной печати? Самое главное — сенсация и... прибыли!

Наступает день, когда в типографии «Дейли экспресс» ждут сигнала, чтобы запустить ротационные машины и напечатать тираж, возможно, последнего номера газеты на земле. Не набрана еще «шапка» для первой полосы. Заготовлено две: «Наша планета обречена!» и «Наша планета спа-

Кадр из фильма «День, когда земля загорелась...». Репортер Эдвард Джадд идет по опустевшей Флит-стрит в Лондоне.

(Газета «Дейли экспресс»)

Английская прогрессивная печать высоко оценила постановку в театре «Юнити» комедии молодого ирландского поэта-сатирика Патрика Гэлвина «И его потянуло». Острая сатирическая комедия — первая пьеса Гэлвина — рисует жизнь трущоб ирландской столицы Дублина. По мнению рецензента «Дейли уоркер», этой пьесой автор поставил себя в один ряд с таким видным драматургом, как Шон О'Кейси. На снимке: Сцена из спектакля.

(Газета «Дейли уоркер»)

сена!» Еще не известно, которую из них редактор потребует поставить.

Премьер-министр, в образе которого достаточно откровенно изображен Макмиллан, пытается сохранить спокойный тон, однако этот тон никого не успокаивает...

Пока владелец «Дейли экспресс» раздумывает над тем, как увеличить... число подписчиков на газету, Лондону уже нечем дышать. Наступает роковой час. Редактор «Дейли экспресс» получает указание от владельца газеты: «Найдите что-нибудь бодрящее для первой полосы...»

«Это волнующий, захватывающий фильм»,— утверждает критик уже не придуманной, а существующей «Дейли экспресс», видимо, польщенный ролью, отведенной в этом фильме его газете. По мнению же обозревателя еженедельника «Обзёрвер», «следует запомнить кое-какие уроки из этого фильма».

БОЛГАРИЯ

ПОСЛАНИЕ ПИСАТЕЛЕЙ ПРЕЗИДЕНТУ США

Болгарские писатели, как сообщает еженедельник «Литературен фронт», вручили посольству США в Софии для передачи президенту США Джону Кеннеди послание, в котором говорится:

«В истории вашей страны, которой Вы руководите и которую называете страной демократии и свободы, совершается страшное покушение на честь и достоинство человека. Репрессии против американских коммунистов не только не имеют никакого морального оправдания, не только грубо отрицают свободу мысли — они заставляют весь цивилизованный мир вернуться на годы назад и вспомнить политику гитлеровцев... Мракобесие всегда выступает сначала против коммунистов. Однако никогда оно не ограничивалось этим. Террору, репрессиям и физическому истреблению подвергались все честные и демократически настроенные люди. Вы делаете сейчас первый шаг по этому незавидному и, как мы уже знаем, злосчастному пути. Это путь гонений на идеи, гонений на всех прогрессивных американцев, борющихся за мир, против ядерной войны, за мирное совместное существование.

Господин президент, Вы не можете не отдавать себе отчета в силе учения, проникшего в сердца и умы людей нашего времени. Не в вашей ли стране девяностотрехлетний всемирно известный ученый и писатель Уильям Дюбуа в дни яростного наступления реакции вступил в коммунистическую партию!

Долг современных политиков — трезво и реалистично оценивать условия, в которых сейчас живет человечество. Эта реалистическая оценка поможет изыскать пути мирного совместного существования. Пусть в мирных творческих делах идеи покажут свою силу, устойчивость и популярность...

Отмените позорный закон против коммунистов!»

По пьесе Камена Зидарова «Царская милость», воссоздающей одну из самых драматичных страниц болгарской истории — царствование Фердинанда Кобургского в период первой мировой войны, снят фильм в Софийской киностудии. В фильме показаны тяжелое положение страны, разложение болгарской царской армии, революционная борьба против ненавистной народу монархии. Основная сюжетная завязка фильма (кадр из которого здесь воспроизводится), поставленного режиссером Стефаном Сырчаджиевым, такова: двуличный царь, известный своим цинизмом, посылает на казнь молодого офицера — сына старой учительницы, когда-то спасшей жизнь Фердинанду.

(Журнал «Филмови новини»)

УДАЧА МОЛОДОГО АВТОРА

В рецензии на две первые книги молодого болгарского писателя Георгия Маркова — сборник рассказов «Между днем и ночью» и сборник новелл «Анкета» — критик еженедельника «Литературен фронт» находит, что их автор «наблюдателен, тонко передает душевные переживания своих героев, его повествование насыщено теплым чувством».

«Обе книги Георгия Маркова,— пишет критик,— содержат зерна доброй надежды. Эти зерна прорастают, питаясь современностью. Той современностью, которая должна быть основной темой нашей литературы и которая является нашей судьбой, мудростью и волнением».

ВЕНГРИЯ

КРЕСТЬЯНИН В СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

В секции прозы Союза венгерских писателей выступил критик и литературовед Деже Тот с докладом «Изображение крестьянства в современной художественной литературе». Обсуждение доклада, в котором были выдвинуты острые вопросы, вылилось в широкую дискуссию.

Деже Тот подчеркнул, что сейчас, когда на глазах меняется жизнь страны, венгерский крестьянин должен по праву занять видное место в художественной литературе. Докладчик много говорил о традициях Жигмонда Морица, о лучшем, передовом наследии «народных писателей». По словам Гота, в литературе еще слабо показан основной конфликт времени — борьба нового и старого, столкновение в жизни старой, собственнической психологии с новым, социалистическим отношением к труду.

Особенно остро стоит вопрос о положительном герое в современном крестьянском романе, отметил докладчик. Задача писателя — показать новый тип крестьянина современной деревни. В жизни он уже есть.

Большое внимание уделил Деже Тот изображению коммунистов, которых партия посылает в деревню с заводов и фабрик, людей, чей характер закалялся в горниле войны против фашизма, стойких и мужественных борцов за все передовое.

Страстно, взволнованно говорили о путях развития современного крестьянского романа выступившие на дискуссии писатели Эрне Урбан, Ласло Эрдеш, Дюла Чак, Шандор Коцкаш, Антал Гидаш, Пал Сабо.

Большие и интересные статьи на эту же тему опубликовали в еженедельнике «Элет иш иродалом» такие мастера крестьянского романа, как Йожеф Дарваш и Петер Вереш.

ПЬЕСА ОБ АТТИЛЕ ЙОЖЕФЕ

Творчество выдающегося венгерского поэта Аттилы Йожефа народ полюбил еще при его жизни. Но идеологи режима Хорти замалчивали имя Йожефа, чья поэзия будила умы, мобилизовывала волю, звала к борьбе. И только после освобождения Венгрии поэзия Йожефа стала настоящим достоянием народа. Перед писателями встала задача воссоздать в литературе образ поэта, рассказать современникам о его замечательной, трудной жизни. Одно из таких произведений — пьеса молодого, талантливого писателя Яноша Гастони «С чистым сердцем», поставленная будапештским театром имени Йокаи.

Сцена из спектакля «С чистым сердцем». В роли поэта Аттилы Йожефа — артист Эмиль Кереш.

(Журнал «Орсаг вилаг»)

«Гастони воссоздает в своей пьесе,— пишет критик журнала «Орсаг вилаг»,— общественную обстановку страны, рисует литературную жизнь 30-х годов и на этом фоне показывает Аттилу Йожефа в период взлета его поэзии, его мыслей и чувств, когда он вступает в коммунистическую партию, которая находилась тогда в подполье, и своим пером клеймит фашистский режим Хорти. Однако этот режим в конце концов сломил поэта...»

В пьесе, по мнению критика, есть недостатки, но искренность, с которой она написана, и образ самого Аттилы Йожефа, талантливо сыгранный в спектакле артистом Эмилем Керешем, привлекает к ней все большее и большее внимание.

ВЕНЕСУЭЛА

НОВЫЙ РОМАН МИГЕЛЯ ОТЕРО СИЛЬВЫ

Вышел в свет новый роман известного венесуэльского писателя Мигеля Отеро Сильвы «Контора № 1».

Этот роман, по сообщению печати, представляет собой как бы продолжение известного советскому читателю романа «Мертвые дома» — трагической истории города Ортиса, население которого вымирает от нищеты и тропических болезней. Действие «Конторы № 1» начинается там же, где закончилось действие предыдущей книги,— на грузовике, увозящем из Ортиса его уцелевших обитателей — девушку Кармен-Росу, ее мать, их старого слугу Олегарио.

Они становятся одними из первых жителей поселка, возникшего в пустынной степи,— здесь работает экспедиция, которая ищет нефть. И вот нефть найдена; поселок стремительно растет, превращается в город, наводненный торговцами, полицейскими, шарлатанами, ворами. Но растет и пролетарское население города; рабочие-нефтяники начинают отстаивать свои права, обостряется борьба, в ходе которой массы выдвигают своих руководителей — таких, как мужественный и неукротимый агитатор Климако Гевара.

Латиноамериканская прогрессивная критика, сочувственно откликнувшаяся на новую книгу Мигеля Отеро Сильвы, отмечает окрепшее реалистическое мастерство писателя и подчеркивает, что финал «Конторы № 1» имеет более оптимистический характер, чем окончание «Мертвых домов». В этом финале явственно слышится голос надежды.

ГАИТИ

ВСПОМИНАЯ ЖАКА РУМЕНА...

Во время своего недавнего пребывания в Бразилии известный кубинский поэт Николас Гильен опубликовал в журнале «Лейтура», выходящем в Рио-де-Жанейро, воспоминания о выдающемся прогрессивном гаитянском писателе Жаке Румене (его роман «Хозяева росы» опубликован в «Иностранной литературе» № 1, 1956).

Николас Гильен подчеркивает большое влияние творчества Жака Румена как на гаитянскую литературу, так и на литературу стран Карибского бассейна. Он особо отмечает тот факт, что Жак Румен, выходец из богатой буржуазной семьи, внук президента республики, отрекся от этого мира, встав на сторону гаитянского народа, эксплуатируемого негра-крестьянина. Жак Румен — писатель - реалист, пишет Гильен, «в стихах

Жак Румен.
(Журнал «Лейтура»)

которого, как и в его романах, господствуют земля и человек, живущий на ней и находящийся в состоянии конфликта не столько с природой, сколько с порабощающим его социальным режимом». Николас Гильен обращает внимание также на то, что Румен был крупным ученым- исследователем в области этнографии. Автор статьи напоминает об участии Жака Румена в антиимпериалистической борьбе во время американской оккупации Гаити, «тогда он занял пост среди виднейших руководителей борьбы, выделяясь своим талантом, твердостью характера, благородным и пылким патриотизмом».

Отметив, что роман «Хозяева росы» в ближайшее время выйдет в испанском переводе на Кубе, Гильен пишет: «В этом произведении Румен достигает высшей точки понимания литературы и искусства как орудия социальной борьбы и выражения человеческих чувств».

Последняя встреча друзей — кубинского поэта и гаитянского писателя — произошла за несколько дней до смерти Румена, в августе 1944 года. Покидая квартиру Гильена, автор «Хозяев росы», находившийся проездом в Гаване, оставил ему рукопись этого только что законченного романа, а также тетрадь со стихами. «Это — твои стихи»,— сказал Румен, пояснив, что он работал над их переводом на французский язык, чтобы издать на Гаити. Однако преждевременная смерть — здоровье Румена было подорвано тюремным заключением — помешала писателю осуществить свои планы.

ГЕРМАНИЯ

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ

Откликаясь на решения XXII съезда КПСС, печать Германской Демократической Республики отмечает особое значение литературы и искусства в решении задач построения в ГДР социалистического общества, в формировании нового человека.

«Для нас, в ГДР,— пишет газета «Берлинер цейтунг»,— борьба за социализм означает и борьбу против германского империализма, угрожающего всему человечеству. Эта почетная задача требует от нас создания большой литературы, большого искусства».

Выступая в Берлине с докладом о значении XXII съезда КПСС, Вилли Бредель сказал, что задача современного писателя состоит в том, чтобы художественными средствами социалистического реализма показать строителя нового общества. Для решения этой проблемы Вилли Бредель не видит другого пути, кроме тесной связи художника с жизнью, с людьми, строящими социализм. В социалистическом реализме, сказал докладчик, «должны идти рука об руку партийность и художественное мастерство».

Людвиг Ренн, опровергая клевету Бонна на прогрессивных немецких писателей, пишет: «Горе писателю, если он не понимает основных черт современной жизни, если он не борется за истинную свободу и прочный мир между народами». По мне-

нию Людвига Ренна, современный писатель в своем творчестве должен руководствоваться великим документом мира и прогресса — новой Программой Коммунистической партии Советского Союза.

По инициативе газеты «Берлинер цейтунг», видные драматурги и театральные деятели ГДР развернули на страницах этой газеты интересную дискуссию на тему: «Берлин и социалистическая драматургия». Цель дискуссии — найти верные пути развития социалистического театрального искусства, сделать его боевым оружием.

ПРЕМИИ ИМЕНИ ГЕНРИХА ГЕЙНЕ

Как сообщает печать ГДР, премии имени Генриха Гейне 1961 года за литературную деятельность удостоены писатель Армин Мюллер и публицист Петер Эдель.

Армин Мюллер известен своими книгами: «Алло, брат из Кракова», «В хижинах надежд», «Черный пепел, белые птицы», «Ты сломаешь себе шею».

Значительное место в творчестве Армина Мюллера занимают стихи и песни, пользующиеся огромной популярностью среди молодежи республики.

Имя Петера Эделя хорошо известно в демократической печати Германии как имя активного антифашиста, брошенного в свое время в концентрационный лагерь за борьбу против нацистского варварства. Его труды по искусству, как отмечает критика, написаны им в боевом духе Гейне.

ОТ АБУША ДО ЦВЕЙГА

«Писатели Германской Демократической Республики» — под таким названием вышел в Лейпциге биобиблиографический справочник.

В справочнике указаны имена и псевдонимы, важнейшие даты жизни, названия произведений писателей, проживающих в ГДР, а также лучшие художественные произведения писателей-эмигрантов, изданные в период 1945—1960 гг.

«У СМЕРТИ ЕСТЬ ЛИЦО»

...За несколько минут до гибели, во время автомобильной катастрофы, ученый, химик доктор Цихи сказал окружающим: «Предупредите людей, что открытое нами вещество «Л» — еще более страшное средство, чем то, которым двадцать лет назад уничтожали миллионы людей в камерах концлагерей». Его словам, однако, не придает значения помощник химика доктор Крамм. И только потом, когда Крамму становится ясным, что заказчики его разработок «безобидного средства против вредителей» — владельцы химического концерна «Байер А. Г.» — преследуют те же цели, что и хозяева гитлеровского рейха, он вспоминает слова своего погибшего учителя и перестает молчать...

Такова фабула нового фильма студии ДЕФА — «У смерти есть лицо», поставленного по сценарию писателя Хорста Беселера. В основе сценария — роман Беселера «Огненный круг».

По оценке критики ГДР, режиссер-постановщик Иоахим Хазлер и автор сценария подняли в этом фильме большую и важную тему.

Кадр из фильма «У смерти есть лицо». Артист Гюнтер Симон в роли доктора Крамма.

(Журнал «Фильмшпигель»)

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИИ

ГОСПОДИН ПРОКУРОР ВЗВОЛНОВАН

Потерял спокойствие господин прокурор областного суда города Мюнхена. Его страшат многие книги и, в частности, роман Вилли Бределя «Улица Розенгоф», написанный еще лет тридцать назад. Эти книги, по умозаключению прокурора, потрясают основы существования боннской власти. Особенно опасными кажутся прокурору такие места в романе, как, например: «Часто квартиры во вновь отстроенных домах месяцами стоят пустыми. И не потому, что рабочие в своих мрачных казармах чувствуют себя прекрасно, а потому, что не находится съемщиков вновь отстроенных квартир...»

Незамедлительно был сфабрикован процесс против книготорговца, продавшего эту книгу, против писателя и против самой книги. Правда, высказанная три десятка лет назад, и сегодня колет глаза. Как сообщается в печати, прокурор потребовал приговорить к шестимесячному тюремному заключению книготорговца и Вилли Бределя. По утверждению прокурора, коммунистическая литература разжигает братоубийственную гражданскую войну между немцами Западной и Восточной Германии.

Сообщая о скандальном решении мюнхенского суда, демократическая печать подчеркивает, что мюнхенский прокурор не желает видеть западногерманские

издания, действительно ведущие враждебную пропаганду против ГДР.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ СЕСТРЫ ФЕЛИКСА КРУЛЯ

Один из персонажей известного романа Томаса Манна «Признания авантюриста Феликса Круля» сестра главного героя обрела новую жизнь на страницах романа Роберта Неймана «Олимпия», посвященного автором Томасу Манну.

«Книга по-своему интересна и заслуживает внимания,— пишет рецензент газеты «Дейче фольксцейтунг»,— ибо ее автор, как отметил в свое время Томас Манн, обладает неповторимым даром изображения комического».

Выход этой книги в свет вызвал скандал. Дочь Томаса Манна обвинила Неймана в плагиате и «во вторжении в творческую сферу» выдающегося писателя.

«ГОРОД БЕЗ ЖАЛОСТИ»

Фильм под таким названием, поставленный западногерманским режиссером Готфридом Рейнгардтом по роману Манфреда Грегора «Приговор», явился обвинительным актом против оккупационных войск США, находящихся в Западной Германии.

...В американском военном суде в Западной Германии разбирается дело четырех солдат армии США, изнасиловавших немецкую девушку (ее роль исполняет актриса Кристин Кауфман). Эта девушка отдыхала со своим другом на берегу реки. Встретив их, американские солдаты нокаутировали юношу и набросились на девушку. Солдаты должны быть приговорены к смертной казни, однако их защитник (в его роли выступает известный американский актер Кирк Дуглас, являющийся и продюсером этого фильма), уверен, что спасет своих подзащитных от суровой кары. По его циничному заявлению газетному репортеру, он рассчитывает «на злобность человеческого ума». И действительно, выступив на суде с оскорбительным разбором частной

Кадр из фильма «Город без жалости»
(Журнал «Филмэ энд филминг»)

жизни девушки и обстоятельств ее изнасилования, защитник добивается замены смертной казни солдатам тюремным заключением. Не выдержав позорной сцены на судебном заседании, травли и грязных сплетен, девушка кончает жизнь самоубийством.

Таково краткое содержание фильма «Город без жалости». Как иронически замечает критик английской газеты «Дейли уоркер», в этом фильме показаны «мягкость и справедливость» американского военного суда, который предпочел спасти четырех негодяев за счет жизни несчастной жертвы.

ИНДИЯ

СВЯТОСЛАВ РЕРИХ ОБ ИНДИЙСКОЙ ЖИВОПИСИ

Журнал «Марч оф Индиа» опубликовал большую статью известного художника Святослава Рериха об индийской живописи.

Отмечая большую трудность изучения индийской живописи, вызванную тем, что большинство картин древних мастеров страны не сохранилось до нашего времени вследствие особых климатических условий страны, С. Рерих обращает внимание на необходимость тщательного изучения творческого наследия, чтобы правильнее понимать современное индийское искусство.

Хотя, по словам Рериха, на современное искусство Индии оказали заметное влияние европейские мастера живописи, однако многие современные индийские художники обогатились, обратившись к народному творчеству. Эти тенденции и влияния, в конечном счете, ведут к новым творческим поискам.

Среди индийских художников, успешно работающих над воплощением в своих произведениях новой тематики, автор статьи называет таких мастеров, как Джамини Рой, Маниши Дэй, Чавда.

По роману популярного бенгальского писатели Бимала Митры «Муж жена и слуга». известный индийский продюсер и актер Гуру Датт поставил кинофильм, в котором он исполняет главную роль. На снимке: Гуру Датт и Вахида Рехман в новом фильме.
(Журнал «Филмфэр»)

Сурьякант Трипатхи Нирала.
(Еженедельник «Нью эйдж»)

ПАМЯТИ КРУПНОГО ПОЭТА

В Аллахабаде скончался один из крупнейших национальных поэтов Индии Сурьякант Трипатхи Нирала. «До конца своих дней он стоял плечо к плечу с народом, и его мощный голос звучал в защиту справедливых требований народа»,— пишет Мунши, литературный критик индийского еженедельника «Нью эйдж».

Нирала посвятил свой талант простым людям Индии. Широко известны его эпические произведения «Тулсидас» и «Молитва о силе Рамы», романы «Алка» и «Козопас», сборники стихотворений «Ловкий сапожник», «Грибы», «Цветение» и многие другие, рассказывающие о полной лишений жизни труженика.

Поэт большого лирического дарования, он много работал над формой стиха, резко выступая против «косной формалистической поэзии». Нирала — признанный родоначальник белого стиха в литературе на хинди. Однако он не останавливался на коренных изменениях поэтической формы. «Поэт считал долгом наполнить свои книги революционным содержанием,— пишет Мунши.— Его сатирические произведения беспощадно бичуют капиталистическое общество... Нирала призывал сельскую бедноту решительно покончить с остатками феодализма и смело бороться за осуществление демократических реформ».

ИСЛАНДИЯ

НОВАЯ ПЬЕСА ХАЛЛДОРА ЛАКСНЕССА

Национальный театр в Рейкьявике поставил новое драматическое произведение Халлдора Лакснесса «Пьеса о печной трубе».

По своей проблематике эта пьеса несколько сходна с известным советским читателям последним романом Лакснесса «Летопись хутора Брекукот» (опубликован в «Иностранной литературе» №№ 4 и 5, 1958). И здесь и там речь идет о подлинном и показном, о настоящих и фальшивых ценностях. «То, что кажется, то и есть на самом деле»,— говорит героиня пьесы, безголосая девица, собирающаяся своим пением покорить Европу. Все, что внешне выглядит благопристойно, оказывается фальшивым,— махинации героини и ее матери, деятельность любовника героини, торгующего тухлой рыбой, уроки учителя пения, который никогда не был певцом.

«Пьеса о печной трубе», как отмечает рецензент газеты «Тьодвильин»,— сложное произведение. Описание людей и событий, имеющих как будто вполне конкретное значение, несет глубоко символический смысл. Эта символика даже не совсем ясна. Высказываются предположения, что героиня пьесы олицетворяет собой Исландию, что в пьесе содержатся намеки на исландское правительство, на военную базу в Кефлавике и т. д. По мнению рецензента, Лакснесс создал едкую сатиру на жизнь современного исландского общества, где царит «ненасытная жажда сомнительных развлечений и быстрой наживы», где в ходу «низкое угодничество перед богатыми иностранцами», а «искусство превратилось в игрушку или источник дохода для наглых спекулянтов».

ВЫСТАВКА КАРТИН ФАРЕРСКИХ ХУДОЖНИКОВ

Язык жителей Фарерских островов, датского владения в Северной Атлантике, близок одновременно и к норвежскому и к исландскому, однако литература и культура фарерцев весьма мало известны на европейском континенте.

Как отмечает исландская печать, большое внимание привлекла к себе выставка картин современных фарерских художников, устроенная в Исландии, к которой издавна тяготеют фарерцы. На выставке было представлено 120 картин, принадлежащих пятнадцати художникам различных направлений. Исландские искусствоведы отмечают, что живопись фарерцев тесно связана с жизнью, все картины отмечены печатью мастерства.

ИСПАНИЯ

В ТИСКАХ ФРАНКИСТСКОЙ ЦЕНЗУРЫ

В последние годы можно было наблюдать возрождение испанской прогрессивной литературы и рост ее влияния на широкие народные массы Испании, пишет Пабло Вивес в парижском еженедельнике «Леттр франсез». И Франко принимает все меры, чтобы помешать этому, чтобы испанскую литературу превратить в орудие правительственной пропаганды или хотя бы «нейтрализовать» писателей. Одно из средств нажима на писателей — литературные премии. Почти все литературные премии контролируются франкистской камарильей. Члены жюри, присуждающего премию «Надаль», «весьма восприимчивы» к

правительственному нажиму. В связи с этим крупным писателям, как, например, Хуану Гойтисоло и Хесусу Фернандесу Сантосу, эта премия не присуждалась, а талантливая писательница Ана Мария Матуте получила ее лишь недавно. Премия «Форментор» была независима: поэтому-то ее хотели упразднить, а роман, удостоенный этой премии, был запрещен цензурой... Крупные писатели Испании, несмотря на нужду, отказываются угождать франкистскому режиму ради получения премии.

Франкистская цензура применяет все более жестокие методы борьбы со свободной мыслью. Уже составлены списки авторов, чьи произведения автоматически запрещаются.

Кадр из фильма «Горбун из Рима».

(Газета «Унита»)

ИТАЛИЯ

«ПОСЛЕДНИЕ СУТКИ ПЕРЕД ВОЙНОЙ»

Молодой прогрессивный театр «Объединенные артисты», поставивший смелую пьесу «Сакко и Ванцетти» (см. «Иностранную литературу» № 4, 1961), готовит постановку антифашистской и антивоенной пьесы «Последние сутки перед войной», написанной Джандоменико Джаньи и Доменико Паолеллой. Эта пьеса, как и «Сакко и Ванцетти», во многом основана на документальном материале. В ней рассказывается о последнем дне перед началом второй мировой войны — гитлеровской провокации на польской границе, вслед за которой последовало нападение фашистских орд на Польшу. Действующие лица — вовлеченная в военную катастрофу немецкая семья и показанные в сатирическом плане Гитлер и его генералы.

Пользуясь разнообразными художественными средствами, авторы пьесы стремятся показать, как бесчеловечность гитлеровских генералов стала одной из главных черт всей фашистской военной машины.

ПРОТЕСТ КИНОРЕЖИССЕРА

Газета «Юманите» опубликовала следующую телеграмму видного итальянского кинорежиссера Карло Лидзани: «Французская цензура учинила расправу над моим фильмом «Горбун из Рима». Были изменены персонажи и самый дух фильма. Прошу Вас оповестить публику о том, что фильм в этой редакции я отказываюсь признать своим и что я обвиняю цензуру в покушении на свободу творчества».

В фильме Лидзани рассказана история молодого итальянца, возмущенного несправедливостью и жестокостью окружающей действительности; он хочет изменить эту действительность, но не может найти правильный путь борьбы. В основу фильма положены фактические события. Действие происходит в последние дни фашистской диктатуры в Италии и в последующий период. Девятнадцатилетний Альваро — герой фильма — во главе группы молодых людей борется против итальянских и германских фашистов, хотя индивидуализм и недисциплинированность мешают ему примкнуть к движению Сопротивления...

На фильм обрушилась цензура — сначала итальянская, потом французская. Во Франции из фильма были вырезаны очень важные эпизоды, в том числе сцена в полиции, где пытают пойманного Альваро.

КИТАЙ

МАСТЕР КОРОТКОГО РАССКАЗА

«Короткие рассказы Сунь Ли трогают за живое и волнуют, как вдохновенная поэма или музыкальное произведение»,— так отзывается о творчестве этого писателя литературовед Хуан Цюнь на страницах журнала «Вэньи бао». Где бы автор этой статьи ни был, с какими бы людьми он ни встречался, повсюду ему, по его словам, казалось, что он сталкивается с героями рассказов Сунь Ли, настолько глубокий след они оставили в его душе. По оценке Хуан Цю-юня, в произведениях Сунь Ли он чувствует какое-то непередаваемое словами очарование, тонкий лиризм, высокую поэтичность.

Некоторые произведения писателя Хуан Цю-юнь сравнивает с ранними рассказами Горького, Чехова, Проспера Мериме. Многие рассказы Сунь Ли посвящены периоду антияпонской и национально-освободительной борьбы. Через сложные драматические коллизии показана жизнь простого народа в грозные военные годы.

«Мы познакомились,— пишет Хуан Цю-юнь,— с ярким и оригинальным художником, который в течение многих лет связан с южнокитайской народностью ли жил и творил в тех местах где происходили большие социальные перемены».

«НИКТО НЕ ОСТАНОВИТ ТЕМП РАЗВИТИЯ КУБИНСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ»

— Социалистический путь развития кубинской революции был неизбежен, «третьего пути» нет,— так заявил в интервью для газеты «Нотисиас де ой» испанский писатель Хуан Гойтисоло, автор многих романов, в том числе известного советскому читателю романа «Прибой» (опубликован в «Иностранной литературе» № 6, 1961). Он добавил: «Этапы развития кубинской революции следуют один за другим, возможно, чересчур быстро, однако другого выхода нет, поскольку сами по себе действия правительства Соединенных Штатов вызывают ускорение этого ритма».

Касаясь возможности новой агрессии американского империализма против Кубы, Хуан Гойтисоло сказал:

— Находясь здесь, на Кубе, я пришел к убеждению, что никто и ничто не остановит темп развития кубинской революции... Соединенные Штаты попали в тупик: они не могут ничего сделать и вместе с тем не могут ничего не делать. Я думаю, что они попытаются спровоцировать «местный» конфликт, используя для этого какого-нибудь латиноамериканского диктатора...

— Борьба в Латинской Америке, начиная с кубинской революции,— продолжал Гойтисоло,— принимает все более острый характер, поскольку Куба дала политическую зарядку массам и в то же время предупредила буржуазию. Куба осветила путь и определила лагери. Американские святоши уже не смогут дальше разглагольствовать о свободе — о той свободе, которая неизвестно какого сорта и для кого... Вашу революцию нельзя было совершить лучше. Это — новое явление в Латинской Америке, и приходится делать выбор: либо на ее стороне, либо против. Ее линия предельно ясна, своеобразна, не фантастична.

Гойтисоло подчеркнул, что «деятели культуры всего мира солидарны с кубинской революцией. На стороне Кубы — все честные люди».

С восхищением испанский писатель отозвался о высоком моральном уровне кубинского народа. Он также отметил, что католическая церковь на Кубе практически не имела возможности развернуть борьбу против революции, потому что у церкви, служившей интересам лишь крупной буржуазии, нет базы в народных массах.

Хуан Гойтисоло, видный представитель «новой волны» в современной испанской литературе, правдиво рассказывающий в своих произведениях о действительности франкистской Испании, посетил Кубу как член жюри III Латиноамериканского литературного конкурса, который проводился кубинским издательством «Каса де лас Америкас».

КУБА — НАДЕЖДА ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ

Крупнейший эквадорский писатель Хорхе Икаса, один из инициаторов созыва в Гаване Конференции народов Америки, проведенной в январе этого года, заявил в беседе с корреспондентом газеты «Нотисиас де ой»:

— Куба, которая показала пример освободительной революции в Латинской Америке нынешнего века, предоставила нам возможность высказать нашу правду, правду латиноамериканских народов в ответ на лицемерную ложь, обман и демагогию США.

Все прогрессивные силы Эквадора испытывают чувство огромной симпатии к кубинской революции. В самом деле, нельзя сдержать волнения, когда где-нибудь среди суровых скал эквадорских Анд слушаешь обитающих там индейцев, которые, конечно, не читают газет, но которые говорят о Фиделе Кастро как о надежде освобождения. Нет никакого сомнения в том, что когда эти индейцы спускаются с гор в поселок, то от священника, от помещика, от воинского начальника они слышат только плохое о далеком кабальеро, Фиделе Кастро,— и вот как раз антипатия эксплуататоров к кубинскому герою помогает эквадорским индейцам разобраться, кто такой Фидель Кастро. Все свои симпатии индейцы отдают ему и кубинской революции. В высшей степени волнительно слышать от нашей бедноты, с какой любовью и надеждой они говорят о том, что и в нашей стране, в Эквадоре, может быть свершена революция по примеру кубинской.

Рисунок кубинского художника Сервандо Кабреры Морено из цикла «Люди Сьерра-Маэстры» (см. сообщение «Художник и революция» на стр. 280).

Можно много говорить о кубинской революции — о

такой революции, о которой мечтают столько людей в нашей Латинской Америке! Но, по-моему, достаточно упомянуть один факт, чтобы понять ее значение: я имею в виду ликвидацию неграмотности. Обучить грамоте население целой страны в Америке, одержать победу над невежеством и темнотой, от которых страдают народы всех наших стран, это — поистине гигантский труд. Это один из блестящих примеров действенности и правоты кубинской революции.

ХУДОЖНИК И РЕВОЛЮЦИЯ

«Сервандо Кабрера Морено, мастер кисти, окончательно отказавшись от формалистских поисков, отдает свое искусство на службу великому делу». Красноречива эта оценка творчества молодого кубинского художника, открывающая каталог на выставке его произведений в Гаване.

Критик еженедельника «Ой доминго» отмечает, что по тематике и художественному уровню представленных работ эта выставка имеет особенное значение.

На выставке представлено 26 картин и рисунков, выполненных маслом, гуашью, тушью, углем. Особое внимание привлекают работы: «Люди Сьерра-Маэстры», «Гаванская декларация», «Народ убирает сахарный тростник» (репродукции которых воспроизведены здесь) и другие картины и рисунки на темы революционной Кубы.

«Своими работами,— пишет критик «Ой доминго»,— Кабрера Морено утверждает две истины: во-первых, можно создавать хорошие произведения искусства на темы, выдвинутые революцией; и, во-вторых, тот не изменяет искусству, кто с чувством понимания и ответственности переходит от живописи, оторванной от социальных тем, к живописи, отражающей действительность.

Об этом мы говорим потому, что Кабрера Морено до революции был сюрреалистом, а ныне создает произведения революционного реализма».

Работы кубинского художника Сервандо Кабреры Морено— «Гаванская декларация» (вверху) и «Народ убирает сахарный тростник».

(Еженедельник «Ой доминго»)

ЛИВАН

КЛУБ РОМАНИСТОВ

В ливанской литературе широкое распространение получил жанр романа. Только в прошлом году в стране вышло тридцать шесть романов. Чтобы объединить усилия работающих в жанре романа, группа молодых писателей Ливана, по сообщениям печати, решила организовать клуб, на основе которого будет создана ассоциация писателей-романистов и критиков этого жанра. Предполагается издавать журнал, посвященный исключительно вопросам романа.

НУЖЕН СВОЙ ТЕАТР

В Ливане, как сообщает бейрутская газета «Ориан», нет ни одного постоянного театра. Настало время, пишет газета, создать ливанский государственный театр. Это должен быть, по мнению газеты, национальный арабский театр, где ставились бы спектакли на арабском литературном и разговорном языках.

НИГЕРИЯ

«РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК В ФИЛЬМАХ»

Большой интерес проявляют к советской кинематографии народы африканских стран, сбросившие с себя ярмо колониализма. Об этом, в частности, свидетельствует статья «Русский человек в фильмах», опубликованная в нигерийской газете «Уэст африкен пайлот».

Автор статьи отмечает, что зарождение советской кинематографии неразрывно связано с Великой Октябрьской социалистической революцией, окончательно покончившей с вековым гнетом царизма, а успехи советского кино — с методом социалистического реализма.

В статье дана высокая оценка фильмам «Летят журавли», «Судьба человека», «Тихий Дон», «Пролог», «Поэма о море», «Капитанская дочка».

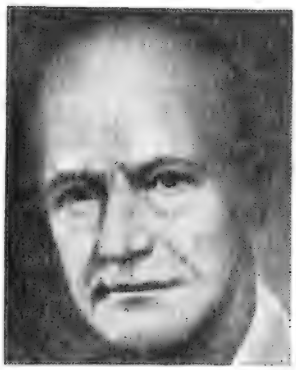
НОРВЕГИЯ

В ЭФИРЕ — НУРДАЛЬ ГРИГ

Радиотеатр Осло поставил пьесу Нурдаля Грига «Атлантический океан», переработанную для радио Берит Эрбе.

В пьесе «Атлантический океан», по словам рецензента газеты «Фрихетен», много поэзии, но нет сентиментальности, есть патетика, но нет напыщенности. Спустя пятнадцать лет после окончания первой мировой войны Нурдаль Григ понимал, что мир в опасности. Мобилизуют свои силы враги мира. Григ разоблачает равнодушие, сытую удовлетворенность и тупость буржуазной прессы. Он раскрывает обман, пользуясь которым враги хотят разоружить трудящихся, заставить их отказаться от борьбы.

Рецензент газеты «Фрихетен» назвал пьесу Грига «Атлантический океан» мужественной поэзией будущего.



Юхан Борген.
(Газета «Фрихетен»)

РАССКАЗЫ ЮХАНА БОРГЕНА

В издательстве «Гюльдендаль» вышел сборник избранных рассказов одного из наиболее популярных норвежских новеллистов Юхана Боргена, который работает в жанре рассказа уже четверть века.

По словам критика газеты «Фрихетен», производят большое впечатление и радуют читателя рассказы Боргена о детях и юношестве, о любви, а также его сатирические новеллы, полные остроумия и изобретательности. Есть, правда, у Боргена и мистические рассказы, но они представляют собой незначительную часть его светлого и ясного творчества, которое любят и понимают норвежские труженики.

ОАР

ПРЕМИИ ПО ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВУ

Ежегодно Высший совет по литературе, искусству и науке Объединенной Арабской Республики присуждает премии и золотые медали за успехи в области литературы и искусства.

Как сообщает каирский журнал «Ревю дю Кэр», высшей награды в области литературы недавно удостоен крупный писатель и драматург Тауфик аль-Хаким. Золотую медаль по искусству получил художник Юсуф Кямиль. Известный историк Абдаррахман ар-Рафик получил высшую награду в области науки.

ПОЛЬША

КОММУНИСТ ВЫПОЛНЯЕТ ЗАДАНИЕ

Действие новой повести Станислава Выгодского «Преследуемые», опубликованной еженедельником «Нова культура», происходит в 1943 году в оккупированной Польше. Герой ее — коммунист Станислав, связной Гвардии людовой, приехавший из района в Варшаву за инструкциями. Очень скупо, сдержанно автор рисует обстановку жестоких преследований, которым подвергались все патриотические элементы и особенно коммунисты под немецко-фашистским игом. Герой повести часто попадает в опасные положения, когда угроза нависает не только над его собственной жизнью, но и над жизнью людей, связанных с ним. Требуется много мужества и самоотверженности, чтобы принять смелое решение, найти выход из, казалось бы, безвыходного положения.

...На одной из станций поезд, которым ехал Станислав, был остановлен для проверки. Станислав напряженно думал о том, как быть с партийным отчетом, который был при нем. И вот очередь дошла до связного. Левой рукой он протянул полицейскому документ, правую сунул в карман и вполголоса сказал полицейскому: «Ты меня не задержишь. Со мной люди, которые тебя видели и знают».— «Можете ехать дальше»,— не поднимая головы, громко сказал полицейский...

Высокие моральные устои коммуниста, его целеустремленность и огромная воля к победе — вот главная проблема новой повести Станислава Выгодского.

НОВЫЙ ФИЛЬМ ПИСАТЕЛЯ-РЕЖИССЕРА

Два с лишним года назад польские зрители с интересом смотрели экспериментальный фильм «Последний день лета», получивший высокую оценку в Польше и за рубежом. Поставил этот фильм писатель Тадеуш Конвицкий, автор известного советскому читателю произведения «Дыра в небе».

Недавно на экраны вышла картина «День поминовения усопших». Автором сценария и режиссером ее также является Тадеуш Конвицкий. «День поминовения усопших» — лирическая повесть о любви двух людей, между которыми стоит их прошлое. Действие фильма происходит в наши дни и — в виде воспоминаний героев — в прошлом. О прошлом, о людях, с которыми они когда-то в дни антифашистской борьбы встречались, Валя и Михал вспоминают в «день поминовения усопших»...

Признавая за Конвицким оригинальность подхода к теме, глубину психологического раскрытия образов, польская кинокритика все же советует писателю-режиссеру повысить к себе требования на будущее.

США

ЖИЗНЬ ХЕМИНГУЭЯ НА ЭКРАНЕ И НА СЦЕНЕ

Друг Эрнеста Хемингуэя А. Э. Хотчнер одновременно ставит фильм и пьесу, показывающие жизнь выдающегося американского писателя, отраженную в жизни его героев.

Фильм «Молодой человек» построен на десяти рассказах Хемингуэя, носящих полуавтобиографический характер (рассказы Ника Адамса). Пьеса «Короткая счастливая жизнь» воссоздает на основе ряда произведений образ «главного героя» — жизнь, зрелость и смерть самого писателя.

А. Хотчнер, который в течение последних пятнадцати лет был близким другом Хемингуэя, считает, что все герои его произведений — это, собственно говоря, один и тот же персонаж, только показанный в различных обстоятельствах, с разных точек зрения. Все они являются собирательным образом автора.

Как утверждает Хотчнер, юный Адамс становится лейтенантом в романе «Прощай, оружие», потом превращается в Джэйка Барнса из романа «И восходит солнце» («Фиеста»), затем в Роберта Джордана («По ком звонит колокол»). В Ричарде Кэнтрелле (из романа «За рекой, в тени деревьев») этот образ переживает некий спад, потом от его имени звучит эпилог повести «Старик и море».

Основная цель фильма и пьесы, сказал их постановщик в беседе с корреспондентом «Нью-Йорк таймс»,— претворение главной мысли Эрнеста Хемингуэя, которой проникнуты все его произведения: человеческие идеалы и стремления бессмертны и непобедимы. Можно уничтожить человека, но убить его идею, его мысль — нельзя.

Кадр из фильма Т. Конвицкого «День поминовения усопших». Поручик Листек (артистка Эльжбета Чижевская) прощается с Михалом (артист Эдмунд Феттинг) перед боем. *(Журнал «Фильм»)*

ГОЛЛИВУДСКИЕ «ЗВЕЗДЫ» В БОРЬБЕ ЗА МИР

«Звезды Голливуда светят делу мира» — так озаглавлена статья Майка Ньюберри в «Уоркер», рассказывающая об участии многих знаменитых киноактеров в «параде мира», устроенном в Лос-Анжелесе.

«Да,— пишет Ньюберри,— это, пожалуй, самая «многозвездная» постановка, какую когда-либо видел Голливуд. Притом это был не фильм, а собрание и демонстрация, организованные обществом ПУДМ («Помогите Установить Длительный Мир»). Тысячи людей шли с лозунгами и транспарантами в демонстрации, возглавляемой голливудскими знаменитостями, такими,

как Рита Хэйуорт, Ким Новак, Марлон Брандо, Джон Кассавитс, Рита Морено, Джон Кэрр, Дон Меррей, и многими другими артистами и режиссерами.

«Не пора ли,— задает вопрос Майк Ньюберри,— организовать и на Бродвее демонстрацию актеров за мир? А как насчет того, чтобы писатели организовали поход за мир на Мэдисон-авеню? Как насчет того, чтобы и Нью-Йорк принял участие в борьбе за мир?»

САТИРА АРТА БУХВАЛЬДА

Литературные приложения к газетам «Нью-Йорк таймс» и «Нью-Йорк геральд трибюн» поместили рецензии на сатирическую книгу известного комментатора, фельетониста-сатирика Арта Бухвальда «Сколько это стоит в долларах?»

Фельетоны Арта Бухвальда в «Нью-Йорк геральд трибюн», как правило, сопровождаются воспроизве-

денной здесь заставкой-шаржем, изображающим автора: он выработал себе «рабочую маску» этакого среднего американского простачка, наблюдающего политику и жизнь с обывательской точки зрения. Таким путем он, во-первых, легче находит общий язык со «средним» американским читателем, а во-вторых, прикрываясь личиной простачка, беспощадно высмеивает своих соотечественников и нравы буржуазной политической кухни. Отнюдь не занимая сколько-нибудь левую или даже либеральную позицию, Арт Бухвальд благодаря своей наблюдательности и остроумию иногда поневоле критикует американскую действительность, даже когда вовсе к этому не стремится.

Изобличая, в последнее время, коррупцию, гонку вооружения в США, американскую избирательную систему, атомный психоз, истерию с противоатомными убежищами и т. п., Арт Бухвальд фактически отходит от своего прежнего «зубоскальства», от юмора ради юмора.

Рецензент Эл Морган, рассказывая в «Нью-Йорк геральд трибюн» о книге «Сколько это стоит в долларах?», являющейся сборником сатирических рассказов, очерков и фельетонов, подчеркивает остроту и целеустремленность сатиры Бухвальда. «Если хотите убедиться,— пишет Морган,— в силе ударов Бухвальда, попросите, чтобы Джим Хэгерти (помощник по делам печати бывшего президента США Эйзенхауэра. — *Ред.*) показал вам когда-нибудь рубцы от ран, нанесенных ему словом Бухвальда...»

РЕКЛАМА И ЖИЗНЬ

Писатель Эдмунд Г. Лав написал книгу из жизни нью-йоркской бедноты — «Метро для ночлега». Предприимчивый продюсер Дэвид Меррик превратил это произведение в очередной музыкальный боевик Бродвея. Дело стало за рекламой. Меррик, будучи мастером сногсшибательной рекламы, обеспечил «своему» творению подобающее «паблисити»: однажды все вагоны нью-йоркской подземной дороги оказались обклеенными множеством маленьких афишек с названием «Метро для ночлега». Эти три слова буквально преследовали пассажиров.

Казалось, реклама удалась. Но тут взбунтовалась администрация метрополитена: она была обеспокоена, как бы бездомный люд Нью-Йорка не истолковал объявлений Меррика в их прямом смысле и не вздумал здесь ночевать. Наклейки исчезли так же быстро, как и появились, а на их место было вывешено суровое предупреждение о штрафе в 10 долларов и тюремном заключении на 30 дней, которые ждут каждого, кто попытается использовать метро для ночлега...

Мистер Меррик, естественно, был раздосадован случившимся и, как сообщает журнал «Ньюсуик», упрекал администраторов метро в «отсутствии чувства юмора».

Быть может, бродвейский продюсер и прав, но администрация нью-йоркской «подземки» могла бы в свое оправдание сослаться хотя бы на книгу Эдмунда Лава, рассказывающую о бездомных бедняках, пытающихся найти ночное убежище в метро.

Некий Джордж Шугармен, числящийся американским скульптором, получил премию в 1500 долларов за это деревянное нагромождение, экспонированное на недавней Международной выставке современного искусства в Питтсбурге. Подобное «произведение искусства», скорее напоминающее сломанный старинный колодезный журавль, носит пышное название «Шесть форм из сосны». Что можно еще добавить!

(Газета «Нью-Йорк геральд трибюн»)

ОЧЕРЕДНАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ МОДА

После того, как однажды какой-то медицинской сестре удалось выйти замуж за своего богатого пациента, на американском литературном рынке начался нескончаемый поток романов о сиделках и медсестрах. Посыпались, как из рога изобилия, дешевые издания, в которых повествуется о романтических отношениях между сиделками и пациентами.

Еженедельник «Нью-Йорк таймс бук ревью», сообщая о появлении новой литературной моды, приводит заголовки книг, присланных в редакцию на рецензию за один только день: «Джэн Арден, старшая сестра» — Кэтлин Норрис, «Медсестра Алоха» — Этель Гамил, «Медсестру зовут Линдой» — двухтомный роман Патти Стоун, «Доктор Килбэрн возвращается домой» — Дороти Уорли, «Твоя соседка — медицинская сестра» — Джоан Джоунс.

Не без иронии рецензент еженедельника извещает, что предприимчивое издательство «Нью-Американ лайбрери», учитывая спрос на книги с «женщинами в белых халатах», начинает выпуск новой «медико-романтической серии».

(Еженедельник «Нью-Йорк таймс бук ревью»)

ФРАНЦИЯ

ПЬЕСА О ПАРИЖСКОЙ КОММУНЕ

«Весна 71 года» — последняя пьеса Артюра Адамова посвящена великим и славным событиям 1871 года — Парижской коммуне, но, как пишет Андрэ Стиль в газете «Юманите», маловероятно, что она будет поставлена на французской сцене.

В своей пьесе Адамов хотел показать не факты из жизни отдельных людей или духовную эволюцию этих людей, а саму Коммуну. Он, по оценке Стиля, не упустил ничего для правильного понимания Коммуны, не забыл и о ее ошибках. Действующие лица пьесы — те люди, которых драматург встречает повседневно и которые ныне неустанно борются за осуществление дела Коммуны.

В пьесе 26 картин, и каждая переносит зрителя в разные центры событий Парижской коммуны.

Знаменательно, что — по авторской ремарке — в финале пьесы занавес, приподнявшись на мгновение, открывает перед зрителями уже не план Парижа и его окрестностей, а «карту пяти континентов, на которой социалистические страны и страны прогрессивные окрашены в красный цвет».

По словам Андрэ Стиля, Адамов своей пьесой утверждает искусство, призванное служить людям.

«ОТКРЫТИЯ» ГОНКУРОВСКОГО ЛАУРЕАТА

Свежеиспеченный лауреат Гонкуровской премии Жан Ко (см. «Иностранную литературу» № 2, 1962) заявил во французской печати, что преступления ОАС — это... выдумка, плод больного воображения. «ОАС во Франции,— утверждает он на страницах «Экспресс»,— это сказка, это пузырь, наполненный алжирским ветром, это просто ничто».

Заявление Жана Ко вызвало справедливое возмущение в демократических кругах. «Невольно спрашиваешь себя,— говорится в статье, опубликованной в газете «Либерасьон», — что может подумать, читая подобные строки, тот учитель из Сен-Жермена, чьи дети едва не погибли во время пожара, устроенного ОАС, или что подумают другие лица, пострадавшие от бесчинств оасовцев? Вероятно, они сразу же почувствуют себя лучше, узнав, что стали жертвой остроумной шутки».

Согласно правилам хорошего тона, продолжает автор статьи в «Либерасьон», каждый, кто получил Гонкуровскую премию, должен польстить тем кругам, которые поддержали его. Однако все же следует быть осторожнее на поворотах и не переходить границы допустимого. Не следует забывать, что фашизм в Италии и в Германии начинал с того же самого. Но в то время некоторые лица не принимали всерьез черные и коричневые рубашки. Опыт показал, что с фашизмом шутки плохи, его надо уничтожать своевременно, пока не поздно.

ВПЕРВЫЕ ВО ФРАНЦИИ...

«Франция,— пишет литературный обозреватель еженедельника «Ар»,— снова и снова открывает для себя Виктора Гюго». Одним из крупнейших литературных событий обозреватель считает первое во Франции издание полного собрания поэтических произведений

Еженедельник «Ар» воспроизводит шарж на Виктора Гюго, сделанный в годы жизни писателя.

Виктора Гюго в одном томе, насчитывающем две тысячи страниц.

По мнению обозревателя «Ар», из современных поэтов к Гюго наиболее близок Луи Арагон, ставший, как и Гюго, национальным поэтом Франции. Слова Гюго звучат и поныне, как слова нашего современника.

А КТО ТАКОЙ МОЛЬЕР?

«Наша молодежь презирает литературу и изобразительное искусство, считая их никому не нужными»,— к такому выводу пришли Даниэль Бернэ и Рено Матиньон после проверки результатов проведенной ими анкеты среди молодежи.

В течение четырех месяцев организаторы анкеты опросили пять тысяч молодых людей и тысячу педагогов: что молодежь читает, кто их любимые авторы, что предпочитает из литературы, музыки и живописи?

Оказалось, что ни Стендаль, ни Гюго, ни Вольтер, ни Хемингуэй опрошенных не волнуют. Они предпочитают детективы Агаты Кристи! Из 100 человек едва ли набирался десяток изредка бывавших в театре. Любимый драматург? Многие ответили молчанием, некоторые называли Паньоля. Никто из пяти тысяч не упомянул о Мольере. Его просто не знают.

Что же лежит, спрашивает автор статьи в еженедельнике «Ар», в основе подобной враждебности к культуре, глубокого невежества, психологии дикарей?

Такова, к сожалению, отмечает еженедельник, «культура» пресловутых «комиксов»: куда проще и быстрее проглядеть иллюстрированные странички, чем утомлять мозг чтением целой книги. Процесс оболванивания и притупления приводит к бескультурью, безыдейности, равнодушию и даже неприязни к литературе и искусству. Можно добавить, что правителям Франции легче посылать на расправу с алжирскими патриотами юнцов, не привыкших мыслить, не имеющих представления о Рабле и Барбюсе.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ПРОБЛЕМЫ «МОЛОДОЙ ПРОЗЫ»

Творчество «молодых писателей», их роль в развитии литературы вызывает в последнее время много споров среди чешских и словацких прозаиков и критиков. Этой проблеме посвящен ряд статей в печати, она обсуждалась на четырехдневной конференции, организованной в Братиславе Союзом словацких писателей.

С докладом «40 лет КПЧ и словацкая проза» на конференции выступил Б. Тругларж.

Иржи Гаек в докладе о молодой чешской прозе, охарактеризовав ее положительные и отрицательные тенденции, остановился, главным образом, на характеристике отдельных авторов: Я. Прохазки, А. Климента, И. Фрида, В. Пржибского и других. М. Крно в докладе «Молодые писатели и познание действительности» призывал к поискам новых путей в литературе.

На конференции, а затем в прессе широко обсуждалось самое понятие «молодой литературы», делались попытки установить ее отличительные черты, то новое, что «молодые» внесли: конкретность (отсюда их увлечение очерком, как «свидетельским показанием» о действительности), стремление к максимальному отказу от патетики, от громких фраз и, с другой стороны, интерес к интимному миру человека, к отражению психологических нюансов в человеческих отношениях.

ТРИЛОГИЯ ФРАНТИШЕКА КУБКИ

Книгой «Лица с Запада» чешский писатель и публицист Франтишек Кубка завершил свою мемуарную трилогию, первая часть которой была посвящена деятелям общественной и культурной жизни Чехословакии, а вторая — «Голоса с Востока» — познакомила читателей с выдающимися людьми дореволюционной России и Советского Союза.

В заключительной части трилогии Ф. Кубка рассказывает о встречах с деятелями культуры, писателями, общественными и политическими деятелями Западной Европы.

Рукой опытного мастера, прошедшего большую жизненную школу, автор создает более сорока портретов, раскрывая характер людей, их связь с общественной жизнью. Наибольшего успеха, по оценке чешской критики, достигает Ф. Кубка в зарисовке образов писателей — эта среда ему ближе и понятней. Необычайно выразительны, например, портреты Дж. Голсуорси, Р. Роллана, Г. Гауптмана, Ж. Ромэна.

По словам критика еженедельника «Литерарни новины», «мемуарная трилогия Ф. Кубки, законченная книгой «Лица с Запада», является не только интересным, но во многих отношениях и поучительным взглядом на историю недавнего времени, как в области культуры, так и политики».

ЛИТЕРАТУРНЫЕ НОВИНКИ

Издательство «Чехословацкий писатель» в течение этого года предполагает выпустить в свет более 150 книг.

Читатели познакомятся с новым романом Б. Бржезовского «Карьера Индржиха Маркуса», где описывает-

ся довоенная жизнь в маленьком городке, и с первой частью нового цикла романов Яна Дрды «Откуда мы приходим».

В западнословацкой деревне развертывается действие романа молодого писателя И. Козака «Летняя пора». Запуск первого советского спутника в космос вдохновил словацкую писательницу К. Лазарову на новый роман — «Мечта о о Зангарже».

Тяжелые годы фашистской оккупации воспроизводятся И. Мареком в его романе «Тень» и Я. Отченашеком в книге «Молодые». Взаимоотношения старшего и младшего поколений отображены З. Плугаржем в книге «Зеркало вины». Будет выпущена в свет книга репортажей А. Гофмейстера «От Спаленой улицы до токайских виноградников». О строительстве новой социалистической Словакии рассказывает репортаж Р. Калиского «Длинная дорога». Перемены в облике словацкой деревни хорошо отражены И. Штастным в его книге «Пути через болото». Проблемы воспитания рабочей молодежи в интернатах поднимает автор романа «Шумный дом» Л. Вацулик.

Как сообщает газета «Руде право», увидят свет также и роман молодого автора — студента В. Кернера «Мертвая река», воспроизводящий драматические события конца второй мировой войны; историческая новелла М. Кратохвила «Комедиант»; повесть А. Лустига «Дита Сансова» о трагической судьбе двадцатилетней студентки и роман Э. Ржезачовой «Один и второй» о пражской интеллигенции.

ШВЕЙЦАРИЯ

ПРЕМИЯ ЗА ЛУЧШЕЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ОБ АЛЖИРЕ

Выходящая в Лугано на итальянском языке газета «Либера стампа» проводит десятый традиционный ежегодный литературный конкурс, в котором могут участвовать все писатели, пишущие на итальянском языке. По сообщению газеты «Унита», изъявил желание принять участие в проведении этого конкурса крупный итальянский книгоиздатель Лампуньяни Нигри из Милана, учредивший специальную премию за лучшее произведение, написанное на французском или итальянском языках, которое будет посвящено алжирскому вопросу. По своему характеру это произведение может быть как художественным, так и публицистическим. Жюри конкурса состоит из видных швейцарских и итальянских писателей и литературоведов.

ПРЕМЬЕРА ПЬЕСЫ МАКСА ФРИША

Новая пьеса швейцарского писателя Макса Фриша «Андорра» поставлена в Цюрихе режиссером Куртом Гиршфельдом.

«Может быть, не все, что вышло из-под пера Макса Фриша, — пишет критик «Дейче вохе»,— будет жить, но «Андорра» войдет в фонд лучшего, что создано на немецком языке».

Критик отмечает, что в пьесе Фриша речь идет о годах гитлеровского фашизма, но своим острием она направлена против таких проявлений человеконенавистничества и мракобесия, как маккартизм и ку-клукс-клан в США, расизм в Южной Африке.

ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

«СКВЕРНАЯ КАРИКАТУРА» ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА

От обычных проповедей, видно не пользующихся среди местных прихожан особой популярностью, священник Стюарт Джекман решил перейти к написанию... романов.

В своей книге «Мальчики на заре» преподобный отец рассказывает о нескольких молодых африканцах, которые в ответ на политику апартеида... организовали банду и начали жить за счет грабежей и убийств.

«То, что создал мистер Джекман,— пишет рецензент журнала «Централ африкен игземинер»,— это не изображение порядков апартеида, а скверная карикатура. Роман переполнен убийствами, насилиями и прочими зверствами, причем в их описаниях чувствуется кровожадность автора... Книга написана сенсационным языком репортеров уголовной хроники, она будет хорошо продаваться. И это очень жаль, так как Южная Африка сейчас переживает настолько трагический момент, что никак нельзя оправдывать низкопробное описание ее внутренних конфликтов, ее нищеты, страха, терпения и надежд».

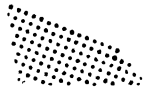
ЯПОНИЯ

ОБЩЕСТВО ИЗУЧЕНИЯ ПРОЛЕТАРСКОЙ ПОЭЗИИ

В Японии создано «Общество изучения пролетарской поэзии», которое объединяет двенадцать поэтов, в том числе Цубои Сигэдзи, Накано Сигэхару, Ито Синкити.

«Общество,— пишет в журнале «Синнихон бунгаку» Ито Синкити,— будет проводить дискуссии по вопросам пролетарской поэзии, изучать ее достоинства и недостатки, ее историческое значение».

Общество решило издавать журнал «Пурорэтариа си кэнко» («Изучение пролетарской поэзии»).



КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

ЛИЛЯНА СТЕФАНОВА
(род. в 1929 г.)

Болгарская поэтесса, автор сборников стихов «В Москве» («В Москва», 1952), «Когда нам двадцать лет» («Когато сме двайсет години», 1955), «Мир, который люблю» («Света, който обичам», 1958).

Публикуемые стихи взяты из сборника «Иду с вами!» («Ида при вас!», 1961).

РАДУ НОР
RADU NOR
(род. в 1921 г.)

Румынский писатель, работает в области научной фантастики. Автор вышедшей в Бухаресте в 1957 году на русском языке книги «Путь к звездам»; его рассказ «Полет в ионосферу» был опубликован в журнале «Техника молодежи» № 11 за 1954 г.

Публикуемый рассказ прислан в рукописи.

КШИШТОФ БОРУНЬ
KRZYSZTOF BORUŃ
(род. в 1924 г.)

Польский писатель и публицист, автор трилогии «Проксима» («Proxima», 1956), «Космические братья» («Kosmiczne bracia», 1956), «Утраченное будущее» («Zagubiona przyszłość», 1957), научно-фантастического очерка «Тайна искусственных животных» («Tajemnice sztucznych zwierząt», 1961) и др.

Публикуемый рассказ взят из сборника «Антимир» и другие научно-фантастические рассказы» («Antyświat i inne opowiadania fantastyczno-naukowe», 1960) и дан в сокращенном варианте.

ДУМИТРУ МИКУ
DUMITRY MIKU
(род. в 1928 г.)

Румынский критик. Ему принадлежат книги «Поэзия Марии Бануш» («Poezia Mariei Banuş», 1955), «Современный румынский роман 1944—1959 гг.» («Romanul romînesc contemporan 1944—1959 гг.», 1959), за эту книгу ему была присуждена премия Румынской Академии за 1960 г. Его статья «Новый успех румынской прозы» была опубликована в нашем журнале в № 12 за 1958 г.

Публикуемая статья прислана в журнал в рукописи.

ЮЛИУС ДОЛАНСКИЙ
JULIUS DOLANSKY
(род. в 1903 г.)

Профессор Карлова университета. Автор книг «Завещание Юнгмана» («Jungmannův odkaz», 1948), «Пушкин у нас, 1799—1949», («Puškin u nas, 1799—1949»), «Шандор Петёфи» («Alexander Petöfi», 1950), «Мастера русского реализма у нас» («Mistri ruskeho realismu u nas», 1960).

Публикуемая статья прислана в рукописи.

ВОЛЬФГАНГ ЙОХО
WOLFGANG JOHO
(род. в 1908 г.)

Немецкий писатель и критик, главный редактор журнала «Нейе дейче литератур». Автор романов «Жанна Пейрутон» («Jeanne Peyrouton», 1949), «Путь из одиночества» («Der Weg aus der Einsamkeit», 1953), «Перелом» («Die Wendemarke», 1957), «Дюжина и два» («Ein Dutzend und zwei», 1950), «Жалости нет» («Est gibt kein Erbarmen», 1961).

Рецензию на его дилогию «Путь из одиночества» и «Перелом» см. в нашем журнале № 10 за 1958 г.

Публикуемая статья взята из журнала «Нейе дейче литератур» № 1 за 1962 г.

ДЖОН ПИТТМАН
JOHN PITTMAN
(род. в 1906 г.)

Американский журналист. Сотрудничает в прогрессивных американских журналах «Мейнстрим» и «Политикал афферз» Корреспондент газеты «Уоркер» в Москве. Его статья «Рука друга» была напечатана в № 10 нашего журнала за прошлый год.

Публикуемая статья прислана автором в рукописи.

Главный редактор **А. Б. Чаковский.**

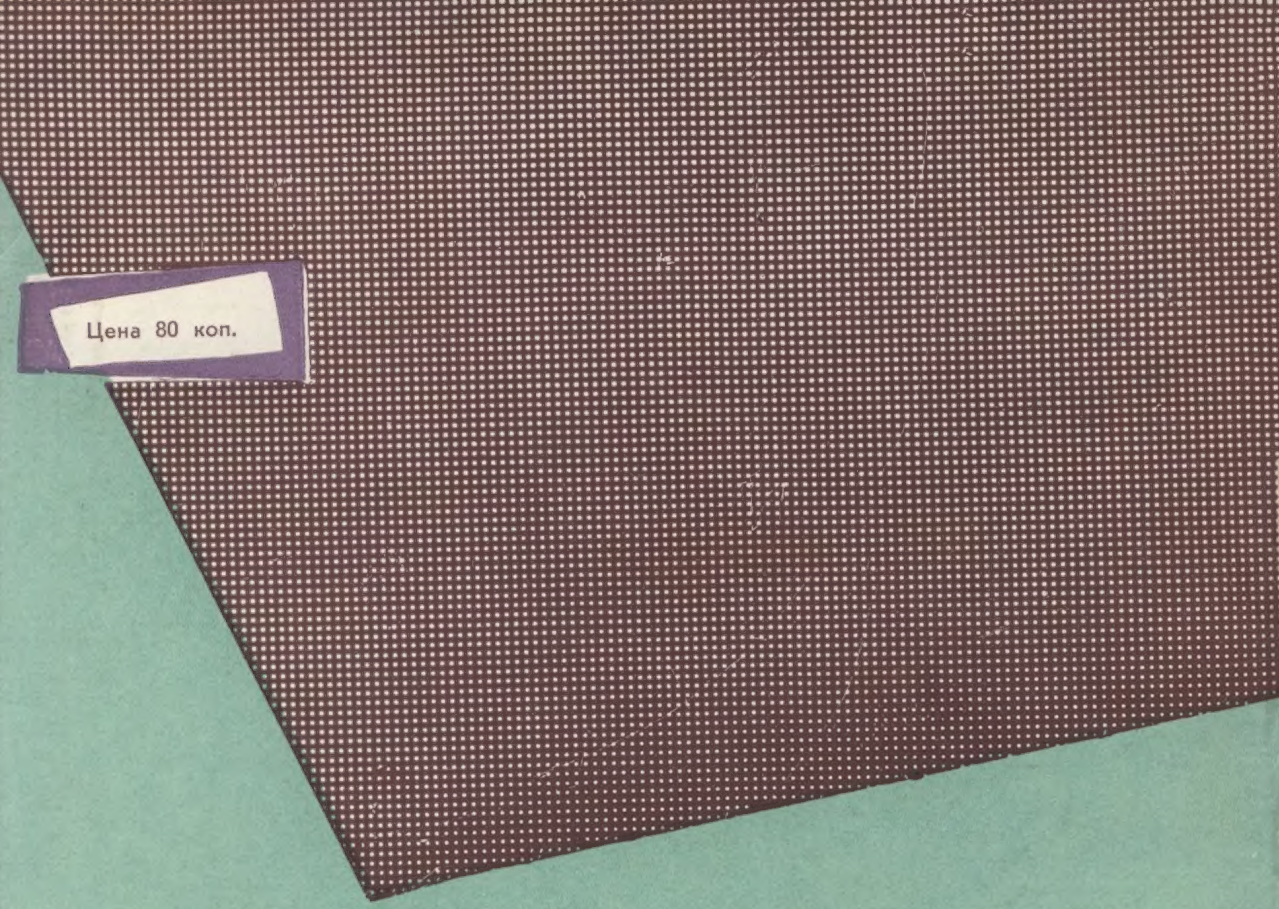
Редакционная коллегия:
И. И. Анисимов, М. Я. Аплетин, В. И. Верховский (отв. секретарь), **Б. Г. Гафуров, С. А. Герасимов, С. А. Дангулов** (зам. главного редактора), **Е. А. Долматовский, Т. Л. Мотылева, Л. В. Никулин, М. И. Рудомино, Б. П. Терешкин, Е. Ф. Трущенко, М. А. Шолохов.**

Обложка художника *С. Б. Телингатера*

Художеств. редактор *М. М. Милославский*
Технический редактор *В. Л. Шачнев*
Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41.
Телефон В 3-51 47.

А 01692 Сдано в производство 12/I 1962 г.
Подписано к печати 5/III 1962 г.
Бумага 70×108¹/₁₆ = 9 бум. л.; печ. л. 24,66.
Зак. 82.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.


Цена 80 коп.